

Литературный альманах

БЕЛЫЙ ВОРОН



Екатеринбург
Весна 2014

BELYJ VORON 2014/1(14)/ WINTER Literary Magazine

Copyrights © 2013 by Babanskaja Alena, Betaki Vasiliy (successor), Chemodanov Andrei, Ermolajev Grigorij, Gendernis Irma, Isajants Valeri, Judin Boris, Jukhimenko Anatolij, Kagan Viktor, Kasiliauskajte Alisa, Katkov Ivan, Khetagurov Aleksei, Koltsova Olga, Kovsan Michael, Krasnova Tatjana, Krupinin Aleksandr, Morozov Evgenij, Mrakabred Ruslan, Nekrasova Tatjana, Okun Aleksei, Osintseva Tatjana, Perova Evgenia, Sineva Polina, Slepukhin Sergej, Slepukhina Evdokia, Sobolev Aleksandr, Tarkovskij Vladimir, Vinokurova Anastasia, Zherdev Georgij.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the Publisher and/or the Author, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Editorial board:

Evdokia Slepukhina, Tatyana Krasnova, Aleksandr Kuzmenkov, Evgenia Perova, Vadim Molodyj, Maria Ogarkova.

Chief Editor:

Sergei Slepukhin

Picture on the cover by **Aleksei Okun** (Aalen). **“Spring”**. 40x50 cm, Acrylic on canvas. 2012

Cover design and logotype by Evdokia Slepukhina

ISBN 978-1-312-14563-4

Eudokia Publishing House

eudokiya@gmail.com

Printed in the United States of America

ПОПЫТКИ РАССКАЗАТЬ О ВЕСНЕ

Затяжная зима. Весна, вроде, да нет, зима! То снег, то дождь, грязи – по колено! Грязь – привычная хворь русского живописного пейзажа от петровских немцев до Рябушкина и Лансере.

Выйдешь из дома, но нырнешь обратно – книжки читать. Дело верное! «А что еще делать в такую сучью погоду?» – в одной из них говорится. Читаешь, а мысли все о весне – весне 2014 года. Открываешь книгу, тычешь пальцем, выискиваешь пророчества...

Я не тот человек, что поддается сиюминутному безумию, я умею сохранять разум, когда все вокруг в тревоге. В моих словах – я знаю это – нет ясности. Ведь ползущие по миру слухи проникли и в мой дом.

Четыре долгих месяца еще отделяют нас от года Зверя, и вот – он уже здесь. Тень его витает над нашими головами и над крышами наших домов. Люди вокруг ни о чем другом больше не говорят. Грядущий год, предзнаменования, предсказания... Иногда я говорю себе: пусть он настанет! Пусть вытряхнет наконец свою котомку чудес и бедствий! Потом я, одумавшись, вновь перебираю в памяти все обычные славные годы, когда каждый день проходил в предвкушении вечерних радостей. И тогда я в полный голос проклиная обожающих Апокалипсис.

Как началось это безумие? В чьем уме зародилось оно впервые? Под какими небесами? Я не мог бы ответить с точностью, и, однако, я кое-что знаю об этом.

Там, где я живу, я видел, как рождается, растет и распространяется страх, ужасный страх; видел, как он проникает в головы, в мозг самых близких мне людей, даже в мой собственный; я видел, как он калечит рассудок, топчет его, унижает, затем пожирает.

Я видел, как проходили и удалялись счастливые дни.

До сих пор я жил ясно и просто. Я процветал, полнел и богател понемногу; я стремился только к тому, что находилось от меня на расстоянии вытянутой руки; многие мои соседи заискивали передо мной, некоторые завидовали мне.

И внезапно все рухнуло.

Записал я здесь про свое грешное хождение...

Плыл я вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: Султан Касим подстерегает кушцов на Бузуне, а с ним три тысячи татар. Настигли они нас на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух.

Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги, и тут они нас настигли и велели судно тянуть вверх по реке до еза. И судно наше большое тут пограбили и четыре человека русских в плен взяли, а нас отпустили голыми головами за море, а назад, вверх по реке, не пропустили, чтобы вести не подали. И пошли мы, заплакав... Пришли кайтаки и всех взяли в плен.

... Из Семиградья, из Славонии, с Буковины шли забинтованные и скрюченные, потрясая уже ненужным костылем, срывая пластыри с глаз и повязки с золотушной плоти. Ко мне подошел старый купец с непокрытой головой, которому я еще не задал ни одного вопроса, и сунул мне в руки какую-то книгу. Я развернул ее наудачу и, повинувшись желанию, которого до сих пор не могу объяснить, принялся громко читать вслух строки, первыми попавшиеся мне на глаза:

*«Они говорят, что Время вскоре умрет,
Что дыхание жизни прервется...
Они лгут».*

Это было сочинение Абу-ль-Аля, слепого поэта из Маарры. Почему этот человек принес мне эту книгу? Почему она открылась именно на этой странице? И что меня подтолкнуло прочесть ее?..

Возбужденный, с пылающим лицом я принялся трясущими руками листать свою находку. Это были удивительные аббревиатуры и формулы, рецепты цивилизации, удобные амулеты, когда двумя пальцами возможно взять эссенцию климатов и провинций. Это были почтовые переводы империй и республик, архипелагов и континентов. Чем еще могли завладеть кесари и узурпаторы, завоеватели и диктаторы? Я узнал вдруг сладость господства над землями, тернии той насыщенности, какую только властью утолить можно.

Мир таков, и нет тебе никаких миров кроме этого – возвещала печать с императорским двуглавым орлом. Все прочее – фантазия и дикая претензия. На все наложилась Узурпатор и остановил мир в его развитии. Но, когда узилище неотвратимо заперто, когда последняя отдушина замурована, когда все сговорилось Тебя замолчать, о Боже, когда деспот заделал последнюю щелку, дабы Тебя не узрели, тогда восстал Ты в шумящем покрове морей и континентов и разоблачил его.

Ты, Господи, разрешил себе нетерпимость ереси и взорвался на целый мир огромным многоцветным и великолепным кошунством.

О, Ересиарх великолепный! Ты ударил в меня сею пламенной книгою!

И вот иду я на Русь, кетъмыштьыр именъ, уручь тутътым. Месяць март прошел, и яз заговел з бесермены в неделю, да говел есми месяць, мяса есми не ел и ничего скоромнаго, никакие ествы бесерменские...

Сергей Службин, редактор

МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ



ИВАН КАТКОВ

ПОЦЕЛУЙ ВОЖДЯ

Рассказ

Окончив восьмилетку, Галина простилась с родителями и поехала в Горький. Поступила в ПТУ на швею.

Ей выделили комнату в общежитии, где жили еще три девушки. Высокая и стройная Катя, рыжеволосая Алена и хохотушка Света.

Однокурсницы недолюбливали Галину.

– Фи, дикарка пришибленная, – морщила лобик Катя.

Держалась Галя особняком.

Оставаясь одна в комнате, она вышивала крестиком или подолгу смотрела в окно.

Но однажды в Галю влюбился парень из соседнего корпуса ПТУ. Рослый, широкоплечий Борис был похож на древнегреческого атлета. Густые, черные, как воронье крыло, волосы, светло-серые глаза. Боря учился на автослесаря и по вечерам боксировал в спортзале.

Галину он повстречал случайно. В парке, на праздновании Первого мая. В сером трикотажном платье с красной ленточкой на груди, Галя стояла поодаль толпы и равнодушно наблюдала за происходящим.

– Девушка, вас кто-то обидел? – улыбнувшись, спросил Боря.

Галя смущенно опустила глаза и пожала плечами.

Каждый вечер Боря приходил с гитарой под окна женского общежития. Он устраивался на лавочке и, пощипывая струны, напевал, неумело подражая голосу Высоцкого.

Писал записки с пылкими признаниями в любви, пока сердце девичье не растаяло.

Как-то раз Боре удалось затанцевать Галю в клуб. Девочки хихикали в ладошки, наблюдая за тем, как неловко она переставляла полные ножки в танце.

– Повезло нашей колхознице, – ехидничала Катя, – гляньте, какого кавалера подцепила.

– Угу, – кивала Света, – таким вот и везет всегда. А ты попробуй, отбей.

– Да без толку. Он как камень. Приворожила она его, что ли... Ведь ни кожи, ни рожи. Обидно, девки...

Как-то раз под вечер, лежа на кровати и рассматривая выкройки, Галя услышала три коротких свистка – условный сигнал Бориса.

Она подлетела к окну и распахнула форточку.

Боря прохаживался взад-вперед. На нем был черный костюм, белая сорочка и с серебристым отливом, тонкий как полоска галстук. В начищенных ботинках отражался оконный свет.

– Галченоч, выходи. У меня для тебя сюрприз.

– Борь, ты чего, поздно уже. Мы с девочками спать ложимся.

– Да мы ненадолго, спускайся.

– Ладно, – сдалась Галя, – подожди немножко, я оденусь.

Борис привел ее в красный уголок. С облупившейся краской стены были увешаны портретами бессмертных коммунистических вождей. В центре обозначился красный флаг с золотистым серпом и молотом. Переполненные книжные полки скозились в сторону так, что казалось вот-вот рухнут. На высокой тумбе горделиво расположился небольшой бронзовый бюстик Ильича. Третью комнату занимал круглый стол, покрытый белой клеенчатой скатертью. Одинокая свеча с восковыми подтеками робко выглядывала из алюминиевого подсвечника.

– Прошу, – Борис любезно выдвинул стул.

Галя манерно села и с любопытством взглянула на Боря.

Он достал из ящика штопор, ловко откупорил бутылку вина и сорвал пленку с коробки конфет.

– Грильяж, твои любимые, – по-детски улыбнулся он.

Галя послала ему воздушный поцелуй. Борис зажег свечу и выключил свет. Наполнил стаканы, тихо откашлялся и заговорил:

– Дорогая Галочка, мы вместе уже год! Двенадцать счастливых месяцев! За это время ты стала для меня самым родным человеком. С того самого дня, когда я тебя впервые встретил, не было ни минуты, чтобы я не думал о тебе. Просыпаюсь с мыслями о тебе, засыпаю, думая о тебе... Сначала, Галочка, ты была для меня загадкой. Прятала свое нежное сердечко в сундучке и никого к нему не подпускала. Но мне удалось подобрать ключик. И вот мы вместе. Галочка, ты мое все! Мне страшно представить, что будет со мной, если я тебя потеряю. Я люблю тебя, солнышко!

Галя с умилением слушала Бориса. Ее ротик чуть приоткрылся, щечки сделались пунцовыми.

– Я понимаю, что все это довольно неожиданно... – Боря опустил руку в карман пиджака, выудил пластмассовую коробочку, обшитую розовым бархатом и протянул Гале, – Галочка, выходи за меня!

Галя осторожно открыла. В небольшой выемке пряталось обручальное кольцо.

– Боже мой, какая прелесть, – в волнении проговорила она, – но Боренька, миленький, я не могу его сейчас принять. Мне кажется, еще слишком рано...

– Все равно, – замотал головой Боря, – возьми колечко и храни его у себя. Я же не тороплю тебя, что ты! Думай столько, сколько тебе нужно.

Он приблизился к Гале и нежно поцеловал в губы.

Свеча, размякнув, устало склонилась. Капли горячего воска падали, застывая на скатерти бесформенными ляпушками.

Через минуту Боря поднял стакан.

– За тебя, любимая!

– За нас! За наше с тобой счастье, – звонко чокнулась Галина, немного пригубила и отправила конфету в рот.

Когда влюбленные допили бутылку, Галя прилично захмелела. Она и не заметила, как рука Бори оказалась у нее под лифчиком.

Он повалил ее на пол и принялся покрывать невинное тело жадными поцелуями. Галя целовала его в ответ и пьяно хихикала. Боря стянул с нее трусики и прикоснулся губами к мохнатому холмику. Галя покрылась мурашками. Дернула плечиками, словно ее знобило.

– погоди секундочку, – вдруг вскочил он. Схватил с тумбочки бюст Ленина и протянул к ее лицу, – вот, сначала целуй его!

– Ты чего? – опешила она, приподнимаясь.

– Ну поцелуй, чего тебе стоит?!

– Борь, не смешно, перестань сейчас же!

– А я и не шучу. Поцелуй, чего ты, – Боря приложил статуэтку к ее губам.

Галя брезгливо отвернулась и отбросила Борину руку в сторону.

– С ума что ли сошел! Пусти меня, пусти, идиот!

Галя пыталась вырваться, но ей было не совладать с тренированным Борей.

– Галочка, не упрямься, ради нас, ради нашей любви, – Боря сел на нее верхом.

– Пусти меня, придурок! Я буду кричать! Ты ненормальный!!

– Целуй!

– Го-о-о-осподи! Люди до-о-обрые! Помоги-и-и-ите! – заверещала Галя.

– Не кричи, любимая. Здесь стены толстые. Поцелуй вождя, так нужно!

Галина глубоко вдохнула и плюнула в статуэтку. Багровая от вина слюна попала на кепку вождя и медленно сползла по бронзовому лицу.

– Пошел к черту со своим Лениным!!! – в сердцах крикнула Галя.

Борис размахнулся и ударил Галину пудовым кулаком. Ее голова безвольно откинулась в сторону, волосы упали на лицо. Из рассеченной губы заструилась кровь. Галя зарыдала, стала сучить ногами. Пытаясь высвободиться, выгнулась мостиком, но Боря схватил ее за горло и властно прижал к полу. Галя захрипела и вонзила острые ногти ему в плечо.

– Ай! – вскрикнул Боря, отбросил ее руку и приподнявшись, провел серию коротких ударов.

– Сука. Сука. Сука, – мрачно пыхтел он.

Девушка потеряла сознание.

Борис остановился и плюнул в кровавую кашу на лице Гали. Встал, взял бронзового Ильича, и до упора всадил в ее промежность. Статуэтка вошла лишь наполовину. По ляжке сползла тонкая кровавая змейка. Вокруг головы девушки растеклась лужа бурой крови. Волосы спутались и прилипли к синей опухшей щеке. Глаза заплыли. Нос был сворочен в сторону.

Боря поднялся, выдернул Ильича, бережно обтер рукавом и вышел из комнаты.

Всю ночь он бродил вокруг здания, прижав статуэтку к груди. Он плакал и что-то бормотал. С каждым ударом сердце его разрывалось от боли и тоски неразделенной любви.

КОШКИН ДОМ

Рассказ

5.07.05.

Здравствуй, глубокоуважаемый Витя Сонный! Получил твое долгожданное письмо с большим опозданием, но все же санитар Коля Дубина не подвел и доставил твою депешу.

Ты любопытствуешь о судьбе Зубоскала. Спешу ответить, что из второй палаты его перевели неделю назад, обкололи транквилизаторами и отправили к буйным, в шестую. Наш тихоня зубастый вдруг взбунтовал и откусил мочку уха главврачу. Теперь в шестой палате ему будет не сладко.

Место Зубоскала занял новенький. За его дерзкое увлечение (прицельно харкает в мух) мы с ребятами прозвали его Марком Мухобоем. Ну, ничего, я его от этого дела отучу, а то невозможно – вся палата в его плевках...

Ну что я все о своем? Витька, братишка ты мой полоумненький, сомнамбула ты моя ленивая, все ищешь ответное за пределами бытия? Все кромсаешь реальное и прячешься в объятиях Морфея? Опять лечишь израненную душу обидами снов? Как себя чувствует мой кузен? У вас есть горячая вода?

Да, Витька! Чуть не забыл. Я тут замыслил кое-какую авантюру. Разумеется, в целях конспирации, передаю тебе суть шифром. Внимай:

Калики, калики, вечные странники,
Катушки катятся в зоб.
3-2-1, 5-4-12,
Снова прихлопнутый клоп.

Надеюсь, все пройдет успешно. Ловкач и Дрын – в деле. Ну все, пора заканчивать, слышу: кто-то шагает по коридору, возможно Ксюха-Дрянь. Счастливо.

Юра Агитатор.

12. 07. 05

Привет, Юра! Десятого получил твое письмо, но проклятый Морфей истязал меня почти двое суток. Но сегодня я положил его на лопатки и сразу сел за перо. Для начала отвечу на твои вопросы.

Твой братец Шмель снова разобрал свою кровать и теперь спит на голом полу. Он утверждает, что его кровать радиоактивно опасна. Говорит, что у него стала увеличиваться голова и даже начал расти хвост. Горячая вода у нас есть. По субботам – баня. В общем, все как полагается.

Юра, дружище, искать ответное становится все трудней. Морфей хулиганит и все чаще заламывает мне руки за спину. Мне стало тяжело цепляться конечностями за кору повседневной жизни.

Шифрограмму твою разгадал. Желаю удачи! Вот только Ловкача на это дело не подписывай, подставит. А Дрын – парень проверенный. Ему можно доверять. Помнится, в одной палате с

ним лежали, в двенадцатой районной. Много с ним пережили. Бежали вместе, но неудачно; повязали нас.

Юрок, как у тебя обстоят дела с личными трениями превосходства над ортодоксальностью?

У меня две новости:

1. Ты помнишь нашего главврача Семенова? Так вот, его сняли с должности. Поговаривают, что он барыжил медикаментами. На его месте теперь Ирод. И он, Юра, редкая сволочь! На днях приказал санитарам выпороть твоего братишку. Он построил всю палату, чтобы мы смотрели и «мотали на ус». Спросишь, за что? А за то, Юра.

Шмель, вместе со своим корешем Гамлетом, совершили диверсию. Они додумались написать калом на стене туалета: «Сучар в белых халатах – к ответу!». Вычислив виновников, а для этого у Ирода есть свои осведомители, он стал тыкать Гамлета носом в эти художества, а Шмеля отходил резиновым жгутом. Главврач истязал твоего брата и сардонически, даже как-то театрально, хохотал. Хохот стоял на все отделение.

2. Вчера ночью умер наш единомышленник Володька Буддист. Царствие ему небесное, хороший был человек.

Как жить, Юра? Привозят каких-то ненормальных. Достойных, мыслящих людей почти не осталось. Не с кем поделиться планами на будущее и рассказать о природе бытия нашего подневольного.

Кстати, о свободе. Лично я, как выйду отсюда, собираюсь организовать Лунную Церковь. Также я открою святую семинарию имени Морфея Полуночного...

Юра, слезы падают на бумагу, не могу так больше... Я не должен быть здесь, Юра, ты меня понимаешь, друг?

На этой трагичной ноте я кончаю.

Витя Сонный.

P.S. Напиши о новеньком. Как там Зубоскал?

16.07.05.

Привет, мой сонный друг! Твое письмо меня обеспокоило. Ирод – врач новый. Я тут спрашивал о нем – никто ни сном ни духом. Но обещаю что-нибудь нарыть. Кстати, этот ваш Ирод сделал тактический просчет. Пороть моего брата бесполезно. Он только больше озлобится и в следующий раз придумает что-нибудь покруче. Марка Мухобоя я приструнил. Теперь он занимается любимым делом только в коридоре, и только тайком от меня. К примеру, если я отлучаюсь на процедуры или в туалет. Однако надо отдать ему должное: мух в отделении стало значительно меньше. А так, в общем-то, Мухобой – парень неплохой. Называет он себя Истребителем Ненужного Жужжания. Зубоскала колот аминазином. Лежит он по-прежнему с буйными.

Мое Мероприятие в разработке. Следуя твоему совету, я исключил из числа акционеров Ловкача. Спасибо за рекомендацию.

С баней у нас напряженка. В той, что на Куйбышева – ремонт. Раз в две недели нас водят в новую, на Литейке.

Теперь о главном:

Личные трения одержали победу. Ты оказался прав, полагая, что превосходство заслоняет периферию сознания. Близок апофеоз! Друг, мое энергетическое поле на стадии высшей эмуляции. Теперь я надежно огражден от апатии.

Сейчас я настраиваю трафик транспортировки биоэнергии и вскоре перешлю часть тебе.

Крепись, Витя, я верю, ты преодолеешь зависть серого и построишь, наконец, свою Лунную Церковь и семинарию Морфея Полуночного.

Вот тебе несколько советов:

– Дистанцируйся от Морфея. В противном случае ты можешь провалиться в губительный солипсизм.

– Выстраивай лестницу спасения во имя Добра и Справедливости. (Тебе станет легче карабкаться по бытовой коре.)

– Не поддавайся на провокации.

Юра Агитатор.

23.07.05.

Витя, куда ты пропал? Я снова в кризисе. Теперь периферия увеличилась до предела. Образовались огромные пустоты. Я в растерянности, нет сил бороться... Энергии едва хватает, чтобы оставаться на поверхности.

Ты выстроил лестницу спасения во имя Добра и Справедливости? Если нет, то поторопись, ведь скоро Апофеоз.

Юра Агитатор.

27.07.05.

Здравствуй, Юра. Прости, что долго не отвечал. У меня были кое-какие проблемы с лестницей, но об этом позже. Вчера, в ночь на 27 июля, я видел странный сон. Рассказываю:

Я нахожусь в нацистском бункере. В центре бункера – клетка. Я в ней. От яркого света слезятся глаза. Все мое тело в мелких кровоточащих ранах. Руки скованы наручниками за спиной. Мою голову сжимает металлический обруч, приваренный к решетке. Он полностью блокирует движения головы. За стеной раздаются глухие удары и чьи-то стоны. Эсэсовцы укрепляют специальные зажимы (в точности как в «Заводном апельсине») на мои глаза, чтобы я не смог зажмуриться. Я теряю сознание. Но на меня выливают ведро соленой воды. Раны на теле нестерпимо щиплют и зудят. Глаза жжет. Я хочу закричать, но ничего не выходит. У меня нет голоса. Огромные, величиной с кошку, крысы забираются в клетку и начинают обгладывать пальцы моих ног. Однако боли я не чувствую. Напротив, чувствую облегчение. Затем бункер заполняется соляной кислотой. Моё тело с шипением плавится, распространяя невыносимый запах. Крысы визжат и карабкаются вверх по решетке. Потом по углам бункера открываются забрала, и кислота утекает. Теперь у меня нет тела. Осталась одна голова на обруче. Мне легко и весело. Со стороны я наблюдаю, как нелепо висит в клетке моя башка. Я смеюсь. И голова хохочет надо мной. От смеха голова наливается кровью, глаза вываливаются из орбит и падают, отскакивая от пола, словно резиновые мячики. Голова хохочет все громче и громче и вдруг взрывается, разлетаясь на мелкие кусочки.

Вот такой вот сон приснился мне. Если не трудно, попробуй растолковать его.

Вновь возвращаюсь к лестнице спасения.

Минуя все трудности и лишения, мне все-таки удалось привести ее в материальное равновесие. Сейчас я ощущаю легкий подъем по горизонтальной. Но проблема вот в чем.

Я не ощущаю Теплоты Скорого Апофеоза. С Морфеем все сложнее: он подавляет мою волю и не желает подчиниться.

Что касается земного:

Ирод, скотина, изменил распорядок дня! Теперь мне стало тяжело вести переписку с тобой. Приходится изворачиваться, как ужу. А позавчера Копченый ухитрился напоить всю палату мочой, приготовленной, кстати, для анализов. Копченый сказал, что это необходимо для поддержания нормальной температуры тела. Ирод велел поставить ему серотонин. Если бы не проверка сверху, он бы, наверное, четверговал несчастного идиота.

Напиши, как обстоят дела с пустотами. Удалось ли исправить Содеянное? Как с трафиком биоэнергии?

Витя Сонный (Борец за скорейший АПОФЕОЗ).

29.07.05

Получил твое письмо и сразу же сел за перо.

Трафик биоэнергии готов. Ровно через тринадцать часов я запроважу тебя. Пустоты слишком огромные. Для того чтобы исправить Содеянное, нужно время. Опасайся Ирода. Эта редкая падла. Знаешь, как его звали на «Майской»? Люцифер! Не хило, да? Говорят, он там много кому насолил, и его перевели к вам. Он кочует из больницы в больницу. О нем даже легенды ходят. Он эдакий черный эскулап. Короче, держи ухо востро! Он задумал изначальное сверление поверхности.

О твоём сновидении:

Витя, это знак Оберточного Прессования!!! Нечто подобное снилось мне перед ВЫКАЧИВАНИЕМ ИЗ ГЛУБИН ЗЕМНЫХ. Все в порядке. Не переживай.

Я решил, что в моем Мероприятии примет участие Марк Мухобой. Биополе у него подходящее. Парень он хватистый. А в моем деле это важно. Передаю тебе шифровку:

Налажено, сделано, скомкано, смазано.
Спрыснуто, выжжено все!
Сансарой подковано,
В перерождении все!

По поводу теплоты скорого Апофеоза:

Ты почувствуешь ее, когда с подготовкой будет покончено, и я войду в последнюю стадию эмпиризма.

Юра Агитатор.

3.08.05

Юра, здравствуй. С главным никаких сдвигов. Понял твою шифровку. Послушай, ты рискуешь главным.

Ирод затаился. Наверное, готовит новые козни. Получил бандероль биоэнергии. Этого мне хватит надолго. Спасибо. Пламенный привет от Шмея.

Витя Сонный.

5.08.05.

Привет, Витя.

Есть сдвиги с позицией – положительно. Пустоты сузились на 0,376 эфиров! Но есть и печальные вести.

Начальство запланировало постановку спектакля «Кошкин дом». Мне досталась роль козла. Представляешь, брат?! Я должен жевать цветы, скакать как полудурок по сцене и говорить в стихотворной форме всякие глупости. Марку тоже «повезло». Ему дали роль петуха. Юра, эти жалкие одноклеточные хотят сделать из меня посмешище! Скоты! Приматы!

Но их ожидает сюрприз. Мое Мероприятие приходится как раз на дату спектакля. Я устрою этим гадам развеселую жизнь! Прими шифровку:

Витек, ты верь, взойдет она
Звезда космического счастья,
Что превосходство спрянет ото сна,
И на обломках быдловластья
Напишут наши имена!

Юра Агитатор.

6.08.05

Здравствуй, Юра.

Морфей опять хулиганит. На днях мне приснился сон. Я его, наверное, уже и не вспомню. Да и бог с ним. Одно могу сказать: после него мне стало гораздо легче искать ответное за пределами бытия. Юра, я создал автономный портал. Это здорово! Мне больше не придется сражаться за скорейший выход. Теперь я могу без проблем выходить, когда мне заблагорассудится. Прими цифровую шифrogramму:

124, 999876, 00, 124, 86675434 № 090

Напиши о Мероприятии или вышли шифrogramму.

Витя Сонный.

9.08.05

Завтра, Витя! Уже завтра состоится этот идиотский спектакль, а значит, и мое Мероприятие! Морально и физически – в норме. Мой верный оруженосец Марк рвется в бой!

Вот ответная шифrogramма:

Арес поднимет меч разящий.
И Ариадна разматывает нить,
А Дионис вдруг кончит пить,
И взвоят Прометей, в неволе сидящий.

Я рад сообщить, что от пустот не осталось и следа. Можно действовать, и действовать незамедлительно. Скоро увидимся, друг! Скорее разрабатывай Главное!

В больничную палату вошел санитар. На койке сидел лысоватый мужчина в потрепанной серой пижаме и что-то записывал в тетрадь.

– Витя, – протянул мятое письмо санитар, – тут тебе денеша от Мухобоя.

– От кого? – тряхнул головой тот и потер глаза.

– От Мухобоя. Глухой, что ли... Юрка умер. Вчера.

Витя вскочил, выхватил письмо, отбежал к окну, вскрыл конверт и стал читать.

«Здравствуй, Витя Сонный. Пишет тебе друг и соратник Юры Агитатора, Марк Мухобой. Уверен, что ты обо мне наслышан. Вчера, за два часа до спектакля, Юра покончил с собой. По его

распоряжению я выкрал из сестринской упаковку транквилизаторов и скальпель. Поставив меня на шухер, он закрылся в кладовой, проглотил таблетки и вскрыл себе вены на запястье. Я стоял у двери и никого не выпускал, как было велено. Юра оставил для тебя шифровку. Она на обратной стороне листа. С приветом, Истребитель Ненужного Жужжания».

Дрожащими руками Виктор перевернул листок и прочел: «Аварийный выход будет открыт завтра с 4 до 7 утра. Не опаздывай. Юра».

На рассвете, двенадцатого августа, Витя Сонный повесился на собственном полотенце в ванной комнате.

ГРИГОРИЙ ЕРМОЛАЕВ

ГЛУПАЯ ЭЛЬЗА

Рассказ

Эльза была глупой тридцатилетней девочкой. В мире, где персы растерзали Грибоедова, а первый Homo sapiens появился не ранее 200 тыс. лет назад, умом можно пренебречь. Эльза не могла простить Человеку разумному его запоздалого развития, и поэтому всё время танцевала.

Что бы ни случилось, глупая Эльза включала свою маленькую магнитоу и кружилась по комнате. Извивалась своим стройным телом, ноги делали нелепые выпады в разные стороны, руки вторили ногам. В мире, где люди любят убивать и насиловать друг друга, в комнате кружилась маленький, ничего не значащий человек – глупая Эльза.

Эльза начала танцевать, когда пришлось первый раз столкнуться со смертью – лет в 13. Тогда ей казалось, что смерть могла бы и не быть обязательным дополнением жизни, но стала им по воле какого-то неизвестного злоумышленника вселенских масштабов. Не то чтобы она испугалась бледного исхудавшего дедушку, просто подумала, что его больше никогда не будет. Доброго ласкового дедушки, который так часто сажал её себе на колени и рассказывал о прекрасных принцессах и тридевятом царстве. Конечно, не мог же он поведать внучке — своей единственной отраде – о том, как он бы хотел заново прожить жизнь, и прожить совсем по-другому. Эльза тогда поняла, что больше никогда не увидит его добрых глаз, а это значит, что настало время танцевать. И она стала вертеться под музыку. Глупая Эльза.

А потом появился Данила, высокий коренастый красавец Данила. И они танцевали на выпускном. Потому что Данила хотел Эльзу, а Эльза хотела быть с Данилой. Ей и не приходило в голову, что можно так сильно влюбиться и простить миру все прегрешения. С Данилой она провела ночь, первую в жизни Эльзы ночь. А утром Данила сказал, что уезжает поступать в Москву, и что всё было несерьёзно. Эльза просила его остаться, но он уехал. Значит, настало время танцевать. Девушка включила магнитоу громче и стала кривляться, разбрызгивая слёзы по комнате. Глупая Эльза. Пьяная Эльза.

Выяснилось, что последний звонок прозвучал неспроста: нужно было поступать в институт. Считается, что этот шаг делает людей более перспективными. Поэтому лучше его совершить. «С математикой у тебя плохо! – сказал Эльзе отец, безнадежно махнув рукой. – Иди лучше на гуманитарный, или куда душа лежит». Но душа Эльзы уже давно не могла лежать, поэтому она пошла на гуманитарный. В мире, где профессором можно стать за деньги, а наука способна оправдать геноцид, не стоит долго раздумывать о факультете.

На четвертом курсе Эльза познакомилась с Сережей. Сережа был дураком и кандидатом наук. Он много знал, а понимал мало, но был очень заботливым. Эльза пригласила Сережу на чай. Оказалось, что Сережа никогда раньше чаю не пил, и пить его не умеет. Эльзе пришлось включить немецкое кино, где чай очень в ходу, и побледневший Сережа трясущимися руками таки поднёс чашку ко рту. Эльзе Серёжин чай показался слабеньким. Ей грезился Данила, сильный и статный. Она сказала Сереже, что они могли бы остаться хорошими друзьями, но не больше. А Сережа расплакался и ушёл, обвинив Эльзу в бездуховности. Но в мире, где ещё в XIX веке жгли еретиков, а отец наук Аристотель оправдывал рабство, духовностью можно пренебречь. Поэтому настало время танцевать и кружиться по комнате. И она танцевала, пока не выдохлась. Холодная Эльза. Бездушная Эльза.

А ещё Эльза много работала. Она заполняла разные бумажки и раскладывала их по стопкам. В мире, где без бумажки твое место под солнцем становится сомнительным, нет ничего странного в том, чтобы большую часть жизни посвятить бумажкам.

Однажды начальник спросил, хочет ли Эльза возглавить отдел по заполнению и переключиванию бумажек. Эльза подумала, что сможет поехать в Египет, и согласилась. Тогда они поехали к начальнику домой и всю ночь пили чай. А потом шеф захотел чего-нибудь покрепче, и Эльзе пришлось хлебнуть вискаря. Она знала, что начальнику наутро нужно ехать в Москву, и не задавала лишних вопросов. Дома её долго тошнило. Включив магнитола, Эльза танцевала все выходные напролет, разбрасывая по комнате фантики от конфет. Бумажная Эльза. Измятая Эльза.

В Египте было здорово: грело солнце и ласкало море. В мире, где возводят памятники титанам и приносят свои жизни на алтарь химер, так хочется ласки и тепла. Туристов в основном интересовали пирамиды. А Эльзу – солнце и море. Ведь камень всегда остается камнем. А Эльза пока ещё дышала и хотела танцевать. Глупая Эльза.

Эльза часто оборачивала свой взгляд назад, в глубь веков. Там пел пестрый хор разношерстных, мелькающих существ. Эльзу искушала потребность придать этому хору смысл, но ей это было глубоко противно. Самое сильное отвращение вперемежку с презрением вызывала логика, всегда подчинявшая хор, он распевал ее в своих гимнах, запечатлевал на знаменах. В ее непогрешимости хор никогда не сомневался – таков был закон его самосохранения. Эльза испытывала непреодолимое отвращение к тому, что эти поющие существа претендовали на разумность. Если что-то напоминало им о несостоятельности их логики, то они, со столь свойственной для них верхнепалеолитической страстью, упорно не замечали этих напоминаний. Ещё громче орали нелепые гимны, ещё ярче мазали символы на своих знаменах, ещё строже судили тех, кто угрожал безопасности их привычек, строили ещё более высокие статуи своим вождям.

Вождям... без сомнения, справедливым и достойным. Как же иначе?! Эльза знала, что это не может продолжаться вечно, и её глупость непременно станет глупостью всего человечества, вынужденного пересматривать логику своего восприятия и ощущать бессилие перед необходимостью хоть как-то примирить себя с особенностями своего развития. Эльза отказывалась верить во взрослого человека. Она все ещё видела перед собой юное наивное существо, провозгласившее себя разумным....

Постой, Эльза... Не надо... Танцуй, лучше танцуй...

Лучшей подругой была Вика. Она недавно родила сынишку, румяного и здорового. Ему ещё не дано было понять, почему тётя Эльза часто пританцовывает. Вика говорила Эльзе, что смысл жизни – в детях, и ей, то есть Эльзе, нужно скорее рожать, а то будет поздно! А ещё у Вики был муж Женя. Он работал на двух работах, и очень хотел о ком-нибудь заботиться. Ведь когда много работаешь, многого не замечаешь. А Эльза не хотела ребенка, потому что не знала, как объяснить ему ситуацию с Грибоедовым и персами. Да и вообще, не хотела переключивать ответственность за смысл своей глупой жизни на хрупкие детские плечи. Поэтому Эльза нажала кнопку на магнитофоне и стала кружиться. Она делала вид, что берет в руки микрофон и играет на гитаре. В мире, где музыку делают машины, уже неважно, кто поет и играет. А Эльза уже была в барабаны. Странная Эльза. Глупая Эльза.

Как-то поздним вечером, по пути с работы, к ней подошел пьяный старик и очень невежливо попросил денег. Эльза напомнила, что он нетрезв и ему лучше было бы пойти домой. Ведь если его найдут стражи порядка, то не станут церемониться. Старик сказал, что у него нет дома. Тогда Эльза дала ему 500 рублей и палку колбасы. А сама пошла домой – танцевать. В мире, где столь у многих людей нет крова, у Эльзы была однокомнатная хрущёвка. Она думала, что у старика сегодня будет праздник, и танцевала с лёгким сердцем. Добрая Эльза. Наивная Эльза.

В мире, где ещё пару сотен лет назад далеко не все доживали до тридцати, Эльза знала, что она не молодеет. Станные люди, называющие себя психологами, говорят, что к тридцати пяти годам начинается кризис среднего возраста. Но у Эльзы кризиса случиться не могло. Ведь ничего, кроме кризиса, в её жизни никогда не было. И сойти с ума Эльза не боялась. Ведь два раза с ума не сходят. Окружавшие ее люди боялись беспечной жизни, а она боялась целей, лишённых смысла. Смысла же Эльза не замечала, потому что была глупа. В свои тридцать ей оставалось только танцевать. Ведь должен же хоть кто-нибудь в этом мире танцевать.

ТАТЬЯНА КРАСНОВА

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

повесть

Герой нашего времени

– МОЯ жизнь, что хочу, то и делаю, – огрызнулся подросток лет двенадцати, кубарем скатившийся с грузового состава, который внезапно затормозил. Пожилая дама с розовым зонтиком, шедшая по тропинке вдоль железной дороги, всплеснула руками.

– Как это – твоя? А как же поколения, которые передавали по цепочке твою будущую жизнь – начиная с пещерных людей? Ты только представь: они должны были пережить все войны и эпидемии, и голод, и смуты, и татарскую орду. Им было не миновать ни одной эпохи и ни одного исторического катаклизма, раз уж ты родился! Они проявляли чудеса стойкости – и тут тебя потянуло на подвиги!

Пока дама сообщала, что она врач, и рассказывала про отрезанные здесь, на железке, руки-ноги-головы, упавший поднялся, отряхнул драную джинсу и двинулся вперед, не оглядываясь.

– Да что вы время тратите, это же зацепер, они все придурки, – прозвучал еще один голос – громкий и насмешливый.

Подросток обернулся и увидел девицу старшего школьного возраста, рыжую, точнее, оранжевую, как апельсин.

– Дура рыжая, – утвердил он и прибавил шагу. Ответом ему был обидный смех.

– Всего доброго, молодые люди, не ссорьтесь.

Розовый зонтик свернул, а рыжая обогнала попутчика со словами:

– В сторону Белой Горки, к дачам, я правильно иду?

– Неправильно. – И грязный палец указал другое направление.

Обрыв

ГОРА поднималась уступами, словно гигантскими ступенями, которые заросли гигантскими же лиственницами, кленами и ясенями. Было похоже на сильно запущенный парк. Апельсиновая девочка остановилась, переводя дух. Откуда-то сверху раздался голос-колокольчик:

– Можешь вот так постоять? Постой еще немножко, пожалуйста!

– Я только и могу – стоять. Или сидеть. Или упасть и не встать. Это Эльбрус, а не Белая Горка!

– А это и не Эльбрус, и не Белая Горка. Дачи совсем в другой стороне. Здесь городской парк начинается. Ты, наверное, не здешняя?

– Да, ожидала я чудес, только не таких, – мрачно проговорила апельсиновая девочка. – В Белогорске моя мама родилась, я про него сопли-вопли всё детство слушала. Судя по восторгам, здесь должны быть принцессы, феи, эльфы...

Она разглядела среди веток на обрыве фигуру с карандашом в быстро-быстро рисующей руке.

– Поднимайся, посиди со мной на лавочке! Мне твоё лицо нужно. Тебя как зовут?

– Юля. А тебя?

Юля одолела совсем уж крутой подъем и поравнялась с двумя березами, которые росли в обнимку на самом краю.

Под ними сидела принцесса. У нее были огромные голубые глаза и золотистые волосы, кольцами разбросанные по плечам. Если бы собственные Юлины волосы потеряли красноватый оттенок, побледнев до золотистого, а веснушки исчезли, а нос утончился, а рот уменьшился, то и она стала бы похожа... Апельсиновая девочка тряхнула головой и вернулась в реальность.

– Марина, – представилась принцесса, не переставая работать карандашом.

Юля присела рядом, заглянула в рисунок, прочитала на подложенной под него книге название:

– «Поллианна». А, это про рыжую девочку, которая играла в радость? А ты ее и рисуешь? И тут как раз я, тоже рыжая? Но это же детская книжка, я ее в четвертом классе читала.

Марина была как раз принцессного возраста, на вид лет семнадцати.

– А мне двадцать, – уточнила она. – Но захотелось перечитать. Знаешь, как в одном стихе: только детские книги читать, только детские думы лелеять, всё большое надолго развять, из глубокой печали восстать.

– Это из какой же печали? – поинтересовалась Юля бесцеремонно: раз ее используют, заставляя позировать, то чего церемониться. Но художница ответила только:

– Хотела вспомнить, как играть в радость. Воспользоваться способом Поллианны, раз само по себе ничего не радуется. А книжка, видишь – без картинок, и я решила это исправить. Мне до сих пор кажутся несправедливыми две вещи: что у взрослых нет каникул на всё лето и что для них делают книжки без картинок.

– Ты художница?

– Нет.

– Ну, учишься?

– Тоже нет.

Юля вытянула шею, еще раз заглянула в рисунок – выходит очень даже хорошо. Видимо, лицо у нее было недоверчивым, и Марина пояснила:

– Я и в художественную школу не ходила, хотя она тут есть. Мне в детстве вообще не хотелось рисовать. Я любила читать книжки и еще цветы всякие в нашем саду выращивать – там было только моё царство, никто мне не мешал. А потом я увлеклась флористикой: одна знакомая делала картины из цветов и меня научила. Только у меня не хватало терпения. Надо какой-нибудь элемент подобрать из растений, а я возьму и подрисую, так же быстрее. Вот и началось...

– Значит, это хобби, – постановила Юля.

Принцесса погрустнела:

– Ну да. А учусь я на юриста. Папа юрист, и мама была... И мне казалось естественным на юрфак поступать. Папу послушать: не работа – поэма...

– А оказалось, мать какая-нибудь? – спросила Юля без всякого сочувствия.

– Очень скучно, – призналась Марина. – То есть не учиться даже, а на работе. Папа меня в свою контору взял, я сейчас, после сессии, бумажки там перебираю, отношу их из кабинета в кабинет, на компе что-нибудь делаю.

– Так это и есть глубокая печаль? – догадалась Юля.

– Каждый день жду, когда это кончится и начнется настоящая жизнь. А когда подумаю, что ВСЯ жизнь из этого и будет состоять...

– Так бросай.

– Ну, нельзя же так сразу... Я еще только начала...

– Можно, – отрезала апельсиновая девочка. – Или ты там наковыряла какую-нибудь радость? Типа хорошей зарплаты?

– Нет, радость – вот она, – Марина пошевелила свой листок. – Спасибо, что помогла. Ты так вовремя появилась. Прямо из книжки выскочила. Только до Белой Горки отсюда далеко. Что ж тебя никто не встретил? У тебя ведь здесь родственники, наверное?

– Сама дойду, – ответила Юля, поднимаясь и вспоминая гада-зацепера, пославшего ее не в ту сторону. – А родственникам, то есть деду, будет сюрприз.

Витязь в тигровой шкуре

НА ЦВЕТУЩЕЙ поляне под сосной стоял дом со множеством флюгеров на крыше. Юля разглядела флажок с тремя языками, кота с выгнутой спиной, ключ, петушка, дракона и корабль под парусами. Были еще какие-то, но их заслоняли трубы и башенки. Попав внутрь, Юля запуталась во множестве комнат, хотела вернуться к входу, а вместо этого попала на лестницу. Она привела ее на чердак таким образом, что сначала там оказалась голова. Всё пространство было расчерчено солнечными полосами, которые пробивались сквозь некрашенные деревянные стены. Внутри было просторно и совершенно пусто, только покачивалось кресло-качалка, к которому подкатился большой красный мяч, казалось, еще сохранявший движение.

Раздался страшный грохот, и всё развалилось.

Юля разлепила глаза. Сон с домом на поляне она уже видела перед приездом в Белогорск. Дедушкин же садовый домик напоминал конуру кума Тъквы из «Чиполлино». Крошечная комната внизу и помещение под крышей, заваленное старьем, среди которого спала Юля. За окном, поднявшись, она обнаружила кислое серенькое небо.

– На самом деле солнце просто заливает всё вокруг! Оно сияет там, над облаками, в черном космосе! Заметь – всегда! И днем, и ночью! Просто надо его подождать.

Юля оглянулась – дед появился незаметно и перебирал какой-то хлам. Лучше бы наоборот: сначала хлам перебирал потихоньку, а уж потом грохотал – когда она проснется.

– Я тебя разбудил? – тут же догадался он. – Это я ведра расставил, чтобы вода погрелась перед поливом, а потом тачку не глядя покатила, а дорожка каменная...

– Ничего. Мама рассказывала, что ты всегда сконцентрирован на себе и своих великих целях.

– Что, она так и сказала?

– Ну да.

– Вот, хотел показать – наверное, тебе будет интересно...

В руках у деда был альбом с марками. Юля невольно рассмеялась, глядя на ветхие невзрачные бумажки, явно представлявшие для него великую ценность.

– Да, мама рассказывала, что ты и календари собирал, и значки, и монеты, и много всякого хлама.

– Что, она так и говорила?

– Ну да.

Дед убрал альбом.

Юля спустилась на первый этаж, походила по домику, осмотрелась. Летом еще ничего, тепло и птички поют, а какво здесь зимой? Ну, дед же выживает.

Незнакомые звуки окружали со всех сторон. В наукограде кричали петухи и мекали козы. К пению птичек прибавилось шебуршание. Мыши, что ли? Или покрупнее – крысы? Пока Юля перекусывала, неясный шум перемещался, то угихал, то нарастал. Где его источник – под полом, за стенами? Не разобрать. Юля вышла на крыльцо. Может, под крыльцом? Она свесилась через перила маленькой терраски.

Тигр смотрел на нее в упор. Глаза горели желтыми огнями.

Не сразу стало понятно, что домашний васька был в шкуре, выкроенной из большого тигра, с полосками не по размеру, причем одна из них проходила наискосок через морду, придавая устрашающий вид.

Увидев незнакомое существо, кот оторопел. Потом подскочил и бросился прочь. На дорожке, выложенной каменными плитками, загремели ведра, одно за другим. Эффект домино, подумала Юля. А витязь в тигровой шкуре жирноват – зацепил, когда перепрыгивал.

Из сарайчика высунулся дед.

– Юлечка, я очень рад, что ты приехала погостить... Но я должен сказать... Я подрабатываю репетиторством – ну там, алгебра, физика... Летом тоже есть желающие... И как раз сегодня у меня будет урок...

– Не шуметь, да? – перебила Юля. – Поняла уже, ладно. А как же ты уроки-то даешь, если сам сто лет назад учился? Не как Хоттабыч, я надеюсь – Индия находится на самом краю земного диска... Неприятностей потом не бывает?

– Ну, математика не так изменилась, как география, – слегка смешался дед.

Война и мир

СТРАННО – источник исчез, а шум остался. Юля отчетливо его слышала. Можно спросить у деда, но она предпочла походить по новому для себя пространству и прислушаться. Дошла до кустов малины, заменявших забор...

Вчерашний зацепер смотрел на нее в упор, оторопев совсем как кот. Вид у него сегодня чистенький и домашний, но не узнать нельзя. Из-за него она два часа бегала вверх-вниз по горам.

Юля, раздвинув кусты, вмиг оказалась на территории обидчика – без вступлений и риторических вопросов.

– Ах ты, мелкий гад! Башку откручу!

Мальчишка отпрянул.

– Не бойся, – пообещала апельсиновая девочка, – я с мелкими гадами прекрасно справляюсь. У меня братец такой же, как ты.

Осознав, что его хватают за шиворот, мальчишка бросился бежать. Юля гналась за ним через весь его садовый участок. У противника было преимущество – знание местности, и она сразу поняла, что он уводит ее от своего дома с родителями, где могли начаться всякие выяснения обстоятельств и всплыло бы его дурацкое паровозное хобби.

Они пронеслись по заброшенной даче, где ничего не стоило перескочить через поваленный забор, потом помчались через дачу пустую, незастроенную и незасаженную, где забора не было вообще. Зацепер петлял, стараясь, чтобы Юле под ноги попадались скамейки, бочки, ямы, кучи мусора – но она и вправду прекрасно со всем справлялась.

Наконец они вылетели на обширный пустырь, выложенный бетонными плитами, которые растрескались, заросли бурьяном и были щедро усыпаны битым стеклом. Повсюду торчала арматура. Чернел открытый люк канализации. На краю ржавая вышка: лесенки со скошенными ступенями, погнутые перила, проваленные деревянные площадки. Этажа три высотой.

Мальчишка резко затормозил – и забыл о погоне, словно переместился во времени и никакой Юли за его плечом уже не нависало. Юля тоже остановилась.

На вышке, на нижней площадке, сидел эльф.

Острый подбородок упирался в острые колени, обнятые хрупкими ручками. Прозрачные печальные глаза смотрели из-под челки, как из зарослей – и тут же переменили цвет на радостно-зеленый.

– Егор! Привет. Как ты вырос. Я не сразу тебя узнала.

– А я сразу! Таня! Ты что тут делаешь?

Юля перевела взгляд на Егора – и тоже не узнала его. Мерзкий мальчишка вдруг сделался таким красивым, с такими тонкими чертами лица, с бездонными глазами.

– Тут хорошо, тихо, никогда никого нет. – Таня неопределенно повела вокруг своей прозрачной рукой и вдруг, улыбнувшись Юле, спросила: – За вами кто-то гонится?

Егор покраснел до самых пяток.

– Пробежались малость для разминки. – Юля удивилась собственному великодушию.

Егор, метнув на нее быстрый взгляд, ненатуральным голосом продолжил:

– Здесь когда-то была площадка клуба юных десантников. Мама рассказывала. С этой вышки они прыгали с учебными парашютами. А еще тут настоящие самолеты стояли, большой и маленький. Когда началась перестройка, их украли, всё теперь заброшено, и клуба нет.

– Вот оно что! – оживилась Таня. – Значит, в этом месте бывало много смелых людей. Это чувствуется! Поэтому тут хорошо.

– Думаешь, можно зарядиться чужой смелостью? – удивилась Юля.

– А ты давно в Белогорске? – одновременно спрашивал Егор, и Таня ответила мальчишке:

– С конца мая. Мама боялась, что вдруг начнется аномальная жара, как прошлым летом, и позапрошлым, и в Москве нечем будет дышать – и сняла здесь дачу. На всё время, пока я сдавала ГИА. А жары никакой, дожди заливают.

– И я здесь на даче, у бабушки и деда! – радовался Егор. – Может, мы недалеко друг от друга? А ты еще не уезжаешь? Еще здесь поживешь?

– Ты тоже окончила девятый? – оживилась Юля, успевшая забраться на вторую площадку вышки. – Сколько баллов по русскому? А по математике? А что еще сдавала? Я – физику и информатику.

Теперь Таня отвечала уже ей, поинтересовавшись:

– Ты там как? У меня бы сразу голова закружилась.

– А меня вдохновляет смелость крутых парней! – хохотала Юля, балансируя на краю с раскинутыми руками.

Вся вышка была изрисована и исписана. Патриотичные надписи вроде «Слава ВДВ» перемежались с нецензурными, с любовными признаниями и множеством имен и прозвищ. Над самой головой нависали гигантские буквы: NikVer.

Егорка, поняв, что Юля уже не будет его ни казнить, ни позорить, расслабился и завладел Таниным ноутбуком:

– «Макбук Эйр»! Круто! Тот самый, да? Обновленный, сверхтонкий!

Дом с мезонином

КОМНАТ на втором этаже было несколько, и Таня неслышно переходила из одной в другую. Пустота, мебели – никакой, ободранные старые обои, на одном подоконнике – цветочный горшок без цветка. За окнами качаются ветки высоких древних яблонь без яблок.

Таня прислушалась – точнее, отключила все источники восприятия, кроме слуха. Сначала в уши врываются звуки улицы: голоса машин, людей и собак, велосипедный звонок, пение птиц – множества разных птиц – благозвучное и не очень. Потом начали проступать голоса самого дома. Скрипы, шорохи, щелчки, идущие непонятно откуда, – сколько же их! Какие-то вздохи, воздушные волны... Еще немного – и зазвучали смех и разговор играющих детей, потом их шум и плач. Похоже, в этой комнате жила не тихая и одинокая старушка.

Таня заметила еще одну дверь, оклеенную обоями и слившуюся со стеной. А за ней, в чуланчике, обнаружили сказочные богатства: несколько кукол, велосипедное колесо, конь на колесах, хвост этого коня. На полках лежали коробки с елочными игрушками и настольными играми. Конечно, здесь жили дети! То ли игрушки подтверждали голоса из прошлого, то ли голоса подтверждали игрушки – Таня повеселела, приставила коню хвост и еще раз прошла по пустынным комнатам.

Здесь хотелось покружиться под негромкую музыку. У них дома тоже есть комната, куда редко заходят и где можно протанцевать все свои мысли, сны и события дня, чтобы они до конца проявились. Таня посмотрела на плеер. Может, включить совсем-совсем тихо?

Но с первыми же звуками на лестнице послышались шаги. Таня быстро нажала на кнопку, но было поздно.

– Вот ты где. – Мама, как обычно, выглядела озабоченной и недовольной. – Ты не забыла, что сегодня урок?

– Как урок? Экзамены же кончились, – удивилась Таня. – Я же всё сдала.

– Но я договорилась с Юрием Георгиевичем! Тебе нужно подтянуть алгебру!

Таня молчала.

– Нам просто повезло, что мы его здесь откопали! Ты должна осознавать, какого уровня это специалист! Это же историческая личность! Всё равно что сам Пифагор тебе бы таблицу умножения объяснял!

Таня молчала.

– Он на синхрофазотроне работал – ты ведь представляешь, что это коллайдер того времени! Тебе это что, неинтересно?

Таня молчала.

– Вижу, что неинтересно, – обреченно проговорила мама. – А что тебе интересно? У тебя же пустота в голове. – Она подняла и разбудила спящий Танин ноут. – Господи, а это еще что? Кладбища... готы какие-то. Что еще за чушь?!

– Жизнь и смерть – это чушь? – наконец разлепила губы Таня.

– В твоём возрасте, в виде этой вот дребедени – да! Я прекрасно понимаю, что всё это – от элементарного безделья. И что я сама виновата, предоставив тебе слишком много свободы. Но настала пора тобой заняться, пусть даже в ущерб делам!

– По-твоему, я элементарная частица и мне нужен ускоритель?

– Вот именно! А умничать уместнее было бы в школе, а не с несчастной мамой, которая жертвует для тебя всем! Даже сюда согласилась приехать, потому что тебе здесь нравится! Думала, ты взбодрись, дела успешнее пойдут. Не забудь про урок!

В несчастной маме было столько энергии, что хватило бы на запуск и коллайдера, и синхрофазотрона.

Таня, сползая по перилам, оглянулась. Из приоткрытой двери чулана выкатился большой красный мяч и нерешительно замер посреди пустой комнаты.

Бахчисарайский фонтан

ПО ДОРОЖКЕ вдоль забора прошла дама с розовым зонтиком. Узнала Юлю, кивнула. Та помахала рукой в ответ и подумала, что здесь уже есть с кем поздороваться. Потом оказалось, что дед решил, будто она общается с ним, и давно уже что-то говорит. Кажется, о том, как она похожа на маму.

– ...Вас еще и зовут одинаково...

– Вовсе нет. Дома меня называют Ю-2. – Юля привычно уже прислушалась – но сегодня нигде ничего не шуршало. Дед, естественно, не врубился:

– Ю-2? А почему?

– Ну, ты же сам сказал, что я – модификация мамы. Значит, мой номер – следующий по порядку.

– По этой логике Ю-1 должен бы быть я, – задумался дед, но Юля не стала подсказывать, что по этой логике его вычеркнули. Кажется, он догадался сам и поинтересовался: – А ты звонишь маме? Или она тебе?

– Нет, – ответила Юля спокойно и, глядя, как подскочили у деда очки и брови, так же спокойно и серьезно спросила: – А ты звонил пятнадцать лет назад, когда все уже переехали из Белогорска, а ты остался продавать дачу, а потом решил не продавать и не уезжать?

– А... а родители хотя бы знают, что ты здесь? – начал заикаться дед. – Я думал, что это у вас согласовано...

– Это не было согласовано, – честно ответила Юля. – Но я перед отъездом написала им эсэмэску. И уже отсюда – еще одну, что доехала благополучно. Если бы родители захотели меня вернуть, они бы давно это сделали. И если мама не звонит, значит, просто не хочет. – И великодушно добавила: – Могу дать тебе мамин телефон – позвонить, пожаловаться. Тем более, пятнадцать лет не общались – и вот повод.

– Но я не собираюсь жаловаться! Я очень рад, что ты приехала в гости! Мне бы просто не хотелось никаких неприятностей, прежде всего для тебя...

– А я не в гости. – Юля смотрела на него еще более серьезно и внимательно. – Вообще-то я насовсем. Но лучше мне пойти пройтись – сейчас ведь твоя дурочка припрется на урок.

Чужие дачи большие напоминали особняки и терема. Или это уже не дачи, а город? На одном из дворцов, мимо которых шла Юля, красовался флюгер – золотой кораблик. Под парусами. Неужели из сна? С крыльца помахала рукой Марина – та самая, НЕхудожница. Юля ответила, еще раз подумав, что уже есть с кем поздороваться в этом Белогорске. Осведомилась:

– Как Поллианна?

– Я добралась до продолжения. Ты читала «Поллианна вырастает»?

– Да. Там всё испортили любовью. – И пояснила, увидев растерянное лицо: – Тебе не кажется, что значение любви вообще сильно преувеличено?

Пока Марина думала, что ответить, Юля пошла дальше. Побродив по улицам, притормозила у фонтана с большой рыбой посередине. Из разинутой пасти били струи воды, превращаясь в прозрачный купол, накрывавший и рыбину, и каменную чашу. А на ее краю сидел вчерашний эльф, то есть Таня, высматривая что-то под этим куполом. Юля тоже пригляделась, увидела монетки на дне, а еще вездесущие надписи – на рыбе и ее постаменте. «NikVer», – крупно было выведено перед самым носом. «Что-то знакомое», – отметила Юля и подошла поздороваться.

ЛЮБЫЕ превращения происходили здесь легко. Можно было дать глазам задание видеть только белый цвет – и отовсюду начинали выскакивать ромашки, пушистые одуванчики, кисти белой кашки, душистые медовые зонты, мелкие белые цветочки без названия, а еще бумажки, камешки, обломки кирпича – всё, только что невидимое и незамечаемое, утопавшее в зелени. Оставалось поражаться, сколько вокруг белого. То же самое происходило с желтым, синим, красным и розовым.

Таня сидела на нижнем ярусе парашютной вышки, включая и выключая зрение.

Пустырь только казался пустым. Если поиграть со слухом, то это место оказывалось переполнено звуками, начиная со всевозможных насекомых и продолжая почти неразличимыми гудками машин, стрекотом электрички, тающим гулом самолета, далекой музыкой, ударами невидимого молотка – но стоило суперслуху отключиться, как всё это тут же сливалось в привычную лжепишину.

Заколдованно-расколдованное царство затягивало в себя, но Белогорск, которого она почти еще не видела, тоже тянул – и перетягивал. Таня быстро прошла две улицы, на которых раньше уже была, и задержалась у подступавшего озера. Над водой нависла плакучая береза, образуя шатер из длинных ветвей, и пространство внутри него казалось особенным. Оно обещало какую-то разгадку или ответ на какой-то вопрос – но раз за разом, как Таня ни всматривалось, ничего не выдавало. Попасть же в само это пространство было невозможно, если только не зависнуть на почти вертикальном склоне или не плюхнуться в озеро.

Там, где начинался настоящий город с многоэтажными домами, обычно хватало времени только дойти до маленькой площади или сквера с фонтаном в виде рыбы, стоящей на хвосте. В куполе воды почудилось что-то знакомое. Таня присела на край каменной чаши – под куполом было такое же точно пространство, как внутри шатра из березы – недоступное и содержащее нечто важное. И что с ним делать, непонятно. Таня пробовала изменять взгляд на прицельный и на размытый – но только увидела на противоположном краю фонтана яркую спортивную девочку, знакомую Егора. Та ее тоже узнала.

– НЕ НАУКОГРАД, – поделилась Юля, – а деревня. Какой-то Понивиль¹. Вот только здесь нормальные городские дома начались.

– Ты заметила, что у Белогорска нет ни начала, ни конца? – чему-то обрадовалась Таня. – Три года назад я отдыхала в лесном отеле, и Белогорск оттуда выглядел далеким волшебным городом. Я всё хотела специально приехать, чтобы войти в него...

– Вот и я специально приехала, – скривилась Юля. – Тоже навоображала... Даже сны видела... А всё – не такое.

– А какие сны?

Таня так смотрела, будто именно это стоило внимания, и Юля навспоминала что-то о снах, о флюгерах на красной крыше, повторив, что всё оказалось совсем не таким.

– А мне представлялась калитка, – призналась Таня, – сквозная, из тонких металлических завитушек, как будто кружевная. Она распахивалась – и я оказывалась в своем волшебном городе... Я тут несколько улиц обошла, со множеством ворот и калиток. Есть какие уютно, а такой нет. Дачные улицы перетекают в городские, и нет никакого начала, нет ВХОДА. Если ты не в лесу, считай, ты уже в Белогорске. А вот то, о чем ты говоришь, я, кажется, видела.

От сквера с фонтаном лучами расходились несколько улиц. Таня выбрала один луч и скоро остановилась у дома с красной крышей. На подвижной стреле крутился металлический кот: спина выгнута, хвост трубой. Юля вспомнила уже найденный кораблик, обрадовалась:

– Еще один флюгер! Да, очень похоже! Выходит, всё не так уныло. Побродим еще!

– А как у тебя со свободой передвижения? – осторожно спросила Таня.

– Да нормально. У меня здесь только дед, он – Хемуль.

– Кто-кто?

– Ну, в историях о муми-троллях есть такой зверек – хемуль. Безвредный чудаковитый – ходит бродит, собирает марки или насекомых. Так что можем гулять до утра.

¹ Понивиль – тихий зеленый городок в фэнтезийной стране Эквестрии, населенной разумными пони, из анимационного сериала «Дружба – это чудо» (англ. *My Little Pony: Friendship Is Magic*).

– Не можем, – медленно покачала Таня головой и словно спряталась под свою челку. – Понимаешь, я выросла с нянями и домработницами – родители бизнесом занимались. Никто ко мне не лез никогда. И вдруг мама бросилась на воспитание. Вывезла меня на эту дачу, ходит по пятам, всегда всем недовольна. Просто не знаю, что с этим делать. Немного свободы образуется только после урока – я возвращаюсь не сразу, брожу где-нибудь, как сейчас...

– После урока? – переспросила Юля. – После какого урока?

– Ну, я хожу к репетитору. Так мама хочет. Меня учит математике сам Пифагор.

Спать хочется

ДАМА с розовым зонтиком шла не прогулочным, а торопливым шагом.

– А вы сегодня позже, чем обычно, – прокомментировала Юля из-за забора.

– Опаздываю! Начнется через четыре минуты!

– Что начнется?

– Да итальянский же! Урок по телевизору! всю жизнь мечтала выучить этот язык! – не сбавляя скорости, проговорила дама.

– Вот это да! – Юля поискала взглядом деда. – И эта – на урок! Итальянский! Обалдеть! Я думала, ТАКИЕ только мыльные серики смотрят.

– Ну, не такая уж она и старая, – слегка обиделся дед. – В нашем возрасте как раз полезно усваивать новую информацию: учить стихи, запоминать иностранные слова. В Доме культуры, я слышал, даже университет для пожилых открылся. Там есть лекции о здоровье, о садово-огородных делах, компьютерные курсы...

– А ты туда ходишь?

– Я? Нет.

– А что тогда об этом говорить?

Юля устроилась на веранде, собираясь перехватить Таню сразу после урока. Из открытого окна доносились математические монологи Пифагора. Голоса новой подружки было не слышать. Вспомнилась детская книжка с картинками: орел выклевывает Прометею печень, а тот страдальчески терпит. Когда дед удалился, предложив ученице решить что-то самостоятельно, Юля через окно заглянула в комнату:

– Ну что?

Таня пожалала плечами:

– Ничего. Тупо, как всегда. Засыпаю. Сейчас он вернется, сам решит и начнет объяснять по новой.

Юля посмотрела на уравнение. Таня беспокойно оглянулась на дверь и зашептала:

– Ну, будет опять $икс$ равен нулю. Я понимаю, ЧТО для этого нужно проделать, но только пока мне объясняют – и сразу же забываю. Я не понимаю, ЗАЧЕМ это нужно. Зачем всё упрощать и что-то к чему-то приравнять. Зачем сводить к нулю.

– Затем, – объяснила Юля, быстро записывая в столбик решение, – чтобы всё это закончилось, и мы пошли гулять.

– А ДЕЛО-ТО идет на лад! – похвалился дед, проводив ученицу. – Совершенно правильно всё решила, а какая слабенькая вначале была! Мне даже казалось, что она просто сидит и ждет, когда урок кончится – неловко было деньги брать у ее матушки...

Юля раскрыла учебник по алгебре. На первой странице крупно подписано: NikBer.

– Это Таня оставила?

– Это? Да нет, у меня куча старых книжек, от бывших учеников.

– А эта чья?

– А я и не помню.

ЮЛЯ побежала догонять Таню и наткнулась на плачущего ребенка в комбинезончике – непонятно, мальчика или девочку.

– Фусси! Фуська! Фусенька! – зывало дитя непонятно к кому.

– Ты что, потерялся? – притормозила Юля.

– Нет, это Фуська потерялся! Я его ищу!

Ни кошек, ни собак поблизости не было видно, и Юля помчалась дальше.

Муму

– Я, НАВЕРНО, сама виновата, – оправдывалась Таня, когда они вместе зашагали по длинной дачной улице. – Я, наверно, не умею учиться. Когда я была маленькая, к старшей сестре ходили разные учителя, а я сидела в ее комнате, или в соседней, играла и всё слышала. И потом

получалось, что я всё уже знаю, и читать умею, и писать, и английский... А еще я любила потихоньку копаться в ее книжках и учебниках, когда ее дома не было, и читала всё наперед, и из взрослых шкафов книги таскала. А в школе потом сидела и ждала, когда всё кончится. Было неинтересно – ничего нового. Но если начинали объяснять что-то незнакомое, я ничего не понимала – мне, чтобы понять, надо куда-нибудь спрятаться и получить знание как будто через щелку, или самой где-нибудь откопать, тогда оно станет моим. А если его передают напрямую, то это как кувалдой по голове, и чем больше напрягаешься, тем меньше толку.

– А по-моему, напрямую – как раз проще.

– Ну вот видишь, – развела руками Таня, – я и говорю, что не умею учиться, особенно при всех. Бывают люди, которые есть при всех не могут, для них это слишком интимный процесс.

– А может, тебе просто математика на фиг не нужна? – предположила Юля.

– Мне очень много чего не нужно, – призналась Таня, – даже страшно становится. Родители отдавали меня в разные престижные школы – в школу благородных девиц, например. В ней я возненавидела рукоделия и музыку. В школе с оздоровительным уклоном – физкультуру. Математика – само собой, я везде ее ненавидела. Более менее было в английской школе... А что мне нужно – я не знаю. Я люблю просто сидеть и мечтать. Но мне же никто не позволит этим заниматься.

– Почему? – возразила Юля. – Если тебе так надо, никого не спрашивай – сиди и занимайся.

Таня засмеялась. Юля хотела было пояснить, что не шутит, как им обоим пришлось отскочить к забору: в облаке пыли пронеслись два квадроцикла, унося с собой хохот веселой компании.

– Придурки, – проворчала Юля. – Смотри, а вон там – городок гномов!

Они свернули на улицу, где слева и справа стояли маленькие, как игрушечные, совершенно одинаковые коттеджики.

– Улица Научная, – прочитала Таня надпись на табличке. – Наверное, это и есть твой наукоград.

Квадроциклы опять проревели, обгоняя их, только на этот раз один затормозил, и Егор прокричал оттуда:

– Таня, привет! – как будто Юли рядом не было.

Юля тут же осведомилась, где его паровоз и почему он сегодня на нем не катается. Мальчишка скорчил рожу и врубил песню: «В стрёмных телках море позитива!» Его приятель начал усиленно приглашать девочек в свою повозку, хотя все места были заняты. Таня ограничилась тем, что поздоровалась с Егором, Юля же прокомментировала его музыкальный вкус и посоветовала купить прицеп.

– Или ты не против была прокатиться? – уточнила она, когда компания умчалась с ветерком. Оставив позади игрушечные домики, они оказались перед аркой, за которой высились деревья. Конечно, это парк. Аллеи с цветниками расходились веером и исчезали в зеленом море. Таня замотала головой:

– Нет, меня бы это напрягало. Я бы не знала, о чем с ними разговаривать. Вот моя сестра – светский человек и получает от всего этого удовольствие. Она старше на пять лет. Когда я пошла в школу, ей было уже двенадцать. Мне этот возраст казался магическим. Казалось, как только и мне исполнится двенадцать, я стану такой же, как она – популярной, общительной, пойму, в чем радость жизни. Вообще превращусь в другого человека. Пойдем в этот парк?

– Пойдем. И как, не превратилась?

– Не превратилась. Уже и тринадцать исполнилось, и четырнадцать. Я, наверно, много ерунды наговорила, – добавила Таня, – потому что не умею с людьми разговаривать. Я обо всем этом, вообще-то, обычно молчу. В моих школах принято говорить только о шмотках и о мальчишках...

– Это не только в твоих, – заверила Юля. – Нормально ты разговариваешь, расслабься. А мальчишки что? Они у тебя хоть были?

Аллея неожиданно закончилась, подведя их к высоченному обрыву с остатками смотровой площадки. Кудрявые вершины деревьев спускались к озеру. А вот и двойная береза, увешанная ленточками, и скамейка под ней. Юля узнала место встречи с НЕхудожницей.

– Нет, не было. Я понимаю, это может показаться ненормальным, – говорила Таня, отойдя подальше от края. – Но я живу в замкнутом мире. Меня обычно возят, родители или домашний шофер – в школу, из школы. А всё остальное время я дома. Там я сама по себе и занимаюсь чем угодно, но никуда не выхожу, потому что пока не вожу машину. А из коттеджного поселка иначе не выберешься. Сейчас мы переехали в Москву, но это мало что меняет.

– Ты что, просто по улицам никогда не ходишь? – изумилась Юля.

– Ну да, мама только здесь расслабилась, потому что репетитор в двух шагах от дома. Теперь ты понимаешь, почему я люблю бродить по Белогорску? Такое необычное ощущение себя в пространстве... Какая же тут может быть личная жизнь? А у тебя она есть?

– Нет, – созналась Юля. – Я пробовала встречаться с одним парнем, просто потому что все девчонки уже с кем-то встречаются. Типа, если у тебя никого нет, значит, ты никому не нужна. Ну, а потом узнала, что он провожает меня и идет еще к кому-то. Параллельщик такой. Я сказала, чтобы он это прекратил – или пусть отваливает.

– И что?

– Отвалил. Мне такая муть не нужна, даже для галочки. А с одноклассниками ты что, не общаешься?

– Когда была помладше, меня возили на всякие дни рождения...

– ...и ты там ждала, когда всё кончится? – со смехом подхватила Юля.

– В общем, да. А потом же я в благородных девицах пробыла несколько лет, там мальчиков вообще не было. Но ты не думай, меня это не особо напрягает. Напрягает, когда на тебя начинают смотреть, как эти мальчишки с квадроцикла, как будто твои руки-ноги – это и есть ты.

Юля критично оглядела ее:

– Нормальные у тебя руки-ноги, еще получше, чем у других.

– Ну, ты же понимаешь, о чем я. Мы один раз с сестрой гадали с зеркалом, там должен был кто-то появиться. И вот после этого у меня долго оставалось странное ощущение, когда я подходила к зеркалам. Вдруг я туда посмотрю, а там окажусь – *не я*. И в мужских взглядах примерно то же самое – я вижу, что они видят не меня, а что-то другое...

– А у меня ощущение, что на нас вот сейчас смотрят. Тебе не кажется, что рядом кто-то есть? – насторожилась Юля. – Как будто ходит вокруг, ветками хрустит.

– Гуляет кто-нибудь. Тут же парк.

– Я и на даче все время что-то слышу непонятное. Наверно, это чужой мир со своими звуками, никак не привыкну... Вот, опять ветки трещат! А может, спустимся к озеру? У тебя же еще есть время? Да не бойся! Давай руку, я подстрахую. Не так уж тут и высоко.

Внизу они набрали на живописный маленький водопад – ручей впадал в озеро, спрыгивая с высокой ступеньки.

– Гляди, что-то плавает, – заметила Юля.

– Деревяшка?

– Нет, оно живое. Смотри, голова! Может, водяная крыса? Дед говорил, их в озере полно. Они норы по берегам роют, а народ их отлавливает на шапки и воротники.

– Это не крыса. Крыса бы плыла, а это кто-то... тонет! Смотри, как его крутит течением! – И Таня, сорвавшись с места – Юля даже подумала, что она упала, – кинулась к воде, и в следующую секунду оказалась прямо в озере, как была – в одежде, в кроссовках. Откуда-то сзади раздался вопль:

– Таня! Стой! Там глубоко! – и оторопевшая Юля увидела в воде уже двоих: Егорка, появившийся откуда ни возьмись, спешил к ее новой подруге, поднимая брызги до небес, и вопил: – Осторожно! Там водоворот! Хватайся за меня!

Но Таня, держа что-то обеими руками, пробиралась на сушу. Юля по очереди подала руку ей, потом Егорке – берег был высокий и скользкий, глинистый, без посторонней помощи не влезешь.

– Ну, ты даешь! – восхитилась она. – Вот это реакция! Кто там у тебя? – Она всмотрелась в маленькое, дрожащее, вымокшее существо и засмеялась: – Муму!

Это и правда был щенок. Таня, промокшая до пояса, быстро сунула его себе за пазуху, где было еще сухо.

– Сейчас он... она... оно... согреется.

– Откуда он взялся? Может, кто-то топил щенков? Или он сам в воду свалился? – предположил Егор. – Это хорошо, что ты кроссовки не сняла. Там дно плохое, со стеклами, корягами.

Темные аллеи

УТРО прошло не напрасно: хотя бы один элемент наукограда был, наконец, найден. Но стоило Юле отойти на шаг от величественного старинного здания НИИ, как она неожиданно оказалась в парке. Опять зеленое море, снова аллеи и клумбы... В Белогорске куда ни пойдешь, тебя заглатывает этот лабиринт! Зато хотя бы понятно, в какой стороне дом.

Но вскоре обнаружилось, что аллеи только кажутся теми же самыми, по которым они с Таней проходили вчера. Вот этих резных деревянных богатырей не было. И странных деревьев, превращенных в живые арки, тоже...

– Они согнулись зимой после ледяного дождя и, кажется, никогда не станут прежними, – пояснила Марина, выходя из-под веток.

– Живые – и ладно, – отозвалась Юля. – А мне казалось, когда в том году, в жару, все листья облетели и деревья летом стали лысыми, что они умерли навсегда. И придется жить в мире без деревьев. А они сильнее, чем кажется, – снова всё зеленое... Ну, как твои картинки к книжке?

Марина только махнула рукой, Юля догадалась:

– А, опять глубокая печаль? Ну, я пойду.

– Если к дачам, то тебе опять в другую сторону.

Юля пнула с досады камешек:

– Городишко – два шага, а без карты или навигатора никак! Куда ни поверну – всё не туда!

– Карта? – удивилась Марина, и Юля, присмотревшись, увидела, что у нее в руках не книжка, не листки с рисунками, а именно карта. Вытянула шею – там представал Белогорск во всех подробностях.

Огромное зеленое пятно изображало не что иное, как парк, и Юля тут же нашла точку, где они сейчас стоят, потому что чьей-то рукой очень похоже были подрисованы столбики-богатыри. В нужном месте нарисовали и двойную березу в ленточках, а впадение ручья в озеро, где Таня вчера выловила собачку, отметили надписью «Водопад».

– Супер! – восхитилась Юля. – Можно еще посмотреть?

Глаза разбегались. Пометки «Дом с привидениями» и «Старая пушка» обозначали достопримечательности, которые сразу хотелось увидеть. За пределами города значились не менее заманчивые «Черный камень», «Пещера», «Дерево желаний», «Старый причал», «Новый причал». Это была не обычная карта, которую можно купить в любом ларьке с газетами, а усовершенствованная – именно то, что нужно им с Таней!

– Слушай, дай мне ее! – не выдержала Юля. – Ненадолго! Мы с подружкой не местные, ходим, без толку время теряем. А здесь, оказывается, столько интересного!

Марина колебалась:

– Карта вообще-то не моя...

– Да тебе она зачем – ты, наверно, всё и так здесь знаешь! – горячо убеждала Юля.

– Это мой молодой человек мне оставил, – выговорила наконец Марина. – Я сейчас ходила по нашим с ним местам, вспоминала...

– А где он? – сбавила Юля напор. – С ним что?

– Всё нормально, надеюсь. Он в армии. Он всегда был таким – ходящим новыми путями. Следопыт. Он и карту эту составил, с кучей разных мест, только ему известных. Вот смотри: на озере нанесены острова, которых нет на официальной карте. Камышовый, Утиный, остров Чаек. Это он ходил открывать новые земли – и открывал. Лицо земли ведь постоянно меняется – осенью одно, весной уже другое. Глядишь, после паводка тут полуостров намыло, там островок отрезало... Он в МГУ начал учиться на биофаке, у него дедушка был академик, проблем – никаких. Но он их сам себе создал: забил на учебу, начал работать в турфирме, возить группы в экзотические страны. Все после перелетов становилось выжатыми лимонами, один он кайф ловил. Любил летать. Потом с учебы вылетел – и отправился Отечеству служить. Сам причем побежал – как же, новое приключение, ружье дадут, побегать, пострелять.

– И где теперь твой следопыт?

– В разведке.

– Далекое?

– Далекое.

– Так глубокая печаль – не из-за юридической конторы, – заключила Юля.

– Юридическая контора меня доконала! Словно железный колпак на голове, и я из-за него не вижу ни неба, ни простора вокруг, даже собственных мыслей и желаний.

– Лезь из-под колпака, – потребовала Юля. – Следопыт вернется, никуда не денется, а с колпаком ты сама должна справиться. Не думаю, чтобы люди были слабее деревьев. Мы с ними на одной земле растем.

– Да я пытаюсь, изо всех сил! Я же знаю, что нормальное состояние человека – это радость, и пробую во всем ее искать. Вот хожу с картой и ищущу. Есть еще один способ: придумать, чем бы я занималась, если бы железного колпака не было, – и заниматься. Я тогда сажусь и рисую. Но этого ненадолго хватает.

– Значит, найди что-то посущественней. Бросай своих юристов и иди туда, где нужны картинки к книжкам. Ищи своих.

– Как Никола, что ли? – усмехнулась Марина. – Взять и всё бросить – учебу, работу?

– Ну да. Начинай летать.

– Всё с начала – в двадцать лет? Чтобы профессионально рисовать, надо с детства учиться... Хотя у меня как раз словно бы детство вернулось. Мы с Николой в восьмом классе познакомились и с тех пор всегда были вместе, я уж и забыла себя без него. И вот он исчез – и мне как

будто снова четырнадцать. Абсолютно так же себя чувствую. И знакомых соответственно завожу, – она первый раз улыбнулась. – Ладно, бери карту. Другой такой и правда не найдешь. Не потеряй только!

– Не потеряю, не испорчу, не испачкаю! – поклялась Юля. – А это тебе в залог. И ты не потеряй.

Теперь Марина не верила глазам. На протянутой ладони лежал солдатик – серенький, металлический, в каске и с ружьем. Старинный – таких она видела на детских фотографиях папы.

– Твой талисман?

– Мой страж. Мы с ним тоже никогда еще не расставались.

Марина положила солдатика в карман.

Юля аккуратно свернула карту. Вдруг на полях мелькнула уже знакомая надпись: NikVer.

– А это что? Что это значит?

– Имя владельца – Николай Берестов. Когда мы познакомились, он именовался Ник, позже стал Никола – я разве не сказала?

Юля взглянула на часы – до конца Таниного урока далеко. Еще раз раскрыла карту и ткнула наугад. Палец угодил в квадратик с обозначением «Гимназия».

Мои университеты

ВОЗЛЕ Таниного дома торчал Егор.

– Опять ты! Вчера за нами через парк крался, а сегодня чего здесь забыл?

– Не видишь – у меня Муму! – независимо ответил мальчишка.

Собачонка и правда сидела у него на руках. Сухая, она оказалась шоколадной, шелковистой и глазастенькой.

– Он согласился Моську понянчить, пока я на уроке, – заступилась Таня, выходя из домика, – а то мама от нее не в восторге.

– Наверное, испугалась, что из нее вырастет здоровенный барбос, – предположила Юля. – Дворняжки – это ведь всегда сюрприз. А она Муму или Моська? – И тут, вспомнив о главном, вытащила карту и с жаром начала демонстрировать.

Таня, кроме значков-подсказок, высмотрела:

– Да вот же твой наукоград! Гляди: улицы Гагарина, Циолковского, Вернадского. А рядом – Пушкина, Ахматовой, Есенина. Полгорода поэтов! Они здесь что, жили? Или бывали? – И тут же спряталась в свой домик-челку: – Ну вот. Мама идет – меня встречать. Оттого что я вчера заявлялась мокрая, она тоже была не в восторге. Кажется, нашим прогулкам конец.

К дому приближался пламенно-красный сарафан.

– Кармен, – проговорила Юля вполголоса.

Каблучки щелкали, как кастаньеты.

– У мамы бизнес в Испании, – не без удивления отозвалась Таня.

– А что ж вы тут тогда торчите?

– Я жары не выношу... Мама, познакомься, это Юля, внучка Юрия Георгиевича.

– Можно вас немного проводить? – тут же наплась Юля – а вдруг не всё потеряно. Вдруг эта мама как-нибудь от них отстанет.

– Ну, разве что немного. Нам тут близко.

– А вы не любите гулять по Белогорску? На той улице много красивых домов.

– Да, маме это может быть интересно, она же занимается недвижимостью, – подхватила Таня, забирая у Егора щенка.

Зеленая улица с причудливыми особняками действительно заинтересовала маму, которая, проезжая на машине, не замечала деталей.

– И кто только здесь живет? – отметила она дом с корабльком и витражами.

– Принцесса, – предположила Таня, и теперь Юля метнула на нее удивленный взгляд.

Мама, перестав недовольно посматривать то на дочку, то на собачку, завела светский разговор:

– Юля, а твои родители тоже физики, как бабушка?

– Нет, – был ответ. – Мой папа – Карабас Барабас.

Кармен не знала, как отреагировать, а Таня не поверила:

– Не может быть! Директор кукольного театра?

– Может, – подтвердила Юля. – Только правильно – театр кукол. У нас семейный театр. Родители оба – кукольники.

– Какая интересная у тебя должна быть жизнь! – заметила Танина мама, а Таня с горящими глазами спрашивала:

– И вы повсюду ездите и даете спектакли? Или у вас есть свое здание? И ты тоже участвуешь в представлениях? А куклы на ниточках или большие?

– Да, наша жизнь – сплошной праздник, а по праздникам – сплошная работа, – засмеялась Юля. – Конечно, меня давным-давно припрягли. Тростевые куклы папа и мама водят, а я только помогаю, когда нужен второй актер. А вообще я шью хорошо и поэтому отвечаю за тряпки, а брат – за освещение и музыку, это исторически сложилось. Ездим – да, по всей области. Нас хорошо знают и приглашают везде. А недавно в Москве были на фестивале...

– Это правильно, когда дети с раннего возраста участвуют в семейном деле, – одобрила Кармен, в то время как Таня расспрашивала, придумывают ли они свои сценарии или используют готовые, и какие пьесы нравятся публике, и о самих куклах.

– Я получаю зарплату, – похвалилась Юля. – Родители нам карманных денег не дают, у нас это не принято, мы с братом сами зарабатываем.

– Значит, твое будущее определено, – подытожила Танина мама. – Те, кто выросли в театре, обычно и сами становятся артистами.

– А вот и нет, – живо возразила Юля. – Не знаю, как брат, а я не собираюсь всю жизнь играть в куклы!

Обе ее собеседницы опешили. Таня даже запинаться начала:

– Тебе что – театр не нравится?

– Да нет, просто я не собираюсь в нем застревать только потому, что родители посвятили ему жизнь. Возможно, свою жизнь я посвящу чему-нибудь другому.

– Какая ты самостоятельная! – воскликнула Танина мама, забыв и об особняках, и о том, что прогулка затянулась. Новая подруга дочери интересовала ее всё больше. – А можно узнать, чему именно ты хотела бы себя посвятить?

– Можно, – через паузу, но твердо отвечала Юля. – Вероятнее всего, точным наукам вроде физики или космологии.

– Космология? – переспросила Кармен. – Какая же это точная наука, если она то утверждает, что бог создал небо и землю, то, что это был Большой взрыв. Сначала солнце вертится вокруг земли, потом наоборот – и неизвестно, что дальше придумают. По-моему, самая фантастическая наука.

– Тем более стоит заняться, – не уступала Юля. – Здесь, в Белогорске, как раз это направление, и я приехала посмотреть.

Она предпочла не уточнять, со спросом или без она приехала, но Танину маму интересовало не это, а как девочка добралась без провожатых.

– Нормально добралась. До Ярославля – на автобусе, до Москвы – на поезде. Всего-то часа четыре. И у меня же есть свои деньги, – напомнила Юля независимо.

– Поразительно! Без нянек доехала, и ничего не случилось... А вот моя Таня так беспомощна – я не представляю, чтобы она отправилась куда-нибудь сама!

Юля хотела высказать об этом свое мнение, но вовремя остановилась, тем более что на нее сыпались новые вопросы:

– Ну, и как, дедушка уже показал тебе НИИ? Он же там всю жизнь проработал. Он, наверное, гордится тем, что внушка собирается идти по его стопам?

– Знаете, я его пока в это не посвящала, – честно ответила Юля. – Зачем говорить гоп, пока я ничего еще не прояснила.

– И что же тебе нужно прояснить?

– Ну, вот сегодня я побывала в гимназии. Это такая спецшкола, с углубленной физикой и математикой. И договорилась о том, чтобы там учиться.

– Ты – договорилась? – воззрилась Танина мама. – Сама? Это как же?

И тут Юля, до того отвечавшая на вопросы осмотрительно, продумывая каждое слово, чтобы самой куда-нибудь не вяпаться с этой чужой мамой, да еще Таню не подвести, забыла об осторожности.

– Я захожу, а там интерактивная доска! Представляете? Как по телевизору! Гимназия пустая, один учитель сидит и с доской тренируется! Ее только что установили, и у него стилус не пошел – он пальцами тыкает и инструкцию читает. Я тоже попробовала – и получилось! Мы еще электронным маркером порисовали, и экранную клавиатуру нашли, и другие всякие возможности. Так здорово! И когда я сказала, что хочу у них учиться, он меня поспрашивал – он математик оказался, – а потом повел к директору... Ну, в общем, я им подхожу, они меня берут, нужно только согласие родителей.

Услышав свои последние слова, Юля перестала захлебываться от восторга, увяла и призадумалась, а Танина мама, наоборот, восхитилась:

– Какой ты необычный человек! Просто чудо какое-то! Сама, без взрослых – пошла и пошла в школу! Впервые вижу такую самостоятельность в таком возрасте! Таня, ты только посмотри, ведь твоей подруге столько же лет, сколько тебе! Как бы я хотела, чтобы ты была такой же!

Общение с Юлей должно пойти тебе на пользу! И как же хорошо мы проплыли, как приятно оказалось на этих милых деревенских улочках. А я всё в доме сижу. Давайте и завтра вместе прогуляемся!

Семья вурдалаков

ТАНЯ опять сидела в пустой комнате на втором этаже. Зоркий глаз мамы издали заметил на экране ноута раскрытую папку «Математика». Мама сразу же затормозила.

– Ну ладно, занимайся. Мне надо съездить в Москву. Я ведь сижу тут без вылазу, а дела стоят! Хотела, чтобы ты со мной прокатилась, но если ты готовишься к уроку – не отвлекайся. Я на пару часов, туда и обратно.

Таня молча кивнула, услышав в ее голосе привычные уже нотки раздражения, досады и упрека. Мама сама выдумала, что должна здесь с ней сидеть и посвящать ей свое время, отрывая его от дел, которые стоят. Если из любых ее речей отфильтровать смысл и улавливать только эмоции, то это будет как раз упрек, досада и раздражение.

Но когда машина отъехала, в Танино сознание вернулся и смысл услышанных слов: пара часов. И еще два на дорогу, туда и обратно!

ЧЕРЕЗ несколько минут Юля и Таня уже шагали по улице, уткнувшись носом в карту.

Таню восхитило, что фонтан отмечен крошечным рисунком – рыбкой с фонтанчиком, бьющим из пасти, а ее любимая вышка на пустыре – парашютиком, значение которого им уже понятно. Дом с золотым корабликом тоже есть – нарисован кораблик.

– А что значит этот заяц?

– Да тоже, поди, флюгер какой-нибудь. А вот этот торт? А еще три рыбки, только на боку?

Все значки были неподалеку друг от друга, и девчонки довольно быстро узнали, что торт означает кафе «Забавушка» с очень вкусными эклерами, которыми они перекусили, а рыбки на боку – это харчевня «Три пескаря», где они поглазели на роскошный аквариум с затонувшими кораблями, руинами и стаей разноцветных рыб.

Зайчик же оказался никаким не флюгером, а мини-скульптурой: лопухий сидит в обнимку с бегемотиком, и на скамейке рядом с ними есть место для кого-нибудь третьего. Таня с Юлей достали мобильники и запечатлели друг друга.

Потом подругам захотелось узнать, что значит лошадиная голова.

– Нет, это точно Понивилль! Там, наверно, катают на пони!

Перед ними, однако, предстала площадка с гигантскими шахматами, которые уже кто-то двигал. Шахматный конь там, разумеется, тоже был. «Клуб четырех коней» располагался у одного из входов в парк, но туда они продвинуться не решились: для этого лабиринта нужен хороший запас времени. А еще лучше – целый день. Это должен быть отдельный поход.

– Может, успеем найти дом с привидением? – Таня смотрела на часы. – Он на обратном пути – на одноэтажной улице с коттеджами.

– А можно, я с вами? – вынырнул откуда-то Егор.

Юля рассердилась. Он что, опять за ними ходит?! Снова хочет Моську подержать? Его услуги сейчас не нужны!

– А может, пусть идет? – заступилась Таня. – Он вообще-то настоящий путешественник. С ним такие крутые приключения случались. Один раз потерялся в лесу с еще двумя детишками – и сам их вывел, представляешь? Они там целую ночь провели, чуть в болоте не утонули. Их искали всем городом, с настоящими спасателями, с вертолетом...

– Да? – не поверила Юля и посмотрела на мальчишку оценивающе. – Ну, пошли. А ты что-нибудь про этот дом знаешь?

– Еще бы, я всё про всё знаю! В одной хрущевке есть нехорошая квартира! Там бродит такая прозрачная женщина, ее много кто видел. Она там умерла. Квартиру потом продавали несколько раз, так ее все жильцы видели! А в парке есть одно дерево, там мужик повесился. И он поздней осенью, когда еще нет снега, гуляет по черному парку. Летом не гуляет, не бойтесь. А еще на Зеленой горке есть одна пещера...

– Ну, а дом? – напомнила Юля.

– У, там жила такая жуткая семья – старая ведьма одна и ее родственники! Они там все поубивали друг друга. Может, не всех поубивали. Наверно, еще хотят! И привидение за кем-нибудь возвращается! Ходит, ищет.

Они стояли перед домом с заколоченными окнами, который выделялся среди современных ухоженных коттеджей, потому что был просто очень старой заброшенной избой. Сад и дворик заросли буйно и беспорядочно. Туда явно не ступала ничья нога.

– Отсюда не видать, – определила Юля, – никаких привидений. Слушайте, сейчас совсем светло – может, в окна заглянем?

Стало ясно, что Егора недаром взяли в компанию: он тут же нашел место, где можно пролезть, и они, не привлекая ничего внимания, быстро оказались по ту сторону забора. Поднялись на цыпочки, заглянули в щели между досками, закрывающими окна. Подсветили мобильниками – но в темноте нельзя было ничего различить.

– Обойдем вокруг дома? – шепотом предложил Егор.

Они двинулись друг за другом, по цепочке. Вокруг было на редкость мирно, пели птички, порхали бабочки – ничего мистического, будничная картина, совершенно такая же, как на даче у каждого из них. И всякие мальвы-малины точно такие. Но именно это показалось Егору подозрительным.

– А чего это нет бомжей? Они такие места вообще-то любят. А тут даже трава не притоптана. На Танином пустыре – понятно, он на задворках у полиции, туда и не лезет никто. А здесь чего? Может, бомжи что-то видели – и боятся?

Таня с Юлей переглянулись.

– Тонко подмечено, – признала Юля. – А что, если они внутри тусят? Не побоишься дверь толкнуть?

Егор, разумеется, бесстрашно поднялся на крыльцо и подергал дверь, готовясь пробраться внутрь и всё подробно исследовать. Но дверь не поддавалась.

– Крепко заперто. Нет там никого.

Юля заглянула в еще одно окно, заколоченное только наполовину. Низкие лучи вечернего солнца высветили пустое помещение. Прищурилась: старые журналы на полу, еще какой-то мусор, и у самого окна – продавленное кресло-качалка. Обивка в лохмотьях. И всё, ни людей, ни признаков их присутствия. Только кресло-качалка почему-то кажется знакомым...

– Нет привидения, – заключила Юля, уточнив: – Сию минуту нет. Наверно, оно является в определенное время в определенном месте, ночью, скорее всего. И к тому же не всем. – Так не хотелось подрывать авторитет карты! Она опять ее раскрыла. – А что это – 5D?

– 5D – это и есть 5D, – отозвался Егор, – киношка рядом, в клубе.

Время до возвращения Таниной мамы оставалось, и компания вознаградила себя за неудачу с привидением соответствующим коротеньким фильмом «Призрак». Когда на обратном пути прямо перед Юлиным лицом из склоняющихся ветвей возникло нечто прозрачное, бледное, и она, наткнувшись, успела ощутить холодок чего-то неживого, то чуть не вскрикнула.

– Шарик, – сказал Егор, который проявил великодушие и не стал смеяться, и снял с дерева обмякший воздушный шар. – Улетел и застрял тут.

– Привидение! – возразила Юля, присмотревшись к находке. – Не поняли? Это же оно, наше привидение! Карта не должна врать. Написано «Дом с привидениями», значит, так тому и быть. Сейчас мы это живо устроим! Не бойтесь еще разок туда слазить?

И Таня с Егором убедились, что оранжевая девочка выросла в театре. Она сгоняла в свою каморку за старой простыней: «Там столько всякого хлама, не думаю, чтобы это была большая утрата». Из двух подобранных палок и проволоки соорудила каркас. Место они выбрали удачное – застекленную терраску, и когда потом сами смотрели с улицы на неясную белесую фигуру, которая покачивалась за ветками и частым переплетом рам, то лучшего призрака и представить было невозможно. Мерцающая голова его колыбалась заунывно, включившиеся фонари выхватывали то складку, то развевающиеся края... Если бы компания увидела такое час назад, только забравшись в обиталище нечисти, то рисковала всерьез напугаться.

Покидать свое творение никому не хотелось. Они любовались им с разных ракурсов, фотографировали и разошлись уже почти в полной темноте.

Танина мама, вернувшись, обнаружила дочь в той же комнате, в той же позе, за ноутбуком с той же раскрытой папкой «Математика».

Собачье сердце

КАК ТОЛЬКО голова поравнялась со вторым этажом, Юля увидела голый деревянный пол – просторное, совершенно пустое пространство. В комнате без мебели прямо на полу сидела Таня с большой книжкой в руках.

– Вот ты куда забралась! Привет. Чего это ты тут делаешь? У вас же внизу сплошные ковры и диваны.

– Здесь лучше, – отозвалась Таня вполголоса, приветливо выглянув из-под челки и неопределенным жестом приглашая расположиться рядом. – Понимаешь, мама не в духе – она томится без своих обычных дел. А я же не могу сказать, что ее жертва никому не нужна. Может, она всю жизнь представляла себе, как возьмет и посвятит мне кучу времени – вот только заработает еще кучу денег, докажет папе еще раз, какая она деловая и не хуже него... И вот свершилось, только совсем НЕ ТО... В общем, здесь лучше. Смотри, как я Моську уложила.

Моська спала, и как раз с комфортом: в бархатной подушке от тех самых диванов, с грелкой и мохнатой игрушечной собачицей, рядом с которой ее не сразу было видно.

– Классно устроилась, хвостатая! Это что, ее новая мамаша?

– Никак не придет в себя. Всё мерзнет. Я ее и вчера так оставляла, с грелкой, пока мы привидениями занимались.

– Да, повышенной лохматости у нее не наблюдается. Что же из нее вырастет? Может, совсем не барбос, а такая нежная моська, на которых надевают одежду и носят гулять на руках... А это что? – Юля попробовала приподнять фолиант – «Божественную комедию» Данте. Марине тут делать нечего – картинки уже есть, во всю страницу, хоть книжка и взрослая.

– А это я в чулане нашла, – Таня указала куда-то на стену позади себя, – там же, где собачью мамашу. Среди игрушек и старых вещей. Это путешествие по кругам ада, среди грешников...

– А почему души нарисованы в виде тел? Бодибилдеры какие-то, – критически оценила Юля иллюстрации Гюстава Доре. – А если они грешники, надо было сделать их безобразными уродами. Уродов и рисовать интереснее, и рассматривать. Они могли бы все быть разными: обжоры – жирными, жадные – тощими...

– А может, в них осталось что-нибудь хорошее? Ну, если они – души... Ведь всякая душа вначале прекрасна... И это знак надежды – может, они еще выберутся...

– Всё равно, у нас в театре кто плохой, тот урод: Смерть с косой, полицейский, который с Петрушкой дерется. Сразу видно, по носам и ромам.

– Таня, ты наверху? – Показалась голова Таниной мамы. При виде Юли заранее сведенные брови расправились, она только успела бросить досадливый взгляд на собачку. – Ну, хоть больше не скулит... Здравствуй, Юля! Что же вы на полу? Таня, кто так принимает гостей? А это что еще? Ад?! И как это понимать? Опять загробный мир и уныние?!

– А я сегодня была в настоящем аду, – вмешалась Юля, покосившись на подругу, которая заметно съежилась и загородила собой собачью подушку. – Люди сами его устроили еще на нашем свете. Ни за что не догадаетесь – это баня!

Кармен расхохоталась.

– Боже мой! Как ты туда попала?

– Я спросила у деда насчет гигиены. Думала, он душ устроил – многие, кто на дачах постоянно живет, так делают. Оказалось, он ходит в городскую баню. Ну, и я пошла, – невозмутимо повествовала Юля. – А там такой кошмар! Я же не знала. Я никогда раньше в бане не была. На пляже видела, что не все люди – идеал красоты, но чтобы они были такими безобразными! Жара, клубы пара, жуткие фигуры – конечно, это ад. И не красивенький, как в книжке, а настоящий. Просто пекло. Я с закрытыми глазами помылась и даже есть потом не могла.

Танина мама слушала с живым участием.

– Да, ты пережила настоящий культурный шок. Бедная девочка! Ну, а теперь немного отошла? Пойдем перекусим. У нас на обед чудесные пирожки из местной кондитерской. Что же, необходимость жить у дедушки и совершать омовение в белогорской бане не заставит тебя отказаться от мечты о космологии?

– Думаю, это можно выдержать, – отвечала Юля через совсем небольшую паузу, а Кармен опять засмеялась:

– Значит, ты прошла проверку на прочность! – Ее настроение заметно улучшилось, и она сама это заметила: – Надо же, я даже о платье забыла! В воротах зацепилась за что-то и порвала – так жаль, совсем новое.

– Ничего не порвали, просто потянули нитку, и шов распустился, – тут же определила Юля и деловито предложила: – Давайте зашью. Я умею. У меня и иголка есть, а нитку можно использовать ту, что тянется.

Кармен замаялась, боясь, что дорогое платье будет окончательно испорчено, но быстро сдалась:

– Ну, хорошо. А впрочем, лучше бы завтра захватить в Москву, к моему знакомому модельеру, и там починить... – Но, когда все было готово, всплеснула руками: – Надо же! Как быстро! И совсем ничего не заметно. Где же это место с прорехой? Где шов? Его не видно...

– Его и не должно быть видно, – гордо заявила Юля, – это специальный потайной шов. Я же говорила, что отведу в нашем театре за тряпки. – А когда Кармен ушла на кухню за чайником и заваркой, спросила у Тани: – Тебе еще не хочется меня убить, такую хорошую? Придушить? Уронить кирпич на голову?

– Что ты! Наоборот – спасибо, ты ее отвлекаешь от меня и от Моськи. Она так хорошо на тебя реагирует, – прошептала подруга, но ее мама вернулась и тут же «исправилась»:

– Юля, ты просто кладезь талантов! А Таня несколько лет обучалась всевозможным рукоделиям у лучших преподавателей, но даже пуговицу не может пришить! Я смотрю на вас обеих – и

такое ощущение, что из одного человека способности просто выстреливают, а в другого, наоборот, всё уходит, как в пустоту.

– А как по-вашему, мечтать – это способность? – не выдержала Юля, но Кармен невозможно было загнать в тушик.

– Это дополнительное свойство, которое должно быть приложено к главному. У тебя, например, как у будущего ученого, – к твоей физике. А само по себе оно – та же пустота, воспроизводящая сама себя. И ничего больше.

– Не согласна! – живо возразила Юля. – Если мечта – это энергия, из нее всегда что-нибудь выйдет. Ведь из энергии возникла материя – то есть всё, что существует.

– Ты замечательно умеешь спорить! – восхитилась Танина мама. – Но твой аргумент – всего лишь гипотеза. Мы уже говорили, что ученые играют в разные игрушки – то в бога, то в Большой взрыв. А что было на самом деле и что из чего возникло, неизвестно.

– А вот посмотрим, что на коллайдере выйдет! А вдруг они получат материю из энергии...

– ...и станут как боги. Заветная человеческая мечта. Ты что же, следишь за этими исследованиями? – Параллельно Таня, не интересующаяся коллайдером, получила укоризненный взгляд и реплику: – Когда пойдешь на урок, не оставляй, пожалуйста, здесь эту собачонку. Вдруг она снова примется визжать!

– ДАВАЙ завтра покажем Моську ветеринару! Я в карте видела пометку «Айболит», это недалеко. Да тут всё недалеко. Может, когда твоя мама узнает, что у нее нет глистов и лишаяв, то успокоится? – Юля забралась на литые чугунные ворота и медленно на них проехала. – А это, случаем, не та твоя калитка с завитушками? Нет? Надо бы на карте поискать... Слушай, а ты когда-нибудь своей маме возражаешь – или глотаешь всё, как сейчас?

Таня пожала плечами.

– А смысл возражать? Я пробовала. Мама – истинная бизнес-леди, она привыкла командовать и слышит только себя. Я видела ее на работе, там то же самое. Я смотрела, какая она уверенная, и восхищалась, и одновременно думала, что мне никогда такой не стать. Потому что я не такая. И она думает то же самое: НЕ ТАКАЯ. Она, как те парни с квадроциклов, смотрит на меня, а видит не меня. Что-то другое. Наверно, какой я должна быть, по ее мнению. Но я же никогда не смогу в это превратиться. И что тут можно поделать?

– Ну, мало ли кто чего видит. – Юля решительно толкнула свою калитку. – Мои родители тоже видят, что я НЕартистка, но прикидываются, будто не замечают. Но я не должна ни во что превращаться, чтобы влиться в то, что не моё! Семейное дело, несемейное – какая разница! Я не обязана его любить! Я буду делать, что хочу! Я, если хочешь знать, просто села и уехала, потому что достали! Давай Моську, иди к Хоттабычу.

Но Моська неожиданно потянулась из ее рук к хозяйке. Подруги засмеялись.

– Смотри, она тебя уже признает! Уже привыкла! А насчет смысла... Не будешь возражать – подумают, что тебя всё устраивает.

Во весь голос

НА ХОРОШИЕ вести от ветеринара мама не обратила внимания, только уточнила:

– Это, наверное, Юлина идея – собаку специалисту показать? Что, угадала? Разумно и своевременно – вполне в ее духе. Ничего, детка, мы и тебя повернем к практической стороне жизни! Я сегодня встретила одного знакомого и услышала про этот экономический лицей – думаю, это как раз то, что нам нужно. Почти сто процентов выпускников поступают в «плешку», МГУ, Высшую школу экономики... Я уже договорилась. Пройдешь тестирование и собеседование. Очень удачно, что ты как раз подтягиваешь математику...

Таня, уже собравшаяся на урок, остановилась в дверях.

– Ты это о чем? Какой еще лицей?

– Я же говорю – экономический, в который ты переходишь с сентября.

– Опять?! Почему я всё время должна учиться в новых школах?

– Потому что, дорогая моя, извини, но ты нигде не тянешь. И приходится пристраивать тебя еще куда-нибудь! – повысила голос мама.

– А почему ты меня не спрашиваешь, хочу я туда или нет? – голос Тани тоже зазвучал громче. – Там же наверняка сплошная математика!

– Ты ходишь на математику каждый день уже полмесяца, и с тобой ничего не случилось.

– Я ее ненавижу, – отрезала Таня.

– Ну, это сильно сказано. Понять, чего ты хочешь, ты не в состоянии, а возражаешь просто из желания противоречить! Думаешь, кто-то будет еще так с тобой носиться, как твоя бедная мама? Переживать за тебя, предлагать то одно, то другое! Какая разница, чем заполнить твой ваку-

ум – важно сделать это вовремя! В выпускных классах надо уже знать, где будешь учиться дальше. Или ты намерена стать домохозяйкой? – прозвучал насмешливый вопрос. – И приобретать профессию не собираешься? Хочешь сидеть дома и во всем зависеть от мужа? Не видела, чем это может кончиться?

Таня молчала.

– Я считаю, что тебя пора приобщать к семейному делу, – завершила мама. – И экономическое образование – самое подходящее в этом плане!

– Я ни в какой лицей не пойду! Не надо мне никакого экономического образования! – закричала Таня и выбежала, забыв взять с собой Моську.

– ЧТО-ТО Таня сегодня задерживается, – проговорил дед, глядя на часы и переключая на столе учебники. – А я, кстати, вспомнил, чья эта алгебра! Ну, помнишь, ты спрашивала? Тут же еще и подписано... Хороший мальчик такой, Никола Берестов. Занимался у меня лет пять назад.

– Отличник, что ли? – осведомилась Юля. То, что рассказывала о своем следопыте Мари-на, не вязалось с понятием «хороший мальчик».

– Да нет, над алгеброй-то он зевал, как многие, а вот поговорить с ним было интересно. Широкий кругозор. Глаза светились. Еще он снег мне помогал с крыши сбрасывать, антенну предложил установить для телевизора. Этой зимой она завалилась, и ящик только помехи показывает... А теперь дети ничего вокруг себя не замечают, все очень загружены: с математики – на английский, потом еще какие-нибудь репетиторы, у многих музыка, хореография, спорт. С утра в школу уйдут, а потом, как бульдозеры, толкают впереди себя груды всяких наук и занятий, до самого вечера разгребают... Да где же Таня? Обычно она не опаздывает.

– Ну, на крышу и я могу слазить – легко. Ты мне будешь снизу говорить, чего там делать с антенной. А Таня – правда, странно.

Во время урока Юля собиралась сгонять в «Забавушку» за полюбившимися пирожными. Выйдя на улицу, спросила через забор у Егора – на всякий случай:

– Таню не видел?

– А она на свою вышку пошла, – тут же ответил он. – Даже побежала!

ЗАПЫХАВШАЯСЯ Юля подумала, что второй раз влетает на этот пустырь на предельной скорости. Эльф сидел на прежнем месте, только уткнувшись носом в колени. Прозвучало чуть слышно:

– Она собирается зачихнуть меня в экономический лицей. Я из последних сил таскаюсь на эту математику, потому что ее через два года опять сдавать, а она думает, что, значит, со мной можно делать всё, что угодно. Я не вынесу еще и школу со сплошной математикой!

– Ну, на этот раз ты возражала, или она должна была принять твои мысли путем телепатии?

– А она меня слушает?! Я не хочу такую жизнь, которую за меня программируют! Я не хочу жить по их сценарию, который они к тому же все время меняют! То жили спокойно, как будто меня и нет, а теперь я в какой-то семейное дело должна включаться! В какое?! У папы – один бизнес, у мамы – другой, они не пересекаются, они вообще в разных странах! А если и ему завтра что-то в голову взбредет – что-то двадцать пятое?

Апельсиновая подружка пыталась сообразить, что делать.

– Я не чувствую себя живой, когда меня дергают за ниточки! Мне страшно, страшно осознавать, что сама по себе я ничего не значу, себе не принадлежу, и со мной можно делать что угодно! Ничего не может быть ужаснее этого! Юль, я прекрасно знаю, что полностью от них завишу! Я не такая, как ты, я не смогу встать и уйти из дома! Мне некуда идти! У меня нет денег даже на автобус! И даже если бы были – я знаю, что не смогу сама выжить в этом мире, в котором ничего не понимаю!

– Ну, это еще не значит, что ты должна играть по их правилам. И я не такая уж независимая, как тебе кажется. – Юля сдвинула брови. – Для гимназии нужно заявление от родителей, а они фиг его напишут. Они даже не позвонили ни разу! Вот, мобилка всегда со мной, я никогда ее не выключаю. Я это не к тому, что уехала для того, чтобы за мной все тут же побежали! Но это они специально молчат, это отношение! А с дедом мама сто лет не разговаривает, у нас о нем вообще не принято упоминать – меня теперь наверняка в предатели записали! И из принципа не захотят, чтобы я тут жила! Все мои громкие планы – фигня! Я такая же марионетка! Меня в любой момент домой вернут и на гвоздь повесят, как Буратино!

Таня наконец подняла голову. Девочки молча посмотрели друг на друга.

– И тебе не страшно? – выдавила Таня.

– Слушай, нам нужно сделать антракт. Одна моя знакомая говорит, что жизнь на нее давит, как железный колпак, и она из-под него пытается вылезти. А мы чего сами под колпак лезем? Мо-

жет, всё еще не так плохо. Может, нам только кажется, что тут ничего не поделать. Родителям я дам шанс – подожду до конца недели. Потом сама позвоню. А тебе же в твой лицей не завтра идти? Может, тебя в него еще не примут. Давай расслабься.

Таня повеселела.

– В самом деле! Они же не слепые там, на собеседовании! А тест я точно завалю. Как думаешь, еще не поздно пойти на урок? Юрий Георгиевич ждет – неудобно... или он уже не ждет?

– Ждет, ждет, пошли, – заулыбалась и Юля. – Твоей Кармен полезно показать, что тебя не так просто сломать, и ты не кидаешься в детский психоз от каждого их чиха.

– А ты почему из дома уехала? – спросила Таня по дороге. – Ну, по сути – это понятно, а в тот именно момент из-за чего?

– Наверно, детский психоз, – честно определила Юля. – Ну, достали уже! Я Венеру собиралась наблюдать. Шестого июня Венера проходила по диску Солнца – знаешь, да? Об этом и в новостях говорили. Это самое редкое явление, которое можно видеть с Земли! А следующее такое – через сто лет!

– Нет, я не слышала... И что, прямо без телескопа было видно?

– Ну да, только не от нас. У нас и просто звезды не часто увидишь! Вечно небо в облаках. Ты же заметила, что сколько здесь живем, днем – никакого солнца, а ночью – никаких звезд! Венеру с европейской части было не видеть, я хоть трансляцию из Новосибирска хотела посмотреть по интернету! А им приспичило, чтобы я что-то срочно делала! Именно в тот момент! Испортили всё! «Как будто ты потом это не можешь посмотреть!» – передразнила Юля. – Потом – это потом! Тогда и Новый год можно через неделю отмечать, и день рожденья – когда угодно. Короче, всё из-за Венеры.

Отцы и дети

У СВОЕЙ калитки они увидели даму с розовым зонтиком.

– А вы почему не на уроке? – поинтересовалась Юля. – Надоел итальянский? Или не тянете?

– Тяну! – горестно взмахнула дама листочками – видимо, это были конспекты. – Я телевизор обычно в библиотеке смотрю, там всегда включен канал «Культура», – а сейчас он сломался! Такая беда!

– Беда, – подтвердила Юля. – И у деда телик сломан.

– Вы могли бы по моему ноуту посмотреть, через интернет, – Таня достала из сумки макбук. – Если хотите. Пока я на математике...

Розовый зонтик встрепенулся, послышалось благодарное восклицание. Юля уже вела гостью на террасу и знакомила с дедом, заодно предлагая ему включить ноут, а сама хотела улизнуть от старичков. Сгонять-таки за пирожными. Но произошла заминка. Дед не прикасался к хрупкой современной технике и даже руки за спину убрал – и забубнил насчет того, что не очень ладит с Сетью.

– Ты же инженер! – поразились Юля. – Как же ты работаешь?!

– Да я вообще-то в НИИ уже не работаю...

– И что, ты от этого перестал быть инженером? – И, не слушая, что дед помнит еще старые ЭВМ и что раньше «они не такими были», сама поскорее включила итальянский урок – и вперед, за пирожными!

– А в Доме культуры есть и компьютерные курсы, и садово-огородные, – раздавался чрезвычайно любезный голос гостьи. – Я посещала лекции по краеведению, я же приезжая – всё узнала о здешних местах...

Сбежав с крыльца, Юля наткнулась на Егора. В руках он держал Моську. Похвалился:

– На улице отловил! Наверно, из дома улизнула. Чуть-чуть – и потерялась бы!

– Ну дела! – покрутила головой Юля. – А может, ей Танина мама помогла? Надо бы везде с собой ее таскать. Ты, в общем, молодец, – признала она мальчишкин подвиг. – Хвалю. Понячишься до конца урока?

И тут из-за поворота показалась Кармен в своем агрессивно-пламенном одеянии. Нет, сгонять в «Забавушку» – явно не судьба. Танину маму надо проконтролировать. Мало ли что у нее на уме.

А та уже вела оживленный светский разговор – с пожилой дамой, которая представилась Маргаритой Сергеевной:

– Да что вы говорите! Итальянский? Когда я последний раз была в Венеции...

И с Юрием Георгиевичем, который выглянул, видимо, дав Тане самостоятельное задание:

– Ваша Юля – просто прелесть! Мое платье... Потайной шов... Золотые руки... Когда я показала моей знакомой – она модельер, – та сказала, что это очень искусная и очень дорогая работа! Мне так хотелось что-нибудь приятное... Зашла в кондитерскую – пирожные! Юлечка, это тебе!

– Я всю жизнь слушала оперы и мечтала понимать слова! И вот наконец...

– Так давайте – все вместе – чаю...
– Я тоже слушал! – похвалился Егор. – И запомнил: *io mango* – я ем!
– Никак не думала, что смогу провести столько времени в деревне, а здесь так мило! – рассыпалась Кармен в любезностях.

– Белогорск – это город, – поправил Егор, набивая рот эклерами.

Юля выручила деда, засуетившегося с чайником около двух дам. Он скрылся на урок. Пирожные были обалденные, коробка – огромная. Юля отложила пару штук для Тани. Маргарита Сергеевна, увидев голову тигрового кота, ахнула: вот красота. Егор пояснил, что это их Котангенс. Тигр показал себя целиком и прилег на перила. Дама с зонтиком рассказала о своей любимой кошке. Егор поведал ей историю Моськи и продемонстрировал саму Моську. Танина мама только сейчас ее заметила и поморщилась. Маргарита Сергеевна восхитилась:

– Прямо в воду прыгнула?! Какой хороший человек ваша Таня.

– Некоторые животных любят вместо людей, – иронично прокомментировала Кармен.

– Ну, люди сами прекрасно умеют о себе позаботиться, – добродушно отозвалась Маргарита Сергеевна. – Наша цивилизация создана исключительно для людей, животным в ней выжить куда сложнее. А люди – да пусть хоть кого-нибудь любят, кроме себя!

Юля предложила гостям еще одно блюдо – свежие огурчики с майским медом.

– Какое своеобразное сочетание! – оценила Танина мама. – Это твоя фантазия?

– Нет, дед мне показал.

Котангенс, не найдя у странных людей ничего вкусного, начал играть со страницами раскрытой книжки, которая тоже лежала на перилах. Кармен ее спасла. Взглянула на обложку:

– Тургенев. Это ты, Юля, читаешь?

– Опять не угадали! Опять дед. Он говорит, что Тургенев – это летнее чтение. А еще летом хорошо читать обо всяких кругосветных путешествиях, Гомера с «Илиадой» и «Одиссеей»...

– В наше время – Тургенев! Я была уверена, что только школяры из-под палки...

– Это уникально, – подтвердила Маргарита Сергеевна. – А дети – что же? – наша отечественная литература вся в таких, знаете, пастельных тонах. А дети любят яркое, сочное. Плохие концы их смущают...

– Ничего не смущают! – живо возразила Юля. – Я, например, давно заменила все концы.

– Заменила – на что? – воззрились обе дамы.

– На гипертекст. Ну, жизнь вариативна. Текст, как ее модель, тоже может иметь варианты, разные. На развилках может произойти либо одно, либо совсем другое.

– Например, Муму не тонет, – предложила Кармен улыбаясь.

– Не тонет, – серьезно подтвердила Юля. – Потому что дурак Герасим не стал дожидаться нового кафтана, пошел к барыне в старом и попросил отдать ему в жены ту зачуханную прачку. А барыня согласилась. Она дура сентиментальная, это вполне в ее духе. Он легко мог попасть под ее хорошее настроение. И все дела. Все счастливы. Она стирает, он метет.

– А как же Муму? – воскликнули дамы в один голос. – Ее тогда бы не было! И рассказа бы не было!

– Делов-то куча, – махнула Юля рукой, – пошли вдвоем гулять на речку – и нашли.

– Бедный Тургенев, – Кармен притворно закатила глаза.

– Ничего не бедный. Я ж его не отменяю. Просто предлагаю вариант. Пушкин, так тот сам на это провоцирует. В его Онегине конца же нет. Я подбирала возможные.

– Ну да, там просто водевиль! Татьяна убегает, Онегин на коленях – и входит муж, – припомнила пожилая дама. – И на этом всё обрывается. А какие у тебя концы?

Юля начала перечислять. Женщины оживились и разбирали, что больше подходит: генерал всё обратил в шутку, тупой генерал ничего не понял, дуэль Онегина и генерала, благородный генерал отступает: так дай вам бог любимой быть другим... Егор был вынужден молчать, поскольку не читал произведение.

– Онегин покончил с собой.

Все обернулись на голос. В дверях стояла Таня, у которой кончился урок, и внимательно их слушала.

– Боже мой, да с чего ты взяла! – вспыхнула Кармен. – Вот уж вечно со своими выдумками!

Но Таня не смутилась.

– Я тоже рассматривала эти варианты. Всё неправдоподобно. «Счастливей» конец пробовал сделать Толстой в «Анне Карениной». А у Пушкина черным по белому: *блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа – и вмиг сумел расстаться с ним, как я с Онегиным моим*. Ему же больше ничего не оставалось. У него не было любимого дела. Ему не для чего было жить. Я много где еще находила подтверждения. Тогда была эпоха романтизма, самоубийства вообще были в моде. Об эпидемии самоубийств писали Монтескье и Карам-

зин. У Альфреда Теннисона, английского поэта, лучший друг покончил с собой в двадцать два года. Несмотря на то что тогда самоубийство в Британии считалось уголовным преступлением, а неудавшихся самоубийц казнили...

– Любопытно! А ведь ты меня почти убедила! – воскликнула Маргарита Сергеевна. Кармен остановила дочь:

– Ну, хватит мрак нагонять. А вот с Обломовым, Юля, боюсь, даже ты ничего не смогла бы сделать! – тяжело вздохнула она. – Да ты его, наверное, еще и не читала.

– Смотрела спектакль, – отрезала Юля. – Там тоже есть альтернатива. Все эти друзья тянули его в то, что им самим интересно – в светскую жизнь, в бизнес. А что ему интересно – никому дела до этого не было. А он любил Обломовку! У меня он приезжает в эту свою деревеньку – ну, типа на дачу, летом. А там – холера! Тогда же всё время была то чума, то холера. Или голод! Можете выбирать. Бедствие. И он не может лежать на диване, когда вымирает Обломовка, он вступает в борьбу! Организует всякую помощь! А потом уже не может остановиться: остается там, строит больницу, школу, втягивается в хозяйство, свыкается с людьми...

– Прямо Лев Толстой! – смеялась Танина мама. – Да, Юля, у тебя и Обломов – энеджерджер!

– Блестяще изложено! Настоящая артистка! – зааплодировала Маргарита Сергеевна, но Юля не обрадовалась этой сомнительной похвале и передала Тане припрятанные пирожные.

– Хотелось сделать Юленьке что-нибудь приятное, – пояснила дочери Кармен, – не придумала ничего лучше, чем сладости.

– Планетарий, – сказала Таня. – Юля должна побывать в планетарии. Не знаю, правда, как там насчет Венеры.

– Точно, я там еще не была! Его ж закрыли в прошлом веке! Что, открыли уже? Вот здорово! Мы-то с нашими, когда бывали в Москве, всё только по театрам ходили!

– Решено, – постановила Кармен. – Выберем день – и поедem в планетарий.

– Мы и сами могли бы, – попробовала Юля отвязаться от ее компании. – Вы же хотели видеть Таню самостоятельной.

– Если с тобой – то никаких проблем, – тут же согласилась Танина мама.

– Не буду больше злоупотреблять вашим гостеприимством, – раскланялся тем временем розовый зонтик. – Сердечно благодарю за помощь, за приятную беседу! Рада познакомиться с хорошими людьми!

– А вы как различаете хороших людей? – остановил ее Юлин вопрос.

Пожилая дама заверила:

– Да их и так видно. Их намного больше, чем кажется! Конечно, они менее заметны, чем плохие и злые. Но благодаря их незаметному присутствию мир стоит и до сих пор не провалился. Они его скрепляют, как твой невидимый шов.

– Что же конкретно делают добрые люди, которых даже не видно? – поддела Кармен.

– А ничего они могут не делать, – доброжелательно отозвалась Маргарита Сергеевна. – Важен эффект присутствия. Им достаточно просто быть – свет во тьме светит, не уничтожая ее, но он же светит. Всего доброго! А вы в Благовещенской усадьбе еще не были? Очень красивое место, загляните непременно! Там уникальная церковь после реставрации!

У NikBer'a, хорошего человека, глаза светились, припомнила Юля. И эта – про свет.

Недоросль

А ВДРУГ это и есть – Танина калитка? Юлино внимание привлек значок на карте: прямоугольник с горизонтальными линиями внутри. Рядом буквы: БВ.

Но быстро выяснилось, что с калиткой опять промашка. Отмеченный дом стоял в центре города, и рядом с дверью висела табличка: «Белогорские вести. Редакция городской газеты». Повидимому, пиктограмма изображала газетный лист. Юля уже развернулась, как из дверей выскочил... Егорка.

– Ты чего это здесь?

– Подработать хотел, – мрачно ответил мальчишка. – Им разносчики нужны. Газета бесплатная – по почтовым ящикам раскидывать. А они говорят, что мне рано.

– Ничего не рано, – не согласилась Юля. – Чем дурью-то маяться, лучше бы делом занялся.

– Ну, я и хотел...

Дверь опять открылась, они посторонились, но длинноволосая девица не прошла мимо них, а обратилась к Егору:

– Ты не переживай. Главный редактор у нас строга, так уж положено. А мне кажется, что ты бы вполне подошел. У нас уже работали подростки, один вообще – легендарная личность. Город знал лучше старожилы, наладил доставку в такие места, где о нашей газете и не слышали. На окраинах есть улочки по два-три дома, мы о них не знали... Когда наш Ник уехал в Москву учить-

ся, мы без него остались, как без рук, до сих пор скучаем. Может, ты бы его как раз заменил! Так что я еще поговорю с Ириной Владимировной. Ты мне свой мобильный оставь. – И сунула свежую газетку, на прощанье или в утешенье.

Егор приободрился.

– Привидение, – подала голос Юля, заглянувшая в передовицу. – Наше привидение! Гляди скорей!

Оба уставились на фото. Никаких сомнений: запущенный сад, частый переплет застекленной веранды – тот самый дом, где на днях поселился призрак из дедушкиной простыни. «ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ!» – сообщал заголовок. Ниже излагалось, что по городу пошли слухи, будто в доме с привидениями на Зеленой улице активизировался некий бесплотный дух, пугающий запоздалых прохожих. Не иначе как вернулась в свое жилище хозяйка, ушедшая из жизни несколько лет назад при загадочных обстоятельствах. Отдельно приводилась детективно-семейная история, связанная с наследством. Не за ним ли явился дух? Может, вопреки расхожему мнению, решил забрать всё с собой на тот свет? Журналист, естественно, ударился в расследование, поперся к дому с приборами ночного видения, как будто мало городских фонарей.

Юля и Егор еще раз посмотрели на снимок.

– Побоялись ближе подойти! – фыркнул мальчишка. – А то бы совсем другое написали. Может, раскрыть им глаза?

– Они вполне могли подойти и поближе. А написали то, что всякий прочитает, даже мы. Газетчикам нужны сенсации! – вразумила недоросля апельсиновая девочка. – А попрешься глаза раскрывать – никогда не возьмут на работу.

Обоих потянуло снова взглянуть на свой призрак, всеми признанный, получивший всего-родскую известность. Но на Зеленой улице им были не рады.

– Нет там никакого привидения! – прокричал кто-то из соседнего окна, едва они появились. – Шляются круглыми сутками! Никакого житья! Валите отсюда!

И правда, никакой простыни на веранде не маячило. Юля и Егор переглянулись.

– Содрали, гады! А ну-ка, я поднимусь на крыльцо, проверю...

Не обращая внимания на недовольство соседей, Егорка обследовал веранду, крыльцо и даже обошел вокруг дома.

– Нигде нет, – доложил он Юле. – Сперли привидение.

– Вот она, цена популярности, – авторитетно развела руками та.

– Может, еще одно сделать?

– Некогда. – Юля глянула на часы. – Мы с Таней в местную усадьбу идем. Правда, опять с ее мамой. Сейчас как раз встретиться должны...

– А я с вами, да? – поинтересовался мальчишка, услышав про Таню. Он не спрашивал, а утверждал, но Юля поняла, что это нижайшая просьба. А он прибавил: – Там моя мама экскурсовод, в Благовещенской усадьбе! Вам там со мной всё-всё покажут!

Таня поджидала их у березы, нависшей над озером. Заколдованное место внутри зеленого купола не раскрывало своей тайны, но было отчетливо другим, совсем не таким, как пространство вокруг, соприкасающееся с ним через березовую завесу. Или шоссе с машинами, тоже совсем рядом. Или территория многоэтажек в двух шагах. Единый мир состоял из совершенно разных по составу и свойствам частей, разделенных невидимыми границами.

Точно так же стыковались куски единого времени, сделанные из разных материалов: «глубокое погружение» в математику – и встреча с друзьями, которые уже подходят и улыбаются. Но это было одно и то же время – ее лето, ее месяц в деревне!

Дворянское гнездо

– КАК там, по-твоему, Юрий Георгиевич с Моськой? – всю дорогу беспокоилась Таня. – А это вообще была хорошая идея – оставить ее с ним? А что, если она убежит? А вдруг начнет скучать и понимать его? А Котангенс ее не обидит?

Щенка больше некуда было пристроить, а в музей и тем более в церковь с собакой не пустили бы – даже с Егоркиными связями. Мальчишка сопровождал их, счастливый, словно усадьба принадлежала ему, и, оставив друзей в гардеробе, побежал за своей мамой.

В старинном барском доме были залы, полные древних портретов и мебели с завитушками, и паркет с узорами, похожий на ковер. Чтобы его не испортить, требовалось надеть тапки с длинными завязками. Юля тут же разбежалась и проехала по паркету, как по льду – суконные лапти прекрасно скользили.

– Сейчас выскочит какая-нибудь бабка с пистолетом наголо, – вполголоса предупредила Таня.

В тот же миг появилась пожилая смотрительница:

– Девочки! Как вы себя ведете? Вы находитесь в музее!

Юля тут же сделала серьезную мину и прошествовала в следующий зал, а взглянув на Таню, фыркнула:

– Тебя так просто запугать?

– Ну... вообще-то я теряюсь, когда на меня наскакивают. Вокруг меня всегда были только старшие, я, наверно, привыкла, что другие знают больше, понимают лучше... Потом, сама с собой, я сознаю, что не хуже остальных, – а в следующий раз снова теряюсь. Нам еще в церковь идти... Мне и в церквях всегда не по себе: кажется, все вокруг лучше понимают и смысл того, что происходит, и как себя вести, а я как будто еще не готова... И бабки с замечаниями там тоже будут...

– Думаю, при Егоркиной маме нам ничего не грозит, – успокоила ее Юля.

Егоркина мама оказалась похожа на даму с портрета. Посетителей в будний день почти не было, никто ничего не загоразивал, не шумел и не мешал проникаться стариной. Когда после блуждания по усадебному дому дачники переместились в Благовещенскую церковь – шатровую, напоминающую ракету на взлете, – экскурсовод обратила их внимание на уникальные иконы:

– Это очень редко встречающиеся иконографические типы. Вот Спас Эммануил – образ Христа в возрасте двенадцати лет. Почти что ваш ровесник... А вот Спас Благое Молчание – еще более редкая икона: Спаситель в образе ангела, до воплощения и прихода к людям. С крыльями его не сразу можно узнать... А это белогорская реликвия, Георгий Победоносец. Икона была найдена местными жителями в ручье, в конце позапрошлого века. Считается чудотворной... Во время Великой Отечественной войны в городе уцелел единственный дом – тот, где находился образ. Бомба попала в крышу и не разорвалась. Икона подарена храму наследниками последних владельцев...

– Из того самого дома с привидениями! – пояснил Егор на ухо Тане. – Говорят, когда икону вынесли, чертовщина и завелась...

Экскурсовод поблагодарила всех за внимание, а молодежь – за терпение, и предложила походить самостоятельно, «подышать» историей.

– Росписи сделаны современными мастерами по оставшимся фотографиям. А кое-где под слоем штукатурки сохранились подлинные фрагменты, сейчас их расчистили.

На стенах были рай и евангельские сцены, а на выходе разместился Страшный суд. Обнаженные человечки, нежные и беззащитные, летели с высоты налево и направо, к чертям и ангелам.

– Твой излюбленный сюжет, – Танина мама указала на булькающий котел. – Можешь наслаждаться: мы уже там. Улетели. – И ушла в сувенирную лавку.

Таня, наоборот, присела на скамеечку в дверях и на немой вопрос Юли ответила:

– Мои родители не верят ни в какого Бога. Светских выездов по церквям не совершают. По крайней мере, не притворяются.

– Мои тоже не богомольные, – махнула рукой Юля. – Хотя на Рождество представляют вертеп, а меня гоняли в воскресную школу. Зато я всяких людей из Библии на картинах узнаю. Вон там – Каин и Авель... А куда она уже улетела, я не поняла? Чем ты должна наслаждаться?

– Нечем тут наслаждаться, – нахмурилась Таня. – Когда папа женился на маме, его первая жена попала в сумасшедший дом. Она была домохозяйкой, вся жизнь – в муже и семье, и у нее ничего не осталось. Ну, разве что Оля, моя старшая сестра. Но она всегда жила с нами. И с мачехой, как ни странно, прекрасно ладит. Лучше меня. Она деловая, практичная, они шопингами вместе занимаются... А мама, видимо, считает, что на них с отцом лежит тяжкий грех, раз черти с вилами ее так раздражают.

– А ты тут при чем?

– Может, ей кажется, что меня всё это не касается, и мне легче живется? А может, они изо всех сил стараются создать для меня рай... всем жертвуют... А я – НЕ ТО, и никакого счастья не выходит.

– Ничего, – утешила Юля, – скоро вырастешь, и всё это кончится.

– Что ты! – расширила Таня глаза. – Разве я смогу их когда-нибудь бросить? Да не будь меня, родители давно бы разбежались! Крутые бизнесвумен надоедают не меньше, чем примитивные домохозяйки! Давно бы всё развалилось! Юль, они так несчастны! Они только изображают успех и благополучие! Наша жизнь – это уже ад. Все друг друга любят и мучают одновременно. А может, уже и не любят... Ты читала Достоевского?

– Нет, только «Дядюшкин сон» видела. Я вообще больше спектакли смотрела, чем читала. Друзья из драмтеатра всегда приглашают родителей.

– А я начала – и не могла оторваться: это же про нас! У нас самая настоящая достоевская семья. А еще говорят, он мрачный и фантастичный! А мне как раз эти Ростовы из «Войны и мира» показались фантастикой! С их наивными радостями! В общем, мы правда уже улетели – дальше некуда. А если я оставлю своих, им станет еще хуже!

– Ты, Тань, преувеличиваешь свою роль, – Юля сдвинула брови. – Захотят они разбежаться – ничего никто не сделает, и ты тоже. Тебе не за них надо цепляться с их разборками, а скорей

становиться самостоятельной. Даже твоя мама это понимает. У тебя должна быть своя жизнь. – Юля покосилась на Страшный суд и два конвейера. – А за них – ну, там, молись, и всё такое.

Таня вслед за ней посмотрела на нарисованное пекло и печально покачала головой:

– Нет, своих не бросают. Какой Авель, если он нормальный, станет сидеть в раю, зная, что родной человек страдает? – Она перевела взгляд на котел. – Я бы и там могла за них молиться, или как-то помогать, а когда их простят, ушли бы вместе.

Юля не сдавалась:

– Да нужна им твоя жертва! Так же, как тебе самой – мамина!

Таня молчала.

– А еще говорила: самое ужасное, когда твоей жизнью управляют! Ну и будешь вечной куклой на ниточках!

Таня молчала.

– И если выберешь их общий ад, они тебе устроят твой собственный!

Повисла долгая пауза.

– Надо же, в деревне – такой приличный музей, такая богатая сувенирная лавка! Смотрите, какой палантин я купила! – подходила к ним Танина мама. – Ладно, Ольга потом оценит...

– Белогорск – это город, – пробубнил Егор из-за ее спины.

Учитель словесности

УТРЕННИЕ звуки были уже знакомы. С еще неоткрытыми глазами Юля узнавала: дед поливает грядки, малыш опять разыскивает питомца Фуську, Котангенс приперся и охотится под крыльцом. И то, что день опять хмурый, тоже видно с неоткрытыми глазами.

Пришедшая на урок Таня расшифровала пасмурность подруги:

– Что, так и не звонят?

Юля покачала головой:

– В июне у нас сплошняком выездные спектакли. Потому никто бы за мной и не кинулся. Есть же обязательства, их надо отрабатывать.

– Сама будешь звонить?

– Они небось только этого и ждут! – дернула плечом Юля. – Когда назад приползу! Типа, куда ты денешься. Помнишь вчерашнего Спаса Эммануила? Все взрослые были подростками, даже сам Господь Бог. У него тоже случались нестыковки с родителями, когда он остался в столице с учителями, а те поехали в свою провинцию и хватились его уже в конце пути. Ну, и чем кончилось – домой вернулся и *был в повиновении у них*. – Юлин голос звучал как никогда уныло. – Вот и у меня, похоже, та же перспектива. Сплошное повиновение! Лет до тридцати!

– Слушай, а твой брат сидит в социальных сетях? – подумала Таня вслух. – Может, ты бы ему написала? Узнала бы, как обстановка. Написать легче, чем позвонить. Возьми мой ноут, если хочешь.

Юля устроилась на веранде, настучала вопрос. Собралась уже полазить в Интернете, как внимание привлекла папка «Математика». Наверное, там Танины домашние работы. Интересно, чем ее грузит дед? Открыла файл под номером один.

«В кабинете истории стояла добротная, внушительная кафедра. Когда Макакус на нее влезал, начиналось всеобщая потеха. Он был маленького роста, и над кафедрой торчала одна голова, да еще рука, машущая указкой, – ну, прямо кукольный театр. Макакус был незлопамятен, не писал в дневники замечаний, никому не жаловался, но доброты его никто не замечал, и она оборачивалась против него.

И сегодня в классе царило веселье. За последними партами рассказывали анекдоты и громко смеялись. Часть учеников развлекалась с мобильниками: одни занимались играми, время от времени выражая вслух свои эмоции, то есть попросту вопя, другие разговаривали, тоже практически вслух. Стайка девчонок, слетевшись к журналу мод, обсуждала фасоны.

Рудик, уже успевший списать домашку, достал из рюкзака коробку, дождался всеобщего внимания и жестом фокусника выпустил на стол огромного рогатого жука. Девчонки шафахнулись, завизжали, мальчишки засмеялись, жук пополз. Визг, вопли, паника, упал стул, кто-то метнулся со своего места...»

Летела страница за страницей – и вдруг текст оборвался. Юля вспомнила об алгебре. Вот так домашка! Наверное, книжка случайно затесалась в эту папку. Но где продолжение? Может, где-то тут же? И Юля открыла файл под номером два.

«Катя пулей вылетела из кухни, до глубины души оскорбленная тем, что с ней не желают нормально разговаривать.

– Ну почему мы в одном доме живем, как на разных островах? Ведь только что было так хорошо! Неужели можно чувствовать себя одной семьей только по праздникам? Вот с тобой родители откровенны? Или тоже закрываются и втихую всё обсуждают?

– Да нам особенно и откровенничать не о чем, – пожал плечами Никита. – II проблем вроде нет никаких. Катя, да мне чем меньше лезут, тем лучше, – поделился он искренне. – Ну, какие такие дела можно обсудить с родителями? Бытовые какие-нибудь? Конечно, они сами всё решают, да мне это и неинтересно.

Катя подивилась, что кому-то островное существование может, наоборот, казаться идеальным, и как будто успокоилась. С другого угла зрения чудовищная проблема была не такой уж и чудовищной...»

Эта история тоже обрывалась! На самом интересном месте! Юля, уже не вспоминая об уравнениях, полезла в следующий файл.

– А ТЕПЕРЬ давай займемся множествами. – Юрий Георгиевич попытался разбудить ученицу, сменив пластинку, и увидел, как бессмысленный взгляд стал отчаянным. – Ну, тут же ничего сложного, – почти взмолился он. – Ты ведь должна помнить! Что такое множество?

– Да-да... Сейчас... Это такое еще одно абстрактное понятие...

– Абстрактное? – растерялся учитель.

– А разве нет? – удивилась ученица.

– Так для тебя вся математика абстрактна? – прозрел Юлин дедушка. – Но как же? Множество есть совокупность различных элементов, мыслимая как единое целое. Попытайся увидеть аналоги вокруг себя! Карандаши и ручки в стакане – множество. Растения на грядке...

– Доски в заборе! – ожила Таня. – Алфавит с буквами. Город и его жители. Семья с родителями и детьми. Полка с книжками. Коллекция – тоже множество?

На полке лежал альбом с марками. Юрий Георгиевич, радуясь успеху, подтвердил и машинально протянул ей альбом.

И Таня в нем утонула.

– А они настоящие? Я видела только конверты, на которых марка уже напечатана... А эти были наклеены на письма... на бумажные конверты – и путешествовали вместе с ними? А как вы их отклеивали? А что значат эти штампики на уголках? Знаете, я никогда не получала бумажных писем... и не писала. У родителей деловая переписка идет на офисы. И вообще по электронной почте, кажется... Как же у вас их много, и все старинные – СССР! А сколько времени понадобилось, чтобы собрать такой альбом? А сейчас вы марки собираете? А вот иностранные – Германия, Монголия, Чехословакия... у вас там были друзья?

Ответы вызвали еще больше вопросов, и завязалась оживленная беседа, во время которой коллекционеру пришлось сбегать наверх за другими альбомами – не один же у него, смешно бы было! – потом достать собрания монет, открыток, календариков, модели автомобилей...

– Такая же память, как фотоальбомы – остановленное время! Но это результат, который можно увидеть сейчас. А сам процесс – наоборот, в том, что отрываешься от своего времени, от повседневных дел, от всякой рутины. Душа отдыхает, освобождается! А теперь – ты наверняка видела: в киосках продают такие журнальчики, и с ними вместе – всё, что только можно вообразить. Куколки, солдатки наполеоновских войн, ордена, монеты, образцы минералов, самолетки, собачки, мини-книжки... Я не понимаю! Туло покупай и жди следующего выпуска! Какое же это коллекционирование? Ничего не надо, кроме денег! А поиск?! Раньше с замиранием сердца приближались к тому же киоску – что там сегодня? На край света ехали, чтобы что-нибудь выменять, к таким же чудачкам! И ведь их полно было, не один я...

Так они плавно перешли на клуб творческой интеллигенции, когда-то процветавший в Белогорске, где всё те же чудачки обсуждали фильмы, книжки и журналы, и даже приглашали к себе живых артистов и писателей.

– К нам Евтушенко приезжал! Высоцкий пел! Ты ведь знаешь, кто это? – И Юрий Георгиевич начал декламировать Тане любимые стихи, а потом развел руками: – А сейчас пишут стихи или нет – я даже и не знаю. В книжном вижу только прозу, детективы в основном...

– Конечно, пишут, – уверила его Таня, – просто множество стихов! Вот, например:

*Земля летела
по законам тела,
а бабочка летела,
как хотела.*

– Лаконично, емко, – одобрил математик, – как формула.

*В любой момент я к жизни не готов.
В любой момент я к смерти не готов.
Ни к жизни я, ни к смерти не готов.
II никогда не буду к ним готов.*

– Любопытно. А кто же автор? – заинтересовался Юлин дедушка. – Ну-ка, я запишу...

*Ну привет, вот бог, а я его генерал,
я тебя придирчиво выбирал
и прибрал со всем твоим
барахлишком,
человеческий, весь в прожилочках, минерал,
что-то ты глядишь изумленно слишком
будто бы ни разу
не умирал...*

– Повтори-ка, пожалуйста! А еще что-нибудь?

*И все-таки узнать
безумно интересно,
Как выглядит итог
во всей своей красе –
Когда уже душа
опомнилась, воскресла,
и звезды понеслись
по встречной полосе...*

Таня читала всё, что могла вспомнить, а Юрий Георгиевич записывал имена поэтов, чтобы найти их потом в библиотеке. Таня усомнилась в том, что он их там найдет, и начала писать на его бумажке адреса литературных сайтов. Услышав про интернет, учитель сокрушенно потер затылок, а взглянув на часы, ахнул:

– Два часа прошло! Как же это мы?! Мама, наверное, тебя потеряла. Хотя бы Юля дала знать...

– Ничего страшного, – горячо заверила его Таня. – Урок был просто замечательный!

КОГДА ноутбук резко вырвали, Юля захлопала глазами. От эльфа меньше всего можно было ожидать такой внезапности и грубого толчка.

– Ты чего? Ты же сама дала...

– Я дала, чтобы ты зашла в интернет и связалась с братом. Зачем ты открыла этот файл?

Голос был сдавленным, глаза сузились, тонкие ручки дрожали.

– Я и зашла. Его не было в Сети, я сообщение оставила. А потом увидела папку «Математика» и захотела поглядеть, что ты решаешь. Может, меня обогнала, а я тут деградирую. А у тебя там книжка затесалась интересная, я и прочитала, – объяснила Юля. – Чего такого? Слушай, дай мне продолжение, а то я не нашла! И про Катю, и про Марину.

– А ты и это открывала? – бесцветным голосом спросила Таня.

– Ну да. Можешь скинуть мне продолжение на мобилу? Или у тебя нет?

Таня молчала.

– Ну, скажи, кто автор, я сама поищу в интернете. Интересно же, чем кончилось. Блин, чего молчишь? Какое я преступление совершила?

– Нет продолжения, – выдавила Таня.

– Почему? – Юля сверлила подружку взглядом, пока не начала догадываться: – Слушай, так это ты, что ли? Ты написала?! Это – твоё?! Ну дела! Так это ж здорово! И ты еще глотаешь «пустое место» и прочие обзывания! Почему ты всё скрываешь?

– Кому это нужно. Это мои фантазии для меня самой.

– Мне нужно, – заявила Юля. – Я читала не потому, что ты моя подруга, я хотела знать, что будет дальше. Так ты – никому – никогда – не показывала?

– Тут нечего показывать. Тут только куски и обрывки. Мне почти пятнадцать лет, а всё еще нечего предъявить миру.

– Ну, пускай мир узнает потом. Но сама-то ты всё про себя знаешь. Почему бы не обозначить сферу своих интересов? Почему самой не поискать какой-нибудь лицей вместо маминского экономического? – допытывалась Юля. – Для будущих там писателей, журналистов. Может, родители тогда отстанут со своими вариантами?

Таня, уронив голову и обхватив ее руками, начала объяснять ступенькам на крыльце:

– Вот я всегда любила танцевать. В благородных девицах как раз была сплошная хореография. Когда всё только начиналось, нас построили в шеренгу и стали проверять. На гибкость,

на выворотность. И сортировали налево-направо: лучших – к ведущему педагогу, они потом участвовали в конкурсах, концертах. Потом – те, кто похуже, ну и совсем отбросы. Догадайся с трех раз, куда попала я. Я с этих уроков потом сбегала при всякой возможности. А танцевать мне хорошо, только когда я одна. Юль, если опять окажется, что я НЕ ТО, я могу и это потерять! А я не хочу! Это всё, что у меня есть! Это мой главный способ почувствовать себя живой! Кроме нашей дружбы – но мы ведь скоро расстанемся... А в журналистику я нос уже совала, в школьное радио – совсем неинтересно. Я же говорила, что люблю только сидеть и мечтать, и придумывать других людей с другой жизнью.

– Ну, мало ли что там кому про нас кажется. Это еще не значит, что они правы, – выслушав, твердо сказала Юля. – Нам и самим может показаться какое-нибудь НЕ ТО – про Белогорск, например. Помнишь, нам здесь сначала всё не нравилось? Тебе калитка мерещилась, которая будто бы должна перед тобой распахнуться. У меня со снами не совпало. А теперь я так рада, что здесь оказалась! Не только из-за гимназии! А твоя калитка, как мой мяч, может, только в снах существует! А настоящий Белогорск – как раз ТО, потому что мы в нем познакомились!

– Какой мяч? – подняла голову Таня.

– Большой, красный. Неважно... Всё равно должен быть выход! Мы его вычислим! Солнце и сейчас светит там, в космосе, над облаками. Его надо только дождаться!

– Юль, почему тебе не бывает страшно? – расширила Таня глаза. – Я же вижу – ты не боишься. Как тебе это удастся?

– Ну, ты и сама не так уж беспомощна, – отмахнулась Юля. – За Моськой сиганула – я и сообразить не успела, что к чему... Слушай, мы в Москву хотели – давай завтра? Пока твоя мама не раздумала. Вон она идет. А пока перекинь-ка мне файлы на флешку, я хочу еще раз почитать. Ты ведь не сердись же, что я залезла?

– Я теперь даже рада, – улыбнулась Таня. – У меня теперь есть настоящий читатель. Ты единственный человек, которого могла привлечь папка «Математика»! Я там нарочно всё хранию – никогда никто не влезал.

– Привет-привет! – приблизилась Танина мама. – Юля, как поживаешь? Как твои родители – оформляют уже документы для гимназии? Решились расстаться с такой дочкой? Знаешь, я хочу предложить: если вдруг возникнут финансовые проблемы, я готова выступить твоим спонсором. А может быть, ты захочешь получить образование в Москве? Возможно, в том же лицее, что и Таня? Там есть и физико-математический профиль. Ты можешь рассматривать разные варианты. Подумай, это серьезное предложение.

Вольность

– Смотри, железный колпак! – фыркнула Юля при виде планетария.

– Под этот – смело залезаем! – откликнулась Таня.

Приехав к открытию, они взглянули на часы только к обеду, когда уже не могли двигаться от голода и успели полетать во вселенной в Большом Звездном зале, а в Лунариуме – создать облака и торнадо, запустить водородную ракету, спасти планету от астероидов и обойти остальные восемьдесят интерактивных экспонатов.

– Это что, четыре часа прошли? – не поверила Юля. – Хотя – ноги сейчас отвалятся.

Но после обеда выяснилось, что это не так и можно всё начать сначала. К тому же рядом был зоопарк. Целых полдня не должны пропасть понапрасну! Не домой же ехать. И так еле удалось отвязаться от Кармен, которая настойчиво предлагала довезти их «только до Москвы», не понимая, что вся суть поездки – в электричке и в отсутствии родителей.

Таня оказалась в восторге от вольного воздуха, врывающегося в окно вагона, и с одинаковым любопытством взирала на снующих по проходу торговцев, на безбилетников всех возрастов, бегущих по этому же проходу от контролеров, и на самих контролеров.

Всю дорогу подруги обсуждали «серьезное предложение».

– Кажется, я готова пойти в этот проклятый лицей, если и ты там будешь, – призналась Таня. – Может, тебе действительно лучше учиться в Москве?

– Да, здорово было бы – учиться вместе, каждый день видеться! Но это нереально. Тебе на фиг не нужна экономика, а мои родители никогда не согласятся, чтобы кто-то за меня платил. Хоть наш театр особого дохода не приносит, а иногда – убытки...

В метро Таня растерялась и, с опаской поглядывая на схемы и указатели, шаг в шаг продвигалась за Юлей.

– Нам обратно ехать опять на метро? – уточнила она, когда они обошли весь зоопарк и опять казалось, что ноги вот-вот отвалятся.

– Ну да. Тебе же понравилось? И как ты, живя в Москве, умудрилась ни разу в метро не попасть! Хотя бы из интереса спустилась!

– Не знаю... Мы на машине обычно... Конечно, на метро быстрее, в пробках не стоять... – замылась Таня. – А на тебя не давит вся эта толща земли? Ты ее не ощущаешь?

– Нет, – беззаботно ответила Юля, – я станции рассматриваю, мозаики, картины, а когда поезд летит – тоннели. Мне кажется, что это я сама лечу, и сливаюсь со скоростью, и я сама – движение. Это классно!

– А я чувствую только грохот, лязг и духоту, – призналась Таня. – Может, надо привыкнуть. Станции, конечно, красивые, но когда подумаешь, как далеко... высоко настоящий свет и воздух...

Эскалатор привез их вниз, но Юля, вместо того чтобы идти к поезду, присела на массивную скамью.

– Ты единственный человек, который не станет ржать. Чего я в своей жизни боялась – так это дома одна оставаться, в детстве еще. Причем братальник не должен был догадаться, я же старшая. А мы часто по вечерам одни сидели. И тогда я выставяла стражу – везде, по всему дому. У нас полно солдатиков, от папы остались. А потом я научилась видеть стражей. В незнакомых клубах, куда мы приезжали со спектаклями. В классе на экзамене или контрольной. В больнице, у зубного. Понимаешь? Я вхожу – а там моя стража, которую вижу только я: надежная, под потолок. И мне там абсолютно нечего бояться. Что, правда не смешно? Это не детсадовские сопли?

– Великанские стражи, – прошептала Таня. – А здесь, в метро, они есть?

– Ну да, – уверенно сказала Юля, окинув взглядом своды «Краснопресненской». – Стоит с двух сторон и держит головами и плечами эти арки. Здесь сто пудов безопасно, – заверила она. – Они интересные, всегда разные: бывают в железных доспехах, и в одежде древнеримских воинов, и в костюмах из «Звездных войн», и степные кочевники были, и кого только не было!

– А было, чтобы ты вошла – а никого нет? И ты совсем одна? Знаешь, бывают очень плохие места, вроде той березы с ленточками над обрывом. Люди думают, что свое счастье ими привязывают, а ведь знахарки раньше привязывали, наоборот, болезни и несчастья, чтобы они от человека отвязались... Так там всё пространство ими кишит...

– Бывают пустые места. Но я тогда тут же сама выставяю стражу. Мысленно. Так же, как раньше – солдатиков по всему дому. У меня для надежности один всегда в кармане... был.

– А где он? Можно посмотреть?

– Отдала – временно. В залог за нашу карту.

– Слушай, а что, если нам еще покататься – здесь, в метро? Посмотрим разные станции, где мы еще не были!

Храни меня, мой талисман

– КАКИЕ у вас планы? Вы после Таниной математики собирались куда-нибудь? Я, кстати, и в Москву с вами мог поехать, если бы вы предупредили, – тараторил Егор, с независимым видом перемещаясь вслед за Юлей по улице.

– Без тебя нам никак не прожить! – засмеялась Юля и показательно помахала перед его носом сумкой для продуктов: – Не видишь – я в магаз. А у Тани и урока сегодня нет никакого. Эй, добрый день! Приходите итальянский смотреть! У нас телик заработал! – окликнула она даму с розовым зонтиком, которая тоже поднималась на крыльцо супермаркета.

– Благодарю, если что – сразу к вам! – отвечала та. – Поклон вашему дедушке. Надеюсь, он здоров?

– Еще как. Я раньше стариков вблизи не видела, поскольку росла без бабушек-дедушек. И мне казалось, что старики – это люди, которые скоро умрут. А теперь выяснилось, что это отдельный вид жизни, – деловито сообщила Юля, перекладывая продукты с полок к себе в корзинку. – Его много что интересует – грядки, коллекции, стишки, кроссворды – ерунда всякая – но он среди этого вертится и потому здоров.

– Исчерпывающий ответ! – улыбнулась Маргарита Сергеевна. – А я всю жизнь проработала с людьми, которые скоро умрут. Среди них были и молодые, и старые. И поняла, что главное – не возраст, и не близость смерти, а качество жизни.

Нагрузившись продуктами, они пошатались в разные стороны. Зазвонил мобильник, и пришлось остановиться и поставить пакеты под ноги. Егор, увидевший, что после короткого разговора лицо апельсиновой девчонки резко помрачнело, подскочил:

– Эй, это не Таня звонила?

– Чего пристал? – огрызнулась Юля. – Тебе какое дело? Влюбился – так походи к самой Тане и ей объяснись, чего за мной-то бегать! Или ты уже? Твоя работа? – и она язвительно указала на огромные буквы на асфальте: Я ТЕБЯ – дальше изображено было такое же огромное сердце. Егорка покраснел и умчался, выкрикнув:

– Дура рыжая!

Юля тут же пожалела: умнее было бы нагрузить недоросля тяжелыми пакетами. Она не торопилась их поднимать, стояла и пыталась осмыслить, что теперь делать и в каком порядке.

– Привет!

Перед ней стояла Марина. Как вовремя!

– А я как раз собиралась тебе звонить. – Юля достала карту. – Вот, возьми. В целости и сохранности. Спасибо.

– Что, новых объектов не прибавили? – улыбнулась принцесса. – Автор карты был бы доволен, если бы ее усовершенствовали, дорисовали что-нибудь.

– Куда там, мы даже не всё обошли.

– А что же возвращаешь? Я не тороплю. Или вы уже уезжаете?

Юля неопределенно пожала плечами.

– А я нашла своих! – Принцесса была сегодня необычно весела и продолжала улыбаться. – Представляешь, как ты и говорила! Оказалось, они совсем рядом, и я давно их знаю. Редактор «Белогорских вестей» решила заняться изданием книжек для детей и подростков. У нее малыши подрастает, и выяснилось, что, хотя детских книг навалом, по-настоящему качественных мало. И вот она сейчас в теме. Всё кипит, креативная команда подобралась, мои картинки увидели – загорелись! Это, конечно, маленькое издательство, но планы масштабные и, главное, ИНТЕРЕСНО! Несколько проектов уже запускаются, и я тоже участвую...

– Поздравляю. – Вдруг Юлю озарило: – Слушай! А современные авторы их, то есть вас, интересуют? Вот, посмотри несколько текстов – может, захочется по ним что-нибудь нарисовать, ну и вообще – как они тебе покажутся... Возьми флешку!

– А ты – свой талисман. Не забыла о нем? А то я к нему привыкла, как к родному, могу и у себя оставить!

– Нет, он мне сейчас пригодится.

Юля сунула солдатика в карман и решительно подняла свои пакеты. Вперед! В атаку! Спасибо брательнику – не совсем сволочь, предупредил.

Гости съезжались на дачу

– КАК проводишь лето, Ю-2?

Мама стояла у калитки, с пустыми руками, без всякого багажа. Короткие волосы разлетались веселыми солнечно-рыжими лучиками вокруг лица – непроницаемого и мрачного.

– Может, в дом пройдем? – засуетился дед по ту сторону забора.

Мама на него не обернулась.

– Хорошо провожу лето, – ответила Юля. Опустила на землю свои пакеты и, встретившись с матерью взглядом и не мигая, проговорила одним духом: – И собираюсь остаться на зиму. Я хочу учиться здесь в гимназии – меня принимают в физико-математический класс – если вы с папой не против.

– То есть вы тут уже всё сами решили? И от нас нужно только формальное согласие? – саркастически подняла брови мама. Наконец повернула голову в сторону деда: – Тандем с реальными результатами – заговор против родителей!

Но дед и не подумал лезть в пузырь и демонстративно оскорбляться.

– Я первый раз об этом слышу, как и ты. Но буду рад, если внучка останется. Я даю и формальное, и нормальное согласие. Думаю, мы уживемся. Юленька – деятельный и энергичный человек, по хозяйству помогает, антенну починила... И с учебой наверняка справится...

– Ну вот, запел! – перебила Юлина мама. – Слышу первый раз, но от всего в восторге! – передразнила она. – Припоминаю, что мой театр в свое время именовался блажью, глупыми выдумками и никому не нужным балаганом! Чтобы заниматься любимым делом, мне пришлось лбом стенку прошибить и уехать в другой город!

– Потому и нельзя допустить, чтобы сейчас повторилась всё та же ошибка.

Юлина мама, недослушав, повернулась к дочери.

– Я остановилась у своей подруги. Эко-отель «Лесная сказка» – отсюда недалеко. Придешь завтра – поговорим. Советую как следует подумать.

НЕМНОГО поплутав по сосновому бору рядом с дачами, Юля наткнулась на резные деревянные ворота, узоры на которых сплетались в слова ЛЕСНАЯ СКАЗКА. Было сыро и холодно до дрожи – «завтра» началось ранним утром, чтобы не растягивать удовольствие.

Мама, однако, не спала и, не пригласив Юлю в свою теплую комнату, двинулась вперед по темной еловой аллее и сходу обвинила в предательстве:

– Мы на тебя рассчитывали, а ты всех нас подвела. Причем исчезла трусливо, втихаря! Побоялась, что в честном разговоре нечего будет сказать и не сможешь никого убедить! Может, и

теперь нечего? Тогда вернемся домой и забудем об этом вояже. Обойдемся без упреков и попреков. Работы полно.

– Я уехала, потому что ничего другого не оставалось. Вы бы слушали себя, а не меня. А я должна была увидеть и город, и деда, и, главное, школу. В интернете я уже всё нашла, но хотела увидеть своими глазами и определиться.

– И что, определилась?

– Да. Я вчера сказала. Я нашла подходящую школу.

– Вот уж не думала, когда начинала с нуля, что моя дочь откажется от всего готового! Что наше общее дело ничего не будет для нее значить! Что она вернется туда, куда я решила никогда не возвращаться, к человеку, который плюнул мне вслед!

Отдыхающий в спортивном костюме, бегущий трусцой, шархнул в сторону, а мать и дочь, не убавляя ни тона, ни скорости, отмахали до конца аллеи и свернули на боковую дорожку.

– Вот потому я и не стала пускаться в лишние разговоры, – сердито проговорила Юля. – Потому что у тебя уже есть ответы на все вопросы. Потому что ты считаешь, что я – одна из кукол в твоём театре и должна делать то, что ты хочешь, потому, что ты это хочешь! А папа еще напомнил бы, что ты нас с братом родила, хотя у тебя большое сердце! Что это был подвиг! А на самом деле это шантаж!

– Шантаж?!

– А что же еще, если мы теперь должны только подчиняться? Иначе нас сразу начинают упрекать в том, что мы живем! Если вы нас родили себе в собственность, то это подвиг для самих себя!

Они добежали еще до одних ворот в виде резных деревянных столбиков, вылетели за эти ворота и теперь шли по лесной тропе – молча и не глядя друг на друга. Из-за сосновых стволов показалось высокое стеклянное здание.

– Надо же, не разобрали еще, – притормозила Ю-1. – Старый санаторий. Я в нем всё детство провела. Да, мне не полагалось никаких детей, никакого творчества и вообще никакого будущего. Пришлось всё брать с бою, наплевав на врачебные предписания. Меня вытянул только мой театр, я только им жила и продолжаю жить – и я не понимаю, как можно от него отказаться! Мы с Лизой, моей подругой, устраивали спектакли и в больничных палатах, и здесь, в «Лесной сказке». Сами сочиняли сценарии, сами делали кукол...

– Это здесь ты проводила лето? – уточнила Ю-2.

– Иногда и зиму. Здесь была своя школа. Кстати, самая лучшая за всю мою жизнь! Мы все сидели в одной комнате – ребятки разных возрастов, и добрая тетенька, накрытая шалью, по очереди давала задания. Иногда спрашивала, но редко. На полке стояли разные книжки, и можно было брать любые. Главное – тихо сидеть. Я, когда это поняла, начала таскать учебники для старших классов: античную историю в черной обложке, русскую – в голубой, биологию в зеленой, зоологию, географию, потом хрестоматии по литературе. А сама училась еще во втором классе... Это был запретный плод – учебники для старших! Взахлеб читалось! Все картинки помню! Когда приходилось возвращаться в городскую школу, я с такой тоской вспоминала о санаторской...

– Да ты прямо как Таня! – удивилась Юля. – У меня подруга такая же. Она читала учебники своей старшей сестры, и говорит, что ей знание надо добыть самой или получить как бы через щелку.

– Вот видишь! – обрадовалась мама. – Дело-то не в школе! Каждый должен быть сам себе школой! А гимназия, в которую ты так стремишься – ты уверена, что она даст тебе что-то особенное? Сейчас ведь очень много дутых величин.

– Ты можешь сама туда сходить. Это недалеко – сначала до фонтана с рыбой, потом мимо парка...

– Так это что – никак моя школа? Гимна-зия! Чего намудрили! А там еще кто-то есть, или все на каникулах?

Они шли уже не торопясь, вернулись за резные столбики на территорию эко-отеля, миновали длинную аллею.

– Ю-юля-я!

Навстречу бежал Егорка, размахивая руками. Кажется, этого можно палкой гнать, а ему хоть бы хны, подумала Юля. И здесь достал.

– Скорей! – мальчишка, подбежав, совсем задохнулся. – Там что-то случилось. Таня убежала на свой пустырь! Ее мама тоже бежит, кричит и ругается!

– Егор, ты не вовремя, – нетерпеливо перебила Юля. Только дело пошло на лад, может, удастся найти общий язык! – Видишь, у меня с моей мамой важный разговор.

– Но Таня... Она уже на вышке... И она ЛЕЗЕТ НАВЕРХ!

Приглашение на казнь

ТАНЯ была уже на третьей площадке.

– Сейчас же слезай! – суетилась внизу ее мама. – У тебя голова закружится!

Таня медленно поднялась еще на одну ступеньку.

– Тань, ты чего? – изумилась подбежавшая Юля и обратилась к Кармен: – Она же боится высоты! Что случилось?

Внезапно раздался треск, и деревянная ступенька разломилась прямо под ногой, но Таня удержалась за перила и переступила на следующую.

– Я кому говорю, слезай! – закричала Танина мама, перепугавшись.

– Тише, тише, – замахал на нее взявшийся откуда-то Юрий Георгиевич. – Вдруг она испугается, оступится и упадет! Эта конструкция держится на честном слове, ее давно должны были разобрать. Там всё проржавело и сгнило. Девочка идет фактически по воздуху!

– Зачем она туда полезла? – спросила Юлина мама, появившаяся вместе с дочерью.

– Не знаю, почему она так это восприняла, – нервно заговорила Кармен, обращаясь к Юле. – Она всегда встречала в штыки любое мое предложение! Но, поразмыслив, признавала, что я права и предлагаю разумные вещи, для ее же пользы – как с экономическим лицом, например. Но когда я сообщила ей о летнем экономическом лагере – отдых плюс учеба – началось что-то невообразимое. Она закричала, что никуда не поедет, что я с ней не посоветовалась... Когда мне было советовать? Нам крупно повезло, я договорилась в последний момент! Это возможность войти в ту среду, познакомиться с ребятами, которые уже учатся по профилю, подготовиться к тестированию, наконец...

– Вы что, хотели ее отсюда увезти? – уточнила Юля.

– Ну да! Завтра же! Нам нужно было сразу начать собираться... А она устроила патетическую сцену, заявила, что скорее выпрыгнет в окно, чем поедет в этот лагерь. Я и говорю: прыгай...

– Вы на самом деле так сказали? – не поверила Юлина мама. – Зачем?

– Ну, я же не должна была идти у нее на поводу! – воскликнула Кармен приглушенным голосом, не отрывая взгляда от дочери, которая одолевала следующую ступеньку. – Не могла же я воспринимать это всерьез и позволять ей закатывать истерики! Я и говорю: дачный домик – не небоскреб, кто же с первого этажа прыгает. Тогда она сорвалась и побежала сюда, на этот жуткий пустырь. Я – за ней... Господи, надо же ее снять оттуда! Я звоню в полицию...

– Да вон она, полиция, в пяти шагах. Может, сами уговорим спуститься? – предложил старый математик.

Но девочка на выпке никому не отвечала и продолжала подниматься.

– Она нас как будто не слышит, – отчаялась Кармен. – Лезет вверх, как под гипнозом! Что с ней, боже мой? Таня, спускайся, и мы всё обсудим! Давай не будем устраивать спектакль на всю деревню! Нет, я не то хотела сказать... Она не реагирует!

– Юля, Егор, попробуйте, поговорите с ней, – предложил дедушка. – Вы же ее друзья!

СВЕРХУ всё выглядело не таким, как обычно. Часть пространства занимали люди, беззвучно открывавшие рты. Все прочие звуки тоже были отключены. В этом вакууме коржились ржавые прутья арматуры, вылезшие из бетонных плит – словно сама земля о чем-то кричала. Таня взглянула на свои ладони – они были такие же ржавые, на нее перешла вся грязь этого мира. Таня снова вцепилась в перила и посмотрела вниз.

Волшебной поляны не было. Не было бесконечных превращений звуков и цветов. Был уродливый пустырь, и отовсюду лезло ржавое и черное. Горелый круг от костра. Дранные покрышки. Яма. Черный цвет обступал, преобладал, становился черными дырами, воронками, которые увеличивались и затягивали в себя всё остальное. Наверное, это они уничтожили звуки. Даже стволы деревьев перестали быть выпуклыми и казались прорезями в черноту.

На открытый люк канализации была наброшена железная решетка. Словно дверь в подземный мир, которая вот-вот со скрипом отворится... Таня вздрогнула. Ее калитка! Так вот она какая и куда ведет!

Снизу глядели Егорка и Юля, безмолвно открывавшие рты. Таня попыталась переключиться на них, но поняла, что не может управлять звуками. Она была вне чужеродного мира, она осталась совсем одна и могла только механически переставлять ноги. Забравшись еще на ступеньку, напряглась из последних сил и проговорила в вакуум, не слыша себя:

– У меня нет другого выхода.

– ОНА уже на самом верху. Площадка без перил. Пора вызывать пожарных с лестницей, – рассудила Ю-1 и посмотрела на Танину маму: – Может, вы не сказали ей главного? Может, отметить приговор насчет лагеря... или где там она не хочет учиться? Или вам принципы важнее?

– По-вашему, очень педагогично идти на уступки? А если она каждый раз будет добиваться своего, угрожая самоубийством? – не сдавалась та. – Это правильно – позволять использовать шантаж и истерику?

– Каждого раза может не быть, если сейчас она разобьется в лепешку. Тут высота в три этажа и внизу – бетонные плиты. А до шантажа лучше не доводить и решать проблемы на начальной стадии. – Ю-1 поймала внимательный взгляд Юрия Георгиевича и сердито от отвернулась. – А не можете – вызывайте пожарных.

– Она не для того, чтобы вами манипулировать! Вы ничего не понимаете! Она правда не может так жить! – Юля почти плакала. – Таня, есть другой выход! Спускайся, мы его найдем... Давай я к тебе поднимусь, и мы спустимся вместе!

– И я, – вторил Егорка.

– И не думайте даже, вас всех эта развалюха точно не выдержит, – цыкнул дедушка.

Юля лихорадочно перебирала, что еще можно сказать, чтобы Таня услышала. Что она нужна своим родным, которые будут страдать, если с ней что-то случится? Но эти родные для нее – причина ее собственных страданий, и она нужна им, чтобы дальше ее мучить и ломать. Повторить, что она дорога друзьям – ей и Егорке? Но месяц назад они прекрасно без нее обходились, а завтра снова разойдутся по своим мирам и могут больше никогда не пересечься. Таня уже сейчас их просто не видит. Такая ли уж они ценность для нее? Любые слова казались бесполезными и жалкими. Юля нащупала в кармане солдатика и со страхом подумала: а если и он не поможет?

– Это в своих фантазиях мы можем придумывать параллельные варианты и хорошие концы. А в реальности, видишь, иначе. Хотя больше похоже на дурной сон. Один миг – и уже никаких вариантов, – услышала Ю-2 от Ю-1.

Слезы высохли. В голове больше не мелькал калейдоскоп из заманчивых предложений, которыми можно свести Таню с неба на землю: учиться вместе, кататься на метро, обследуя все новые станции, путешествовать по Белогорску с волшебной картой.

Юля запрокинула голову и четко проговорила:

– Моська осталась одна. Без тебя она никому не нужна. Никто не будет с ней нянчиться и покупать ей одежду. Она будет бродить по пустым дачам, мерзнуть и голодать. Все без тебя обойдется, кроме нее. Спускайся, отнеси ее в тот водопад, откуда вытащила, и утопи, чтобы не мучилась. А потом возвращайся на вышку и прыгай.

Невидящий взгляд сфокусировался, и Юля его перехватила.

Я памятник себе воздвиг

– КАК жаль, что мы не всё успели обойти по карте. Помнишь, там была отмечена «Старая пушка»? И какая-то пещера?

Таня несла Юрию Георгиевичу стопку учебников. Окрепшая Моська уже не сидела на руках, а бойко бежала рядом.

– Да, много чего осталось. Может, когда-нибудь еще попутешествуем! – звучало это бодро, но взгляд у Юли был задумчивым. – Знаешь, мне тоже кажется, что здесь не всё случилось, что могло... Как на день рождения или Новый год – ждешь, что всё будет по полной, а на душе потом пусто. Вот разъедемся, а город останется – как будто нас и не было...

– Стойте! Глядите! – запыхавшийся Егор догонял их, размахивая газетой.

Подруги склонились над свежим номером «Белогорских вестей». Крупный заголовок гласил: «Возвращение призрака».

– «Больше всего недовольны случившимся жители Зеленой улицы, – прочитала Юля вслух. – Теперь их снова будет беспокоить по ночам шум, который создают охотники за привидениями. Десятки любителей мистики и профессиональных исследователей паранормальных явлений уже осаждали заброшенный дом пару недель назад, когда впервые пошел слух о блуждающем по нему призраке. Вероятно, поднявшийся ажиотаж потревожил пугливого духа, и тот затаился. Но теперь его снова видели»... Видели?! Чего они видели?

– Да я сам видел! – воскликнул Егор. – Как прочитал в газете, так и побежал. Там правда что-то белеется, развевается... Но это же не мы? – Он переводил взгляд с Юли на Таню.

– Это не мы, – подтвердила Юля.

– Мы ведь второе привидение... не делали? – продолжал уточнять мальчишка.

– До того ль, голубчик, было. Это сделал кто-то другой. Может, сами газетчики, чтобы было, чего в газете писать. – И тут Юлю осенило: – Тань, беру назад слова, что нас здесь как будто и не было! Ведь город состоит не только из домов и жителей! Есть еще невидимые герои! Вроде NikVer'a, который везде оставил автографы, о котором все помнят и говорят. Он и нам умудрился сделать доброе дело, хотя мы его в глаза не видели – его суперкарта к нам попала... Так вот, а мы вызвали к жизни привидение! Мы сейчас уедем, а оно останется! Весь Белогорск в него играет!

– Да, это круто! – засмеялась Таня.

– Пойдемте, сами посмотрите! – терзала их мальчишка. – Пока опять не содрали!

Юля взглянула на часы:

– Не успеваем! Мы уезжаем прямо сейчас. Ты напиши потом в Сети подробности. А осенью в гимназии встретимся – ты ведь там учишься? А я на лето к своим. Работы полно. Выездные спектакли в детских лагерях...

Егор не верил:

– Как – прямо сейчас? Что – обе уезжаете?

– Мы подвезем Юлю с мамой до Москвы. Не скучай, Егор, – серьезно сказала Таня.

– Чего мне скучать! Мне работать надо, – сердито ответил Егор, показывая пачку газет. – Вот, меня же взяли все-таки! На испытательный срок. Я здесь, на дачах, буду летом разносить, пока народу много.

– Деловой, – одобрила Юля. – Удачки тебе!

– Тань, – не отставал Егорка, – а ты это... с мамой своей помирилась?

– Мы договорились пока оставить все как есть. Меня не будут запикивать в другую школу. Мама вернется к своим делам и, я думаю, придет в равновесие. Бизнес дает ей уверенность, что она всем управляет и что всё под контролем... А со мной это не работает.

– А с тобой там, дома, ничего не случится?

– Не волнуйся, Егор, я не так беспомощна, как кажется. Мне жаль, что я вас всех напугала. Но мне нужна была эта вышка. Я должна была подняться и спуститься. Чтобы понять, что тоже могу управлять как минимум собой, и могу подняться, и могу спуститься, и найти другие выходы, кроме той жуткой пустоты. На этой вышке умерли мои страхи. Я теперь, кажется, даже высоты не боюсь. Может, конечно, потом появятся новые, – улыбнулась она.

Егор шел впереди и сосредоточенно совал «Вести» в почтовые ящики, где они были, и просто в калитки, и в руки всем желающим.

– Я выставяла тебе стражу, – тихо проговорила Юля, замедлив шаг. – В последний момент наткнулась взглядом на ту гигантскую надпись на вышке, и сразу появились и наш NikVer в полном боевом снаряжении, и все парашютисты, которые оттуда прыгали. Они всю лестницу заняли, снизу доверху. А вот это – тебе на будущее. – Она незаметно сунула что-то в руку подружке. Таня ощутила в ладони маленькую металлическую фигурку.

Драма на охоте

ПОКАЗАЛСЯ домик Юлиного деда.

Зареванный малыш проковылял мимо, взывая:

– Фуська! Фусенька!

Юля посоветовала:

– Посадил бы ты его в клетку.

Юрий Георгиевич сообщил через забор даме с розовым зонтиком:

– А я в Доме культуры, в университете для пожилых, записался на компьютерные курсы! Хочу научиться пользоваться интернетом и электронной почтой, буду внучке писать...

– Чао! Buon giorno! – приветствовал даму Егорка и вручил ей и Юлиному деду по номеру «Вестей».

А Моська, юркнувшая в калитку, вдруг залилась тьяканьем, чего от нее еще никто не слышал – и исчезла под крыльцом.

– Моська! Ко мне! – кинулась за ней Таня.

– Вот это да! Голос прорезался! – засмеялась Юля. – Там, наверно, Котангенс, и она его сейчас загрызет!

Из-под крыльца действительно выскочил кот, но какой-то мелкий, длинный, коротколапый – и несколько не полосатый – и, кажется, вовсе не кот. Моська продолжала его преследовать, существо выбежало на улицу, зареванный малыш кинулся к нему и схватил в объятия:

– Фусенька! Ты напелся!

– Это что такое? – вытаращилась Юля. – Так это и есть твой Фуська? А я думала, что Фуська – это кот!

– Выглядит, как хорек, – определил дедушка, и малыш радостно закивал, надевая на питомца шлейку с поводком:

– Конечно, хорек! Домашний! У нас есть клетка! Но мне его жалко, и я выпускаю! И тогда он сбегает! Уже пять раз сбегал!

– А теперь-то – в клетку? – поинтересовалась Маргарита Сергеевна.

– Не знаю... Может, он меня все-таки полюбит? Не будет убегать?

Юля никак не могла примириться с тем, что под домом скрывался хорек, а она это не выяснила.

– Как же я до конца не расследовала? Ведь всё время слышала подозрительный шум! Но решила, что это Котангенс, и успокоилась... Может, из Моськи вырастет охотничья собака?

Блистающий мир

ЗА ОКНОМ машины побежали знакомые дома и улицы, зеленый шатер над озером и водной фонтанный купол, не раскрывшие своих тайн. Исчезли привычные тучи, и весь город обнял высокий голубой купол, говорящий, что лето – это подарок – им всем, просто так, ни за что. Уж это было сразу понятно!

– Кажется, все дожди и ливни вылились в июне, а вот июль порадует солнцем! – Кармен с удовольствием рассуждала о погоде: месяц в деревне наконец-то был позади.

У Юли запел мобильник. Она ответила и вдруг вскинула взгляд на Таню, потом покосилась на взрослых – те сидели впереди и были увлечены разговором – и сообщила вполголоса:

– Тань, у тебя появились другие настоящие читатели. Я, может, это неправильно сделала, не посоветовалась... вроде твоей мамы. Но есть одна художница, которая рисует картинки к книжкам. И есть издательство, которое их выпускает. В общем, я дала им почитать то, что ты мне дала. Они не знают, как тебя зовут и сколько тебе лет. Они только читали тексты. И им всем понравилось! Они хотят познакомиться с этим автором, и хотя прочитали всё полностью. Спрашивают продолжение... Что мне ответить?

– Надо ответить, – отозвалась Таня, – что продолжение следует.

В тексте использованы фрагменты стихотворений Константина Кедрова, Веры Полозковой, Анны Гедымин.

ЕВГЕНИЯ ПЕРОВА

КРУГИ ПО ВОДЕ

Роман. Продолжение

ЧАСТЬ 4. КАРП СТАНОВИТСЯ ДРАКОНОМ

Леший и Марина потом часто думали, как все повернулось бы, не окажись у них на пути эта женщина? «Эта женщина» позвонила Лешему сама, чему он несколько удивился – это было у нее не в обычае. Каждый раз, слыша ее низкий, чуть хрипловатый, очень чувственный голос, Леший ощущал себя дрессированной собачкой, послушно выполняющей все команды хозяйки, и ему это не сильно нравилось.

– Здравствуйте, Алексей! Что-то вас давно не видно и не слышно. У меня есть хорошие новости – продано несколько картин, приезжайте! Может быть, у вас что-то новенькое найдется?

Новенькое нашлось, да и деньги были кстати, и в один из вечеров они с Мариной поехали в галерею, которую держала «эта женщина» – Валерия Свешникова, хорошо известная в кругах художников и антикваров. Лёшка подвел Марину к своей стенке:

– Ты иди, посмотри тут пока, ладно? Мне поговорить надо.

– Ладно.

Марина разглядывала картины, но вдруг резко обернулась и увидела, как по узкой винтовой лестничке медленно спускается женщина...

Нет, не женщина – королева!

Сначала показались великолепные ноги в изящных туфельках на шпильках умопомрачительной высоты, потом и сама их владелица, одетая очень просто, но Марина сразу оценила, что это за простота. Платье было самое незатейливое, зеленовато-голубое: вырез лодочкой, без рукавов – но скроено так, чтобы подчеркнуть красоту безупречной фигуры. Всё, всё было у нее совершенно: бедра, грудь, шея, руки, осанка – и Марина непроизвольно выпрямилась. Волосы цвета бледного золота стянуты в греческий узел, а из украшений – только длинные серьги, да множество звенящих браслетов на обеих запястьях. Марина затосковала: и зачем Лёшка ее сюда привел, она сама – просто чумичка какая-то на фоне этой... этой хозяйки Медной горы! Сначала девицы галерейные – такие наряды на них, с ума сойти, а теперь еще эта...

Леший разговаривал с Валерией, а спиной чувствовал – Марина смотрит. Оглянувшись, поймал ее прищуренный взгляд – а ведь ревнует! Точно, ревнует. И как не подумал, дурак! Надо было заранее предупредить, какая Валерия. Сейчас ведь навдумывает что-нибудь. Договорив, подошел. Марина прилежно рассматривала картину – концептуальная такая картина, не поймешь, что и написано, но по цвету – здорово собрано.

– Шедевр наша?

– Угу.

Развернул лицом к себе – ишь ты, чуть не пшипит, кошка рассерженная!

– И что это такое?

– Картина. Художник... художник Малюниников. «Прогулка с Бродским» называется.

– Нет, с тобой – что такое?

– Ничего.

– А то я не вижу! Всю спину мне взглядом просверлила, пока с Валерией говорил!

– С ней ты тоже спал?!

– Так я и знал! Нет. С ней я не спал. Мне, конечно, лестно, что ты обо мне такого высокого мнения, но что-то бабы на меня особенно не бросаются, да и я вообще-то, знаешь, не со всеми подряд сплю, а только с некоторыми кусачими зверушками. А ты – на пустом месте – ревнуешь!

– Еще чего!

Тут Леший взял, да и поцеловал ее – основательно так, по настоящему, «с погружением», как он это называл. Марина с трудом вырвалась – вся красная и взлохмаченная:

– Пусти! С ума сошел! Люди кругом!

Потом взглянула смущенно и улыбнулась, увидев его смеющиеся глаза.

– Ну ла-адно тебе...

– Валерия – что б ты знала – замужем!

– И что?

– А то!

– А-а! Ты не по этой части?

– Да, я не по этой части. Муж у нее – лет на десять моложе и крутой такой...

– Боишься, значит...

– Ой, дурилка! И детей – четверо. Пойдем, я тебя познакомлю!

– Не хочу!

– Ну что ты, как маленькая...

Но идти не пришлось – Валерия уже подошла сама, улыбаясь:

– Валерия Павловна, можно просто – Валерия!

– Это Марина – моя жена.

Почувствовал, как дернулась Мариного плечо у него под рукой, и обнял покрепче: вот тебе, дурилка!

Валерия улыбнулась снова, взглянула Марине прямо в лицо, и та вдруг словно отключилась на пару секунд: все исчезло, кроме удивительных серо-зеленых глаз Валерии – радужка обведена темным ободочком, а сами глаза очень светлые, прозрачные, колдовские... Марина встряхнула головой – что такое?!

– Алексей, вы подите сейчас к девочкам, они оформят новые картины, и вы деньги получите за проданные, хорошо? А мы с Мариной поболтаем!

И повела ее по галерее к винтовой лестничке. А Лёшка оглянулся на картину – «Прогулка с Бродским», это ж надо! Поднимаясь, Марина мрачно сказала в спину Валерии:

– Мы не женаты.

– Я догадалась. Вы недавно вместе?

– Мы друг друга много лет знаем, но... А вы с ним давно знакомы?

Валерия привела ее в небольшой кабинетик, усадила. Достала чашки – такого тонкого фарфора Марина в жизни в руках не держала. На блюде – маленькие пирожные, каждое как произведение искусства, такие и есть жалко. Налила чаю, опять улыбнулась Марине, но глаза смотрели внимательно и серьезно.

– Мы с Алексеем знакомы уже лет... да лет шесть, наверно. У меня тогда еще галереи не было. Алексей наш семейный портрет писал, вот он, на стене. Оригинал – дома, здесь копия, поменьше.

Марина посмотрела на портрет: Валерия, почти такая же, как сейчас. Сколько же ей лет, интересно? А это муж – и правда, крутой. Рыжеволосый юноша и малышки-близняшки. А Лёшка говорил – четверо детей? Собака лежит у ног – борзая, элегантная.

– Здесь мы еще впятером. Ну, и Сюзи. Аркаша – мой сын от другого брака. А сейчас с нами еще Стёпочка, мы его усыновили. Пора новый портрет Алексею заказывать. Пейте чай, остынет.

– Спасибо....

– Вы все его работы успели посмотреть?

– Да, натюрморты забавные! Бутылки, стаканы. Я их не видела раньше. Как он стекло разноцветное пишет! А свет какой!

– Это «Водочная серия», как он называет. Времен запоя. Вы знаете – он пил?

– Он и тогда писал?!

– Думаю, это и удержало от полного падения. Он художник – настоящий, от Бога. Для него писать – главное. Вы, наверно, и сами это уже поняли?

– Да-а...

– Мне только кажется, что он себя еще не нашел. Вот натюрморты – в них что-то есть. Они хорошо идут, нравятся. Пейзажи... Пейзажи прекрасные, но одного этого мало! Понимаете? Профессионально написано, но после Левитана, Васильева, Саврасова – просто мастерства недостаточно. Должно быть что-то еще! А вот сейчас он принес вещи – они немного другие.

– Вам понравилось?

– Необычно для Алексея. Сумасшедшинка некая появилась, и по цвету великолепно. Каждую рассматривать хочется, разгадывать. Это очень хорошо – картина должна зрителя заманивать. Чтобы посмотрел, отошел – вернулся, еще посмотрел и потом все вспоминал: да что же это такое? Алексей раньше писал попроще, а теперь... Я думаю, у него все впереди.

Марина поняла, что смешно было ревновать и расстраиваться: Валерия все понимает! У нее такие внимательные глаза – как будто вглубь смотрит – изучает? Что-то между ними происходило, Марина чувствовала, но не понимала – что?! Ей вдруг стало легче дышать и спокойней на сердце, и она как-то... слегка подтаяла душой, как льдинка на солнце! И даже словно на самом деле повеяло летним теплом с ароматом цветов. Марина вспомнила – даже не вспомнила, а прямо увидела картинку перед глазами: солнечное утро, и мама ей расчесывает волосы.

Все это – тепло, покой, материнская нежность – шло от Валерии, хотя внешне не проявлялось никак: Валерия была непроницаема и безмятежна. Она меня... приручает?! Как она это делает? – подумала Марина и попыталась взглянуть, не глазами, а... Марина не знала, как и чем она вглядывается, но с Лёшкой это иногда получалось. Сейчас ничего не вышло: Валерия не давала Марине себя разглядеть: так сосуд, выточенный из драгоценного камня и ограненный, не позволяет увидеть, что у него внутри, ослепляя внешним блеском.

Потом, спустя годы, Марина смогла осознать, что в эту первую встречу Валерия легко и без малейшего усилия заглянула к ней в душу: так мать, забежав мимоходом в комнату дочери, машинально наводит порядок, поправляя сбившееся покрывало и сметая ладонью со стола отгрызки яблок и скомканные бумажки...

– Я думаю, что Алексея ждет большой успех. Если вы ему поможете.

– Я? – удивилась Марина. – Чем я могу помочь?! Я ничего не понимаю в живописи!

– И не надо особенно понимать в живописи. Нужно понимать художника. Это очень сложный процесс – рождение картины. Мастеру нужно время, особое состояние души, настрой, вдохновение, в конце концов. Это не считая таланта, а Алексей, несомненно, талантлив. Вы как раз и должны вдохновлять, и мне кажется – уже вдохновляете.

– Да? – Марина задумалась. Ей как-то до сих пор не приходило в голову, что от нее что-то зависит, да и Лёшкино занятие живописью она не воспринимала всерьез. Вдохновлять? Ну да, как он тогда загорелся ее писать, в первый день! А потом сник. Нет, эскизов он понаделал множество, но без особого энтузиазма, а до холста дело так и не дошло, да ему и некогда – какой-то шкаф реставрирует...

Валерия с легкой улыбкой смотрела на задумчиво моргающую Марину:

– Как тебе пирожные? Да ты не попробовала! Ничего, что я на «ты»? Возьми, они совсем некалорийные, с зеленым чаем.

– С зеленым чаем?

– Крем из зеленого чая. Не знаю, как уж они это делают. Впрочем, тебе не надо задумываться о калориях.

На прощанье Валерия сказала им с Лёшкой – очень серьезно:

– Берегите друг друга!

Марина с Лёшкой шла пешком по Никитскому бульвару, а Валерия долго смотрела им вслед – сначала из окна, а потом следила внутренним взором: ну что ж, вот ты ишла. Наконец-то –шла. Это именно то, что надо. Идеальный случай. Такая пара подобралась! И художник обещающий, и девочка сильная. Что-то в ней есть особенное. Пожалуй, даже у меня этого нет. Но ничего пока не умеет. Ну что ж, немножко поработать, и все получится. Надо их пригласить на выходные, присмотреться получше...

– Как тебе Валерия? – спросил Лёшка у Марины. – Правда, необычная?

– Просто потрясающая! А сколько ей может быть лет?

– Ты сама сколько дашь?

– Не знаю... За сорок?

– Как же! Это ее мужу сорок, а Валерии уже за пятьдесят.

– Не может быть! Надо же! Послушай, а тебе не показалось, что она...

– Что?

– Да нет, это я так. Ничего.

– Мне показалось, что ты ей очень понравилась! Меня она ни разу чаем не поила.

– А тебе завидно, что ли?

– Да прям! Больно надо. Пошли, лучше денежки потратим! Хочешь, в ресторан сходим? А то я за тобой и не ухаживал, как положено.

– А как положено? В рестораны водить? Да ну, пойдем, лучше пирожных купим или тортик, а? И дома чаю попьем? А то у твоей Валерии пирожные какие-то были... несущественные! Растаяли – и как не ела!

– Да никакая она не моя! Ладно, пошли, зверушка, за тортиком.

Марина не рискнула говорить с Лешим о том, что ей примерещилось у Валерии – она даже себе самой боялась признаваться, что способна на такие странные вещи, как... чтение мыслей, например! Когда с ней случалось что-нибудь подобное, она страшно пугалась, а в последнее время случалось все чаще и чаще. Она подозревала, что и Леший замечает: иногда он так странно на нее смотрел, особенно, когда Марина отвечала ему что-нибудь, не глядя.

Порой, задремывая в метро, она вздрагивала от лавины разнообразных голосов, перебивающих друг друга, а в другой раз, рассеянно уставившись на кого-нибудь, вдруг ясно слышала, о чем он думает. А бьющаяся то и дело посуда? Та чашка, разбившаяся в самый первый день – она раскололась прямо у нее в руках, еще до того, как упала на пол!

А царапины? Царапины у Лёшки на плече, которые она по-копачьи зализала в самую первую ночь? Наутро от них не было и следа! Иногда Марине казалось, она сходит с ума. И вот теперь – Валерия! Марина чувствовала – она такая же...

После общения с Валерией Марина стала лучше справляться с новыми способностями, словно та что-то настроила у нее внутри, переключила какие-то кнопки – и машинка заработала. Марина чувствовала себя как человек, что прожил всю жизнь, не слыша звуков, и вдруг внезапно обрел слух: на нее просто обрушился шквал чужих эмоций, чувств, образов – «звук» нарастал постепенно, как при повороте ручки регулятора громкости на радиоприемнике. Потом она научилась не слушать, но все равно что-то прорывалось, самое «громкое» – и чаще всего это были всплески злости, гнева, раздражения, зависти и ревности. Сколько ненависти в людях – думала она. Раньше я этого не замечала. А может, светлые чувства просто не такие заметные? Не такие «громкие»? Нежность – она же не кричит о себе! И тем дороже были редкие мгновения, когда видела среди серой мглы солнечный проблеск любви.

Марина никак не могла научиться отличать реальную речь от той образной информации, которую получала при помощи своего нового «видения», и то и дело попадала впросак. Однажды в метро она обрушилась на сидевшего рядом безобидного с виду толстяка: «Как вам не стыдно! У вас жена беременная, а вы себе такое позволяете!». Пассажир залился краской и вытаращился на нее в полном изумлении, а ей пришлось выскочить на первой же станции...

В общем, от этих сверхъестественных способностей пока что было больше проблем, чем хоть какой-то пользы, и Марина недоумевала: почему они проявились именно у нее?! Она всегда была необщительной, мало интересовалась другими людьми, ее порой и обычная-то речь раздражала, а тут еще чужие мысли, эмоции...

Зачем это ей? Для чего?

Незаметно они с Лешим прожили вместе целый месяц, каждый день которого можно было считать за год, настолько круто замешано было их совместное житье-бытье. И, не признаваясь в этом самим себе, они оба устали. Марина совершенно не привыкла к такому постоянному и тесному общению, у нее не оставалось и минуты для себя: просто посидеть в тишине, полениться, почитать книгу. Какая книга! Они все время, свободное от Мариной работы, проводили вместе, а если Леший бывал чем-нибудь занят, Марина тут же засыпала, наверстывая ночи, наполненные любовью.

Она тяжело переносила вдруг проснувшуюся в ней несколько истерическую чувственность – в первый рабочий день она еле дожила до дому и просто потрясла Лешего своим пылом, даже не заметив, что они занимаются любовью на новом месте: пока ее не было, Лёшка успел купить кровать и кое-что переставить в квартире, так что очнувшись, Марина долго не могла понять, где находится...

А Леший устал сдерживаться – дома он давно бы уже от души поругался с матерью, выпустил пар, а с Мариной это было никак не возможно – она пугалась, когда он просто повышал голос, хотя старалась этого не показывать. Лёшка устал от переживаний из-за Марины, его унетало, что он никак не найдет постоянную работу и не может продвигаться с места в собственном творчестве: по-старому он писать уже не мог, а по-другому – не получалось.

Тревога и тоска постоянно висели над ним синей грозовой тучей, и он уже пару раз ловил себя на мучительном желании напиться. Оба скрывали друг от друга свое взаимное недовольство,

и накапливающееся раздражение грозило неизбежным взрывом, так что тот «критический день», которого с опаской ждала Марина, стал поворотным днем их общей истории. Они поругались прямо с утра. Не то, чтобы на самом деле поругались...

Алексей не разбудил Марину, как обычно, и она проспала. И завтрак не было – так как Марина работала, то хозяйством обычно занимался Леший, но в этот день на него наконец-то напало желание писать, и он, забыв обо всем, работал в мастерской. Марина заглянула к нему, а он рывкнул, чтобы не лезла под руку – у него по-прежнему получалось плохо. Марина обиделась и ушла, не выпив даже кофе.

На улице проезжавшая машина обдала Марину водой из лужи, в метро ей отдавили ногу; на работе горел план, а Марина не успевала вычитать текст; Жужелица была несносней обычного, телефон звонил не вовремя, и все вокруг раздражало так, что стакан с карандашами то и дело летел на пол, а Жужелица уже всерьез рассказывала всем желающим, что у них в комнате завелся полтергейст!

К вечеру Марина достигла той стадии раздражения, когда окружающим действительно впору надевать бронжилеты. В таком состоянии она приехала домой, где Леший все так же безуспешно пытался работать. Ужина не было, как и завтрака, Марина похватила что-то из холодильника, к Лёшке не стала и соваться, а уселась на кухне, достав принесенные с работы рукописи, одну из которых надеялась за выходные вычитать, но сама взялась за вторую – и постепенно увлеклась, забыв обо всем. Она так увлеклась «ловлей блох», что не слышала, как тихо подошел Леший, который целый день чувствовал себя виноватым, и обнял ее – Марина подскочила, листы разлетелись по комнате, перепутавшись, и она разозлилась:

– Ты меня напугал! Посмотри, что ты наделал! Я работала, а ты!

– Да ладно, что там у тебя, ерунда какая-то! – он был в игривом настроении, схватил ее в охапку и потащил на кровать. Но Марина кипела от ярости:

– Пусти! Пусти меня сейчас же! – и довольно ощутимо ударила его кулачком в грудь.

– Ты что?! Вот кошка бешеная!

– Конечно! Я кошка! А ты кто?! Когда он работает, то и подойти нельзя, а меня отвлекать можно! Как я теперь разберусь, у него листы не нумерованные! – честно говоря, Марина так злилась еще и потому, что на самом деле занималась никому не нужной ерундой вместо того, чтобы срочно вычитывать плановую рукопись.

– Да соберу я тебе все, перестань скандалить!

– Мне кажется, я для тебя – игрушка!

– Игрушка?!

– Захотел – поиграл, не захотел – отстань! Тебе не приходит в голову, что мне иногда просто нужно побыть одной? Ты не понимаешь, что я не привыкла к такой жизни? Ты же... ты же радио все время включаешь!

– Какое еще радио?! Радио-то тут причем?

– И телевизор! Включишь – и уйдешь из комнаты, а я хожу и выключаю! Зачем ты включаешь, если уходишь?! Зачем?

Боже мой, что я несу! – в ужасе думала Марина, не в силах остановиться и выплескивала на Лешего все свое раздражение. Он молчал, не поднимая головы. Наконец Марина просто зажала себе рот руками и в панике таращилась на Лёшку. Тот вздохнул, и все так же, не глядя на нее, очень спокойно и даже ласково произнес:

– Да, может быть, ты и права. Наверно, мы поторопились. Если я так тебя раздражаю...

Марина пыталась что-то сказать, но у нее напрочь пропал голос.

– Если тебе так будет лучше, я могу... Я перееду обратно к матери. И мы будем... просто встречаться. Если захочешь.

Он встал и ушел, очень аккуратно прикрыв за собой дверь. На Марину Леший так и не посмотрел, а она сидела, протянув ему вслед руки, и пыталась позвать, но не могла – горло так сдавило, что она еле дышала, и вместо звуков изо рта вырывался только слабый шип. Он же сейчас уйдет! Совсем! А я ничего не знаю: ни телефона, ни адреса!

И она так страшно закричала – беззвучно, внутри себя закричала, что Лешего словно в спину толкнуло и он прибежал обратно. Увидев ее безумные глаза, он проклял все на свете – этот приступ был сильнее всех предыдущих, сильнее даже того, первого, что случился сразу после омута, когда ему пришлось ударить Марину, чтобы прекратить истерику. Сейчас у него не поднималась рука, хотя это, может быть, и помогло бы. Она вцепилась в него так сильно, что потом на руках у Лешего остались четкие отпечатки ее пальцев в виде синяков. Марина дрожала и все пыталась что-то сказать, но не получалось ничего – она задыхалась. Леший обнял ее и стал успокаивать, целуя:

– Ну, маленький, не надо! Я здесь, я с тобой, у нас все хорошо. Бедняжка моя! Я люблю тебя, куда я не уйду, если ты не хочешь! Я здесь...

На душе у него было тяжело. Наконец, Марина немножко успокоилась, и он смог отцепить ее от себя:

– Взгляни на меня! Ну? Ты видишь – я здесь.
Марина напряженно смотрела ему в лицо.

– Ты слышишь, что я говорю? Ты меня понимаешь? Я тебя люблю! Я с тобой, все хорошо...

Она сморщилась и заплакала – горько и безнадежно, тоненько подвывая. Леший еще долго бормотал утешительные слова – пока она не затихла. Вся ледяная, бледная, мокрая от пота, она смотрела на него запавшими глазами:

– Прости меня...

– Перестань! Хочешь, я тебе ванну сделаю? Согреешься?

– Сил нет...

– Я помогу.

Он отнес ее в ванную, посадил на стиральную машину – сидишь? Держись! Налил воды, добавил какой-то пены из пластиковой бутылочки, раздел Марину и помог ей влезть в воду – она сразу же затряслась еще больше, и Лешка придерживал ее за плечи. Постепенно она расслабилась, порозовела и перестала трястись, но глаза все еще были несчастные, и Лешка боялся, что она опять заведет свое жалкое: «Прости меня!». Но она слабо улыбнулась и сказала:

– Все-таки забыла я табличку прицепить!

– Какую еще табличку?! – Леший испугался, что она заговаривается.

– Ну, помнишь? Мы с тобой обсуждали мои... мои критические дни? Осторожно – окрашено.

– Ах, вот оно что! – у Лешки отлегло от сердца. – Так вот почему все эти капризы! Отлегло-то отлегло, но мысль о том, что теперь так оно и будет каждый месяц, его ужаснула.

– Ну да. Завтра – наверняка начнется. Ты... ты потерпишь несколько дней?

– Марин! Ну, ты что в самом-то деле! Я кто, маньяк сексуальный, по-твоему?

– А то нет! – прошептала Марина, но он услышал.

– Ну, вот что! Давай-ка вылезай! Смотрю, ты уже оклемалась.

Оклемалась, но тело еще не слушалось. Лешка завернул ее в свой полосатый халат и донес до кровати на руках, а когда накрывал одеялом, Марина тихо сказала:

– Но сегодня еще можно! Это я на всякий случай.

– Нет, и кто из нас сексуальный маньяк, а?! Не надо меня задабривать таким образом! Ты на себя-то посмотри...

И, увидев, как она мгновенно расстроилась, закричал:

– Да я не в этом смысле! Ты еле жива, а туда же! Ах ты, господи! Ну перестань, не начинай все сначала. Да, ты сейчас похожа на мокрую курицу! Но я тебя все равно люблю. Всякую! Я тебе сто раз говорил! Я тебя, какую угодно, люблю: ты хоть налысо подстригись – я все равно...

– Значит, волосы можно не отращивать?

– Как это – не отращивать? А мечта моряка?!

– Да мне теперь и не отрастить такую косу! У тебя вон волосы длинней моих.

– Ну, тогда я отращу.

– Слушай, а правда! Тебе пойдет!

И добавила мечтательно:

– Мне всегда нравились мужчины с длинными волосами! Будешь хвост завязывать...

– Какие это еще мужчины тебе нравились?! Нет, ты подумай! Давай-ка поспи лучше.

– Мне чаю хочется...

– Чаю? Сейчас согрею. С лимоном?

– Ага. И тортика!

– Тортика нету.

– Ууу...

Он не выдержал – поцеловал в губы:

– Тортик! Сама ты тортик! Хочешь, схожу куплю?

– Это долго...

– Ну, чаю сладкого?

– Давай.

– Ты проживешь без меня пять минут?

– Проживу.

– Точно? Ты поняла: я пошел на кухню. За чаем.

– Леш, я не сумасшедшая, – сказала Марина ему в спину, а он в эту самую секунду с тоской думал, что если так и дальше пойдет, надо будет все-таки показать ее врачу. В чай он на свой страх

и риск плеснул коньяку. Удержать чашку Марина не могла – дрожали руки, и Лёшка поймал ее, как ребенка.

– Поспишь, может?

– Полежи со мной! Пожалуйста!

Леший забрался к ней под одеяло, обнял.

– Ну, как ты, маленький?

– Получше...

– Вот и хорошо.

– Совсем я тебя замучила!

– Да ладно! Ничего не замучила! – ответил Леший совершенно искренне, как будто не он пару минут назад трагически размышлял, насколько его хватит при такой жизни. – Меня так просто не возьмешь! Если б ты знала, какие скандалы мне Стеллка закатывала! Да ты ей в подметки не годишься.

– Стеллка?!

– Ну да. Стелка, бывшая моя. Я женат был, ты забыла?

– Забыла!

– Марин, ты прости меня за это дурацкое радио, но мне – ей-богу! – и в голову не приходило, что оно может так тебя раздражать! Я машинально включаю, не думая.

– Ужасно почему-то бесит! Главное, когда сама включаю, как будто так и надо, а когда ты... Но все равно не понимаю: ладно, ты бы его слушал! Но ты же не слушаешь! Ты включаешь – и уходишь!

– Марин, я не знаю, почему я так делаю, правда. И я не уверен, что не стану опять...

– А я тогда буду на тебя ворчать, вот!

– И пилить?

– Ага. Ворчать и пилить.

– И не страшно. Марин, я не знаю, как сделать, чтобы ты не пугалась от всякой ерунды. Мы живые люди! Ну, поссоримся – помиримся. Мне ведь тоже... не просто. Я все понимаю, ты не привыкла жить одним домом с мужчиной, но я-то тоже не привык... жить с любимой женщиной, понимаешь? Я тоже боюсь! Также не знаю, как с тобой правильно обращаться! Вдруг что не так сделаю, скажу не то. Как слон в посудной лавке, честное слово! Ты бы мне просто сразу говорила – я пойму. Я вообще-то вменяемый! Почему ты мне про это радио сразу не сказала?

– Я боялась, ты огорчишься...

– Ага, а сейчас я прямо обрадовался, да?!

– А я? Я ведь тоже тебя раздражаю чем-то, нет?

– Ты? Так я и сказал!

– Ну, ничего себе! Я должна ему все высказывать, а он...

– Да я-то переживу! А ты опять пугаться начнешь и суетиться вокруг меня, да прощения просить неизвестно за что. Вот это – бесит! Марин, я могу рассердиться, обидеться, наорать, но я люблю тебя! И не оставляю, понимаешь? Это... это физически невозможно! Ты так... проросла внутрь меня. Как я могу тебя бросить, если ты – внутри?!

– Проросла?

– Да.

Марина задумалась. Проросла! А почему я так не чувствую про Лёшку? Почему мне и в голову не приходило, что ему тоже трудно и страшно? Он так хорошо меня понимает, а я... А ведь он не умеет читать мои мысли, а я – умею! Сколько раз я отвечала на его незадаанные вопросы! Вот только что я позвала его – без слов! – а он услышал и пришел...

И вдруг Марина впервые за все это время осознала, что Леший тоже был в том черном омуте! И тоже мог остаться там навсегда! А он вытащил ее из воды, спас ей жизнь и все это время продолжает тащить и спасать.

А вообще-то я о нем думала? – спросила она саму себя. Или только пережевывала собственные страдания? Только принимала его любовь и заботу? Вон и Валерия сказала, что я должна о нем заботиться! Вдохновлять! А как?! Как понять, что ему нужно? Как? Неужели я такая эгоистка?! Или у меня просто нет привычки? С мамой жили отдельно друг от друга, с Дымариком тоже. Сама отгораживалась от всех всю жизнь. Пряталась от людей. От жизни. Поэтому мне так трудно! Но если я хочу быть вместе с Лешим, придется меняться. Но как?!

Они оба затихли, думая каждый о своем – и об одном и том же: как?

Как научиться понимать друг друга?!

Марина потесней прижалась к Лёшке: ей так мучительно хотелось стать как можно ближе к нему, влезть к нему в голову, в душу и увидеть, понять, что это значит – проросла? Это желание было настолько страстным и сильным, что она словно наэлектризовалась: все волоски стали ды-

бом, и задремавший было Лёшка вздрогнул, как от слабого удара током. Марина почувствовала, что у нее внутри вдруг что-то лопнуло – так лопается созревший нарыв, горячая волна прошла по телу, загорелись щеки, в горле пересохло, и реальность поплыла, расслаиваясь, но было совсем не страшно, как обычно, а интересно!

Марина четко осознавала, что лежит рядом с Лешим, чувствует его тепло, стук сердца, дыхание, его руку у себя на спине, а губами – чуть влажную кожу у него на боку, куда она уткнулась. В то же самое время она видела все это со стороны, сверху: лежащего с закрытыми глазами Лёшку и себя – седые волосы, измученное лицо. Она еще успела ужаснуться тому, как плохо выглядит, но тут же упала сверху вниз и оказалась...

Сначала она не поняла, что это!

А светлый пульсирующий поток, в котором она барахталась, захлебываясь, был потоком Лёшкиного сознания: она чувствовала изнутри, как свои собственные, все его мысли, чувства, эмоции и ощущения. Она понимала, как нравится Лёшкиной руке трогать ее гладкую спину и как хочется спуститься пониже, но он сдерживается; как ему приятно прикосновение Мариной груди к своему телу и как щекотно от ее горячего дыхания, но он терпит...

Любовь, сострадание, нежность, жалость, затаенное желание, тревога, тоска, усталость, недовольство собой – все это обрушилось на Марину лавиной. Ей стало трудно дышать, и она хватала воздух ртом, стараясь не пыхтеть слишком сильно, чтобы Лёшка не заметил. Там, в этой стремнине, было еще много всего: Марина увидела мельком болезненный багровый всплеск, как-то связанный с творчеством, и мрачную черную тень из прошлого, но не стала вглядываться – она вообще страшно боялась, что он каким-то образом заметит ее присутствие. Ее тоже переполняли самые разнообразные чувства: потрясение, восторг, благодарность, радость, облегчение, и... стыд, потому что все это время она не испытывала к Лёшке и десятой доли того, что так мощно клубилось в его душе!

– Эй, зверушка, – вдруг сказал Леший, и Марина вздрогнула. – Ты что так подозрительно затихла? Замышляешь недоброе, а? Или ты спишь?

– Нет, не сплю!

Каждая из Лёшкиных эмоций или чувств имела свой цвет, и сейчас все окрасилось в бледно-зеленый цвет нежности. Марина увидела себя Лёшкиными глазами: маленькое, хрупкое, беззащитное существо, прелестное и трогательное, которое он призван – и готов! – оберегать и защищать, даже жертвуя собой. У нее подступили слезы к глазам, и не в силах справиться с благодарностью, которая, как казалось Марине, была больше ее самой, она взяла и поцеловала Лешему руку – он дернулся, как от ожога:

– Ну что ты, зачем! Не надо! Это я тебе должен ручки целовать! – Леший прикоснулся губами к ее пальцам. Это было уже совсем невыносимо – Марина повернулась к Лёшке, подвинулась, чтобы достать, и, совершенно не подумав, чем это может грозить, поцеловала его в губы. Сила двойного желания оказалась такова, что она ненадолго потеряла сознание. Марина очнулась еще внутри поцелуя, а когда Лёшка оторвался от нее, тихо пробормотала сама себе: зашкалило, надо же!

– Нет, что ты делаешь, а? – спросил, задыхаясь, Леший.

– Я-то? Целую тебя, а что? – И Марина опять потянулась к нему: все закончилось во время обморока, дверь в Лёшкину душу закрылась, но она все равно чувствовала его гораздо лучше, чем раньше, словно осталась какая-то пуповина, связывавшая их накрепко.

– Марин, может, не надо?

– Все будет хорошо, правда-правда, не бойся! Не бойся! Ну же...

Марина опять поцеловала его. Все изменилось. Не было больше надрыва, жадности, звериного желания, ослепления – когда рассудок на грани: чуть-чуть и безумие! Одна нежность – глубина, в которую сколько не погружайся, все мало. Марина даже не закрыла глаза – она смотрела, как меняется Лёшкино лицо, и жалела, что раньше не видела этого. Они шли навстречу друг другу по длинному коридору, все ближе, ближе, вот, наконец! И нельзя еще ближе... не бывает...

Можно!

Можно...

А потом словно взлетели – оба даже чувствовали взмахи крыльев за спиной. Летели, как одна птица о четырех крылах.

И Леший чувствовал что-то особенное в этой близости, хотя в горячке ему и некогда было анализировать: как будто в привычное уже блюдо добавили новую пряность и вкус изменился. И только потом, засыпая, Леший понял: впервые Марина не только принимала, но и отдавала: сама вела его, сама целовала, ласкала – и так, как будто точно знала, что ему в эту секунду нужно и как! Она и знала, только Леший об этом не подозревал.

Марина провела странную ночь: вроде бы спала – и не спала. Она лежала с закрытыми глазами и снова видела себя с Лешим со стороны, но этого мало – она видела себя, свое тело – или душу?! – изнутри! Это было похоже на космос: переливались мириады светящихся звезд, они то закручивались в галактики, то улетали в черные дыры. Вдруг что-то взрывалось или лопалось, как лопаются почки на деревьях, а что-то новое расцветало и распускалось. Зарастали раны и трещины, испарялся потихоньку тот черный лед, что намерз в ее душе за последние годы, и когда весь этот сложный внутренний мир обрел гармонию, Марина, наконец, крепко заснула.

Утром она первым делом поняла, что ее вчерашнее предчувствие насчет критических дней сбылось, и быстренько побежала принимать меры. Направляясь из ванной на кухню, она вдруг споткнулась у зеркала – словно отражение придержало ее за рукав. Марина смотрела в зеркало, не веря своим глазам: она прекрасно помнила, как ужасно выглядела вчера – серая кожа, тени под глазами, тусклые седые волосы, горькие складки у рта и несчастный взгляд. А теперь! Из зеркала на нее смотрела незнакомая красавица с розовой кожей и волосами, светящимися в полутьме коридора, как жемчуг! Глаза сияли, губы улыбались, а вся она словно переливалась, как поверхность воды в солнечный день. Марина потрогала холодную поверхность стекла, прикоснувшись к отражению своей щеки – что же это такое?! Как это вышло?

Я словно булгаковская Маргарита, – думала она, разглядывая себя в зеркале. «Свободна, свободна!» – усмехнувшись, вспомнила она преображение Маргариты. Свободна?! И поняла – да, так и есть! Весь страх, живший у нее в душе, испарился. Она попробовала представить омут, свое падение – ничто не отозвалось внутри. Как странно, что я вдруг так изменилась! Ей хотелось прыгать, кричать от восторга, лететь – а вдруг и правда получится?! Но она только улыбнулась и пошла на кухню – готовить завтрак любимому мужчине.

А любимый мужчина спал всю ночь, как убитый. Ему снилось, что он летал. Но не так, как в детстве, когда летаешь легко, без малейшего усилия – и без крыльев. Нет, он летал на огромных мощных крыльях, ощущая движение воздуха и работу собственных мышц: взмывал вверх, кувыркался в воздухе, парил, а внизу, на земле, задрал голову к небу, следила за ним смеющаяся Марина. Смотри, как я могу! – кричал он, и Марина махала руками и подпрыгивала: здорово! Подожди, сейчас я тебя подхвачу – крикнул он, полетел вниз и проснулся.

Потянулся, зевнул с чувством, посмотрел – Марины рядом нет, принялся: пахло кофе. Надо же, встала, завтрак готовит! А он думал, Марина после вчерашнего будет спать до обеда. Но когда взглянул на часы, оказалось что уже почти час. Ничего себе! Ему совершенно ничего не хотелось делать – так блаженно было просто валяться – лениться, как говорила Марина. Леший никогда не понимал такого времяпрепровождения, а сейчас с удовольствием провалялся бы в постели весь день. На душе у него было удивительно спокойно и светло. Может, я просто не выспался? – подумал он и все-таки встал, уж больно вкусные запахи доносились с кухни.

В коридоре он прислушался, а потом пошел на цыпочках и осторожно заглянул: Марина... пела! Он видел ее в профиль, она помешивала что-то на плите и задумчиво напевала: *«Только ты никому не рассказывай, что душа вся тобой полна... Что тебя я в косыночке газовой поджидая весь день у окна...»*

– Подглядывать нехорошо, – сказала Марина. – Привет! Выспался?

– А я еще и подслушиваю! Фальшивишь ты, матушка, нещадно.

– Ну, не всем же Бог дал абсолютный слух, как вам, сударь!

Марина была какая-то другая – Леший всматривался и не понимал, в чем дело: она словно светилась изнутри и все время улыбалась, замечая, с каким недоумением он на нее заглядывается. Наконец, доев омлет, Лёшка не выдержал:

– Марин! Что-то случилось, нет? Ты какая-то необыкновенная сегодня!

– Необыкновенно прекрасная? Или необыкновенно добрая? Или...

– Ну, правда! – воскликнул он так простодушно, так по-детски, что Марина подошла и обняла его:

– Все хорошо. Но кое-что случилось. Я выздоровела.

– Выздоровела?

– От омута выздоровела. Совсем.

Он все не понимал.

– Лёшечка, мы свободны! Все кончилось. Меня отпустило. И это ты сделал! Ты меня из воды тогда вытащил, и ты меня все это время... тащил. Ты справился! У нас получилось. Всё, ты понимаешь?

– Откуда... ты знаешь? Как ты можешь быть уверена...

– Я знаю. Правда. Это ты. Твоя любовь.

Он вдруг поверил, сразу и окончательно. Господи... У Лешего перехватило дыхание, и чтобы Марина не увидела этого позора – слез у него на глазах, он уткнулся ей в грудь, но предательски задрожавшие плечи выдали его.

– Боже, до чего я тебя довела! – Марина гладила Лешего по голове, от ее ладоней и от нее самой шло нежное тепло, которое он ощущал всем своим существом. – Бедный мой! Я знаю, тебе было страшно и трудно, и я не помогала совсем! Ты один все это вынес. Но ничего, теперь мы вместе. Ты же чувствуешь? Ты должен это ощущать: мы вместе! Мы вместе в круге любви. Милый мой! Свет мой, радость моя... Любимый, родной...

Леший не верил своим ушам: это говорит Марина? Которая за все время их близости если и сказала что нежное, так только «Лёшечка, милый!»? Он поднял голову – Марина молча улыбалась, а ручеек нежных слов продолжал журчать у него в голове: любимый... желанный... единственный... радость моя... свет мой...

Марина покивала ему, потом сказала:

– Ну да, ты слышишь меня. Жалко, не всегда! А я тебя теперь всегда слышу. Раньше изредка, а сейчас все время. Лёшечка, тебе теперь со мной очень легко будет, правда! Не надо будет переживать из-за меня, все это прошло, как не бывало. Я совсем ничего не боюсь, даже странно. И ты опять рисовать начнешь – раньше я тебе мешала, а теперь помогать буду, я знаю, как!

– Да чем же ты мне... мешала? – у Лешего что-то тоненько звенело в голове, но Марина погладила его пальцами по лбу, потом потерла ему затылок, помассировала плечи, и звон прекратился.

– Мешала! У тебя душа была занята заботой. А теперь свободна. Только тебе надо немножко отдохнуть, ты устал...

Марина стояла перед ним, обняв за плечи – он придерживал ее руками и коленями и смотрел, не узнавая:

– Ты такая... красивая... просто невероятно... глаза... потрясающие!

Леший чувствовал идущую от нее спокойную уверенность и на короткое мгновение пожалел, что больше нет того ощущения хрупкости и незащищенности, как раньше, когда он явно был сильнее – а теперь... хорошо, если на равных.

– Да, я знаю. И с этим уже ничего не поделаешь. Теперь так. Но я все та же! Это я, твоя маленькая зверушка, правда! И ты всегда можешь меня баловать и утешать, как тебе нравится.

– Черт тебя побери! – Леший страшно покраснел: он себе самому не признавался, как действует на него Маринина слабость. – Ты что, все мои мысли теперь знаешь?!

– Нет, ну что ты! – Марина нахмурилась и заговорила очень серьезно. – Лёш, ты не бойся! Я без спросу не полезу, ты что! Я же понимаю – это личное. Я же только на крылечко вхожу, а дальше – ни-ни! Правда! Ты даже не думай! Я, знаешь, что слышу? Когда ты прямо ко мне думаешь. А остальное – нет. Я же понимаю, каково это!

– Ну да? А что ты еще можешь?

– Еще? Уронить и разбить что-нибудь могу! На расстоянии. Когда разозлюсь или расстроюсь сильно.

– Покажи!

– Лёш, ну я же говорю: когда разозлюсь. А сейчас мне неохота злиться. Давай, я лучше другое тебе покажу. Сними-ка рубашку!

Леший послушно стал стягивать рубашку и вдруг осознал, что они вовсе не на кухне, а в комнате – на кровати! Марина сидела напротив него и улыбалась. Он помотал головой: как это?!

– Марин, а как мы сюда попали?! Мы же на кухне были?!

Она только смеялась. Потом подвинулась и взяла его за руку:

– Кошмар! Как я тебя вчера, бедный!

Синяки были впечатляющие. Марина нагнулась и легко поцеловала один синяк, другой, потом отстранилась: смотри! Синяки бледнели и исчезали один за другим.

– Ничего себе...

– Давай другую руку! Ну вот.

– Марин, а как это вдруг так произошло, а? Вчера ты одна была, сегодня...

– Это вчера еще началось, перед тем, как мы... ну... взлетели.

– Ты тоже заметила?

– Конечно. Ну вот, а потом я спала, а внутри как-то все перестраивалось. А потом проснулась – и поняла: я ничего не боюсь! Вообще. Страх, ужас, испуг, паника – стали просто словами, за ними ничего не стоит, понимаешь? Омут – я его представляю, вижу, и никакого ужаса, наоборот, думаю: какое красивое место! Еще осталось кое-что. Но я справлюсь!

Леший слушал, как замороженный, даже рот открыл.

– И я еще знаю, как ты меня любишь! Я и раньше знала, но как-то... отстраненно. А теперь – изнутри знаю. И я... тоже. Научилась любить. Немножко. Ты же заметил, правда?
– Заметил...
Марина все держала его за руку, и теперь, глядя ему в глаза, опять эту руку поцеловала.
– Марин, я прошу, не делай так! Это очень сильно действует на меня, я не могу...
– Я знаю. Потому и целую.
Она поцеловала еще раз, потом придвинулась ближе и стала целовать плечи, шею, грудь, спускаясь все ниже...
– Марин! Прекрати сейчас же! Пожалуйста! – взмолился Лёшка. – Ты же сказала – нельзя сегодня! Или можно?!
– Нельзя. Но кое-что – можно! – она уже расстегивала ему джинсы.
– Ты это сделаешь?! Тебе же не нравится!
– Сегодня... мне все нравится. Такой уж день.
Он закрыл глаза и выдохнул.
С ума сойти...

ЧАСТЬ 5. ЭТА ЖЕНЩИНА

В середине октября Валерия пригласила их в гости на выходные.
– Точно, ты ей понравилась! Меня одного не приглашала. Поедем?
– А где они живут? На Рублевке где-нибудь?
– Не-ет, что ты! Раньше на Фрунзенской жили, сейчас целый особняк купили в центре, в Брюсовом переулке. А приглашают под Кострому, у них там дом.
– Так это же далеко!
– Часа четыре. Ну, пять. Она машину пришлет за нами. Мне давно хотелось их дом увидеть – говорят, что-то необыкновенное.
– Меня укачает в машине...
– В таких машинах не укачивает. И потом... Что-то мне подсказывает, что тебя теперь ни где не укачает.
– Ты думаешь?
И правда, такой... танк приехал! В салоне стоять можно. И не укачало. Шофер Виктор – крупный молчаливый парень – сразу надел наушники, но они все равно почему-то разговаривали шепотом и слегка нервничали. Лёшка всегда напряглся, когда общался с Валерией, хотя она бывала с ним исключительно любезна и доброжелательна. Тот семейный портрет дался ему очень непросто, а мужа Валерии – Анатолия – Лёшка вообще старался не вспоминать. Еще он очень не любил чувствовать себя бедным родственником, но Марина, которая тоже об этом думала, сказала:
– А, наплевать! Лёш, мы такие, как есть – через себя не перепрыгнешь. Ты скажи, кто рядом с ними – не бедный родственник?!
– И то верно...
Машина довольно долго ехала по огромному парку и подвезла к парадному входу, объехав по подъездной дорожке весь дом вокруг.
– С башенками, надо же! Посмотри, ни одного одинакового окна! – сказала Марина.
– Да, настоящий модерн. Прямо особняк Рябушинских. Хотя тот без башенок.
Дом был выстроен из светлого кирпича, бежевого и розового, украшен белыми барельефами – стилизованными цветами и женскими фигурами, разномастные окна в затейливых наличниках, а стекла – Марина так и ахнула, разглядев: с фасками и гравировкой! Все четыре башенки тоже были разными по форме, хотя одинаковыми по высоте.
Валерия встретила их на пороге, одетая по-домашнему, но все равно элегантная. Волосы она заплела в косу – не длинную, но очень толстую, и Марина, ревниво покосившись, в очередной раз пожалела об отрезанных волосах.
– Как добрались? Сейчас вас проведут в ваши апартаменты, отдохнете немножко, а через час я вас буду ждать, покажу дом. Захотите, по саду погуляете. Ужин попозже. Анатолий задерживается, а Аркаша с Юлечкой скоро придут.
– С Юлечкой?
– Да, Аркаша женился. Юлечка – прелесть! Скоро бабушкой стану.
– Ну, какая вы бабушка! – и Марина тут же смутилась от собственной смелости, но Валерия улыбнулась ей, и она успокоилась. Марина таращилась по сторонам и всему удивлялась.
– Вот мои красотки, Кира и Мила!

Появились близняшки. Надо же, совсем одинаковые, подумала Марина. Красивые девочки, складные. Лет по двенадцать им, пожалуй. С ними пришел важный на вид пес и сел, с интересом рассматривая гостей.

– Ой, огромный какой! Сенбернар?

– Это – Ипполит Матвееч. Он только с виду грозный, а так – сама доброта. А кто это тут у нас такой? А кто это там прячется? Ну-ка, посмотрим. А это Стёпочка! – и вывела из-за спины: боже мой, негритенок!

Марина так и расплылась:

– Хорошенький какой! Шоколадка!

Только зубы сверкают, да белки глаз.

– Это Стёпочка. Ну, поздоровайся, не бойся! – малыш застенялся, уткнулся Валерии в бок, а сам косится черным глазиком, потом засмеялся.

– Какое чудо! Стёпочка!

– Вообще-то он Стивен. А это наша няня, Наташа.

Улыбающаяся Наташа забрала малыша, а тот все оглядывался и заливался смехом: Марина строила ему рожицы:

– Маленький ты мой!

Поселили их как раз в одной башенок. Все комнатки в «апартаментах» были круглые, что Марину просто потрясло:

– Лёшка! Тут и кровать круглая, ты посмотри!

Кровать была скорее овальная, с резной спинкой – переплетения листьев и лилий с ирисами.

– Ишь ты, прямо Версаль! – сказал Лёшка, – Не комната, а бонбоньерка какая-то.

В отличие от Марины, которая по-детски радовалась окружающим чудесам, он выглядел довольно мрачно. А чудес было много! По всей стене шел круговой диванчик, обитый гобеленом – тоже с ирисами и лилиями; три высоких и узких окна с широкими подоконниками выходили в парк, в верхней части окон светились разноцветные витражи. Между окнами висели канделябры в виде нимф. По обеим сторонам от двери были большие зеркала в золоченых рамах, за которым оказались встроенные шкафы; а когда Лёшка улегся на кровать, то увидел на потолке фреску с мифологическим сюжетом весьма фривольного содержания.

– Лёш, знаешь, на что это похоже, мне кажется? Художник, помнишь – австрийский, что ли? Как же его... Ты знаешь! У нас календарь такой был в издательстве, с девушками. Очень напоминает! По цвету, и вообще.

– Альфонс Муха, да. Он чех вообще-то. Похоже, правда! Модерн, что говорить. Интересно, кто у нее архитектор был? И дизайнер? Стильно сделано, ничего не скажешь. А ты, между прочим, очень похожа на одну из девушек, что Муха рисовал. Я как увидел, сразу подумал. Сидит, пригорюнилась, ручки сложила, а ножку выставила. Милая. Надо найти репродукцию.

На прикроватной тумбочке лежал пульт управления, и, щелкнув первой же кнопкой, Лёший привел в движение двойные круговые шторы: одни из прозрачного розового тюля, другие – гобеленовые. Он стал нажимать на все подряд, то зажигая и гася свет в самых неожиданных местах – подсветка была даже на полу, то включая-выключая тихую музыку. Наконец, из задней спинки кровати с тихим жужжанием выдвинулся большой плоский телевизор, и Лёший успокоился, а когда прибежала Марина, которая исследовала окрестности, Лёшка лежал, закинув руки за голову, на медленно вращавшейся вокруг своей оси кровати – под девятый ноктюрн Шопена!

Марина с трудом залезла на вращающуюся кровать:

– Вот это да! А крутится-то она зачем?

– Для пущей важности. Прямо парк аттракционов, а не дом.

– Ты знаешь, там вовсе не ванна, а маленький бассейн!

– Джакузи что ли?

– Думаешь, я знаю, что это такое, твое джакузи? Пойдем в бассейн?

– Да ну, раздеваться.

– А мне хочется! Ладно, я одна пойду. Там в гостинной закуски есть и вино всякое в баре. И сок, и фрукты! И пирожные!

– Пива нету?

– Пива... Не заметила!

Марина ушла в «бассейн», найдя в шкафу большой банный халат, а Лёшка побрел в гостиную исследовать бар и уважительно покачал головой, обнаружив среди прочего бренди «Реми Мартен».

– Лёшка! – закричала вдруг Марина из ванной. – Иди сюда скорей!

Он вошел с бокалом в руке и ахнул: обнаженная Марина стояла посреди... и правда, маленький бассейн, выложенный терракотовой плиткой и занимавший почти всю площадь комнаты.

– Ты прямо как Венера Милосская здесь!

– Да ты не на меня смотри! Вот! – она хлопнула в ладоши, и с потолка полил настоящий дождь, Лёшке даже пришлось сделать шаг назад, чтобы не намочнуть.

– А? Правда, здорово?! – Марина запрыгала.

– Да ты не поскользнься!

– Нет! Тут покрытие какое-то специальное на дне, не поскользнешься!

– Марин, ты только не увлекайся, а то Валерия нас ждать будет.

Минут через двадцать Марина прибежала к Лёшке с большим блюдом крошечных закусок на шпажках:

– Лёш, смотри, какие штучки всякие! А ты что – пьешь?! Ну, Ле-еш! Неудобно же! Тогда закусывай, давай!

– Я только попробовал! Не хочу я закусывать. Что это за ерунда на палочках?!

– Лёш, а ты чего такой сердитый? Сам же меня уговаривал сюда ехать, а теперь... Или ты что? Завидуешь что ли?

– А ты – нет?

– Нет! Разве можно этому завидовать, ты что?! Это же все... инопланетное! Считай, что мы с тобой попали в сериал. Санта-Барбара!

– Но ты так восторгаешься всем вокруг...!

– И что? Интересно же! Ты думаешь, мне вот это все надо? Да жила я без этого Версаля и еще сто лет проживу! Хотя дождик мне понравился.

– Вот, видишь! А разве я смогу когда-нибудь такой дождик тебе сделать!

– Понравился, ну и что? Мало ли что мне понравится! А если луна с неба? Ты полезешь мне луну доставать?!

– Полезу, – упрямо ответил Лёшка.

– Ой, не могу! Ползет он! Перестань, ну что ты как маленький! Надулся, обиделся. Разворчался! Дождика ему не хвата-ает, Луну ему подава-ай! Сейчас я тебе покажу луну-у...!

Марина, отставив блюдо с закусками, полезла целовать Лёшкого, который уже улыбался:

– Маринка! Не заводь меня! А то выпить не дает, неудобно, а это удобно!

– Ну и пожалуйста, не очень-то и хотелось!

Валерия долго водила их по трехэтажному дому, как по музею – стиль был выдержан везде: плавно стекающие лестницы с ажурными перилами, зеркала неправильной формы, изысканные люстры, камин, наборный паркет и ковры – все с теми же ирисами. Интерьеры, в отличие от времени подлинного модерна, не были перегружены – много встроенных шкафов пряталось за зеркалами и стенными панелями.

Если на первых двух этажах мебель в основном была новодельной или стилизованной, то на третьем царил антиквариат – Гюстав Бови, Галле, Тиффани, Майоль, Лалик. Лёшка узнал два шкафа и пару кресел, которые в свое время реставрировал для Валерии: собственно, они так и познакомились, только потом выяснилось, что мастер еще и хороший художник. На половину Анатолия они только заглянули – там никакого модерна не было и в помине:

– Толя не любит все эти финтифлюшки! Он просил чего-нибудь попрочнее. Так что, сами видите – сплошная сталь и черное дерево. Мрачновато, но ему нравится.

Третий этаж был меньше по площади: жилые помещения башенок заканчивались на втором, выше превращаясь в застекленные лоджии. В картинную галерею Валерия их не повела – завтра, завтра! А то слишком много впечатлений! У Марины действительно слегка кружилась голова, и Лёшка увел ее в парк, где они долго бродили, разглядывая со всех сторон дом, в котором уже кое-где горел свет, и одна из башенок сияла витражами, как волшебная шкатулка.

В парке нашлись еще постройки, не все законченные: гараж, небольшой домик неизвестного назначения, оранжерея, беседки. На детской площадке, расцвеченной разноцветными фонариками, обнаружили Наташа со Стёпочкой – Марина тут же кинулась играть с малышом, а Лёшка попытался завязать светскую беседу с Наташей, но та только улыбалась и отвечала на его осторожные расспросы односложно – высколенная!

Наконец, приехали Аркаша с Юлечкой – миниатюрной юной женщиной, которая бережно прикрывала руками свой огромный живот и смотрела на Аркашу влюбленными глазами. Она явно боялась Валерии и вообще очень робела, так что Лёшый, конечно же, умилился, а Марина тотчас распростерла крылья и кинулась опекать такое трогательное существо, но Юлечка, похоже, Марину боялась тоже.

Ждали Анатолия. Стол был накрыт в зимнем саду: у нас сегодня все просто, по-семейному, сказала Валерия – Лёшка только хмыкнул. Валерия отдавала последние указания горничной, Лёшка беседовал с Аркашей, Марина пыталась разговорить Юлечку, как вдруг низкий и какой-то густой голос произнес:

– О, какая компания! Дорогая, почему ты не предупредила, что у нас прием, я надел бы смокинг. Ничего, что я в пижаме?

Марина оглянулась, успев краем глаза заметить, как и без того бледная Юлечка совсем пожелтела – это появился Анатолий. Он был даже выше Лёшки, а уж в плечах точно шире. Совершенно невозможно было понять, сколько ему лет: если Валерия ослепляла блеском, то Анатолий был неприступен, как бронированный сейф. Он был в офисном костюме, но галстук держал в руке.

– Шуточки у него, однако! – прошептала Лёшка Марине. – В пижаме!

– Как умеет, так и шутит.

– Толя! Наконец-то! – Валерия поцеловала его в щеку. – Мы заждались. Ты помнишь Алексея? А это Марина, его жена.

Марина храбро протянула руку, но Анатолий, чуть усмехнувшись одними глазами, повернул Маринину руку ладонью вниз и поцеловал – уже коснувшись губами ее кожи, он на секунду поднял глаза и встретился с ней взглядом. И тут же отошел, а Марина растерянно заморгала: ей показалось, что он провел большим пальцем по ее ладони – движение очень интимное. И этот взгляд в упор...

Анатолий несколько не походил на дамского угодника и производил действительно несколько устрашающее впечатление: крупный, тяжелый и медлительный, не слишком красивый – внешность самая простая, но ощущение таящейся в нем опасной мощи было впечатляющим. Леший сразу же напрягся, и Марина подумала: если бы они с Анатолием были псами или волками, уже осклалили бы клыки! Ей казалось, она даже слышит приглушенное рычание: два доминирующих самца встретились нос к носу.

– Лёшка! – дернула она Лешего за рукав, потом встала перед ним и заглянула в глаза. – Уймись! Он тебе не соперник. Он зверь другой породы. Ты – волк или медведь, а он... он – тигр!

– Тигр... саблезубый, – проворчал Лёшка, но слегка расслабился.

После ужина мужчины остались в своей компании, Юлечка отправилась отдыхать, а Марину Валерия повела к себе – Марина подозревала, что Лёшка тоже с удовольствием отправился бы в «апартаменты»: и о чем они, такие разные, будут разговаривать за коньяком?!

– Ты молодец, – сказала Валерия. – Очень сильно продвинулась с нашей первой встречи. Я думала, придется много работать с тобой, а ты сама справилась.

– Да, так уж вышло, как-то неожиданно. Но еще не все получается. Словно зашкаливает. Иногда.

– Просто твой дар растет быстрее тебя. Ты должна научиться управлять собой, понимаешь? Своей силой. Я могу помочь немножко, если хочешь. Если доверяешь.

– Вы же мне помогли – тогда, в галерее, да?

– Вроде бы мы с тобой перешли на «ты»?

Это был странный разговор, потому что велся на нескольких уровнях сразу – и словами и без слов. Они сидели в спальне у Валерии – прямо на полу, на пушистом ковре, между ними на плоской медной тарелке горела красная свеча. Валерия сняла все свои браслеты и держала Марину за руки. Обе закрыли глаза. Валерия ее вела – словно из комнаты с резким неоновым светом Марина уходила в темноту летнего вечера, полного звезд, аромата ночных цветов, дыхания земли, растворялась в этих звездах, в бесконечной и вечной тьме с редкими вспыхивающими огоньками. Вдруг она ощутила свое тело как продолжение этой бесконечности, как маленькую ее часть, маленькую и одновременно огромную. Что-то внутри Марины двигалось, шевелилось, мерцало, проплывало, суеилось, а извне лился ровный свет, под которым все перестраивалось и настраивалось, обретая гармонию...

Когда Марина ушла, Валерия еще постояла посреди комнаты, размышляя о чем-то, потом печально вздохнула. Расчесав тяжелую волну волос, она набросила шелковый темно-лиловый халат и отправилась к мужу. Она шла, рассеянно улыбаясь своим мыслям, а внизу, на первых ступеньках лестницы второго этажа, замерла няня Наташа, провожающая ее напряженным взглядом – когда Валерия скрылась из виду, Наташа выдохнула, повернулась и побежала к себе в комнату: слава Богу, не заметила! Но Валерия замечала все. Анатолий сидел перед монитором. Увидев жену, улыбнулся и встал:

– Дорогая! В честь чего такой подарок?

– Так, захотелось, – Валерия сбросила халат и взяла его за руку. – Пойдем?

– Сейчас, только позвоню, – он протянул руку к телефону, но Валерия покачала головой:

– Не надо. Она и так не придет.

Анатолий раздевался, глядя на лежащую в постели обнаженную Валерию, и – как всегда! – дивился ее невероятному блистательному совершенству. Спустя полчаса, окончательно придя в себя, он тихо сказал ей:

– Спасибо! Это было потрясающе. Если не знать, то можно подумать, что...

– Ничего не изменилось, я все та же.

Оба долго молчали, потом Валерия спросила еле слышно:

– Она тебе понравилась?

– Да.

Это «да» упало, как камень, в колодец их тяжелого молчания и кануло на дно. Прошло еще несколько тягучих минут, и Валерия горько произнесла:

– Понравилась, вижу. Сильно. Если тебе это нужно, то... Но мне бы в этот раз не хотелось. Не стоит разбивать такую пару. Они мне нужны, оба. Очень нужны. Идеальное сочетание. Лучше мне уже не найти.

– А ты что думаешь, получилось бы?! В этот раз? Ты что, не видишь – тут ничего не выйдет?! Ну да, этого ты как раз и не видишь. Они же любят друг друга! Любят! Они... они живые. Настоящие.

Анатолий встал и ушел в душ, долго стоял там, подставив лицо под жесткие струи воды, у которой почему-то был соленый привкус. Вернулся – Валерия лежала в той же позе, словно окаменела. Он вздохнул и опять прилег рядом, укрывая ее одеялом и обнимая:

– Ну, перестань! У нас все по-старому, все хорошо. Я с тобой! Я же дал слово.

– Я испугалась, что ты...

– Я понял. Бедная моя девочка!

– Спасибо, милый. Когда ты так говоришь, мне кажется, я... почти... что-то чувствую. Может, хочешь еще раз? Или Наташу позову?

Он засмеялся:

– Нет, не надо! Иди, все хорошо. Спи спокойно!

Но сам не спал до утра.

А Леший почти заснул, когда вернулась Марина, ее же переполняла энергия – просто искры сыпались!

– Где ты была так долго? – спросил он, зевая. – Я тут задремал без тебя.

– Вот она я! Ты так и будешь спать?! А ты разве не хочешь?

– Да что-то я... как-то...

– Ничего себе! – засмеялась Марина, обнимая его. – И картинка на потолке не вдохновляет?

– Марин, я тут не могу! Прости.

– Ты – и не можешь?! Почему?

– Ну... стесняюсь я. В чужом доме и все такое...

– Стесняешься?! Лёш, да мы же одни, никого вокруг, они все в другом крыле!

– Ты знаешь, – признался Леший, – я Валерино как-то побавляюсь: посмотрит – просто рентгеном просветит! А сейчас мне кажется, что она нас и с другого конца дома видит.

– Сквозь стены?! Да нужны мы ей!

– Правда, Марин! Не могу. Не включается что-то.

– Да ну-у! Я так не играю...

– Но ты же можешь предпринять кое-что, а?

– Начинается!

– Эх, никто мне тут не лю-убит, все мне просто ненавиждю-ут...

– Запел, Матроскин! Ну ладно, ладно, что там у тебя не включается...

В эту ночь Марине приснился странный сон: сквозь кружевные занавески в окно заглянула луна, озарив ирисы и лилии призрачным голубоватым светом, стены комнаты-бонбоньерки вдруг растаяли, и стало видно какую-то металлическую арматуру в форме сетки. Да это же клетка! – подумала во сне Марина. А потом чья-то белоснежная рука, звеня браслетами, набросила на клетку темное покрывало...

Утром она об этом и не вспомнила.

После завтрака Виктор свозил Марину с Лёшкой в Кострому – посмотреть город, после чего их ждало еще одно испытание в виде торжественного обеда: должны были прибыть три или четыре гостя с женами, какие-то местные чиновники и бизнесмены. Лёшка немного волновался, а Марина сама удивлялась, что нисколько не робеет:

– Мне даже интересно!

Избавившись от страха, она так искренне шла всем навстречу, так доброжелательно и внимательно слушала, так улыбалась, что словно светила, и к ней тянулись, даже не сознавая этого: Лёшка с улыбкой наблюдал, как одна из чиновниц, неприсутственная с виду дама со сложной прической, на глазах теряла свою неприсутственность и уже хихикала о чем-то с Мариной, прикрываясь ладошкой – кольца так и сверкали. Она тут самая живая, – думал Леший, – самая естественная! Моя женщина...

Любуясь Мариной, он совершенно не замечал, что некоторые из присутствующих дам заглядываются на него самого. Среди деловых людей в костюмах, в ботинках ручной работы и с ролксами на запястьях, Леший в своих неизменных голубых джинсах и любимом бордовом джемпере смотрелся, как настоящий волк на выставке пластмассовых игрушек – высокий, поджарый, с гривой черных жестких волос, так и пышущий энергией и сдержанной мужской силой.

Валерия развлекала гостей, показывая им свою коллекцию картин. К удивлению Марины, там, кроме семейного портрета, была еще пара Лёшкиных натюрмортов: на деревянном выщерб-

ленном столе охапка полевых цветов, букетик из веточек земляники с ягодами и большой подберезовик, на другой картине – тот же стол с большой бутылкой зеленовато-мутного самогона, гра-ненным стаканом и соленым огурцом на щербатом блюдечке. Из всех уже виденных Мариной Лёшкиных работ, эти натюрморты были лучшими. Она сразу узнала и стол, и даже блюдечко – все деревенское, Афанасьевское.

Валерия представила художника гостям, а попутно – Марина прекрасно это чувствовала! – мысленно подталкивала зрителей к решению заказать картину. Первой сдалась дама со сложной прической, она тоже захотела большой семейный портрет, только никак не могла сосчитать, сколько же их всего:

– Шестеро? Или нет, подожди... Сбилась! Еще же Ниночка родила недавно!

Следующим решился муж эффектной длинноногой блондинки, которая давно уже пыталась строить Лёшке глазки:

– Ну, папочка! – ныла девица. – Ну, пожалуйста!

А «папочка» пытался сообразить, что выйдет дешевле: один двойной портрет или два отдельных – Марина видела, что блондинка ему уже поднадоела.

– Вы знаете, – неожиданно для себя самой произнесла Марина, – я бы рекомендовала вам заказать парные портреты. Это будет чуть подороже, но зато очень стильно! Раньше только так и писали, два парных портрета: герцог и герцогиня, барон и баронесса.

Лёшка хмыкнул, а Валерия ей улыбнулась: молодец, продолжай в том же духе! «Папочке» понравилось, что его сравнили с бароном, и вопрос был решен. Правда, на Валерию, которая взялась обговаривать условия договора, он покосился довольно зло: Марина поняла, что «папочка» предпочел бы иметь дело напрямую с художником, который явно запросит меньше – у Лёшки на лице было так и написано изумление от названной Валерией цены, и Марине даже пришлось наступить ему на ногу.

Когда ехали обратно, Леший то и дело качал головой и хмыкал: ну и ну! Два заказа, один аванс в кармане, и третий заказ на горизонте – к концу обеда созрела еще одна дама, которая явно рассчитывала, так же, как и блондинка, что Леший будет писать у них дома, но Валерия быстро расставила все по своим местам, заявив, что художник работает только в мастерской. Мастерская была вообще-то при галерее Валерии, но у всех создалось впечатление, что это его собственная.

– Да, она мастер конечно... как это называется? Когда продвигают что-нибудь? Как она ловко меня им запротокала, а?! И такие деньги!

– А что, это много?

– Для меня – да.

Заказам Леший радовался недолго – уже на следующий день стал сокрушаться:

– Как я буду писать, если у меня ничего не выходит!

– А чего ты мне никогда не покажешь?

– Тебе интересно?

– Конечно! Я давно хотела напроситься, да ты так рывкаешь, что не знаю, как и подъехать.

Чуть не полдня Марина рассматривала Лёшкины эскизы и зарисовки, а он, пользуясь моментом, делал с нее быстрые наброски: нахмурилась, улыбнулась, повернулась... Потом она так долго молчала, задумавшись и внимательно разглядывая Лешего, что он взволновался:

– Ну что ты молчишь?! Хоть что-нибудь скажи! Смотрела-смотрела, и молчит!

– Подожди. Сейчас!

Марина подошла, присела к нему на колено, положила прохладную руку на его разгоряченный лоб, потом погладила по голове и поцеловала:

– Рычит, ворчит, ты подумай! Прямо медведь. Ты знаешь, я, кажется, поняла, в чем дело! Ты слишком стараешься. Вот с этим Драконом – чего ты в него уперся? Он пока не хочет получаться. Ты бы попробовал Птицу!

– Птицу? Какую птицу? Ты что? Ты тоже их видишь?!

– Сейчас увидела. Ты отложи на время, пусть оно подрастет, а потом само получится. А ты пытаешься напролом, оно и сопротивляется.

– Ты знаешь, я так не привык!

– Ну да, тебе надо обязательно сразу добить.

– Как это – бросить на подороге? Меня отец учил все доводить до конца, а иначе – какой ты мастер! А вдруг я отложу – и забуду?!

– Не бойся, я тебе напомним! Посмотрю – и напомним. Я все видела: птица, дракон, потом деревенские – жутковатые такие. И еще что-то со мной связанное, такое крылатое и светящееся. Так что ты не бойся! А насчет того, что на подороге... Лёш, но это же творчество! Это как... Не знаю... Ну, ты же не можешь заставить помидор раньше времени созреть! Он пока сам не созреет, не покраснеет.

– Помидор?! Помидор! Ах ты, зверушка! Ничего в живописи не понимает, а туда же! – но задумался.

– Ты знаешь, я вижу, что у тебя такой... ступор что ли.

– Кризис жанра!

– Вот-вот! Ты себя старого перерос, а нового – боишься. Нужно чуть отвлечься, и оно само придет. Ты опять смеяться будешь, но скажу: я так вязать училась. Вязать-то умела, даже перчатки вывязывала, а это, знаешь, как сложно! А петли набирать – не получалось. Мама даже сердилась, что я такая тупая. А я – ну никак! И движение совсем простое, а не дается. А потом пришла из школы, смотрю – лежит клубочек со спицами: розовые нитки пушистые и спицы новые, блестят. Так мне вязать захотелось! Я схватила, села и вяжу. Потом опомнилась – а я петли-то сама набрала и даже не осознала! И все, с тех пор пошло.

– Правда, – задумчиво произнес Леший, – это ты верно говоришь. Я так на велосипеде учился: все падал да падал, а потом – раз, и поехал...

– Ну вот! Ты вспомни свое состояние, когда поехал! И все получится!

– Ты думаешь?

Лёшка рассеянно глядел на Марину, наморщив лоб. Потом встал, посадил ее на стол, отошел и посмотрел, прищурясь:

– Значит, говоришь, помидор. Синьор-помидор. Посиди-ка так. Я сейчас. Не двигайся!

Марина только вздохнула. Он рисовал ее до полуночи – сразу на холсте. Набросал углем и пошел писать маслом, рассеянно напевая:

– Помидор-помидор... улыбнитесь! Ведь улыбка это флаг... корабля, – а когда Марина, не выдержав, засмеялась, строго сказал: – Ну-ка не смейся! Сбиваешь.

Потом прогнал спать, а сам все что-то доделывал. Утром, пока Лёшка спал, Марина побежала посмотреть и ахнула: получилось! Получилось. Это был первый ее портрет – первый из десятков, созданных потом Алексеем.

«Карпа-Дракона» Леший отложил и действительно написал «Птицу» – необыкновенную, ни на что не похожую: она летела, развернув золотые и багряные, как осенний лес, крылья, высоко в небе, а глубоко внизу, в темной воде медленной реки плыло ее маленькое отражение. И двое детей на косогоре: девочка наклонилась вниз, к воде, а мальчик лежал навзничь, запрокинув голову, и в его глазах тоже можно было увидеть, приглядевшись, крошечных птиц. А золотая птица – огромная, важная – смотрела прямо на зрителя и, казалось, видела насквозь. Марина ахнула, увидев: какое чудо! Сказка! Давай себе оставим, а?

– Посмотрим! – ответил довольный Лёшка. – Я могу повтор сделать.

Так что шкаф, который он успел сделать дома, оказался первой и последней мебельной реставрацией – все захлестнула живопись. Он осознал, что присутствие Марины вовсе не мешает работать, а, наоборот – помогает. При ней он как-то собирался, в голове прояснялось, и появлялись сюжеты, каких раньше и не возникало – странные, но прекрасные. Дальше он писал все сам, но на первых шагах Марина давала какой-то толчок его воображению, хотя могла и не говорить ни слова, а просто сидела рядом.

Потом Алексей написал и Дракона, и еще одну Птицу, и деревню – Маконго, сто лет одиночества: деревца, проросшие сквозь половицы; ржавые скелеты комбайнов в сухой траве, пустые глазницы заброшенных изб, грустный домовый на покосившемся крылечке, увитом повиликой...

Леший пытался изобразить и крылатое видение, возникшее в момент их с Мариной близости, но в одной картине не получилось – вышла серия из девяти графических листов, названная им «Метаморфоза», на которой пара влюбленных постепенно превращалась в единое четырехкрылое существо и растворялась в слепящем свете, взлетая ввысь.

Но тот образ, что явился ему однажды, в самом начале их совместной жизни, никак не желал воплощаться на холсте! Тогда Леший подсмотрел, как Марина по дороге в ванную недоверчиво разглядывает себя в большом зеркале, и вдруг упавший сбоку из кухни луч солнца преобразил всю картину удивительным образом, заставив Лешего схватиться за карандаш. Он сидел голый на полу и рисовал, как одержимый, только листы отлетали.

– Лёшка! Я замерзла! – пищала Марина, но он не слышал.

– Сейчас...

– Лёшка, я тебя побью!

– Ну ладно, ладно, ладно! Прости, увлекся! – и бросился обнимать, согревать, целовать...

Но картины не получилось. Леший понимал, что это должен быть Ангел, но выразить свое видение никак не мог – он то доставал, то убирал холст, не понимая: что же не так? Чего не хватает? Он всерьез размышлял, каким образом растут у ангелов крылья, и даже сделал жуткую серию рисунков – «Анатомия ангелов», хотя Марина потешалась:

– Лёш, ну какая может быть у ангелов – анатомия?! Ты сам-то подумай! Они существа бес-телесные!

– Нет, ну как же! Крылья к чему-то крепятся!

Потом, изучив все досконально, Лёшка вдруг заявил:

– Да они вообще не способны в воздухе держаться! У них и тела для полетов не приспособлены – очень крупные, и перья только на крыльях, и мышцы слабо развиты. Они и крыльями-то махать толком не сумели бы! Не-ет, они никак не могли летать.

– Лёш, ты так говоришь, как будто живьем ангелов видел!

– На картинах видел. Я же специально альбомы рассматривал. Вон, у Джотто есть ангел вообще с одним крылом: он что, планировал что ли?! А херувимы и прочие купидоны – те уж точно летать не могли. Еще шестикрылые, правда, есть – но тоже вряд ли. Тут два-то крыла не знаешь, как к телу пристроить, а уж целых шесть!

– А ты не думаешь, что они просто левитировали? Силой духа летали!

– А крылья тогда зачем? Для маневрирования?

– Да просто для красоты! А то, как бы мы их от простых смертных отличали?

На Рождество Валерия пригласила их снова, в новый московский дом, небольшой двухэтажный особняк в Брюсовом переулке. Марина, положив телефонную трубку, осторожно покосилась на Лёшку, предчувствуя его реакцию, и точно: когда им доставили две большие подарочные коробки, Лёший так и взвился:

– Это что за подачка?!

– Лёшечка, это подарок!

– Мы не можем это принять!

– Лёш, это подарок на Рождество, просто Валерия дарит заранее, чтобы мы могли придти на прием, там все будут так одеты, мы же должны соответствовать. Уже времени нет – самим все доставать! В чем ты пойдешь, в джинсах?!

– Ну и вообще не пойдем, очень надо!

– Послушай, это же не просто прием: Валерия тебя продвигает, там будут потенциальные заказчики! Лёшечка!

– А, черт!

– Ну, пожалуйста! Для меня!

– Вечно ты из меня веревки вьешь! Придется ведь отдаривать! А что мы можем?

– Как что? Картину!

– Картину... Картину написать надо! Как у тебя все просто!

– А ты из старого.

– А то она не поймет!

– Лёш, а ты посмотри на старую картину новым взглядом – может как-то... не знаю... поправишь?

– Поправишь! – Лёшка хмыкнул, но Марина видела, что он сдается. Уговаривая Лешего, Марина потихоньку распаковывала коробки: в одной был полный набор мужской одежды от смокинга до галстука-бабочки, в другой – маленькое черное платье, туфли-лодочки и сумочка. Над платьем Марина завизжала, и подошедший Лёшка удивился:

– Какое-то скромненькое...

– Скромненькое! Ты что! Это же Шанель!

– Шанель номер пять?

– Номер пять – это духи, а это платье! С ума сойти, настоящая Шанель!

Тут Лёший увидел смокинг и бабочку:

– И ты хочешь, чтобы я это надел?! Да я же буду шутком гороховым! Ни за что.

– И вовсе нет! Ты будешь как... как Джеймс Бонд! Тимоти Далтон, помнишь? Ну, пожалуйста, примерь!

– Придумает тоже, Джеймс Бонд. Марин, это же все бешеных денег стоит! Ну ладно, пусть для нее мелочь, но все равно! С чего это вдруг Валерия нас так полюбила? То она меня в упор не видела, как художника, а тут вдруг так старается? Это все из-за тебя! Чем-то ты ее зацепила!

– И зря ты считаешь, что Валерия не ценила! Она мне еще при первой встрече очень тебя хвалила – многообещающий, талантливый! Как она сказала? Художник от Бога!

– Правда?! Надо же...

– Лёш, ты знаешь, что я думаю? Почему Валерия ко мне так прониклась? Не хотела тебе рассказывать, ну да ладно. Мне кажется, она меня воспринимает как дочь. Она в юности ребенка потеряла, понимаешь? И сейчас девочке было бы столько, сколько мне! Да еще и способности у меня такие же. У близняшек, как я поняла, нет ничего. Валерия в них как-то разочаровалась. А тут вдруг я!

– Да, это может быть. А что случилось с ее ребенком?

– Аборт сделала на позднем сроке.

– Валерия сама тебе рассказала это?!

– Да. И мне кажется... она до сих пор страдает... от чувства вины. И еще! Знаешь, почему она все время браслеты носит? У нее шрамы на руках! На запястьях! Старые, но заметные. Она браслеты сняла, я увидела.

– Вены резала?! Ничего себе! А кажется такой... такой благополучной, такой... непрошибаемой.

Леший покачал головой, нахмурился, коротко взглянул на Марину и тут же отвел глаза – Марина, вздохнув, ответила на его невысказанный вопрос:

– Нет, я аборт не делала. Не было необходимости.

– Что же – ни разу? Не залетела? За все время?

Марина опять вздохнула:

– Лёш, ты не представляешь степени моей... моей дремучести! Я даже толком не знала, как нужно предохраняться, пока Танька меня не просветила. А когда я с этим к Вадиму полезла, он сказал: нам это не нужно, не беспокойся, я принял меры. И только потом я узнала, какие меры он принял. Он вообще не мог детей иметь, представляешь! А я тогда уже мечтала о ребенке, хотя понимала, что мама меня убьет.

– Так у него же сын вроде был... или что?

– Сын. Он потом какую-то операцию сделал.

– Какой предусмотрительный, ты подумай!

– Так что – ты не переживай, у меня все в порядке! Я знаю.

– Тогда почему же? Не получается ничего? Может... Может, мне... провериться? А то ведь Рита, – и он даже сморщился от стыда, но Марина уже услышала, о чем он думает, и тихо сказала:

– Лёшечка, я знаю. Про Риту. Что она не твоя. Танька рассказала.

– Эта Танька! Все она знает...

– Ты поэтому так пил после развода? Из-за девочки?

– И поэтому.

– Скучаешь по ней?

– Ужасно. Не хочу я об этом.

– Бедный мой...

– Не надо, Марин. Так что ты думаешь? Чтобы мне провериться? Правда... Стелка призналась, что аборт от меня делала. Но черт ее знает, можно ли ей верить!

– Лёшечка, ты вспомни, что мы видели! Тогда, на выставке!

– Ну да, правда. Я видел тебя с ребенком... нашим.

– А я видела нас с детьми! Не поняла, сколько, но больше двух!

– Да что ты?! – Леший повеселел.

– И потом... Я не вижу у тебя ничего такого. Мне кажется, все нормально!

– А как ты вообще это видишь? – у Лёшки даже глаза загорелись от любопытства.

– Ой, так трудно объяснить! Я сразу разное вижу, несколько образов. Один как бы образ человека вообще, его личности. Помнишь, ты в деревне мне рассказывал, как людей определяешь: живопись, акварель, рисунок? Чем-то похоже.

– А меня ты как видишь?

– Тебя? Ты так близко, я тебя плохо вижу, – Марина закрыла глаза и сосредоточилась. – Этот образ, он обычно при первой встрече возникает, вспышкой! А тебя я давно знаю, мое видение позже пришло. Сейчас... Что-то с крыльями...

– Орел, не иначе!

– Да нет, не смейся...

– Дракон что ли? – вспомнил: карп становится драконом.

– Ты сбиваешь меня, помолчи! Такое существо... Странное! Тело льва, крылья, а голова человеческая...

– Вообще-то на сфинкса похоже, только сфинкс всегда женского пола!

– А этот – мужского.

– Да-а, ничего себе!

– Ну вот. А еще вижу... как это сказать? Организм что ли? В виде такой цветной живой проекции.

– Ауру?

– Наверно. И я сразу вижу, где неправильно! Там гармония нарушается. А у тебя все гармонично.

– Как фальшивый звук? А поправить ты можешь?

– Может, и могу... не знаю. Вот царапины всякие, синяки – это да, ты видел. Температуру сбить, головную боль снять... у других. Для себя хуже получается. А что там внутри... Я всю эту анатомию-физиологию и знать никогда не хотела! Ну, сердце слева, печень где-то там справа. А остальное?! Мало ли, вдруг наврежу? Один раз, – Марина горестно вздохнула, – в метро это было. Я сижу, глаза закрыла и вдруг вижу... ауру, как ты говоришь. И там так все неправильно, так все плохо! И я вижу, где именно, и понимаю, что еще есть шанс – можно убрать вот это неправильное, и человек будет жить, а иначе – умрет. И даже знаю, что это – у меня в голове будто текст открылся, такая бегущая светящаяся строка: раковая опухоль! Открыла глаза – женщина. Красивая,

хорошо одетая, но бледная и какая-то замученная. Ни о чем не подозревает. Я смотрю на нее и не знаю, что делать. Как можно к незнакомому человеку подойти и сказать... такое страшное?! Как? Пока я думала, она вышла. А я все ее вспоминаю и думаю: может, надо было сказать?

– Действительно, и не знаешь, как лучше... Ты часто такое видишь?

– Один раз и было. Я стараюсь не видеть. А то опять что-нибудь... Я вот все думаю: зачем это мне? Что делать со всем этим, я не знаю. Одни сложности.

– Ну, Марин! Это и я могу спросить: зачем мне талант дан? Если он есть, конечно. Зачем это глупое занятие – по холсту кисточкой возить?

– И ничего не глупое! Вон, сколько заказов сразу! От твоего таланта польза есть, а я... только царапины зализывать и гожусь. Ну что, ты будешь смокинг примерять или нет?!

– Ладно, уговорила! Только выйди. А то я того... стесняюсь.

– А ты сам справишься? С бабочкой и вообще?

– Маринка!

– Хорошо-хорошо! – и Марина убежала на кухню.

Она успела померить и платье, и туфли, а Леший все не показывался. Наконец Марина услышала, как он вздыхает в коридоре перед зеркалом.

– Лёш, ну иди уже!

– Господи, дурак дураком...

Леший, весь красный, вошел и замер в дверях – Марина ахнула и закрыла лицо руками, забормотав:

– Нет, я этого не вынесу!

– Ну вот, – окончательно расстроился Лёшка, – я же говорил!

– Боже мой! Ты такой красивый! – щеки у Марины горели, и она смотрела на него с восторгом. – Они же все будут на тебя пялиться! С вождением! Я не перенесу! Я умру от ревности! Или в волосы кому-нибудь вцеплюсь!

Леший растерянно заморгал – такого он никак не ожидал и решил было, что Маринка его разыгрывает, но она так искренне волновалась, нервно сжимая руки...

– Ну что ты, в самом-то деле! Кто будет пялиться? Да еще с вождением! Придумала тоже.

– Все эти тетки! На приеме!

– Да кому я нужен, ты что!

Марина подошла, взяла его за лацканы и потянула к себе:

– Я хочу тебя... Прямо сейчас!

Леший еле успел снять штаны. Очнулись они на кровати. Лёшка осторожно потрогал верхнюю губу – надо же, как укусила, до крови... Марина тут же полезла залечивать – Лёшка зашипел: щиплетесь!

– Все-все-все!

– Черт побери! А? Кто бы знал, что тебя так смокинг возбуждает!

– Не смокинг, – Марина зевнула, – а ты в смокинге!

– Надо еще подумать, пускать ли тебя на этот прием! Там же все мужики такие будут... Ай!

Шутка! Это шутка!

Времени и правда было маловато, но Алексей, внезапно вдохновившись, за день написал небольшой натюрморт для Валерии: на подоконнике два яблока и старинная вазочка с узким высоким горлышком – прозрачное синее стекло так и светилось. А Марина быстренько навязала целую кучу забавных шапочек и варежек – близняшкам, Стёпику и даже сенбернару Иполлиту Матвейчу. Неохваченным остался один Анатолий, но Марина решила, что Лёшкин натюрморт будет им на двоих с Валерией. Перед выходом Лёшка скептически рассматривал себя в зеркале, дожидаясь Марины: Джеймс Бонд, говоришь? – и прицелился из воображаемого пистолета. Ну ладно. Когда появилась Марина, он так и ахнул:

– Ничего себе! Да это я умру от ревности! Черт! И времени уже нет ни на что...

Марина как-то особенно подстриглась и оттенила волосы – они сияли, словно жемчуг. Обычно она не пользовалась косметикой, а тут чуть подкрасилась. Короткое платье сидело, как влитое, подчеркивая грудь и открывая изящные ноги. Украшений у Марины не было – мамыны бусы она рассыпала тогда на лестнице Татьяниного дома, а янтарь никак не подходил к Шанели, поэтому она затейливо повязала подаренный Валерией шарфик.

– Ничего, я тебя еще увешаю брильянтами, подожди...

– Да ладно тебе! Нужны мне эти брильянты! Пошли-пошли, опоздаем!

Никто ни от чего не умер – прием прошел нормально, только ближе к концу Марина, потерявшая Лешего среди гостей, вдруг уловила его раздражение – он стоял в другом конце зала и беседовал с шикарно одетой дамой под пятьдесят, которая кокетничала вовсю, то и дело дотрагиваясь холеными окольцованными пальцами с длинными ногтями до Лёшкиного рукава. Он старательно улыбался, но был уже в легкой панике: дама зажала его в угол, перекрывая отход, и он не знал, как от нее отделаться без грубости.

Марина развернулась, поставила недопитый бокал на поднос к стати подвернувшегося официанта и медленно пошла в сторону Лёшки, выбрав, как на уроке геометрии, кратчайшее расстояние между двумя точками. Позже она осознала, что сделала с собой – если бы она была звуком, можно было сказать, что она усилила громкость, если бы цветом – увеличила яркость. Но она была женщиной, так что просто повернула воображаемую ручку регулятора женственности до предела. Марина успела заметить только одобрительную усмешку Валерии, а больше не видела вокруг себя ничего, тем временем женщины завистливо косились на нее, мужчины провожали взглядами – даже Анатолий прищурился ей вслед и залпом выпил коньяк из бокала, что давно держал в руке.

Наконец, ее увидел Лёшка и не поверил своим глазам, а потом и дама оглянулась, заметив, что кавалер на что-то отвлекся – оглянулась и вздрогнула: прямо на нее шла, оскалив клыки и прижав уши, большая черная пантера. Видение тут же пропало – дама потрясла головой: никакая не пантера, а молодая женщина в черном платье! Молодая женщина ослепительной красоты с победоносной улыбкой на лице. Марина подошла и, не обратив на даму ровно никакого внимания, как будто та была пустым местом, взяла Лёшку за руку:

– Вот ты где! Пойдем, дорогой, Валерия хочет тебя с кем-то познакомить!

Они отошли, и дама смогла выдохнуть. Постояла, приходя в себя и вдруг на ровном месте оступилась – у нее ни с того ни с его сломался высокий каблук.

– Валерия на самом деле меня ищет? Или ты соврала?

– Соврала!

– Тогда пойдем-ка...

И Лёшка, крепко сжав руку, быстро потащил Марину за собой.

– Куда ты?! Лёша?

Они вышли в коридор, Леший приоткрыл одну дверь, вторую – и втащил ее в полутемную комнату, оказавшуюся не то библиотекой, не то кабинетом. Втащил и тут же поцеловал, да так, что Марина задохнулась от силы его неистового желания. Лёшка прислонил ее к дверце книжного шкафа и тискал, чуть не рыча от вожделения – Марине что-то больно впилось в спину, она напряглась, и тут движение Лёшкиной руки по ее бедру обрушило лавину воспоминаний: Татьянин день, лестница, Дымарик! Она резко оттолкнула Лешего и отгородилась от него – теперь он не мог даже дотронуться и тяжело дышал, опираясь руками о шкаф.

– Марин, ну пожалуйста!

– Я не хочу здесь. Остынь.

– Тогда сделай что-нибудь! – простонал он. – Я не могу с этим справиться!

И Марина принялась загонять обратно вызванного невзначай джинна похоти. Ее самую одолевала тоска: Марина так надеялась, что с прошлым покончено – и вот, пожалуйста! Опять все вылезло на свет.

– Давай уедем домой.

– Хорошо, – мрачно ответил Леший. Они попрощались, но Валерия сразу заметила: что-то не так. Она попыталась было узнать по-своему – Марина это почувствовала и так резко закрылась, что сама изумилась: это получилось у нее впервые. Валерия отступила, чуть улыбувшись: надо же, научилась! В такси ехали молча, и Марина опять вспомнила Дымарика, так что стало совсем тошно. Ближе к дому Леший не выдержал:

– Марин, ну прости ты меня!

– Да за что – прости? Я сама тебя спровоцировала, – тоска наполняла ее до краев, как вино наполняет сосуд – кисло-горькое, черное вино прошлого.

Раздеваясь, Лёшка вздохнул:

– Эх, зря ты не захотела! Такой кайф мне обломала...

– Кайф?! – она так взвилась, что сама собой разбилась та синяя вазочка, которую давеча писал Леший, а он вздрогнул и попятился:

– Марин, ты что? Вот кошка сумасшедшая...

– Кайф я ему обломала! Тебе понравилось, да?! А мне не нравится! Я не хочу больше так! Чтобы меня, как последнюю шлюху, прижимали по темным углам!

Леший нахмурился – Марина чувствовала его подступающий гнев, но не боялась.

– Что значит – больше не хочешь? Что это значит – как последнюю шлюху?! Ты что имеешь в виду?

– То и значит!

– Ты мне говорила, что никогда никого и ничего!

– Я тебе правду говорила! Один Дымарик! И где мы с ним могли... встречаться? Как ты думаешь? Как раз по темным углам! Он был большим любителем экстремального секса! И наплевать, что мне стыдно и неприятно! А я, такая дура, на все соглашалась! Не дай бог бросит! – Марина задыхалась от ярости. – Ты знаешь, что он сделал со мной?! Знаешь? Татьянин день помнишь? Когда мы с тобой пели? Я же... Я же просто отдалась тебе в этом пении! А знаешь, что было, ко-

гда мы с ним ушли? Когда мне пришлось с ним уйти? Я стояла, ждала – а ты! А ты голову опустил – иди, мол!

– Марин...

– Марин! Он меня изнасиловал, там же, на лестнице! Я... вся тобой полна была, а он... Леший стиснул кулаки – вспышкой у него в мозгу мелькнули два видения: Марина с Дымариком у решетки и Марина, летящая бегом по лестнице в брызгах рассыпающихся жемчугов.

– Если б я только знал! Убил бы!

– Я видеть его не могла! Знать его не хотела! А он... Он преследовал меня, он плакал, умолял, в ногах валялся!

– Дымарик?!

– Дымарик! На коленях ползал, ноги мне целовал! Маму на свою сторону перетянул. Как я мечтала о тебе, господи! Ночей не спала...

– Марин, ну не надо!

– А потом подумала: раз уж мы с тобой не можем... Пусть что ли он будет счастлив. Все равно жизни нет. А в Суханово – опять ты.

Леший хотел было обнять, но Марина не далась:

– Кайф, говоришь, тебе обломала? Теперь ты знаешь, каково мне было тогда, под липой! Впервые в жизни! Я думала, с ума сойду! С ним никогда... даже близко такого не чувствовала, вообще думала, что... не дано мне. Я сразу уехать хотела от него, ты веришь? Но... и правда, как с ума сошла. А он... А он...

Марина закрыла лицо руками и бормотала, словно в горячке:

– Он воспользовался! А я даже не понимала, с кем я! Все перемешалось в голове! Мне казалось, кожа обуглится от желания – так тебя хотела! Я имя твое кричала, когда он...

Марина не плакала, но тряслась, как в ознобе, и Леший все-таки обнял ее.

– Я утопиться хотела...

– Господи!

– Как я Вадима ненавидела! Ненавидела – и спала с ним. Мама заболела, он столько помогал, приходил, опять плакал, умолял. А мне все равно уже было. Все равно... раз я тебя не достойна. Так мне и надо! Ненавидела... и убила его... своей ненавистью.

– Ну что ты такое говоришь! Просто сердце мне разрываешь!

– Я не хотела... не хотела никогда тебе рассказывать, не хотела! Мне стыдно было! Боже, так стыдно! Я боялась! Думала: вот ты узнаешь и... не захочешь с такой женщиной быть... и уйдешь!

– Перестань!

– Теперь ты знаешь! Если ты и правда... не захочешь... я пойму. Правда, я теперь справлюсь... я...

– Замолчи. Сейчас же.

Алексей так сильно прижал ее к себе, что Марина почти не могла дышать. Они оба долго молчали. Наконец Леший с трудом выговорил:

– Это я во всем виноват.

– Ну чем же ты-то виноват, что ты?!

– Всем. Я струсил, Марин! Понимаешь? Ведь все было ясно еще тогда, на выставке! А я...

– Но ты же не мог! У тебя ребенок!

– Ну да. Только теперь мне кажется, я Риткой просто прикрывался. Такая ситуация ужасная, безвыходная! Ах, я бедный-несчастный! Упивался своими страданиями, пока ты... Да если бы я хоть раз со Стеллкой попытался по-человечески поговорить! Может, все и разрулилось бы как-нибудь. А я струсил. Испугался. Потому что знал: то, что у нас с тобой – очень серьезно. И навсегда. А это страшно.

– Да, страшно...

– Как будто идешь и видишь – самородок! Большой, очень ценный, но тяжелый. А нести его придется всю жизнь. Куда проще: набрал горсть мелких камушков, надоело – выбросил.

– Это я что ли самородок?

– Это наша с тобой любовь. Если ты меня, конечно, любишь.

– Ты что?! Ты сомневаешься?!

– А ты ни разу этого не сказала, между прочим!

– Ну и неправда!

– Словами – не сказала.

– А тебе обязательно надо словами?

– Обязательно! Тебе же надо было! И мне.

– Лёпешка, ты потерпи еще чуть-чуть! У меня пока не выговаривается... словами. Страшно – ты же сам сказал!

– Чего ж тут страшного, сказать? Когда уже и так все есть?

Марина смотрела на него с нежностью, виновато улыбаясь:

– Ты знаешь, когда я с Танькой в походе была, познакомилась с одной женщиной, она работала в интернате для глухих детей, учила их говорить – они не слышат, а говорить могут. Специальные методики есть. И вот все дети уже говорят, а одна девочка – никак! Ну, никак! А потом, когда все-таки заговорила, учительница у нее и спрашивает: почему же ты так долго молчала? И девочка ей ответила, не словами, а жестом, я даже запомнила, вот так! – и Марина показала пальцами: – Я боялась! Чего же боялась? А девочке казалось, что заговорить – это страшно и больно. Вот и я, как та девочка! Еще немножко, и я скажу словами, а пока...

Марина поцеловала Лешего, потом еще. Он закрыл глаза и ответил, прислушиваясь к тому, как шелестит в сознании Маринин неслышимый шепот: любимый мой, родной! Свет мой, радость моя! Желанный, единственный...

И вздохнул.

Марина спросила с тревогой:

– Все хорошо? Лёш, ты прости меня...

– Опять?!

– Нет-нет, это не так, как раньше! Прости, что я сорвалась и вывалила на тебя это все! Обещала – будет легко со мной, а сама... Это прошлое... оно как-то само внезапно оживо. Очень уж похоже было на ту ситуацию... на лестнице. Прости.

– Да ладно, все нормально. Мы живые люди, чего не бывает.

– У нас все хорошо?

– У нас с тобой все хорошо, – твердо ответил Лёшка. – Не беспокойся. Все в порядке. Не веришь словам – посмотри сама. Просто... Так и стоит перед глазами картинка – как ты идешь ко мне! Черт, как ты хороша была! Невероятно! Вот я и завелся.

– Да, перестаралась. Ты знаешь, а я этой тетке каблук сломала! Которая к тебе клеилась...

– Каблук! Хорошо не ногу!

– А хочешь? – Марина заглянула ему в глаза. – Хочешь, сделаю, как было сегодня? Там, у Валерии? Еще лучше могу! Хочешь?

– А как?

– Смотри! – и взяла его за руку.

Леший помнил, что лежит на кровати – и в то же самое время он бежал по коридору в доме Валерии, таща за собой Марину. Марину? Разве это она?! В другой руке у него был... пистолет?! Они ворвались в полутемную библиотеку, заперев дверь на ключ, удачно торчавший в двери. Оба тяжело дышали. Женщина прислонилась к шкафу:

– Ну и кто же вы, мой герой?

– Бонд, – ответил он, приподняв бровь, и поцеловал ее, – Джеймс Бонд.

Проведя рукой по округлому бедру, Бонд обнаружил, что у женщины под платьем нет ничего, кроме узкого пояса, держащего чулки:

– О-о!

Это все было слегка похоже на кино, но его пальцы прекрасно ощущали тепло женского тела, скользкий глянец чулка и шероховатость узкого пояса. Он прижался тесней, и женщина спросила, слегка задышавшись:

– Это то, что я думаю? Или еще один пистолет в кармане?

– Это не пистолет.

Бонд поцеловал ее в шею:

– Шанель номер пять? Мой любимый аромат!

Женщина тоже принюхалась, как кошка:

– Бренди, сигары и порох? Это так возбуждает! Мне кажется, у нас есть немного времени, мистер Бонд?

– О да!

Брюки Бонда, растянутые ловкой рукой женщины, упали на пол...

Из коридора раздались громкие крики и топот преследователей:

– Чисто! Тут чисто, шеф!

– Куда они могли подеваться?!

– А тут что?

– Закрывать!

– Ломай дверь!

Дверь затрещала, но когда преследователи ворвались внутрь, увидели только раскрытое настежь окно – две фигурки убегали вдаль по газону: мужчина в смокинге и женщина в маленьком черном платье...

– С ума сойти! – сказал Леший, придя в себя.

– Всегда мечтала побывать девушкой Бонда.

– И много у тебя таких фантазий?!

– Любые эротические фантазии за ваши деньги.

– Это было потрясающе!
 – Опасность обостряет все, правда?
 – Да!
 Они помолчали, вспоминая приключение.
 – Нет, не успеть!
 – Что не успеть?
 – Да это самое! Они же почти сразу вломились!
 – Ну, Лёш! Это же фантазия! Там все можно.
 – Ага! И с третьего этажа на газон сигануть!
 – Ну, вот что! В следующий раз сам выдумывай, а посмотрю!
 – Я так не умею!
 – То-то же.
 – Это было здорово! Но знаешь... Не обижайся! На самом деле мне больше нравится, когда ты – это ты. А я – это я.
 – Мне вообще-то тоже.
 – Но для разнообразия можно!

Марина обнимала его и думала, довольно бессвязно: Леший... какой он добрый, нежный... чуткий... так благородно отнесся к моим рассказам... а я так переживала, дура... давно надо было рассказать... и не мучиться. И как это прошлое держит нас! У него тоже... что-то есть темное, страшное... но он туда не пускает... а я бы помогла. А может, это мы держимся за прошлое? Сами не отпускаем. Надо что-то с этим делать, а то так и будем... топтаться! Как там, в сказке про Алису? Надо бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать вдвое быстрее. Надо бежать быстрее, чтобы не утянуло назад...

Марина так задумалась, что даже вздрогнула, когда Леший, который вовсе и не спал, вдруг спросил у нее:

– А у тебя такой пояс есть?
 – Какой пояс?
 – Как у девушки Бонда! Для чулок. Очень эротично...

МИХАИЛ КОВСАН

ЖРЕЦ

Симфония (начало)

Симфония (от др.-греч. Συμφωνία – созвучие) – гармоническое соединение, например: симфония цветов, симфония красок, симфония звуков и пр.

Симфония (др.-греч. συμφωνία – «созвучие»; лат. *concordia* – «согласие») – книга, в которой собраны места, состоящие из одних и тех же слов или имеющие один и тот же смысл.

Быть **избранным** в эпоху всеобщего избирательного права – дело **почти** безнадежное.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. В ожидании жреца

Ждали жреца.

Тем временем подручные темно-зеленые тени несуетно располагали в заданном традицией и жреческой волей порядке блестящие орудия. Ни стука, ни скрипа, ни шороха. Лишь ожидание, напряженное и тугое – в полете стрела, пущенная невидимым, за полетом следящим.

Он и следил – за беседой, за чаем, неторопливой. Что может быть лучше? Покой, не надо бежать, за крыло синей птицы цепляться. Не надо решать, между миру ли провалиться или чаю не пить. Хорошо. Когда не требует поэта к священной жертве. Хорошо. Телефоны молчат, давление, сахар в норме, пульс не частит.

Ритм беседы ровен, на экране уверенные зигзаги. Зегзицы, чайки – плавки Господни – низко над землей не летают, высоко и над морем, то ли кукушки, ритмично, уверенно, не спеша

токуют, воркуют, пророчат: ку-ку-ку, Куоккала, Гельсингфорс и Пенаты, ку-ку-ку, кукарача, таракан, Корнейчук, Тараканище, *cucaracha*.

La cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

(Таракашка, таракашка

Уже не может бежать, *исп.*).

О чем мы? Ах да, о беседе. Однако и *cucarach*-у негоже на произвол судьбы оставлять. Почему же она (*cucaracha*) уже не может бежать? Одни скажут, что нет задних ног. Передней (одной) ноги – скажут другие. Ну, а третьи, об Амстердаме тоскуя, а может, об Индии (кто это знает?), с уверенностью заявят, что бежать не может она (*cucaracha*), потому что нет у нее марихуаны. Как без нее? Хочется покурить.

Вот этот рядом сидящий солдатик, отнюдь не таясь (в своем-то отечестве, от отцов, мать их за ногу, командиров), к остановке своей подъезжая, не обремененный заботами, мыслями тож, вытаскивает кисет (или как его там сейчас и здесь называют) и скручивает с большой палец цигарку. Пахнет сладко и нежно, как сон на рассвете, как вечерний дурманный цветок маттиола, спящий с рассвета и до вечернего чая, к которому не звонок (разбредаются гости и не услышат) сзывает, но гонг, звучащий звонко, настойчиво, неотвратимо:

Дзинь дон, дзинь дон,

Гон-Конг, Гон-Конг.

И строгие старорежимные джентльмены, прибывшие вместе с престолонаследником, поворачивают головы, взгляды вперяя, по направлению к ползущему вниз британскому флагу: английская соль, Вестминстерское аббатство, Альбион туманно коварный. Лик наследного принца непроницаем, как переборки подводных лодок. Гонконг утонул? *God Save the Queen!*

Не то что Одна шестая созданной в третий день суши. Когда превращалась в Одну Седьмую, ни флага, ни принца, ни королевы, пусть красоты, бензоколонки – хучь какая. Нетушки. Никакой. Поговаривали о бане: попарились и помылись, вмазали, порешили и впарили. Какая там баня. Давно сказано (не теми, конечно, вмазавшими, они не читали, им не по программе), так вот, сказано там про баньку, не с тараканами (они, говорят, и в атомную войну выживут) – пауками.

– Ладно, оставим, и тараканов и пауков, и баньку с марихуаной, а пуце всего принца и Альбион.

– Что он Гекубе?

– Лучше чая налью

– Конечно. Спасибо.

– Человек – творение Бога, но он же Его соперник. Единственный сотворенный, способный творить. Поскольку любой человек потенциально творец, постольку – потенциальный соперник. Если я способен творить, то чем я отличен?

– Не каждый такой вызов бросает. Разве испанский крестьянин, католик истовый, истинный, способен бросить Господу вызов?

– Способен и он. Иначе скажу: даже он.

– Почему не бросает?

– Во-первых, мера готовности бросить вызов есть мера способности со-творить, не убитой в детстве и в юности не изжитой.

– Чем человек больше творец, тем больше он богоборец?

– Истинно. Ницше – творец гениальный, потому и убил Бога в себе. Впрочем, преуспел настолько, что убил и в других.

– А Достоевский?

– Достоевский не так. Он за Бога цеплялся.

– Удавалось?

– Почти.

– Не всегда?

– Почти, почти всегда удавалось. Куда лучше, чем Ницше, который от первого лица говорил, а Достоевский героями-ширмами заслонялся.

– Но если раздвинуть, хотя бы дырочку малую просверлить?

– Попробуйте, только не выйдет.

– Почему? Разве совсем невозможно из «них» выудить свое «я»?

– Невозможно. Только начнете сверлить, пусть не вы и не я, а слесарь опытный и умелый, все тотчас же рухнет. Поди тогда выгребни, отыщи, где они, а где я. К тому ж не забывайте, многое нам непонятно, с тех пор полтора века прошло.

– Атлантиду не откопать?

– Кошайте, воду ситом черпайте.

– А я вот недавно, правда, в недавнюю Атлантиду случайно проник.

– Любопытно, поведайте.

– Иду назад пару дней по коридору, над чем-то задумался. Вдруг голову поднимаю: двери открылись, вползает нечто в черном ниже колен, в коричневой кофте, плохо причесанная без косметики голова, глазки серенькие подпухшие, губы высохшие бесцветные, возраста бесконечного. Одним словом, сплошная бесформенность форм, сотворенное не по образу и не подобию. Такой себе времени произвол.

– Будет вам издеваться. Несчастливая женщина.

– Я не о ней. Не о ней. Я – о тварности.

– Будет. Оставьте. Не издевайтесь. Вам не к лицу. Ведь попадет под руку, пусть такая, пусть и похуже, все равно служить будете не хуже, чем белокурой красавице, развратнице, бестии.

– Что-то такие не попадают.

– Попадают. Просто не видите. Во время служения белокурость из сферы интересов и наблюдений сама собой выпадает. Не так ли?

– Так. Не до этого твари творящей.

– Творящей или дрожащей?

– И такой и такой.

– М-да. Тварь дрожащая – тварь творящая. Вот такой мысли разбег. Как не надорваться?

Ждали жреца.

Подручные темно-зеленые тени несуетно раскладывали в заданном традицией и жреческой волей порядке блестящие орудия. Ни стука, ни скрипа, ни шороха. Лишь ожидание, тугое, как в полете стрела, пущенная невидимым, за полетом следящим.

Застывшие слова прежних радений чешуей лепились по стенам, соляными фигурами проступая за капищем, в глубине рассекая пространство – женщина из соли, ветрами заласканная.

Треснуло, захрипело, провозгласило:

– Уважаемые посетители, просьба покинуть...

И впрямь, время позднее.

И – утонуло в треске. Затихло. Застыло.

Бесшумные слова в тишине понеслись, еврейские с греческими сталкивались, сплетались, порождая наречия, языки, говоры, диалекты, наполняя их мудрою силой, разумным могуществом. Одни слова рождались весело, юно и беззаботно, легко совокупляясь с другими, иные выполняли мучительно и тошнотно, обреченные на бездомное одиночество, забвение скорое.

Навстречу по коридору шли уставшие клоуны: шарики разноцветные, из которых воздух ушел. Руки повисли, морщины – наружу, обвисшие груди и животы. Два клоуна, старый и молодой. Две клоунессы, старая, молодая. Молодые наряжены под старика и старуху в аляповатость прошлого века. Старые – по моде последней, под молодых. Белые, у старых обвислые щеки с румянцем – сердечками – шутовским. Носы наплежкой у молодых, буратинистые – у старых. Молодые еле плетутся. Старые держатся поподробнее. Дудка, бубен, барабан и губная гармошка. Дудка свисает с плеча. Бубен вместе с хозяйкой бренчит и плетется. Барабан, втянувший живот, блестит светлым изможденным пятном. Гармошка, по губам тоскуя, на шее болтается в такт усталым шагам.

Арлекин, Пьеро, Коломбина. Четвертый? Кто его знает. Пусть – сам красный граф. Продажная шкура.

Поравнялись, и донеслось:

– Завтра пойду гонорар выбивать.

– Ты с ними покруче. Второй месяц не платят.

Молодые – о гонорарах. Им нужны деньги.

– Ты видел, как хохотал тот негритенок?

– Тот, с рукой в гипсе?

И оба, вспомнив, во весь рот шутовски улыгнулись.

В Дельфах ждали жреца.

Тропа, извилистая и каменистая, змеилась, то подбираясь к обрыву, то, испугавшись, отскакивала. Миг – и отважно, заворожено заглянула в смертную пустоту. Вдруг – опомнившись, пугливая серна, дрожа на пороге бессмертия, побежала туда, где под скалами с тех самых пор, когда бессмертные создали мир, раскинулся от края земли до края сад, бесконечный, бессмертный и многоцветный.

Плутарх шел по этому саду. Близость пропасти не страшила – манила: на миг заглянуть, с головой окунуться в горные воды, и – кровь от ледяной воды застывает – отпрянуть, в сад возвратиться. В нем, словно деревья, подобно цветам, растут, дышат, благоухают слова, и самое влекущее и заветное: Дельфы. Лоно мира, а из него в мир, играя с волнами, скачут дельфины, по миру разнося славу о Храме, о пифии-прорицательнице и о дельфийских жрецах.

На Дельфийские игры со всей Греции, и, конечно, из родной Плутарху Беотии съезжаются борцы и наездники, бегуны и метатели молота, поэты и музыканты, танцоры, певцы. А сколько в мире рождается городов, чьи жители на весь мир самым названием города заявляют *urbi et orbi* о своей к Дельфам любви. Филадельфия, *φιλαδέλφεια*!

Сад роскошен, великолепен, но и безжалостен. Теснит к обрыву тропу и вместе с ней и его, Плутарха, словно стремясь убедить в тщетности, суетности желания стать пророком храма великого Аполлона. Ветви преграждают дорогу, нависая над бездной. Он идет, все осторожней, их раздвигая. Из-под руки плод созревший сорвался и скрылся в бездне. Затем другой, третий, малые и большие, спелые и зеленые, плоды исчезали в бездне. Так и слова, едва родились, только поспели, и вот – исчезают.

Самоубийцы-слова! Словно римляне, императору повинуюсь, уходят из мира, вонзив в горло кинжал.

Такие вот времена.

Такие вот нравы.

Жил в земле Биньямина, в поселении Анатот, в дне пути от Иерушалаима сын жрецов по имени Ирмеягу. Однажды услышал он голос:

– Прежде чем создал во чреве, познал Я тебя, и прежде, чем ты вышел из чрева, Я тебя освятил, пророком народам поставил.

Поняв, кто с ним говорит, отвечал жреческий сын:

– О, Господи, Боже, я говорить не умею: я отрок.

– Не говори «я отрок», ибо к кому ни пошлю, ты пойдешь, и всё, что Я повелю, ты скажешь. Никого не страшись. Я с тобой, чтобы тебя спасти, – слово Господа.

Простер Господь руку, уст сына жрецов коснулся, сказал:

– Вот, слова Свои твоим дал Я устам. Сегодня тебя над народами, над царствами Я поставил: громить, крушить, уничтожать, разрушать, строить и насаждать.

Вскоре снова было слово Господне.

– Что видишь ты, жреческий сын?

Сказал Ирмеягу:

– Вижу кипящий котел, к северу обращенный.

И тотчас услышал в ответ:

– С севера откроется зло на всех земных обитателей. А ты, чресла свои препояшь, встань, говори им всё, что Я повелю, их не страшась, чтоб не поразил Я тебя перед ними. Иди, в слух Иерушалаима возгласи: «Так сказал мне Господь. Помню твоей юности милость, твою, невесты, любовь, когда шла ты за Мной в пустыне, землей незасеянной. Израиль – Моя святыня, пожирающий его будет наказан, – слово Господа».

**Я привел вас в цветущую землю есть плоды и блага ее,
вы пришли, землю Мою осквернили, в мерзость Мой удел обратили.**

**Жрецы «где Господь?» не говорили, пастыри предо Мной преступали
пророки за истуканами шли.**

**Дивитесь этому, небеса,
содрогнитесь, иссохните совершенно.**

**Давно Я разбил ярмо, узы твои разорвал, и ты Мне сказала «не преступлю»,
а на каждом холме высоком, под деревом зеленеющим ты, шляха, блудила.**

**Я тебя насадил лозой, семенем верным,
и как ты превратилась в лозу дикую и чужую?**

**Говоришь, не осквернилась, глянь на путь свой в долине, знай, что натворила,
резвая верблюда, рыщущая путями своими.**

Дикую ослицу, к пустыне привыкшую, задыхающуюся от страсти, кто удержит от похоти?

**Говорят дереву: «Ты отец мой», и камню: «Родил ты меня», повернулись ко мне не лицом –
затылком,
а в час бедствия скажут: «Встань и спаси нас»**

(Ирмеягу 2:7-8, 12, 20-24, 27).

Ждали жреца.

2. Домой с Плутархом

Мальчишкой читая «Войну и мир», он, будущий жрец, как раз в возрасте юного Болконского наткнулся в описании сна Николеньки на Плутарха. Из всех персонажей Николенька был ему ближе всех. Жаль, о нем было написано мало. Плутарх, Муций Сцевола, непонятно зачем сжегший руку свою.

Попросил деда, и спустя несколько дней они зашли на Фундуклеевской к букинисту. Дед никогда улицы не называл новыми именами. И хоть, по его словам, Фундуклей-губернатор особых эмоций не вызывал, а фамилия, помесь клея с фундуком, тем более, дед стоял на своем, вызывая упорные (знал: обоснованные) подозрения, что «улица Ленина» он произнести не способен.

У букиниста Плутарха не было. Дед расстроился. Он знал, что долго и сильно дед радоваться не умел. Зато расстраивался всерьез и надолго. Видимо, знал это и продавец. Во всяком случае, тотчас утешил:

– Загляните через недельку, попробуем отыскать. – Высокий, худой, с острой бородкой, дедова возраста букинист сказал это голосом, выражающим не предположение, но уверенность: если он берется за дело, оно непременно удается.

– Вряд ли смогу. Впрочем, нужды в этом нет. Молодой человек справится сам. Запишете на меня. – Дед был постоянным, пользующимся не только кредитом, но и особым расположением клиентом.

Дед по привычке поднес руку к берету, но, вспомнив, что шляпа сдана в архив (отправлена на антресоли), неловко, словно стесняясь, вернул руку на место. Букинист в ответ поклонился, извиняясь, неловко, развел руками, словно бы говоря:

– Я не маг, не волшебник, но через неделю книга будет у вас.

Так и случилось. Через неделю, войдя в магазин, он был узан, и когда подошел, увидел сияющую улыбку – на лице букиниста, и огромную книгу – возникшую на прилавке.

Тут же и стал листать. В книге было множество иллюстраций («гравюры на дереве» – под руку сказал букинист, ему хотелось спросить, на чем еще гравюры бывают, но постеснялся обнаружить невежество). В тексте, словно нарочно, тут и там мелькал все затмевающий «ять». Ему хотелось, схватив книгу, уйти, но чувствовал: букинисту приятно вместе с ним рассматривать книгу, а потому, схватив, убежать показалось совсем неприличным.

Дверь магазина открылась, и еще один посетитель направился к ним. Как и дед, он был в берете. Спустя годы он так определял для себя этот временной перелом, этот кусочек истории: «дед в шляпе» сменился на «деда в берете». Это был тот огрызок эпохи, когда работяги из зависти-ненависти к начальству и интеллигенции (эй, ты, в шляпе) перешли к открытому подражанию, сменив кепки на шляпы. Украв отличительный знак, они зачерпнули самую малость чечевичной похлебки. Но «в шляпе» не сдались, отреагировав быстро. Шляпы отправили на антресоли, а на профессорских головах появились береты и кепки.

Домой шли пешком. Весна, парили каштаны. Дед был в добром расположении духа, и даже пройдя полпути, не отвлекся, уйдя по привычке в себя. Сперва рассказал о букинисте, с которым был знаком со студенческих лет. Тот, сперва поступив в университет (дед махнул в направлении знаменитого здания красного цвета с колоннами), через год куда-то исчез. Оказалось, уехал на север, где работал в геологической партии. Объявился летом года через два, через три студентом ИФЛИ с маленькой книжкой стихов, даже не книжкой – тетрадкой. Отгуляв каникулы и отъевшись, уехал в Москву, и вернулся лет через двадцать, изможденный, беззубый и бородатый. Родные его остались в Бабьем Яру, куда он нередко один приходил. Тихо, беззвучно читал он стихи,

то ли опасаясь, что литературоведы в штатском услышат, то ли боясь нарушить покой заживо погребенных.

Дед, встретив его, не узнал. Тот, сторонящийся всех, словно сбжавший из лепрозория, тоже мимо прошел. Деда, как он говорил, что-то дернуло. Обернулся. Тот шел, вобрав голову в плечи, вдавленный в землю, стараясь занять меньше места в пространстве, взглядом открытым. Дед окликнул – не отозвался. Позвал громче – остановился. Всем корпусом, не поворачивая головы, обернулся.

От объятий он увернулся, поданной руки не заметил, свою, дрожавшую, спрятав в карман.

– Вот и все. Через годик-другой пришел в себя, отогрелся, отмылся, отъелся, кое-как получилось с жильем и с работой, говорят, недавно даже женился.

– Его спас Хрущев?

На его дурацкий вопрос дед поморщился:

– Боров здесь ни при чем. Его спасли люди и время. – В отличие от Тараканища, которого он ненавидел, Борова дед презирал.

Все домашние при нем о таких вещах не заикались. Если речь заходила о чем-то подобном, переходили на шепот, а при его появлении замолкали. В те времена любимейшей идиомой было «это не телефонный разговор», еще более смены шляп на береты, бывшее метой эпохи. Дед на это плевал, комментируя: «с высокой, понимаете, колокольни».

Маленьким (в первом классе любимым занятием было плевать: кто в кого попадет, кто кого переплюнет), он пытался представить эту высокую колокольню. Самой высокой была колокольня Софии. Представлял себе деда, которого снизу почти не было видно, плюющего в борова. Сомнительно, что дед попадет. Боров, конечно, был прекрасной мишенью, и на земле в него попасть не составляло труда. Но оттуда, с такой высоты? Нет, решил он. Пожалуй, ему не попасть.

Плутарху дед обрадовался как родному. Точно такой был в довоенной библиотеке, исчезнувшей вместе с квартирой. Но квартиру спасти удалось: у деда лечилось большое начальство. А библиотека вместе со всем, что было в квартире, исчезла бесследно. Впрочем, кроме библиотеки, дед ни о чем не жалел. Живы-здоровы, даже квартиру вернули, чего же еще?

Дело не в том, что дома были разрушены, город пострадал меньше других, разве что половину Крещатика партизаны-чекисты взорвали. Это дело было им не в диковинку. До войны руку набили: церкви, синагоги, костелы. Дело в том, что в опустевшие было жилища самостийно вселились полагавшие, что хоть немцы и плохо, но хуже власти советской придумать ничего невозможно. Конечно, не все на рушниках хлеб да соль выносили, но большинство против немцев ничего не имело.

– Как хотите, вельмишановний, но гірше не буде. – По большей части в городе звучала мягкая, липкая, как непропеченный хлеб, полурусская речь.

– Буде краще! Побачите. Без жидів та комуняк буде краще.

Главный бухгалтер завода рассчитывал на признание новых властей, залогом чего полагал переход на мову. Вчера, обуреваемый мечтами, он полночи не спал. Ворочался, жену разбудил, та приподнялась, на него поглядела и, на другой бок повернувшись, уснула. А он в полудреме видел себя то министром финансов правительства Украины, то мечты заносили в неведомый мир: желтая степь, чернеющие овраги, а он на лихом коне – раньше видел лишь заморенных кляч – променявший жену (вот Бог дал женщине крепкий сон), на что-то там променявший. Кстати, на что? А на это:

На тютюн та люльку, Необачний.

Он, правда, ничего не курил, ни папиросы, ни трубку. Запах табака не терпел. Хорошо сигару попробовать. Хоть противно, зато: черный фрак с белоснежной манишкой и коричневая сигара. Конечно, и перстень, большой с камнем зеленым, но можно с другим. Только не красным: понять могут неправильно. Молодая жена, светловолосая, с косою до попы. Ох, грехи наши тяжкие. По-по-чка, по-па. Даже вздрогнул, представив: вместо жены в постели светловолосая нимфа, русалка сладкоголосая. Щирая украиночка. Хватит нам москалей, пусть катятся за Урал.

Украина, Киев – исконная Русь. Отсюда пошла Земля русская, по-нынешнему – Украинская. А немцы – что немцы? Придут, наведут порядок, жидов изведут, брюхо набьют и уйдут. Не вечно же быть им под немцем? Уйдут, а он, того и глядишь, из министров – в премьеры, а может, других не глупее, и президентом. Только не президентом, не по-нашему это, а гетманом. Был один гетман да слыла.

Он тогда был совсем пацаном. Возле Софии затесался в толпе, едва не раздавили. Правда, тогда был этот... Петлюра. А гетман, Скоропадский был перед ним. Или после? Черт его знает.

Надо бы почитать, только где? Или кого-нибудь расспросить. Только кого? Надо бы вспомнить, кто это там променял? Давно он песен не пел. В подневольной жизни разве поется?

Вдруг мысли оборвал звук из-под шляпы. То ли шляпа огромная, то ли лицо слишком мелкое, не разобрать. Только голос и есть. Басовитый, ему бы в церкви дьячком. А что? Немцы церкви пооткрывают.

– Точно так! – Запнувшись: – Вибачайте, звичайно.

Встретившись неделю назад, они говорили по-русски, разве что «і» выширало. Теперь это в пору: никакого Гейне у немцев не существует, его придумали русские. Есть у них Гайне. Нет, лучше этой жидовской фамилии не произносить.

То, что проныра-бухгалтер, прекрасно устроившийся при коммуниках, перешел на чистую мову, он совершенно правильно понял, решив про себя, его примеру последовать, для чего необходимо, конечно же, подучиться. Не мешало бы чего-нибудь на мове и почитать, с «Кобзаря» начиная. Кстати, что ж там еще? Не помнил. Спросить у проныры? Нет, не решился.

– Прощайте, добродію, – поднял шляпу, благодарно заглядывая проныре в глаза, авось пригодится. Такой везде, при власти любой свое не упустит.

– Прощайте, до зустрічі, – бухгалтер, заискивание уловив, собачьи глаза заметив, в ответ поднял свою, – прощайте.

Когда деда не стало, он однажды зашел к букинисту, который по праву наследства сохранил к нему расположение. От него и узнал, что жильем и работой тот обязан был деду. После той первой случайной встречи дед привел его к себе в дом, где тот и жил, пока дела не устроились. Подозвав молодую помощницу, сказав, что сегодня он уже не вернется, букинист затащил к себе, где прочитал написанную в лагере, сохраненную в памяти большую поэму.

Что с ним? Вряд ли он жив. Что с той поэмой? Раньше такое печатать было никак невозможно, а теперь все возможно, только никому ничего не нужно.

Сидели тогда за огромным овальным столом, намного превосходившим возможности комнаты. Почувствовав, что задать вопрос он не решается, букинист показал на стол:

– Из дома родителей, единственное, что из мебели сохранилось, остальное надо было у соседей искать, но очень уж было противно.

Во время разговора в комнату заглянуло странное, шаркающее ногами плюшкинское существо: остатки волос всклокочены, длинный клеенчатый фартук заляпан, руки по локоть в глине. Заглянуло и – выскочило.

– Брат. Намного старше меня. Скульптор, между прочим, некогда очень успешный. В новые времена не вписался. Последние двадцать лет лепит надгробие. – И, помолчав, словно взвешивал, стоит ли говорить, добавил: – На собственную могилу.

Разговаривая, они с дедом подошли к Оперному и повернули на улицу с тыльной его стороны.

А в Дельфах ждали жреца.

3. Путь на Парнас

Поднялся затемно и с первым, как всегда неожиданным первым лучом, отправился в путь. Легкий, поджарый – хоть скоро исполнится пятьдесят – мешок за спиной, на босую ногу сандалии, ремешки пригнаны аккуратно, не елозят, не трут. Он шел по тропе, и с каждым шагом черные, серые, темно-зеленые тени к ней подступали. В плоть и слова облакались деревья, сперва только те, которые рядом, а затем и другие, прорываясь из черного, серого, темно-зеленого мрака.

Сперва полуслышно, затем всё громче и громче, и вот, во весь голос птицы запели. Черно-белое таинство насыщалось цветами, бабочками и стрекозами. Миг, мгновение, вечность – и зажужжала пчела, шаг, другой, третий – за ней другая. Солнечными каплями задрожала роса. Снизу пахнет медвяно-желтым, сверху – голубовато-прохладным.

Он идет, окруженный деревьями и цветами, восхищенный цветом и запахом, звуком, движением. Тропа, словно в танце, вьется мудро, огибая огромные валуны, скатившиеся с вершины в мновенье Творенья. На валунах – замысловатый узор из пятен, мятущихся линий, выступов, углублений. А где-то там, в вышине, впереди – его призвание и служение. *Fata morgana*, мираж, галлюцинация.

Каждый камень и каждое дерево, птица, цветок – у всего есть название, имя. Не случайное слово, невесть откуда упавшее, но имя, слово, которое родилось вместе с тем, что им обозначено. Связь эту не разъять, не порушить. Вместе они родились, вместе умрут, хотя нет, слово переживет, ведь, в отличие от птиц и цветов и даже вечного валуна, долговечного смертного, слово не умира-

ет. Бессмертное, оно не только для жизни сегодняшней, но для памяти, вечной, бессмертной, Божественной. Не облеченное в слово – случайно и мимолетно, обречено на смерть, на забвение.

Сам Бог – это память, всего обо всем, навсегда. Всё исчезнет, даже Храм, куда он идет, треножник, жрецы и пифия. Но память о них сохранится: названы, отпечатаны в слове – букашка, кузнечик, крыло стрекозы, захваченные смолой, для вечности каменеют.

Мысли об аполлоновом храме вызвали воспоминание о чуде, которое видел он в Риме. Прошептал про себя: «Юпитер Капитолийский», и память услужливо начертала картину. Он в Риме стоит перед Храмом и вспоминает, что видел в Афинах колонны из мрамора для него. И вот Храм перед ним. По фасаду четыре колонны, между ними три бронзовых двери. Фронтон украшен двумя колесницами по краям и квадригой Юпитера посередине. В нише над входом, тимпане – три храмовых божества: Юпитер, Юнона, Минерва. Затем две колесницы: на одной солнце-возница, луна – на другой; по сторонам Вулкан и циклопы кулющие; между обеими колесницами и богами – Ганимед, Эскулап и Веста. Черепицы на кровле из позолоченной бронзы, говорят, стоят они шестьдесят миллионов сестерциев. Двери покрыты золотыми рельефами, а пол мозаичный.

Взглянул вверх, словно сияясь среди облаков увидеть квадригу Юпитера, взглянул вниз, словно пытаясь увидеть на каменистой земле искуснейшую мозаику. Но виденье исчезло. Исчезло? То, что названо, исчезнуть не может. Потому-то ребенка, едва в мир пришедшего, надо назвать, дать ему имя, наречь. Это будет пропуском в вечность. Коль суждено умереть в младенчестве, то навечно младенцем останется. Но только лишь тот, кто имя успел получить. Иначе спросит Харон, получающий плату, как твое имя? Что ненареченный младенец ответит?

Размышляя, он шел по тропе, петлявшей средь скал, поднимаясь по южному скалистому склону Парнаса, горы, некогда отданной во власть Аполлону. Склоны окрестных гор, что открывались по мере подъема, изобиловали источниками чистой, сладкой, холодной воды. Где-то здесь лаврами окруженный Кастальский ключ, из которого поэты всех времен и народов пили, пьют и пить будут вечно, ведь всех источников музыки и нимфы поют вокруг него под звуки аполлоновой лиры.

Он шел по тропе, вьющейся между скал, то, отступая, то, приближаясь к скалистому краю бездны. Над ней, то снижаясь, то поднимаясь, парил одинокий орел. Порой охватывал страх, и он прижимался к скале, отодвигаясь от бездны, но иногда в ответ на затаенные мысли подходил к самому краю, не боясь оступиться, чувствуя поддержку богов. Заглядывал в бездну, пытаясь постичь бесконечность пространства и времени, постичь манящую мертвую вечность, человеку неведомую, богам близкую. Иногда камень, его стопой потревоженный, с места, на котором лежал он века, срывался и, цепляясь за ветки кустов, ускоряясь, через мгновение пропадал из глаз, беспамятством поглощенный.

Он шел, представляя, что внизу, в котловине, куда ни человек, ни животное не смогли бы добраться, у подножия скал нет и быть не может живых. Только те, кто сорвались, нашли там последний приют, только их кости, омытые ливнями, отбеленные ветрами, только их кости.

От мрачных мыслей отвлекли забавные птицы. Присмотрелся: кружили над свитым гнездом, травинки высохнуть не успели. Гнездо было пустым. Но вскоре в нем появятся и птенцы, а, встав на крыло, покинут гнездо и, найдя себе пару, новое сочинят. Разве это не вечность? Противостоящая белым костям, лежащим в глубине котловины, на самом доньшке бездны.

Он шел легкой походкой, ступая уверенно, словно вступал во владение этой горой. Под сандалиями шуршала земля, мелкие камешки из-под подошвы выскакивали, словно зверюшки. Шел подгоняемый звуком воды, со скалы ниспадающей, слыша пение муз, нимф сладкоголосье, сливающееся с журчанием аполлоновой лиры.

Шел, мир познавая, а в мире – себя. Шел, подгоняемый мыслью увидеть Храм и на его фронтоне – изречения Семи мудрецов:

познай самого себя,
ничего сверх меры,
Е.

Накануне дул сильный ветер. Ветер рычал, хрипел и визжал, словно животное или же человек, дара речи богами лишенный. Издалека доносились раскаты грома и были видны едва заметные проремьки молний. Хижина, в которой он остановился перед завтрашним восхождением, скрипела, словно во время шторма корабль, скрипела то жалобно, моля богов о пощаде, то свирепо, угрюмо, богам угрожая.

Надвигающаяся буря, ревуший ветер, молния, гром всегда вызывали в нем двойственное чувство. Одно из них было ощущение гнева богов, чувство страха, беды неминуемой. Другое –

ощущение радости, ведь буря, гроза несли очищение, пыль с деревьев смывая, гнилое сметая. Боги решились очистить землю от скверны. Разве это беда?

Они вместе с хозяином, выходящем из Беотии, сидели у очага, вспоминая окаймленную со всех сторон горами, зимой водами переполненную, летом не пересыхающую долину, дающую жизнь всей Беотии. По утрам он любил на долину смотреть: в туманном мороке та зияла, сквозь зелень сквозила. По воле богов стекающая с гор вода превращала долину в огромное озеро, некогда нареченное Копайда. Все воды гор собирались в долине, и только одна река, только Кефисс из нее вытекала. В середине весны вода начинала спадать, и Копайда превращалась в пастбища и поля, на которых выращивали пшеницу, а в самых сырых местах – рис и хлопчатник.

– А помнишь, какие угри в Копайде? Их даже возили на продажу в Афины. – Хозяин от удовольствия причмокнул губами и закусил воспоминание жирной маслиной.

Он помнил, угри были жирные, сочные, но в их небогатом доме они подавались к столу только на праздники.

– Вся Беотия жила Копайдой, – воспоминания распирали хозяина, – истины ради надо сказать, что не только ими озеро славилось. – На мгновение он задумался, сморщился, неприятное вспоминая. – Мало кто в наших краях не страдал от лихорадки.

И это он помнил. Но гостю неприятное вспоминать не хотелось, напротив, он вспомнил, что по берегам болот рос отличный тростник, из которого делали знаменитые флейты:

– Все в мире так. От болот – лихорадка, от них же – тростник, из которого делали сладкоголосые флейты.

– Ах, какие делали флейты, – хозяин его слова подхватил и зажмурился, – нигде в Греции не делали таких флейт, многие пробовали, а затем перестали, где им было угнаться за нашими мастерами, да и флейтисты Беотии славилась.

Среди гор, которые окружали долину, был воспетый поэтами Геликон, где в источниках рощи пребывали сладкоголосые музы.

Словно его мысли читая, хозяин нарушил молчание, последовавшее за порывом ветра:

– Гиппокрена возникла от удара копыта Пегаса по камню, – и, свои слова подтверждая, хозяин ударил ладонью по столику, так что кувшин с вином и круг сыра вздрогнули, а маслины подпрыгнули.

Гость хотел добавить, что там, на горе Геликон, находился источник, в который смотрелся Нарцисс. Но, не желая прослыть невежливым, он хозяина не прервал, а тот продолжал предаваться радостным воспоминаниям.

Хозяин говорил без умолку. Воспоминания вытеснили даже страх перед надвигающейся бурей. А может, воспоминаниями тот заклинал богов: отведите бурю, хижина непрочна, что буду я делать, если не устоит? Хозяин сыпал словами, словно жрец во время служения, но для гостя через минуту-другую они слились в единый гул, в единый поток, в котором из звуков не возникали слова, звуки, пожирающие друг друга, тянущиеся бесконечною лентой, как будто через луг перепопал огромный угорь. Такой огромный, что сам бы мог дотянуться до афинского рынка.

Сквозь гул слов и завывание ветра в его ушах сперва зазвучали знаменитые флейты, а затем, когда смолкли, божественные стихи великого земляка Гесиода:

**С Муз, Геликонских богинь, мы песню свою начинаем.
На Геликоне они обитают высоком, священном.
Нежной ногою ступая, обходят они в хороводе
Жертвенник Зевса-царя и фиалково-темный источник...
На Геликонской вершине они хоровод заводили,
Дивный для глаза, прелестный, и ноги их в пляске мелькали.
Снявшись оттуда, туманом одевшись густым, непроглядным,
Ночью они приходили и пели чудесные песни,
Славя эгидодержавца Кронида с владычицей Герой,
Города Аргоса мощной царицею златообутой,
Зевса великую дочь, синеокою деву Афину,
И Аполлона-царя с Артемидою стрелолюбивой...
Также и все остальное священное племя бессмертных.
Песням прекрасным своим обучили они Гесиода
В те времена, как овец под священным он пас Геликоном**

(Гесиод, Теогония, пер. В. Вересаева).

Когда стихли стихи, задремав, он слышал волшебное и бессмертное: фиалково-темный, эгидодержавец, златообутая, стрелолюбивая, златовенчанная, хитроразумный.

Волосы и бороды беотийцев курчавились, как весенние родной Беотии облака. Перед ними на маленьком столике, освещаемым огнем очага, лежали лепешки, початый круг козьего сыра, тонко просоленные маслины, стоял кувшин разведенного вина. Они медленно ели и пили, прерываясь лишь на беседу и на порывы ветра, словно боясь пропустить малый миг, крошку воспоминаний, одинаково им дорогих, и мгновение предстоящей опасности. Светлое прошлое здесь, в этой хижине, у этого очага, здесь, у подножья Парнаса, столкнулось с будущим, грозным, чреватым бедой и несчастьем. Как всегда, когда радость и горе, свет и тьма, прошлое с будущим сталкивались в мгновении настоящего, он чувствовал, как никто другой, напряжение этой борьбы.

Ветер стихал, тишина воцарялась, и они, вслушиваясь в безмолвие, вспоминали детство и юность, родителей и друзей. Ветер взрывался, и они замирали, вслушиваясь в его порывы, пытались в них распознать волю богов. Так гадают жрецы, в прошлом и настоящем распознавая признаки бед и несчастий, и мира, покоя. Но жрецы гадают для всех, предсказывая то, что сбудется. А они гадали на ветре лишь для себя. Он то верил, то нет в силу гадания, ведь ему лишь предстояло, в прошлом оставив прежнюю жизнь, превратиться в жреца. Для этого он и пришел в эту хижину, сидел с хозяином у огня, чтобы завтра, если ветер утихнет, если будет на то воля богов, с утра идти на Парнас, гору хоть невысокую, но в непогоду коварную, опасность таящую в каждой скале, в каждом повороте едва заметной тропы. Знал: завтрашнее восхождение, если боги позволят, будет лишь первым, наверняка самым простым испытанием на избранном им пути. Дельфийский оракул не всех, ох, не всех, только избранных, того, кого он полюбит, готов принять в собственные жрецы.

Тени плясали, слова сливались в единый поток, мысли кружились. Он уснул, опустившись на баранью шкуру, постеленную ему.

Он шел и думал о смерти, о том, что никого не минует. На крошечном пяточке, зеленой полянке росло земляничное дерево. Под таким, как гласило предание, родился Гермес. У них в Беотии все считали, что он беотиец.

Он представил, как Гермес, бог торговли, воровства и красноречия, еще в пеленках укравший у Аполлона пятьдесят коров, который, глядя на полет журавлей, изобрел первые семь египетских букв, Гермес по прозвищу Психопомп, душеводитель, ведет его тень в царство Аида. Торгуя, воруя, в красноречии упражняясь, чтят люди Гермеса, забывая о том, что он Психопомп. И даже расставленные на перекрестках гермы не напоминают жаждущим смерть позабыть, что их ожидает.

Полянка была чудесной, зеленой, и от цветов – разноцветной. Хотел остановиться, но передумал: впереди длинный путь, и там, в Храме ждали жреца.

Мысль о смерти и мысль о Храме привели с собой мысль о получившем имя от самой Пифии в Дельфах. Когда Пифия сообщила отцу, что его сын принесет людям столько добра и пользы, сколько никто никогда не приносил и не принесет, то нарек он жене новое имя Пифаида, а сыну – «тот, о ком объявила Пифия», Пифагор.

Он всей душой чтит великого Пифагора. Сбылось пророчество Пифии: у Пифагора было множество заслуг перед людьми. Но он его главной заслугой почитал открытое с помощью тайного учения переселение душ. Тело человека так же, как тело животного, бrenно. Но душа человека бессмертна, вечная, она опускается вниз, поселяясь в человеческом теле, а после смерти ее ожидают переселения, пока не заслужит вернуться на небеса. Великий ученый, познав тайное, изучив числа, научился управлять переселением душ, добываясь конечной цели: вернуть душе высшее божественное состояние.

Он шел, вспоминая, и памятью, больной, неизбытой из зеленого горного разноцветья выпрастывались коричневые проплешины и черные, помятые ветром и временем, валуны.

Он шел по рынку, раздвигая толпу, за собой след оставляя:

– Плутарх.

4. Пластмассовый ящик, расцветки веселенькой, даже игривой

Снился спартанский рай или ад, сотворенный Ликургом: одни его полагали богу подобным, другие – богом самим. После смерти ему построили храм и приносили жертвы, как богу. Так рай или ад? А может, и то, и другое, тем более, никогда не узнать, чем сегодняшний рай обернется, может, завтрашним адом?

Снился великий Ликург, отказавшийся быть царем, Ликург, для которого ценность собственной жизни измерялась одним: тем, что он создал. Другие после себя оставили буквы, слова, живые и мертвые. А он оставил законы, по которым живет его Спарта. Создавая законы, он радовался, как бог, сотворивший человека из праха земного. Прежде чем их предложить спартанцам,

согражданам, он побывал в Дельфах, и пифия назвала его «любимцем богов», скорее «богом, чем человеком».

Желая уничтожить неравенство, вместо золотых и серебряных, он приказал употреблять железные деньги, которые стоили мало, и для значительных сумм надо было строить огромную кладовую, а перевозить в телеге. Так в Спарте вывелось воровство, взятки, грабеж.

Суеверия искореняя, он повелел хоронить в черте города, а памятники ставить близко от храмов, чтоб, привыкая, молодежь не боялась смерти и не боялась быть оскверненной, к умершему прикоснувшись или перешагнув через могилу.

Он видел Ликурга в тенистой роще, над рекой нависающей. Видел его погруженным в раздумья. Одна Ликурга мучила мысль, одно душу сверлило. Он строен, здоров и силен. Лет с сорока не менялся: не седел, не лысел, не толстел. Но старость не сегодня-завтра придет. Ни один человек ее не избегнул. К тому же – все в воле богов – сегодня здоров, силен, а завтра?

И вот он решился. Как все, что он делал, его план был безупречен. Он обратился к спартанцам, сказав, что решил отправиться в Дельфы, испросить волю оракула: хороши ли законы, данные Спарте. Все согласилось. Тогда он взял клятву со всех: старейшин, граждан простых, что пока не вернется, узнав волю оракула, они будут законы хранить и детей им обучать. Уехал.

Дальше во сне не было ни дороги, ни подъема на гору, который сейчас он сам совершает. Он видит Ликурга входящим в Дельфийский храм, приносящим жертву богам, богов вопрошающим, хороши ли законы. Оракул ответил:

– Прекрасны!

Ликург ответ записал, отослал его в Спарту, а сам, продолжая в жизнь план претворять, решил умереть, отказавшись от пищи. Спартанцы ведь поклялись, что будут хранить данные им законы, пока он не вернется, а смертным дороги обратной нет из Аида. Так, смертью своей Ликург даровал бессмертье своим законам.

Вдруг вздрогнул свет, яркий, внезапный, стремительный. Метнулись по стенам темно-зеленые подручные тени. Ах, какие были там тени: глазища, носища, ротища, языки до земли, руки над жертвенником витают, ножища, как корни древесные, вгрызаются раскорякой в безводную землю.

На одной стене птичья стая упоенно в небо взмывает: чмоканье, поцелуй, целование. На другой, на лету погибая, грязными кляксами на землю падают мертвые птицы, в людях порождая страх и смятение. «Лучше птички нет ничего на свете». Кто это сказал? Кто такое подумал?

В одном углу кровь зализывал пес, тщательно, тщетно. В другом из глины, рыжей, сырой, жизнь лепилась по образу и подобию мирозданного Господа.

И по стенам, углам, по полу, потолку неслись, взбесившись, окаянные кони, за окоём – чудища остроносые, краснорожие горбуны, хромые горбуньи.

Вспыхнул свет случайно, внезапно. Так и погас. И тени на круги свои метнулись.

Ждали жреца.

Нового, молодого, высокого, не сутулого, избранного по конкурсу вместо старого, канувшего, пропавшего. Молодой жрец войдет, и затынет не серою – сыростью, войдет, ступая по влажным, в мокрицах камням. Он войдет, черноволос, чернобород, в одеянии черном. В белое облачится, белое таинство совершит. Войдет, достигший всего, чего он желал. И теперь куда бы он не пошел, перед ним маячила собственная спина.

Ждали жреца.

А он, приводя себя в норму, взяв паузу в вечном забеге, сидя у себя в кабинете, читал новую книгу, которую вчера лишь купил. Ни имени автора, ни названия пока не запомнил. Сами запомнятся или спинут, скатившись, как под гору салазки, в небытие.

«Жрецы обмазывают священной краской, на голову надевают колпак, ведут сквозь строй песнопений назначенного на заклание человека – на самую вершину самой высокой на земле пирамиды. Четверо, поддерживая под руки, ведут его к алтарю, застывают, за руки, за ноги держат назначенного на заклание.

Жрец медленно приближается. В руке – каменный нож. Жрец застывает на долгое, бесконечное, как вечность, мгновение. Так же медленно направляет каменный нож и, взрезая грудь, раздвигая рукою ребра, вырывает пульсирующую красную плоть.

Медленно быющую крыльями красную птицу передает другому жрецу. Тот подносит к статуе бога, брызжет кровавая пена – словно неохлажденная кола из вскрытой наспех бутылки.

Статуя окрасилась красным. И если в этот момент сердце биться переставало, считалось: душа отлетела, боги не приняли жертву.

Затем ненужный распоротый труп швыряли, он скатывался по ступеням, с поднебесья на землю, оставляя кровавый след и доставляя радость богам, кровь возлюбившим».

Измученный ожиданием свет вспыхнул и снова погас. Время-пространство свернулось, как прокисшее молоко, и, створоженное, выпало белоснежными хлопьями, застывшими неведомо где и когда. Так туман сжимает, плющит пространство, оставляя узкую полоску дороги ниоткуда и в никуда. Зато когда рассеется, в прозрачном воздухе растворится, глаза ослепит бесконечная ширь бытия.

Ждали жреца. Но вместо него ввалились лавочники, забывшие своих предков-пророков, репризные мужики: один высокий-широкий, низенький-узкий – другой. Нарушая бинарность творения, зеленые подручные тени к ним навстречу метнулись, но те шикнули, и тени засквозили назад: тень, знай своё место. Не обращая на них внимания, репризные вокруг жертвенника засновали, засутелились, друг на друга внимания не обращая. Дело у них вроде бы общее, а будто и незнакомы.

Высокий-широкий, жирно-мясной, мускусный, гибко бескостный, обвисшие щеки хомячьи, надутый картофельный нос, над запавшими глазками нависшие брови, голос ухающий, звук бочки пустой. Говорил раскатисто, смеялся залиvisto. Он тяжело втискивал грузное тело в пространство, соединял провода, кнопками щелкал, ручки крутил, включал-выключал, штепсель втыкая в розетку. Свет вспыхивал, свет потухал. Репризный сопел и пыхтел, младенец, не умеющий говорить, сопящий, мычащий, слюни пускающий.

Низенький-узкий, кисло-молочный, обезжиренный и костлявый, ванильный, запавшие щеки, пуговкой нос незаметной, ниточкой брови, под ними глаза в пол-лица, навькате, голосок дрябленький, дребезжащий. Говорил, словно на ушко шептал, хихикал. Поминутно склонялся над жертвенником, как иудей на молитве, покачивал головой, пальцами семенил, втыкал что-то мелкое и говорил-говорил без умолку, сыпал словами незначащими, дутыми и пустыми.

И в ответ младенцу и пустослову заматались тени, затрепетали между отчаяньем и надеждой, упоеньем и гибелью, вспорхнули птицами, в небе исчезли. Дай Бог, чтоб живыми на землю вернулись.

Ждали жреца.

А тем временем репризные решили нарушить молчание. То ли Высокий-широкий начал, то ли, напротив, Низенький-узкий, а может быть, вместе, одновременно. Просто запас тишины исчерпали. И понеслись от одного к другому слова, которые постичь невозможно, не слова – междометия, осколки лексем, между собой и вовсе не связанные. Да и как их связать? Не каждый слова полноценные свяжет, а тут осколки, обрывки, огрызки. Но чем дальше репризные друг в друга звуки швыряли, тем осмысленнее они становились, все больше на слова походили. И вот, когда вновь вспыхнул свет и погас, в темноте из звуков, немочи фонетической, стали расти слова. Так в соляном растворе возникают кристаллы, прорастая из насыщенности существительной.

Тронулось, понеслось, полетело. В одну сторону:

– Индия, каста, брахманы.

– Китай, даосизм, даосы, – в другую.

– В древности, в Иудее, жрецы, коёны на иврите, власть иерусалимских жрецов, – это один.

– Обучали жреца с раннего детства, лет с четырех, заканчивая к двадцати. «Чтобы служить Богу, нужно быть чистым». Четыре омовения в сутки утром, в полдень, вечером, в полночь египетские жрецы совершали, – это другой.

– Перед храмовой службой коёны совершали омовение в *микве*, ритуальном бассейне, – решил добавить первый репризный.

– Египетские жрецы были хранителями Божественной силы, исцеляя, людям передавая, и даже предметам.

– Эта сила может быть созидательной, может быть разрушительной, – не уступая, добавил другой.

Ожидая жреца, репризные пиковались, споря с другом, а может быть, соревнуясь в знаниях отвлеченных, никак с прямым делом не связанных.

– Слово «жрец» от старославянского «жрети» – приносить в жертву.

– Слово «жрец» от названия букв «живете» и «речь», т.е., «жрец» – тот, кто занимается «жизнеречением».

Так они обретали дар речи, дар слов, их единения, обретали, чтобы вздорно транжирить. Воистину, дар напрасный. Странно, но в их пикировке не было чародеев, магов, волхвов, словно не было Вифлеемской звезды, предсказанной ветхозаветным Биламом, в русской традиции именуемого Валаамом:

Взойдет звезда от Яакова, и встанет жезл от Израиля...

(Бемидбар 24:17).

Словно не приносили они младенцу дары: золото, ладан и смирну – благовонное масло, в осуществлении сказанного:

**Все цари пред ним преклонятся,
все племена ему будут служить**

(Псалмы 72:11).

Словно их не было трое и не символизировали они три возраста человеческой жизни: Бальтазар-юноша, Мельхиор-мужчина, Каспар-старик, а также три стороны света: Бальтазар-мавр – Африку, белый Мельхиор – Европу, восточный человек Каспар – Азию.

(Птица-тройка-перестройка, три богатыря, одеколон тройной. Само собой восклицается: конфеты-бараночки, Константинополь, проливы!!!)

Словно по обычаям тех мест и времен не прибыли они на верблюдах в исполнение сказанного пророком:

**Твои стены чужеземцы отстроят, цари тебе будут служить,
Я в гневе тебя поражал, в благоволении – милую.**

**Твои ворота открыты будут всегда, днем и ночью затворяться не будут:
чтоб везли богатство племен, их царей приводили.**

**Ибо племя и царство, не служащие тебе, пропадут,
сгинут эти народы, исчезнут.**

**Придут согбенными твои угнетатели, у стоп прострутся тебя презиравшие,
назовут тебя городом Господа, Цином Святого Израиля**

(Иешаягу 60:10-12,14).

Слова накатывали, словно волны, раздвигая бетонные стены, требуя простора, воздуха, шири морской, небесной голубизны. Они звучали на двух языках: сперва на иврите, родном, затем переложённые на греческий старанием древних, убежденных, что вышедшее из Циона Учение должно стать достоянием мира, в те давние времена говорившего на языке мудрой цивилизации – греческом.

Ждали жреца.

Жрец опаздывал. Жрец торопился.

А тем временем в последний раз вздрогнули волны, затихли слова, пронесся вроде бы шепоток. Это прохладный воздух, шелестя и подрагивая, не ветром, но ветерком сквозь отворенную дверь прорвался под бетонные своды. Репризные расступились, зеленые подручные тени, застыв и прислушавшись, вздрогнули, метнулись навстречу, к двери. Невидимый сзади подталкивал и, казалось: сам собой под своды катится узкий стол, на котором распластана жертва. Ее зеленые окружили, а репризные смотрели, взглядом впиваясь, словно подобное им было в диковинку, хотя, конечно, это было не так: за долгую безупречную службу всего насмотрелись. И вот тебе на, каждый раз словно впервые.

Ждали жреца.

Теперь к ожидающим – зеленым, репризным – присоединилась и распростертая, лучше сказать, расплющенная на столе, невинная жертва, в ожидании участи лучшей, ведь надежда, как утверждает банальность, умирает последней.

Ждали жреца.

Ждали зеленые подручные тени, ждали репризные, ждала и жертва, распластанная на узком столе, но больше всех ждал его пластмассовый ящик, расцветки веселенькой, даже игривой. В таких пластмассовых, китайского производства контейнерах возят на пикники мясо для шашлыков и кебабов, чтобы, пристроив под развесистым баобабом мангал, обозначать подгорающим мясом свое присутствие в мире, пусть на крошечном кусочке пространства, но помеченным дымом вполне однозначно, так собаки мочой обозначают свою территорию, на которую врагу не ступить, не покуситься.

Ждали жреца.

И больше всех – ящик.

В нем была красная плоть.

5. Що за дитина! (что за ребенок, *уф*.)

Вечерело. Минуя сумерки, стало темнеть, быстро, стремительно, неотвратимо. Жрец опаздывал. Жрец торопился. Ночью не спал. Утром пришлось заняться делами, которые привык откладывать в долгий ящик. Ими поздно ли, рано, но приходится заниматься, и, как всегда, в самый неподходящий момент.

Сморило к полудню. Завалился без сил, голодный, не успев ни позавтракать, ни пообедать. К вечеру из сна выдернул телефон. Выбора не было: призывали. По многолетней привычке вскочил, расставаясь с остатками сна.

Стоя под душем, горячим, затем холоднее, вытаскивал из памяти зацепившееся: гора, огромная, во весь горизонт, очень близко подходит к самой кромке воды, то ли озеро, то ли море. Гора обрывается в воду, зверь на водоное, покрыта травами и кустами, как животное шерстью. В горе – дыры-пещеры, глубокие, давно зажившие раны сквозные, за ними – чего не привидится – огромная полость, внутри горы пустота, в которой часовой механизм: зубчики, шестеренки, всё движется вращением круговым, друг с другом всё сцеплено, движение передавая по кругу. Дали, но не гламурно-беспечный, а реалистично-угрюмый.

Всё движется, всё вращается, дышит, живет. И он призван движение это постичь, разобраться, призван смотреть, наблюдать, при необходимости регулировать и чинить. Хочет спросить, как это действует, а главное, для чего. Но нет никого. Он оглядывается по сторонам, ищет глазами, потом тихо вопрос задает, не чая ответ получить, и вдруг откуда-то раздается ответ, проникающий, слух минуя, в сознание. Слово он слышит внутри. На каком языке? И этого не понять.

Хочется постоять под душем еще, может что-то припомнится. Но железное многолетнее правило выталкивает и гонит. Призвали – значит, времени терять он не вправе. Обязан действовать, как автомат, слаженно, отмерено, точно. Голоден – обязан поесть, что сокращает время на действия остальные.

На ходу вытираясь, холодильник открыв, пытается выудить то, чего там не было никогда. Остается испытанное: яичница, три минуты готовим, съедаем за две. Свитер – в ожидании лифта.

Через пятнадцать минут после звонка вырывается со стоянки, забывая гору с часовым механизмом, проникающий в сознание голос, зато представляя, что там происходит: репризных, зеленые подручные тени, и то, чем занят будет он до утра, если всё пойдет гладко, и тогда скорей всего днем сможет вернуться, лечь спать, сон досмотреть.

Ехал быстро. Рабочий день только заканчивался, дорога была не забита. Светофоры ублажали зеленым – добрый знак – и он пошел, не спеша, словно в гору, по этапам ему предстоящего. Обычно это делалось позже: поднимаясь на лифте, вышагивая по коридору.

Промелькнули на разделяющей движение, засеянной травой полосе творения неизвестного скульптора, уломавшего местные власти раскошелиться на грибы с красно-белыми шляпками – явные мухоморы – и разнообразные фрукты. Это значило, что подъезжает.

Вырулив на стоянку, выламываясь из ритма езды, неторопливо вынул ключ зажигания, дверь не спеша затворил и медленно двинулся внутрь. Всё. Теперь заповедь «не спеши». С этим словом прошел все коридоры, выслушал краткий доклад.

Не спеши. Отворил дверь, начиная служение.

Не холодно, а если холодно, то не слишком. Всё равно дрожь пробирает. Да что пробирает, трясет, как в малярии. Трус, трясушка, основ потрясение. Малярия основ, всех и всяческих оснований, болезнь, от которой лекарства нет и не будет, а значит, и нет исцеления.

Что такое лекарство? Нечто внешнее, чуждое и чужое, которое, став внутренним, потрясает, организм возвращая на круги своя. А если внешнего нет? Как тогда? Кто поможет? Никто. Самому себе помочь невозможно. Как выработать противоядие, если яд – это ты, отравы вечная, беспроектная.

Потому-то холодно. Восходящий поток, исчезающий в вышине. И там, где воздушным течением подхвачено самое тонкое восходящее слово, оно обретает истинный смысл и значение, который устремляется вниз, на землю. И вот уже не трясушка, но – малярия, не трус – землетрясение.

Кто знает, кто ведает, как там холодно в вышине. Казалось бы, свет, солнце, как бы не опалило, а на самом деле, чем выше, тем холоднее. Змеем, ребенком запущенным, слово поднимается в высоту, и несильной рукой направляем, тот расправляет бумажные крылья: летит, парит, радуя глаз, вселяя уверенность и надежду. Ребенок уверен: его рук это дело, это он сам полетел, это он превозмог. А на самом-то деле? Не он управляет, но им. Это змей, добравшийся до облаков, милым и светлым ребенышем управляет. Благо, если не обожжет холодом неземным.

Так и повязаны: он идет по земле, в руке кончик веревки, а слово, в змея оборотившись, летит, вниз ныряя, в небеса круто взмывая, рассекая молочное и студеное, проваливаясь в прорубь небесную, голубую.

Кто произнес: трус, трясушка, основ потрясение? Да и что это «основ потрясение»? Может, где-то подслушал, вот и твердит с чувством собственного превосходства над мелкими бытовыми студеностями. А может быть, вычитал? Главное не своё – чужое, заемное.

Устал следить за полетом, рука с трудом держит веревку, хочется отпустить. Куда делся азарт, давешнее упоение? Скрывается с глаз, и жалко, и боязно, а главное – холодно, студено, промозгло. Вдали от чужих, от глаз завистливых, непрощающих, отпускает веревку.

В мгновение первое змей не чувствует долгожданной свободы, но – нырнул, полетел. Летит и парит, печальась нарушенной связи, радуясь долгожданной свободе, зная: еще один миг, и начнет он свободу свою проклипать.

Самое лучшее средство от холода – в постель, с головой укрыться, отгородиться от глухих забот, пустоты за бортом, досужести, глупости, одним словом, от всего от того, что, если укроешься с головой, если и не исчезнет, не спинет, то останется за горизонтом, где слоны на черепахе, хоботами мир охраняют. Черепаха, что черепаха, инертна, не в тягость ей под миром лежать, панцирем его подпирая.

Слонам тяжелее. Их могучая плоть жаждет движения, разъяренные несутся, сметая, дороги не разбирая. А тут стой и держи: не уронить. Только и радости хоботами играть. Ты с головой в постели укрылся, а они, могучие, тебя охраняют. Ты забился, заботы избыл, а они, не шелохнувшись, стоят неподвижно.

Забившись, забыться, в сон затвориться, отгородиться, не спать, но дремать, внимая себе – не миру. словно в детстве, зажмуривая глаза, притвориться спящим, пусть думают, что ты, как другие: сказали спи – спишь, сказали встать – поднялся. И рад, как другие, стараешься – не выходит. А потому каждый раз натываешься на:

– Що за дитина!

Наверное, с этой фразы и навсегда «мова» стала осознаваться чем-то грубым и несуразным, простонародным и лошадиным, что вовсе не соответствует истине. Понимает: не соответствует, но ничего поделаться может.

Иногда удавалось избежать участи общего строя, улизнуть, спрятаться, притвориться. Но удавалось не часто. Обычно все попытки были обречены, и его возвращали в очередь, в строй, в общий порядок.

Сугубо важным по тогдашней медико-воспитательной моде был прием рыбьего жира. То ли наварили его, некуда было деть, то ли впрямь тогдашняя медицина посчитала его крайне полезным для растущего организма, но велено было давать всем подряд, без разбора. Жертв строили в очередь, двигавшуюся стремительно, неотвратно. Подошедший с последним шагом рот раскрывал – требовалось делать это для удобства вливающего ложку жирной отравы. После чего запихивался кусочек соленого огурца, рот закрывался, и пред экзекутором следующий появлялся. Очередь продвигается, и надо шагнуть, рот отворяя. Но рот отворяться не хочет.

– Що за дитина! – Лошадиные пальцы сдавили щеки, рот открылся, в него влилась отравка и задрожал размокший от времени огурец.

Среди великого множества разных помнилась высокая и мосластая, не с лицом чистокровного, как у поэта, похожего на араба и его скакуна, а беспородная, тускло по грязи, по мокрому снегу остов волочившая. Не Фру-Фру, не лошаденка, которую злобный мужик хлестал по глазам. И то ведь сказать, когда не было грязи, пудовой, налипающей на копыта?

Вспоминая ожиданье жреца, он пришел к выводу, что тогда, мгновенно, вдруг и внезапно изменилось отношение к жизни: выдернуло из течения времени, швырнув его в омут, в поток восходящий, несущий в незримые облака, не считаясь ни с волей, ни с долей. Собственно, и желать ничего не хотелось. Ведь это только казалось – обман зрения или пиршество воли, – что именно воля управляет судьбой.

Повороты судьбы пролистав, не нашел ничего, о чем мог бы сказать: вопреки обстоятельствам сделал то-то и то-то: победил, утвердил, превозмог. На самом деле обстоятельства его победив, условия бытия предписали, продиктовав каждый пункт.

Конечно, куда как приятнее сознавать, что тобой управляет не сумма человеческих волей, а воля богов или Бога. В то время было ему все равно. И единый Бог иудеев, и неприлично тройной христиан, которые ступеньвались под веселым напором греческих рас...яев. Все запивались дешевым вином – другого ведь не было – вкус которого исчезал в клубах восходящего дыма. Теперь

от этого вроде вина его бы стошнило, а от дыма наверняка задохнулся. Но к этим вещам молодость, тамошняя, тогдашняя, была терпелива: выбора не было.

Тогда внезапно, мгновенно и вдруг, не способный облечь чувство в слова, он ощутил: прежнее отношение к жизни, когда «сегодня» имело смысл и значение, потому что за ним будет завтра, такое отношение умерло, и место покойника заняло тонкое, пухлогубое: сегодня, ныне, сейчас. Будет завтра, не будет – это исчезло, за облако крылом уцепившись, пораженное безмолвной, властной сапфировой волей. А может, сегодня, ныне, сейчас, оступившись, исчезло в подземных глубинах, там, где, по представлениям иудеев времен хтонических, танахических, было подземное царство.

Как ощущение мгновенности обрелось? Откуда явилось? Придав горько-сладкий вкус бытия?

Это был один из многих его ночных диалогов. Собеседники уходили и приходили. Менялись. Он оставался.

– Иногда слова открывают, чаще скрывают, и, как ни прискорбно, почти всегда не значат совсем ничего, пустое обозначение пустоты, пар из уст на морозе.

– Что же делать? Как вернуть слову истинный смысл и значение?

– Истинный смысл... Куда, батенька, вы хватили.

– Какой же иной?

– Хоть какой. Истинный, ложный, любой. Любой смысл почти невозможен.

– Но в ваших словах...

– И в моих смысла не много, даже, великодушно простите, и в ваших.

– Но мы с вами ведь говорим, понимая друг друга, значит пусть малый, крошечный, мизерный смысл существует?

– Ну, разве что мизерный, уступаю, и то из уважения к вашей настойчивости.

– Обойдусь без подачек. Может, все-таки объясните, а то бросили реплику...

– Соблазнили и бросили...

– Пусть будет так.

– Обиделись?

– Да.

– Извините. В отместку себе – я обид не прощаю и обижать не люблю – от вашего имени себе отомщу. Понимаете, у слов есть автономная память, не связанная с памятью личности.

– Как у сердца?

– Именно так. Как у сердца. Память сердца не связана с личностью человека, она автономна.

– Значит, при пересадке она сохраняется?

– Этого я не знаю. Вопрос не ко мне. Правда, боюсь, и врачи на этот вопрос не ответят.

Я – о памяти слова.

– Значения? Смыслы, которое оно получало на протяжении бытования в языке?

– Это во-первых. А во-вторых, те встречи с другими словами, которые определили его историю, изменения, и смысловые, и фонетические, и грамматические.

– Кофе помнит, что кофеем было когда-то?

– Пример очень точный, но – простите – совсем на поверхности. Всё глубже, серьезней и не столь очевидно. Вот является Велимир, из Владимира или Виктора, уж и не помню, вылупившийся, как из кокона бабочка, и поскреб русское слово, а там не татарщина вовсе, а Русь и праслово, голое Божье творенье. Земля пустынна, и вот день шестой, Адам рот открывает, хочет криком мир огласить, а из уст вырывается слово, по Еве тоска, по плоти женской томление, дух голодный взывает...

– С человеком рождается слово. Человек жив, а слова умирают.

– Умирают? Ну, нет. Слово бессмертно. Просто не всегда его можно узнать в безобразном потомстве.

– Почему непременно уж безобразном?

– Потому, что новое слово, новорожденное, порожденное, всегда безобразно, словно человечий младенец. Как младенец на человека похож, хоть вовсе не человек, так и слово. Новорожденное отвратительно, омерзительно, безобразно. Не слово, и даже еще не словечко, но звуки, похожие на голос чревоушителя. Чтобы стать словом, оно должно развиться, питаться.

– Не забывая умершее, его породившее?

– Конечно

– Но где гарантия, что словечко или еще-не-слово, или там недо-слово станет подлинным?

– Никакой. Больше того, скорее умрет, так и не став настоящим.

– Детская смертность в Средневековье...

– Почему так давно? Лет назад этак сто детская смертность была такой, какая сейчас в странах третьего мира. Смертность же слов всегда была и будет высокой. Более того, сейчас она даже выше, чем раньше.

– Почему?

– Дело в высокой рождаемости. Рождается много, а слов нужно мало. Самые главные, самые важные вообще даны однажды и навсегда.

– Жизнь, смерть, хлеб, вино, дом, дитя.

– Именно. Десятка три, ну, четыре. Остальное – без чего и вовсе можно бы обойтись.

6. ОДИНОКИЙ ВОЛК

Зашел в кабинет и, не зажигая свет, открыл дверь на балкон. Не холодно, сухо. Звезды погасли. Небесная чернота сменилась ожиданием солнца. Подумал: первый луч, как первое желание, несмелый, робкий, неясный. Не рассвет – вестник рассвета.

Вспомнилось, как молодые заходились в падучей, заслышав бешеное, сумасшедшее, сквозь корявую муть: «Перемен!», «Перемен!» – одним слух нежно лаская, другим грубо – навязчиво ковыряя. Людей постарше это бодрило. Только редкие мудрые старики, радуясь свежему ветру, опасались разрушительной бури: ни электричества, ни тепла, ни водки, ни хлеба, русский человек вообще зверь по природе, а если безвластие... Дальше следовала безнадежная, провисающая, как труссы ниже колен, безнадежная пауза. Евреи, кроме самых юных, глупых и беззаботных, как всегда, во все времена, опасались погромов. Их генетическую память подогревали слухи, распускаемые гебухой.

Слова грубые, слова нежные, неземные слова и земные. А еще есть слова летние, зимние, слова дождя, слова солнца и снега слова, слова маленькие и большие, одни могут покрыть весь земной шар, других и на постель ребенку не хватит. У каждого свое место, у одних – под солнцем, у других – под луной, иерархия, вкус и свой запах. Одни слова любвеобильны и дружественны, холодны, нелюдимы другие. Одни, как мир наш, стары, обросшие памятью смыслов, как днище списанного в утиль корабля, другие совсем желтороты – едва вылупившиеся птенцы. Слова, порождающие слова, родители многодетные, и слова-убийцы, пожиратели слов, слова-паразиты. То, что бухгалтеры слов, составители словарей называют словарным запасом, на самом деле – живая стихия, бездонное море, океанская бесконечность, лемовский мыслящий океан, растекшийся по планете.

Есть слова смертные, живущие миг, столетие, несколько поколений. Но есть и бессмертные, живые от сотворения мира и вечные. На мгновение их может не уничтожить, но погасить, отодвинуть, тенью покрыть великая музыка, ставшая больше, чем слово. Но и она уничтожить слово не может. Так тучи могут скрыть солнце, или луна, став на пути между землей и солнцем, может быть причиной затмения, затмения слова. Но все равно знают, что и великая, вечная музыка, ставшая между ними и словом, лишь на краткий миг может слово затмить, но уничтожить его не способна.

Город спал, лежа в прокрустовом ложе отмеченных фонарями дорог. Не думалось ни о чем, дышалось, смотрелось, внималось. Позвали. Пора было зайти, заглянуть, посмотреть. А затем домой по пустому и от машин и от людей, спящему городу. Только ему сон не грозит. Слишком много адреналина этой ночью случилось. Поест, почитать, музыка.

В машине, прогревая мотор, глянул в зеркало. Ампула простака: нос с горбинкой, со щербинкой зуб, улыбка с хитринкой. Включил радио. Новости рассказали о смерти мальчика, подростка, юноши, доставленного в детскую больницу два дня назад без сознания. Диагностировали инсульт, случившийся, вероятней всего, от физического напряжения. В тренажерном зале – внезапная потеря сознания. Кровотечение – от разрыва артерии. Врожденный порок. Пожертвовали органы. Без фамилии, только город, в котором жил, больница, в которой умер. Два места. Сегодня появятся и две даты.

Всё. Врожденный порок.

Потом, скрипя и хрипя, радио рассказало о Музее Храма, о новых приобретениях – реконструкции предметов храмовой утвари: арфы эпохи царя Давида, золотого венца Первосвященника, огромного медного чана, водой из которого при входе в Храм жрецы омовение совершали. Все – без восторга.

Но вот ведущий слегка оживился, видно, рассказ о паре министров в тюрбанах с птичьими перьями, которые привезли в дар музею драгоценные камни, золото и тысячи долларов. Называя страну, которую дарители представляли, ведущий запнулся. Папуа – Новая Гвинея, в Океании,

видимо, о такой стране диктор слышал впервые. Еще труднее далась ему цитата из пророка Захарии, которой папуасцы сопроводили свой дар:

Многие народы и сильные племена придут искать в Иерусалиме Всемоущего Господа...

Но самое главное, того, вероятно, не ведая, ведущий прибор под конец. В ходе раскопок в Иерусалиме найден золотой колокольчик эпохи Второго храма. Археологи полагают, что речь идет о предмете, принадлежавшем Первосвященнику, Главному жрецу Храма. Предмет обнаружен недалеко от Западной стены, в канале, проходившем вдоль главной улицы древнего города, соединявшей Город Давида с бассейном Шилоах. Изящный круглый предмет сделан из чистого золота.

Любил движение. Не игры со смертью наперегонки, но движение, насыщенные пространство, когда вслед за поглощенным, впитавшимся в память возникает иное, непохожее на оставшееся позади. Когда выпадал выходной, выбирал время, когда на дорогах мало машин. Маршрут рождался в последнюю минуту и менялся в зависимости от пробок: куда вывезет нас кривая.

Случались минуты счастливые. Дорога пуста. Слившись с движением, внимает пространству, которое проникает в него, и тогда – остановись мгновение – слившись с дорогой, не замечая времени, которое движется, его стороной обтекая, он ощущает: не оно властно над ним, но он времени повелитель, в его жреческой власти само жизни течение. Эта власть не отравляла. Он к ней стремился затем, чтоб с новым чувством вернуться к жертвенному столу.

В движении расслаблялся, в бесконечность вжимаясь, вживаясь. Хищные мысли, поживы в нем не найдя, с клеткотом отлетали. Земное притяжение ослабевало, и, как в детском своем сновидении, он вольно парил над землей, словно воду, загребая руками пространство. Тогда только учился плавать, и от лета к лету плыл всё дальше, уверенней и быстрее. Вот и сейчас он парит над холмами, притворяющимися горами, над рощами, выдающими себя за леса. Аживое ощущение: весь мир у твоих ног. На самом деле миру глубоко наплевать и на ноги, и на него самого.

Под ним плывут облака, иногда сбиваясь в черные тучи: неведомый миру пастух на место белого стада пригнал новое – черное, и оно, заполнив все пространство, на час ли, на вечность завладело всем миром, повелевая и властвуя.

Там внизу, под этим черным равнодушным безмолвием всё и вся пряталось, забивалось в щели, от потопа спасаясь. Реки выходили из берегов, города затопляя. Моря бушевали, волны накатывали на берег, сметая на пути все, имевшее неосторожность, не спрятаться, не уберечься. Над океанами пронеслись тайфуны, круша города, разрушая наработанные столетиями.

Из-за туч не видел, что там твориться. И хоть не было безразлично, но все это принимал не слишком уж близко к сердцу. Вначале это его удивило. Даже обидело. Но от себя некуда деться. Он был равнодушен. Вначале винил в этом жребий, удел. Затем подумал, что во время служения эмоции подавлялись, иначе нельзя. Тут или жалеть, сострадать, или – служить, до автоматизма доведя ритуал. Руки делают, голова контролирует, планирует и предвидит. Иначе – случайности, которые никому не нужны.

Огромное внизу, сверху все казалось крошечным, игрушечным, не настоящим. Оно, настоящее, там внизу, а не здесь, где царствует детское упоение, которым не насытишься, не проживешь, и без которого невмоготу.

В одном месте дорога резко ныряла, проваливаясь в сумрачный узкий тоннель, тартарары. С обеих сторон выросли стены. Мир скукожился до размеров могилы. Но мгновение, другое, и – возник потерянный мир, первозданный и бесконечный. Это и была бесконечность, которую называли несуразным словом ландшафт.

Вынырнув, вспомнил понятие хасидизма: падение восхождения ради. Опыты в этом роде дело опасное, сродни христианскому: не погрешив, не покаешься, только, пожалуй, опасней. Грешить ведь можно и незаметно, просто складываются обстоятельства. А тут – сознательный грех. Больше того, горячие несуразные головы могут разыскивать такое падение, не слишком вникая, что не из каждого падения автоматически следует неизбежный подъем. Вот на эту причинную связь невежи и уповают: согрешу, поболтаюсь там, в бездне, а потом Господь оттуда меня извлечет, в праведники зачислит. Себе грех послаще, Господу – труд потяжеле. Любую идею можно довести до абсурда, тем более, если человек – идиот.

Среди коллег были несчастные, питавшие отвращение к ремеслу. У одних оно было врожденным, к другим пришло с неудачами. И те и другие не выносили людей, среди которых, конечно, случались такие, от которых и ангелы уставали. Но несчастные воротили нос от любого, а са-

мое страшное, намекали, что люди в их власти. Жрецы ведь вольны и в жизни и смерти, не своей, но – чужой. От таких воротило.

Среди несчастных попадались нередко невежи, которых кто-то когда-то непонятно зачем к жреческому служению допустил. Этим изгнать было почти невозможно, тем более что в минуту опасности у них обострялись инстинкты самозащиты: они выпускали когти и ядовитое облако. Покусившийся попал под каток.

Несчастных он избегал, то ли боясь заразиться, то ли сторонился, чтобы не сглазить: к нему ремесло благоволило. Не он его выбирал. Ремесло его выбрало. Знал, за глаза называют жрецом, а с некоторого времени заместителем Первосвященника. Сам жрецом себя не считал – подмастерьем, публичности – неотъемлемой составляющей жречества – сторонился: говорить публично не любил, не умел и не хотелось учиться.

Первосвященник? Наследник? Даже намеки на это его раздражали. Совещания, заседания и ответственность, студенты, как мотыльки в ночной час вокруг лампы: вьются, трепещут, танцуют вокруг живого жреца, кумира, Господа Бога. Не его. Хотя предполагал, что отказаться не сможет, спасая, вынужден будет когда-нибудь согласиться, благо случится не завтра, будет время обдумать, как отвертеться.

Из жизни своей случайности настойчиво изгонял, несурезицы и нелепости, и – думал – небезуспешно. Но появилась она, и всё покатило само по себе, помимо желаний, а главное – отвращения к случаю, или, как он в те времена говорил, случайному случаю. События захлестнули, не эмоции даже, это можно было б понять, но события, которые вторглись в судьбу, перекраивая ее на случайный, несурезный, нелепый манер.

Оглядываясь назад, он не знал, как, почему, из-за чего все случилось. Любовь – зависимость нелепая, наркотическая. Наркотик – это понятно. Подмена желаний, на которые ослабленный бездействием организм уже не способен. Нет желаний? Не надо. Без них обойдемся. Но у него-то было не так. Не желание, но – служение: неизмеримо больше, навязчивей и сильнее. Это была не подмена. Просто тогда он раздвоился, несмотря ни на что, продолжая свой путь ученичества ремеслу, что привело к жреческому служению, признанию узким, элитарным сословием, мнением которого он дорожил больше всего на свете.

Он шел по коридору, и студенты – еще не его, но шефа – ворочали головами, впиваясь взглядами в спину, словно собиратели бабочек, прокалывали его булавкой. Как их там? Энтомологи? Летний день, сачок, занятие детское, профессор Набоков. В Швейцарии, живя в гостиничном номере, в старости, спокойной и безмятежной, он бегал с сачком? Ловил и нанизывал? Или ему надоело? И не было там, в Швейцарии, бабочек, никаких, ни редких, ни совершенно банальных. Но то, что не прекратил до самой смерти он охотиться за словами, нанизывая выверено, холодно, беспристрастно, это уж точно. Спросить бы? Кто это знает? Никого из набоковского окружения не осталось. Сын? Но тот с юности не жил с родителями. Вряд ли интересовался, чем папенька занимается. У него самого – голос, карьера, которая, правда, не стала служением. В конце концов, дано это не всем. Что бы творилось, если бы всех обуяло служение? Господи, не дай Бог.

Резких перепадов настроения у него не бывало. Характер северо-западный, сиесты-фиесты чужды. Если, накапливаясь, наступала мрачная полоса, то надолго, ни за день, ни за два этот бездонный колодец не вычерпать. Зато если светлая, никакие булавочные уколы судьбы просторную, распахнутую бесконечность не могли потревожить. Амплитуда качелей была не короткой, так что он загодя готовился к темной и задолго светлую предвкушал.

– Вы одинокий волк?

– Нет, ну что вы. Это попросту невозможно

– Почему? Кстати, я не вкладываю в это понятие смысла негативный. Я констатирую.

– Что?

– Свои наблюдения.

– Вы неправы. У нас одинокий волк – вещь невозможная. К тому же, одинокий волк – это легенда.

– Если только легенда, то, безусловно, красивая.

– Возможно. Я об этом не думал.

– Так почему же легенда?

– Потому, что волки всегда охотятся стаей. Вожак. Иерархия. Иначе не выжить. Так и мы.

– Священнодействуете коллективом?

– По нынешним временам иное попросту невозможно. Доктор Чехов – просто-напросто ностальгия.

– А может, пророческое прошлое?

– Извините необразованность. Что это такое?

– Будущее, замаскированное под прошлое. Пишем «было», подразумеваем «будет», «прозойдет», «случится».

– Не знаю, может быть, такое и будет когда-то. При нашей жизни, разумеется, нет.

– Понятно. А вам хотелось бы побывать в шкуре, не волка, конечно, доктора Чехова?

– Хотелось бы, не хотелось. Какое это имеет значение, если такое совсем невозможно.

– А вы представьте. Одинокий всеильный и всемогущий жрец, по фамилии Чехов, всё знающий, всё постигший, умеющий всё?

– У вас получается не жрец по фамилии Чехов, а Сам Господь Бог.

– Заметьте, в облике человечьем.

– Зачем же снова? Уже это было.

– Если было, то будет, непременно случится. Только имел в виду я не это.

– Но намек был совершенно прозрачен.

– Пусть так. Согласен. Каюсь, не досмотрел.

– Чаю хотите? – жрец, почти Бог в человечьем обличье поднялся, – так как?

– Чай, жрецом приготовленный, – не просто награда...

– Да будет вам. Лучше скажите, какой? Зеленый, мятный, цветочный.

– Без кофеина?

– Ну, кофеина там котик наплакал, но вам всё равно черный пока не надо.

– Это нельзя. Того не надо.

– В этом сами и виноваты.

– Каюсь, каюсь, курил, не проносил, хоть и не часто.

– Зарядку не делал, свежим воздухом не дышал.

– Да, нечего возразить, вел себя непотребно.

– Кстати, вам и каяться много противопоказано, по крайней мере, в ближайшее время.

– Каются люди по большей части в юности. В зрелые годы каются реже.

– Разве тогда меньше грешат?

– Дело не в этом, просто раскаяние перестает приносить душевное успокоение. В юности как? Согрешил и покаялся, опять согрешил и снова покаялся. А в зрелые годы толком не знаешь, что есть грех, что есть раскаяние.

– Ну, вы это знаете, кому как не вам...

– Это намек на то, что у меня теперь новое, молодое сердце, памятью не слишком обремененное.

– Зря вы так. Не это имел я в виду.

– Извините, не хотел вас обидеть. Просто до сих пор у меня звенит сказанное по приезде: «Не волнуйтесь, всё будет нормально, теперь будет у вас юное здоровое сердце».

– Вам правду сказали. Обычно на вашем месте люди рады такое услышать.

– Что ж, вы полагаете, никто не задумывается над происхождением спасительного для него...

– Наверное, задумывается. Но, как бы это сказать, вторым планом. А на первом – радость, надежда.

– Их можно понять, и всё же...

– Понимаю, здоровое, новое, молодое... Звучит, не скрою, цинично. Но очень правдиво.

– Я претензий не предъявляю. С этим грехом давно распрощался. Если обидел, простите.

– Нет, не обидели, но я понимаю.

Его телефон зазвонил.

– Да, чай допью и иду.

Сделал последние два-три глотка, поднялся, картинно раскланялся и, несомненно, обиженный, рад, что позвали, что прекратился совсем не туда покотившийся разговор, закрыл за собой дверь.

7. Let it be

На письмо наткнулся случайно, а, пробежав первые строчки, его отшвырнул, словно мерзкую живность, поднял за краешек двумя пальцами и, положив на место, пошел вымыть руки. За те десять шагов, которые отделяли его от ванной, понял то, что не хотел понимать все эти годы. Вначале думал: ну, не сложилось. Разве он первый? Бывает, чаще, чем не бывает. Не платоновские половинки, живущие притяженьем друг к другу. Но отгонял, старался не думать.

Идиотка. Научившаяся притворяться взрослой нормальной женщиной малолетняя идиотка. Задержка в развитии, интеллектуальном, а главное, эмоциональном. Бывает. Жалко, что такое с его женой, точнее, не с ней, с ней ничего не может случиться, это случилось с ним.

Был поставлен диагноз. На объяснения, разговоры сил не было, времени тоже. Собрал вещи. Поехал в гостиницу, оставив письмо: срочно в командировку. Через несколько дней, получив два дня выходных, положенных со времен незапамятных, сделал три вещи. Написал ей письмо, без соплей, лаконично: подает на развод, обсуждать смысла не видит. Зашел к адвокату, попросив сделать всё, чтоб дело двинулось как можно быстрее. В маклерской конторе попросил подобрать небольшую квартиру на съем недалеко от работы.

После гнусных, необходимых дел зашел в бар провести вечер, благо завтра на работу не надо. Заказал. Осмотрелся. Мило и непривычно. В первые полчаса. Во вторые – тоскливо и скучно.

Настроение безнадежное, словно пытаешься вспомнить недавнее сновидение, не можешь и залишься то ли на сон, то ли на ущербную память. А главное, не знаешь, зачем это нужно. Ну, сон. Ну, забыл. Приснится другой. Не Дали. Тот со снов жил. Такая вот сонная рента: вдохновение, признание, известность и слава, деньги, деньги большие, очень большие, карт-бланш на чудачества.

Вначале думал зайти в ресторан пообедать. Рядом с баром наткнулся на «Гаучо». На вывеске – пампасы, белозубый ковбой, с раскрытым от жадности ртом, ножом и вилкой в руках. Вспомнилось, откуда – неведомо: «На волю, в пампасы», явно не об этом любящем мясо пожрать ковбое. Зашел и наткнулся: в холодильной витрине аккуратно и – кому-то так показалось – аппетитно, разложены куски свежего мяса. Из лучших побуждений разложены: сочно, красно, аппетитно.

Так он оказался в соседнем баре, в котором сидел, скучая и вспоминая «Вечерний бар» Заболоцкого:

**В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.**

Повезло поэту. У него же ни рая, ни пальм, ни в бокале окна. Что было там и тогда в бокале? Не водка. Что-то экзотичное, пальмовое, заморское. Водка не для поэта, она для другого:

**Цельный день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.**

Здесь было не так. Не было рая. Зато был бокал, и было окно, никак друг с другом не связанные: окно само по себе, твердо вбитое в стену, бокал сам по себе, наполовину отпительный, с едва заметной шербинкой в основании ножки. Одним словом, был поэт прав, своей правотой, соединяющей слова причудливо, прихотливо и пьяно. Всё дело как раз было в том, что поэт был пьян, а он трезв, безнравственно, безобразно.

Бар был почти пуст. Кроме него по углам лишь две пары и суетившийся бармен, который боялся, что если он остановится, или, не дай Бог, присядет, хозяин уволит. Протирал до блеска начищенные бокалы, переставлял стоящие в идеальном порядке бутылки, ласкал тряпкой стойку, сухую и чистую, делал всё, чтобы не останавливаться, движение целью жизни своей положив. Цель ничто, движение...

Интересно, какая у бармена цель? Не может же он и в зрелые годы протирать до блеска бокалы и разливать в них спиртное. Наверное, стать хозяином бара. Ответив на свой вопрос, он глянул на бармена, пытаясь понять, угадал или нет. Тому было лет двадцать пять. Возраст, когда подвижные парни еще сохраняют почти юношескую худобу, а малоподвижные раздаются не по возрасту безобразно. Этот явно был из разряда подвижных. От юноши его отличал чуть округлившийся подбородок, слегка подпухшие веки: то ли пил, то ли мало спал, а может, и что-то с почками. Брился тщательно, до сизости щек, из которых выпирал тонкий с горбинкою нос.

Дверь открылась, его отвлекая. Из света в тень шагнула еще одна пара, которой наверняка требовался отдельный угол. Все другие были заняты. Один из них им. Подумал: единственное доброе дело, которое может он совершить, это уйти.

Всегда шел редко и мало, в последнее время в особенности. Не было ни времени, ни желания. На службе разве что пару капель вина из омерзительного пластмассового стаканчика по случаю дня рождения, праздника или проводов на заслуженный отдых. Как выразился один уходящий на пенсию любитель этого дела, на заслуженный отдых от трезвости. Это на службе, а после нее... После нее и не было почти ничего, кроме сна да дел, которые отменить было уж никак невозможно, равно как и отложить, потому что откладывалось так много раз, что грозило больно

свалиться на голову гнилым ньютоновым яблоком, от которого мокрое гнилое пятно. Еще в юности понял: от выпивки нет ему проку. Не пьянел, разве чуть кругом шла голова, которую не терял, что представлялось пьющему воинству главной целью и смыслом занятия. Зато желудок его в какой-то момент начинал бунтовать, причиняя ненужные хлопоты. Словом, бар не задался.

Вышел на улицу, глотнул воздуха и пожалел, что впереди пустой вечер и целый пустой день. Жаль, что со всем управился за день.

Вошел... Нет, не мальчик, путаясь в соплях. Вошло нечто неопределенного цвета, пола и возраста, увешанное гирляндами звуков, похожими на слова, которые, в отличие от слов, ничего не обозначали. Шло, мелко подпрыгивая, и с каждым шажком от гирлянд отделялись звуки. Они летели по сторонам, прохожие пытались отвернуться и проскочить: кто знает, может, зараза?

Она всё делала нехотя, через силу, словно себя преодолевала. Нехотя ложилась в постель, нехотя отвечала на ласки, ела-пила, хитрила, о последствиях не задумываясь: все ее хитрости рано ли, поздно выходили наружу, но и это ее не заботило. Жила, словно дар бытия, полученный ею, как и всеми, случайно, был не в радость, а в тягость. Радоваться не умела, печалиться не научилась. Всё было ровно, всё безразлично.

Когда он сам, пылкости не исполненный, еле сдерживался, она оставалась спокойной и равнодушной. Болезни ребенка – в отличие от нее, он понимал степень опасности – сводили его с ума. Ее даже это пронять не могло. Терпение было таким безграничным, что он с ужасом ждал: вдруг оно лопнет, взорвется, обернется бурей, порванными парусами. Ан нет. Штиль, мелкая рябь, обвисшие паруса.

Знакомый психолог ему объяснил, что такое редко бывает врожденным. Эмоциональная импотенция – результат недополученного в младенчестве, синдром безразличия исправить уже невозможно. Ребенок плачет не потому только, что холодно или жарко, больно или он голоден, часто он плачет из-за недостатка любви или, пусть будет проще, внимания. Подобное порой тянется на протяжении поколений. Родовое проклятие. Подобные эмоциональные глухари в общении вовсе несносны. Их следует избегать. Спокойствием, безразличием способны свести с ума обладателя самой крепкой нервной системы.

– Так что, – завершил он, – посоветуйте своему приятелю развестись, как можно скорее, а лучше – бросить все и бегством спастись.

И без него он это знал. Только как это сделать? Как бросить сына? Чувствовал, она сделает все, чтоб он его больше никогда не увидел. Поползновения смыться в Америку или Канаду у нее были давно. Но тут он стоял на своем, поползновения в зародыше пресекая. Короче, всё знал, всё понимал, но тянул, неспособный на единственный шаг решиться.

Ни до, ни после женитьбы он не монашествовал. Юность пришлась на конец целомудреннейшей из эпох. «Где» было проблемой неразрешимой, вечный вопрос квартирный, каждый метр на счету. Но эпоха взорвалась, прорвало плотину, обветшавшую, но как-то державшуюся. Прорвало, взорвало, смело. И бурные воды одних понесли в открытое море, других – к берегу увлекло. Оказалось, что те, кто вчера ничего не знали, не ведали, не умели, сходу всему научились. Появился Кузмин. И выпустили Параджанова.

Долгих отношений не было, но совсем одноразовых он не терпел. Когда отношения грозили перелиться через установленный край, находился предлог: не придумывал, само собой получалось. Стажировка, конференция, отпуск. В самом деле, в Австралии конференция. Когда еще доберешься? Аборигены оказались благовоспитанными, политкорректными, скучными. Кенгуру – вонючими и противными. Вернулся, не позвонил, на сообщения не ответил.

Ей не изменял, не давая зарок, обетов не принимая. Разумеется, поводы были. Тем более с ней было пресно и скучно. Привык, стерпелся, смирился. Поначалу себя успокаивал, мол, придет время, и разгуляется. «Когда разгуляется?» Вопрос риторический.

На этот вопрос ответив, подключился к исследованию, что требовало почти всех вечеров. Денег стало побольше, но и это ее интересовало не слишком. Она и тратила нехотя. Эмоциональная анемия. Благо, было бы что-то другое, запойное, ради чего на всё наплевать. Такое бы понял и оценил. Но не было ничего.

Но всему приходит конец. Обычно откуда не ждали. Этот сон он запомнил надолго, до тех пор, пока не развелся и монашествовать перестал. Сон неприятный, его испугавший. Он и она, малознакомая, а мимо них, обнаженных, люди спуют, безразлично, словно к такому привыкли.

Вдруг темнота рассыпается. Он хочет проснуться, сон ему надоел, опротивел. Ан нет. Не он сну начальник, сон властен над ним. С ощущением несвободы и невозможности он и проснулся. Уже в полусне, полудреме, почти проснувшись, успевает спросить, как ее имя.

– Зачем тебе имя?

Замявшись, бормочет что-то глупое, вроде:

– Ну, все же...

– Оно тебе ни к чему.

– Откуда ты знаешь, что оно мне ни к чему?

– Что в имени моем? – Похоже, она издевалась.

– Не хочешь – не надо, не говори.

– Ладно, скажу.

– Это совсем ни к чему, ты права, в твоём имени нет ничего, что о тебе может сказать.

– А это тебе интересно? – Они поменялись ролями.

– Нет.

– Ладно, скажу.

Он ничего не ответил

Зовут меня Let it be.

И тут спросонок, из плотной, густой тишины вздрогнуло, вспомнилось, зазвучало, царапая душу, длинноволосое, юное, словно пробуждение после сна, долгого, большого, докучного.

**When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hours of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.**

Просыпаясь, вспомнил, чем мучался весь долгий сон. Та, из сна, кого-то напоминала. Кого – не вспомнить. Оттого, наверное, и проснулся, что припомнил. Когда-то давно, безлошадным, застрял на пару часов на автобусной станции. Не выйдешь из здания: лил проливной дождь. Смотрел по сторонам, развлекался, как мог. В домобильные времена на каждом углу было множество телефонов. У одного из них, бросив телефонную карточку в урну, девушка мялась и озиралась. Решившись, поднявшись на цыпочки, поширила на телефонах рукой. Подошел, дал свою карточку позвонить. Это как бы знакомство заняло минуту-другую, оказавшись ей достаточным поводом через множество лет неожиданно-негаданно очутиться во сне.

8. Первосвященник

В то утро он был дома один, не зная, чем бы заняться. Выперли в отпуск. Наступило затишье, и шеф, вспомнив, что должен ему дней без числа, решил с ним рассчитаться.

Проснувшись и кое-как отвязавшись от сна – обычно с пробуждением он все забывал, – из угла в угол с полчаса походил – с чего это вдруг она, забытая, во сне появилась? – он решил немножко вдохнуть глазами пространство. Но сперва надо заехать позавтракать.

Отъезжая, заметил детей. Мальчик и девочка. Среди клюющих асфальт, скачущих воробьев. Бабушка на идише в таких случаях говорила, и девочку и мальчика в одно слово сливая: ингеле-менделе. Она впереди, он на полкорпуса сзади. Он в синей курточке, она – в красной. Высоко поднимая ноги, оглядывается на него, а он ее движения повторяя, старается в ногу попасть. Получается плохо, всё невпопад. Она сердится, что-то быстро ему говорит, отчего он еще больше теряется, и получается все хуже и хуже.

Когда воробьи ускакали, им на смену пришли три собаки: большая, белая, длинношерстная, и две других, гладкошерстных, тщедушных. Белая, натянув поводок, тащила хозяйку, а тщедушные, судьбе покорившись, семенили мелко, несмело. Наконец, длинношерстная до дерева добралась и села на задние лапы. Хозяйка и мелкие покорно за этим следили, словно не было у них никаких желаний, стремлений иных.

Это его успокоило. Адреналин, покипев, утих. Словно не расставался он с сыном, жизнью семейной, хоть и скверно, но как-то налаженной. Словно не предстояло решать бездну проблем, одна другой гаже. Словно безумно не было времени жалко. Всё было так. Но ингеле-менделе, от мира сего и для мира иного, вечное, неизменное, его успокоило. Вспомнилось еще одно, из ребеночной жизни, от бабушки: «Все к лучшему, ингеле».

Включил радио. Новости кончились на погоде: обещали долгожданный, намоленный дождь. Зима снова была засушливой, и дождя ждали, как манны небесной, эта земля жива влагой небесной. Подумалось: добрый знак, всё к лучшему, ингеле.

После погоды хриплый голос радостно сообщил, что скоро, ну, очень скоро, кибуцы перестанут заниматься сельским хозяйством: невыгодно, хлопотно, и начнут выращивать – что б вы подумали – органы для пересадки. Радио сделало паузу: мол, осознайте, внимайте. Дальше последовало, простое, мычащее объяснение: иначе, мол, не поймут. Под руководством профессора с англосаксонской фамилией успешно проведена серия опытов по выращиванию печени из стволовых клеток. Конечно, предстоит решить еще немало проблем. Но сделан прорыв. Прорыв! В него устремятся другие ученые, совместными усилиями проблема донорской печени будет решена раз и навсегда. Нет сомнения, на очереди другие органы: почки, сердце и легкие.

Это было ужасно, как первые стихи начинающих поэтов. Голос был бодр, оптимистичен. Как хорошо не знать. Не знать, что еще как до звезд, и если удастся, не завтра, конечно, но хоть лет через двадцать, это будет ни с чем не сравнимой удачей. Так что кибуцам пока придется заниматься овощами, фруктами и коровами.

Через двадцать минут после ингеле-менделе ему принесли заказ. Сон, видно, был в руку. Как и тогда, официантка неожиданно ответила взглядом, оценивающим и признающим. Вечер они провели в ресторане, понятно, другом. Она была не совсем в его вкусе. Так что этой ночью все ограничилось. Хотя, кто его знает, не придет ли и эта во сне?

А прежний сон ступевался, размылся, исчез постепенно из памяти, оставшись на доньшке подсознания, где до времени мелким сором оседает всё, что неспособно напрочь пропасть. А может, совсем ничто никогда не исчезает, оставляя следы?

Так и эта проблема из его жизни исчезла. Но остались другие. Главная – сын.

С тех пор как развелся, он нередко бывал в доме у герра Ольсвангера, или Первосвященника, как того за глаза называли. Официально же обращались: доктор Ольсвангер. Внук в последний момент успевших бежать из Германии. Впрочем, у Первосвященника были прозвища немало: Гривастый – за гриву седых волос, и Лев – по той же причине. Однако не прижилось. Попробовал, было, кто-то: Понтифик. Оказалось, теплее, но как-то не так. Через несколько дней растворилось, иссякло, исчезло. Вслед за Понтификом был Главный жрец. Понравилось, между зубов покаталось, «жрец» постепенно сжевался, остался лишь «Главный». А жрец, подразумеваясь, за скобки ушло, как мало нужная вещь за диван завалилась: и надо б достать, да лень. Но и его победил, с ним несколько месяцев конкурировавший высокий, гривастый, седой: Первосвященник.

Жил один. Ни братьев-сестер. Жена с шестнадцатилетней дочерью погибли в теракте. Зашли в магазин – не вышли. Погибших по кускам собирали, генетическая экспертиза. Отсидев *шиву* (семидневный траур, иврит), пришел на работу. Рассказывали, выглядел совершенно обычно. Всегда говорил коротко, сухо, может быть, с тех пор чуть короче, чуть суше. Но кто прислушивался, кто измерял, кто влезал ему в душу?

Первосвященник был полной противоположностью предшественнику, хирургу блестящему, до самозабвения любящему свое ремесло, обожавшему деньги, точнее – из них вытекающую свободу, сходявшему от женщин с ума. Редчайшее: пристрастия не мешали друг другу. Он на свой, конечно же, лад был натурой цельной, державшей пороки (если это были пороки) на привязи, точно отлаживая на должную длину поводок. Обслуга подбиралась годами. Герру Ольсвангеру она досталась в наследство, вышколенная, слегка постаревшая. Похоже, это обстоятельство его устраивало: молодых он не то чтобы не терпел, но был недоверчив, ожидая подвоха.

Прежнего главного, за которым тянулся шлейф, былей, на легенды похожих, легенд, правдивых, как были, он не застал. Как только истощались легенды, бывший напоминал. С ремеслом и после отставки он расстаться не мог и мотался по свету, его отправляя, зарабатывая деньги и соблазняя. Последние два пристрастия естественно проистекали из первого. Так что усилия были направлены только на это, благо спрос на услуги, особенно в местах не слишком разборчивых, порой отдаленных, был ого-го. В местах же разборчивых, не столь отдаленных не жаловали: там были свои.

Постепенно, обрастая легендами-былями, он стал любимой темой, легкой поживой флибустьеров пера, специализирующихся на морали. Авантюрист по природе, он отсидел пару недель в мусульманской тюрьме. В отличие от него, герр Ольсвангер авантюризм не терпел. Ни под каким, пусть самым пикантным, соусом. В отличие от кухни французской, обожествляющей соуса, он был воспитан на пище грубой, здоровой, не терпящей разнородности и смешения. Коктейли были ему не по вкусу.

На пенсию не собирался. Но административную деятельность решил в положенный срок прекратить, оставаясь на положении консультанта. Квартира Первосвященника была большой, чистой, холодной, пустой. Впрочем, кроме салона и кабинета, он нигде не бывал. Похоже, шеф из пяти комнат сам пользовался двумя. Две стены кабинета занимали стеллажи с книгами. У третьей,

напротив окна, огромный старомодный, едва ли не вывезенный из Германии диван: черная кожа, резьба, одним словом, предмет из тогдашнего, давно забытого времени.

Наследников не было. Ходили слухи, что он все завещал своему отделению.

Обычно они располагались в креслах, в салоне. Шеф наливал в рюмочки золотистый настоящий коньяк, который привозил из Франции – так дешевле и без обмана. Вслед за этим следовал чай, собственноручно заваренный, не зеленый, безумно полезный, рекомендованный пациентам, и не цветочный, но подлинный, черный, до краев наполнявший старинную чашку неразбавленным кофеином. Потом, уже к чаю следовала еще рюмочка, и завершала беседу – на посопок – третья, последняя на сегодня.

Чай и коньяк от случая к случаю не менялись, чего не сказать о теме бесед. Жреческих тем по общему, невысказанному уговору они избегали. Остальное – пожалуйста: от политической глупости до новостей в археологии, которой шеф в последнее время интересовался едва ли не профессионально.

Для него эти, хоть и не частые, встречи были отдушиной. Особенно в первое время, когда дико скучал по сыну, которого видел нечасто, в лучшем случае раз в неделю. Звонить домой не хотелось, и он купил ему, пятилетнему, только-только входивший в моду мобильник. Тот попытался, повертел, но освоил, держа его все время включенным. Так что в любой момент сын мог его вызвонить. Сыну звонил он нечасто, все знали, что если звонит, то сыну.

Несмотря на то – он это чувствовал – что встречи нужны не только ему, они, истинно по-немецки, называли друг друга г-н такой-то, что резко контрастировало с принятым по всей стране стилем, когда даже школьники называют учителя по имени. Впрочем, не только этим профессор Ольсвангер выделялся из окружающей, чаще всего благожелательной к нему, редко – не очень, среды. Он был единственным, которому в случае интервью и фотографирования пресс-атташе не приносила чистый халат. Другим – непременно.

«В их деле, – говаривал, – даже халат не мелочь, кто знает, не отпугнет ли кого мятый халат». Ему всегда такие банальности казались натянутыми и ненужными. Ворчанием человека, судьбой выпшвырнутого на остров, с которого материк кажется чем-то не слишком большим.

В их деле планировать было ничего невозможно. То неделя простая, то две. Иногда прорывает, и дни напролет, а то и ночи, приходится вкалывать. Тяжелее всего приходилось ногам. Казалось, стоишь на месте, не бегаешь, ан нет – от бездействия устают.

В тот день он страшно устал. На свет Божий вывалился около десяти. Рванул на балкон отдышаться. Ударило солнце. Парило: в ночь служения шел большой дождь. Поднялся к себе в кабинет и с чашкой кофе вновь отправился на балкон. Сел в кресло, чашку установил на перила.

– Вы когда-нибудь кого-нибудь непременно своим кофеем обольете, – говаривал шеф, заставляя эту картину.

Кто-то зашел. Постучал – не ответили, значит, он на балконе. Этот кто-то был вестником, а весть была черная.

Без четверти девять Первосвященник в своих владениях появлялся. По нему проверяли часы. Сегодня ни без четверти, ни в половине десятого он не пришел. Вначале не беспокоились. В последнее время раз в неделю он утренние часы проводил вне отделения. Говорили, что консультирует, хотя никто не знал, где и кого. Знал только он. Шеф говорил: нужна еще пара рук. На самом деле нужны были вовсе не руки – мозги.

Первосвященника подключили к проекту, сулившему прорыв, переворот, революцию. По всей видимости – в детали не посвящали – группа, разрабатывавшая технологию получения органов из стволовых клеток, продвинулась так далеко, что чиновники, почуяв, добыли неслыханно щедрое финансирование. Опасались утечки. Впрочем, шеф полагал успехи сильно преувеличенными – до реальных результатов дай Бог дожить.

Как в воду глядел. Предчувствовал? Когда он в первый раз появился в двухэтажном здании постройки давнишней, дешевой, нелепой, его попросили зайти в кабинет к пожилому мужчине со шрамом во всю щеку. Тот его убедительно попросил, говоря попросту, держать язык за зубами.

– Вы понимаете, насколько это серьезно. Приоритет. Реноме. Огромное коммерческое достижение. Не скрою, хотя вам это и покажется преждевременным, но проводится предварительное обсуждение строительства нового центра, что может занять несколько лет, и надо быть готовыми...

Стук в дверь, и голова секретарши:

– Вас уже ждут.

– Через минуту буду. – Закрылась дверь. – Вы понимаете, никаких интервью. Держитесь подальше от прессы. И в этом случае, и вообще.

Видимо, кто-то сказал, что сегодня до полудня шефа не будет. И все-таки всполошились. Прозвонили. Молчание. Помчался домой. Звонят, не отвечает. Разыскали его домработницу, которая убиралась, когда его не было дома.

– Умер ночью. Инфаркт. Похороны сегодня, после обеда.

Врезалось в память: его просят пройти на опознание. Глаза покойного, удивленные, еще мгновение – вырвутся из орбит. Рот полуоткрыт. От уголка из-под нижней губы к подбородку тянется запекшийся след. В ответ он кивнул, поставил на подсунутый лист свою подпись, и, вывалившись из двери, был поражен огромной толпой. Не темно, но как-то все посерело, поблекло и потускнело. На мгновение брызнуло солнце и, словно опомнившись, отпрянуло, ступевалось, скрылось за тучей.

Было много речей, много слов, хороших, ненужных. Распорядитель шепнул:

– Вы следующий.

Его не спросили. Само собой было понятно, что он обязательно выступит. В конце концов, кто, если не он?

Отрицательно мотнул головой. Распорядитель не понял, подумал, что до него не дошло. Не расслышал.

– Вы будете следующим говорить.

Пришлось отвечать словами:

– Благодарю. Не буду. Мне сказать нечего.

– Но кто же тогда, если не вы? Столько лет. Вы, всем это известно, его ученик.

И, подумав, добавил:

– Лучший. Любимый.

– Я говорить не умею. А предложенным жанром совсем не владею.

В ответ, ошарашенный, промычал, точнее, мякнул.

Потом автобусы стали спускаться вниз. Он сел у окна. С одной стороны шоссе возвышалась гора, испещренная зазубринами, расселинами, пещерами. С другой – город мертвых.

В городе мертвых кипела жизнь. Окруженный высокими бетонными стенами, за которыми – тонкокостные кипарисы, узкобедрые ели, маслины, кривые и сухорукие. Машины возили бетон, рабочие возводили опалубку, вгрызаясь в землю, от скалы куски отгрызая, создавали, строили, возводили, поднимая стены всё выше, с вавилонскими строителями соревнуясь. В древности пещерами обходились: не просторно, но уживались.

Когда подходили к могиле, пробираясь бочком, протискиваясь среди каменных плит, черных, серых, голубоватых, несколько мобильников одновременно заверещали. Их владельцы поспешно отключили сигнал и, выбравшись из толпы, услышали сообщение. Записанный текст звал к служению, которое не могли отменить даже похороны Первосвященника.

Через двадцать минут вспыхнул свет, зеленые подручные тени метнулись к столу, раскладывая блестящее в установленном традицией и жреческой волей порядке. Затем по обе стороны стоявшего в центре стола появились репризные.

Ждали жреца.

Он сидел у компьютера с чашкой кофе и, чувствуя легкий озноб, привычный перед началом служения, листал на компьютере данные. Усталость – он больше суток был на ногах – исчезла, спряталась, растворилась, то ли в морщинах, то ли где-то еще. Знал: усталость изгоняет озноб, нетерпение и азарт. Усмирять их не надо: помощники. Лишь в жреческую входя, он скажет:

– Спасибо за помощь, сегодня больше вы мне нужны.

Ни слова не говоря, исчезнут, скроются, пропадут.

И он войдет: ожидают жреца.

9. Шушь

Он был из династии, прервавшейся на отце. Тот в 1953 году был на втором курсе медицинского института и, как говорили коллеги деда, подавал надежды. Лгать, своим в особенности, в их среде было не принято. 14 января, на второй день начала дела врачей, вооружившись справкой о плохом состоянии нервной системы, которая отражала реальное положение дел, отец взял академотпуск, а когда все улеглось, возвращаться не стал, поступив осенью в политех, и всю жизнь протирал штаны в проектно-институте, где дорос до должности руководителя группы.

Он пошел в деда, жреца милостью Божьей, порой совершавшего то, что тогда, с тем оборудованием и знаниями, совершить было никак невозможно. Всю войну провел в операционной, где спасал безнадежных. От всех административных постов бежал, как от ладана черт. В нежелании распоряжаться, командовать, повелевать он пошел в деда.

Отец был единственным ребенком в семье. Поступив в политех, тотчас женился, словно хотел в семейном быту утопить незадавшуюся карьеру. Жили все вместе в большой, по тем временам роскошной квартире в пяти минутах от центра, в мрачноватом доме – кооперативе врачей, построенном до войны. Дед называл их дом не медицинским, а географическим. В справедливости этого каждый мог убедиться, задирая голову к указателю: Житомирские, Белоцерковские, Каневские.

Оттуда и уезжали, уже без деда, прожившего до конца шестидесятых, вдоволь натешившись свиноподобным вождем.

Бабушка дедовы бумаги не трогала, словно боясь прикоснуться к запретному, но не возражала, когда это проделал он. Стол стоял как-то в углу, ящиками к стене. Спросил:

– Ты не против, если я посмотрю дедовы ящики? – он кивнул в сторону угла со столом.

– Тебя что интересует? – Похоже, что эта идея бабушке не слишком понравилась, но как на невинную просьбу «нет» ответить. К такому ответу ссылаку на собственные комплексы не приложишь.

Будь постарше, он бы так напролом не полез. Но у подростка свои права, в том числе на бестактность и глупость. Нежелание он почувствовал, но оно не остановило. В конце концов, если не хочешь, то просто скажи «нет», «не время», «не надо». Да мало ли что. Он был настойчив и повторил:

– Так ты не против?

Замялась, сделав последнюю попытку от него отвертеться:

– Может, как-нибудь в другой раз. Ну... Вместе посмотрим.

Этого ему как раз не хотелось. Хотел сам и настойчиво повторил:

– Я хочу сейчас посмотреть. Если ты против, скажи тогда «нет».

– Если хочешь, смотри. – Повернулась и быстрым шагом вышла из комнаты. Почти выбежала, не оглядываясь.

Повернул стол. Тот закрипел, но все-таки поддался, процарапав паркет. Ничего в ящиках интересного не было: ни оружия, ни патронов, какие-то малозначащие бумажки, квитанции, разная пустячная чепуха. Только в широком, верхнем, том, который сподручней всего использовать для самых нужных бумаг, лежала газета «Правда» от 13 января 1953 года. Сложена она была так, чтобы желающий мог сразу увидеть на четвертой странице справа статью «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». В статье несколько абзацев были отчеркнуты.

Кому же служили эти изверги? Кто направлял преступную террористическую и вредительскую деятельность этих подлых изменников Родины? Какой цели хотели они добиться в результате убийства активных деятелей Советского государства?

Установлено, что все участники террористической группы врачей состояли на службе у иностранных разведок, продали им душу и тело, являлись их наемными платными агентами.

И дальше:

В СССР безраздельно господствуют социалистические отношения. Советский народ одержал беспримерную в истории победу в Великой Отечественной войне. В невиданно короткий срок ликвидировал тяжелые последствия войны. На всех участках хозяйственного и культурного строительства мы имеем успехи. Из этих фактов некоторые люди делают вывод, что теперь уже снята опасность вредительства, диверсий, шпионажа, что заправилы капиталистического мира могут отказаться от своих попыток вести подрывную деятельность против СССР.

Но так думать и рассуждать могут только правые оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения «затухания» классовой борьбы. Они не понимают или не могут понять, что наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению борьбы, что чем успешнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет борьба врагов народа, обреченных на гибель, доведенных до отчаяния.

Органы государственной безопасности не вскрыли вовремя вредительской террористической организации среди врачей. Между тем эти органы должны были быть особенно бдительными, так как история уже знает примеры, когда под маской врачей действовали подлые убийцы и изменники Родины, вроде «врачей» Левина, Плетнева, которые по заданию врагов Советского Союза умертвили путем умышленно неправильного лечения великого русского писателя А. М. Горького, выдающихся деятелей Советского государства В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского.

Под газетой лежала тонкая книжечка: Лион Фейхтвангер, Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. Перевод с немецкого. «Художественная литература». 1937.

Скучное чтение. И в одном месте – никогда он это не делал – отмечнуто: «**Сталин**. На портретах Сталин производит впечатление высокого, широкоплечего, представительного человека. В жизни он скорее небольшого роста, худощав; в просторной комнате Кремля, где я с ним встретился, он был как-то незаметен».

Под Фейхтвангером – мартовский номер «Крокодила» за 1953 год, раскрытый на фельетоне Василия Ардаматского «Пиня из Жмеринки», а под ним еще один номер «Правды» с фельетоном «Простак и проходимцы», в котором простые советские люди русской национальности избражались обманутыми простаками, а евреи – мошенниками.

Рассказ о дне 13 января в жизни деда-жреца он слышал от бабушки не раз и не два. Сразу после утреннего чая дед проверял почтовый ящик, который в те времена крепился на дверь. После событий последних космополитических и безродных лет он давно ожидал чего-то подобного, приговаривая:

– Если в одной руке гвоздь, а в другой молоток, то молоток по гвоздю ударит, и, дай Бог, чтоб удар не пришелся по пальцу.

Пророчество сбылось. Но не сразу.

К подобному повороту дед был готов. На этот счет был давно продуманный план. Один из его друзей еще до войны подобным образом спасся. Когда тучи однозначно сгустились и счет шел на дни, а может, кто знает, и на часы, он исчез, рассудив трезво и здраво, растворился в огромной стране: несмотря на очевидную тавтологию, весьма ценившая слог бабушка выражалась именно так, полагая, что подобное усиление не только не вредно, но несет очевидную пользу. Друг был, между прочим, уже академиком, и рассудил, что органам, выполняющим план и взявшим повышенные обязательства к какой-то там годовщине, искать его недосуг. Да и пойдти иголку найди.

У деда, как у многих, наготове стоял чемодан. Точнее, два. Один – на случай ареста, другой – если придется бежать. Показав жене «Правду», дед отправился на вокзал, купил билет через Москву в Красноярск. Там в районной больнице главным врачом служил санитар фронтового госпиталя, после войны ставший его студентом. За год до «Правды» тот приезжал, они виделись, разговаривали полночи.

После вокзала дед отправился прямо в операционную. На утро было назначено служение, его ждали и волновались: он запаздывал, чего с ним никогда не случалось.

Белые халаты были в недоумении. Нервничали и ожидали.

Ждали жреца.

Никому ничего не объясняя, он стал к столу. Исполнив долг и обменявшись с ассистентом несколькими словами, позвонил бабушке, и та – он опаздывал и за чемоданом захватить не успевал – привезла чемодан на вокзал. На перрон дед ее не пустил, и они – не имея понятия, на сколько – расстались, без поцелуев и без объятий. Дед был известен, кто-то мог случайно узнать, а потом столь же случайно проговориться. В доносчиков – несмотря на убедительные факты – он не верил. А может, отгонял от себя эту мысль.

Тут же, на вокзальной почте, бабушка дала телеграмму, которую посторонний не понял бы никогда. Из нее следовало, какого числа поезд деда доберется до Красноярска. В этот день бывший санитар и студент приедет на красноярский вокзал его встречать.

Дед не ошибся. На следующий день после отъезда за ним пришли. Не домой – на работу. Книжечками мелькнув, зашли в отделение и дальше, словно зная дорогу, в его кабинет. Безапелляционно вежливые, одеты в цивильное, добротное и одинаково, решительно дверь отворили, взметнув секретаршу со стула. Услышав, что профессора нет, ринулись к телефону, выпроводив за дверь секретаршу. Потом позвали обратно: «Где товарищ профессор? Когда он будет? Когда в последний раз она его видела?» Потом позвали других. Те же ответы: «Не знаю. Он не сказал. Вчера».

Ушли, оставив номера телефонов: «Придет – звоните немедленно». На завтра снова пришли. Потом через день-два навевывался один из них, в первый визит не сказавший ни слова. Затем и тот приходил все реже и реже, пока вовсе не исчез. В то время у этих безапелляционно вежливых было много забот. Не до деда.

История часто полна иронии. На этот раз она была саркастична.

Санитар-студент был главным врачом районной больницы в поселке Шушенское. Когда дед, сбегав, прятался в Шушенском, никто не подозревал, что всего через несколько лет все поимут: это была лишь репетиция, репетиция одиночества.

Дед пробыл до осени. Хотел вернуться сразу после великого горя, но главврач-студент-санитар не пустил:

– Господь с вами, береженого Бог бережет. В кои веки отпуск у вас, отдыхайте, купайтесь, хотите – пойдем по грибы, хотите – организуем рыбалку или охоту.

Жил дед в просторной квартире главврача при больнице. Больница была еще земская. Тогда на врачах не экономили. Поначалу сидел в доме безвылазно, а когда Тараканище гикнул, стал появляться в больнице, где был представлен консультантом-хирургом. Когда случался тяжелый, особенно с неясным диагнозом, деда по его настоятельной просьбе призывали к служению.

Кстати, дед страшно удивился, даже расстроился, узнав, что Чуковский опубликовал «Тараканище» задолго до воцарения. Еще он расстроился (слава Богу, задним числом), что выбрал не совсем надежный, как казалось ему потом, выход:

– Надо было в цыганский табор податься, там бы вовек не нашли.

– Переодеться медведем, на задних лапах публику тепшить. – К бабушке вернулась язвительность.

– Зря, как всегда, вы, голубушка, зря. Один мой знакомый...

– Переоделся медведем и играл на ярмарке на балалайке.

Дед обиделся и замолчал. Но ненадолго: впечатлениями он был переполнен и рассказал, что на площади перед больницей, чей главврач-санитар его приютил, был роскошный фонтан: бетонная пионерка держала в руках брандспойт, из которого била струя. Произнеся «пожарное» слово, дед, склоняясь к бабушкиному уху, добавил «ну точно», причмокнув губами, но следующее слово сказал настолько тихо, что разобрать его было никак не возможно. Только нужды в этом не было: он все замечательно понял. Понял и то, что свое понимание обнаруживать вовсе не стоит: пионерка с брандспойтом, и что же? Бывает.

Иногда в таких случаях бабушка переходила на идиш, которым дед владел плохо, многое переспрашивая, из чего он умудрялся обо всем догадаться. Манеру шептать на ухо усвоила их домработница Нюра, которая однажды, тем самым его внимание привлекая, зашептала подруге, к ней забежавшей, быстро, сбивчиво, словно боясь слова расплескать: что-то про бабушку, мраморную лестницу, побирушку.

Прислушавшись, понял. В доме, где с родителями до замужества жила бабушка, была роскошная лестница: мрамор, правда немного побитый, зеркало на стене у самого входа, правда, все в трещинах. А у дома вместе с трупами валяются полуживые. Вот одна девушка с длинной косой (тогда он подумал: про косу-то зачем?), шатаясь, пошла по лестнице. Позвонила – ей не открыли. В это время как раз и спускалась бабушка, ну, конечно, не бабушка, одним словом, понятно. Увидев ту, что с косой (может быть, для этого и коса?), она вернулась домой и вынесла хлеб. Съев весь хлеб, та умерла. С голоду надо есть чуть-чуть, осторожно. С тех пор бабушка мучается этим воспоминанием.

Вернувшись осенью, утром на следующий день дед отправился, как ни в чем не бывало, на службу. Тон был взят очень верный. Все всё понимали. Доброжелатели радовались, не шумно, одними глазами. Недруги, те молчали. После этого отпуска в дедовом лексиконе появилось им же самим изобретенное: одно-ссылчане, к которым он причислял декабристов, М.В. Петрашевского и Ульянова Вову. Когда из рыбы вытаскивал кость, приговаривал:

– Большая, однако, Шушь, – так называлась река, впадающая в Енисей, давшая название месту его добровольной ссылки. Тогда же появилось и выражение «как шушь в горле». Слово «кость» из его словаря исчезло прочно и навсегда. Неосведомленным же пояснял:

– Шушь в переводе с тюркских «кость» означает.

10. Падение восхождения ради

Варианты вычислялись автоматически, желательно с максимальным зазором по времени. Он привык существовать в двух временных измерениях. Одно – то, что сейчас, для рук, слуха и зрения. Другое – многовариантное будущее, через пять минут, десять, через полчаса, час. Это – работа мозга. Он чувствовал себя шахматистом, перебирающим варианты, иногда мог просчитать партию до конца: вариант первый, второй. Отсекая почти невозможное, но помня о нем – совсем невозможного в его шахматах не было никогда – он просчитывал варианты с компьютерной скоростью. У компьютера вариантов было бесконечное множество, а его знания, интуиция, отбрасываемая вовсе пустое, вели его к цели.

Как-то попробовал посвятить в свои шахматы шефа. Герр Ольсвангер не принял, то ли не понял, то ли считал, что любое сравнение жречеству не на пользу, больше того, неуместно.

– Иррациональные идеологии, если их вообще можно назвать идеологиями, опасны. – Герр Ольсвангер не жаловал мистику, каббалу, всё это было от него далеко. Больше всего не любил хасидизм и хасидов, вездесущих, прилипчивых, неотвязных.

И правда, позволь им молвить хоть слово – не отпустят, пока не вывалят ворох хасидских затасканных мудростей, заезженных, как парковая дорога в День независимости. Впрочем, дым, шапльки-кебабы, мангалы Первосвященник не любил, пожалуй, не меньше, чем хасидизм.

Он, просто жрец, относился к хасидам и пашплькам куда как спокойней. Не то чтоб были по вкусу, но и ненависти не испытывал. А когда часть хабадников объявив, что в мир иной ушедший Любавичский ребе не умер, что он Мессия, развесила его портреты по всем углам, он откликнулся громогласным призывом:

– Ребе жил, ребе жив, ребе будет жить!

Было это, однако, сплошным плагиатом. Так реагировал дед, завидев на последней странице «Вечерки» объявление, подписанное «группа товарищей». Вот от имени этой таинственной группы, вставляя фамилию, дед провозглашал:

– Черножопенко жил, Черножопенко жив, Черножопенко будет жить.

Как известно, хасиды любят истории. Одни любят их слушать, другие не очень. Те, что не очень, задаются вопросом: а было на самом деле? Было, не было. Хасиды рассказывают истории не для того, чтоб сообщить, как это было, но чтобы поведать, как должно было быть.

Рассказывал рабби Яков от имени рабби Ицхака, которому передал рабби Авраам.

Жил-был в одном городишке, скорее даже местечке, один бедный хасид, мелкий торговец. Он был из семьи не богатой, но и не нищей, такой, каких в том полесском местечке было столько, сколько в небе летает птиц. Вокруг местечка – украинские села. Рядом – небольшой городок, где жили поляки и украинцы, и евреев немало.

И человеку, и птице пропитание посылает Господь. Но человек все же не птица, та поклюет и птенцов покормит, те растут быстро, глядишь, вчера только на свет появились, а сегодня стали уже на крыло и улетели сами кормиться.

Дети не птицы. Растут медленно. Каждый день дай им еду, одеть-обуть надо, мальчиков в хедер отправить. Много забот у отца. К тому же – жена. Даже непривередливой, как заповедано, надо дать пищу, кров и одежду, украшения, ласку.

Забот полон рот. И все ничего, но случился засушливый год. Мужики растили-растили, а пришло время собирать урожай – нечего собирать. Пусты закрома, еле семью прокормить, нечего продавать. Хлеб не продали, значит, без денег. Нет денег у мужика, значит, ничего ему не продать. А не продашь, сам ничего и не купишь. И цену он понижал, придумывал всякое: за покупку хорошую что-то в подарок давал, только что тут придумаешь, если нищ покупатель. Раньше только появится его лошаденка на сельской околице, как уже собираются бабы у церкви, на площади, товар не успевал разложить. А теперь едет он по домам, зазывает, выйдет несколько баб, посмотрят, поохают, но платок не развяжут, грошей у них нет.

Возвращается он домой, на жену и не смотрит, дети заглядывают в глаза – что привез тателе (папа, папочка, *идиш*), а у него нет сил погладить детей, ночью жену приласкать. Какая тут ласка, когда просвета в черном небе не видно.

А тут – новое горе. Жена родила мальчика, нивроку, немаленького, здорового. Как заповедано, на восьмой день – это был шабес – сделали брит. Из последних сил наскребли, кое-что призяняли, приготовили угощение. Было много гостей, родных и соседей, полместечка пришло поздравить Давида-Авраама с прибытием в этот мир, может, не самый лучший и наверняка не слишком уж справедливый, но дарованный Господом. По этому поводу местечковый остроумец Шломо сказал гойскую мудрость, подслушанную во время своих бесконечных поездок по торговым делам:

– Даренному коню в зубы не смотрят.

Это у лошадиных торговцев принято по зубам узнавать возраст коня. Ну, а смысл, значит, такой: что в подарок ни получил, всё хорошо, всё к месту.

Это шутка такая. А его тателе говорил:

– Этот мир человеку дарован во владение вечное, в аренду бессрочную, – остановится и добавит – в мучение вечное, в муку бессрочную.

Вот так в их местечке шутили. Шуток много, а мудрости мало. Мудрости мало, а денег и этого меньше.

На *брите* (обряд обрезания, иврит) было много гостей. Был и сницар (резчик по дереву, *уф*) Авраам, который, никому не показывая, много лет вырезал свой знаменитый ковчег. Зашел к нему пригласить, втайне надеясь, что на этот раз наконец-то увидит. Но придется еще подождать. Авраам бы в сарае, где у него мастерская, но, услышав шаги, отряхнувшись от мелкой пыли, вышел гостю навстречу.

Был на *брите* и рабби. Высокий, худой, седовласый. Так и пришли прямо из синагоги после молитвы. Впереди он с рабби идет, а за ними и остальные. Пришли, а двор уж полнехонек: женщины, дети, громкие голоса, шум, беготня и гам. Увидели рабби, замолчали, притихли, но ненадолго.

Все получалось удачно. Все были сыты, мужчины немножко пьяны.

Только вдруг через несколько дней ночью будит его жена: беги, приведи повивальную бабку. Та была в их местечке и за фельдшера, и за врача, и – сказал бы, если б не было это кошун-

ством – за Господа Бога. Та пришла, лобик потрогала, головой покачала, монету взяла и, ничего не сказав, домой досыпать воротилась. Видно, понравился Всемогущему Господу Давид-Авраам. К Себе мальчонку решил Всевышний забрать.

А может, не так? Может, это Давидке этот мир не понравился? Он ведь не знал, что это Божий подарок. Вот и выбрал другой: сладкоголосые ангелы Господу Богу, Всемогущему, Многомилостивому славу поют.

Промучился Давид-Авраам еще день, еще ночь, не кричал и не плакал, еле слышно собачонкой скулил.

Господь дал.

Господь взял.

Похоронили. Прочитал по сыну *кадиш* (номинальная молитва, *иврит*). Вернулись домой, промокли: накрапывал мелкий, холодный, какой-то язвительный дождь. Да что говорить, в чужой земле ни дождь, ни ведро не в радость.

Отсидели *шиву*. Делать нечего. Нагрузил подводу товаром, запряг лошаденку и тронулся в путь. Выехал рано, едва рассвело. Решил до дальней деревни добраться, может, там повезет.

Поздняя осень. Под деревьями палые листья, голо на ветках. Земля пуста, почернела. Все уснуло, а может, и вымерло. Даже дымы над домами поднимаются медленно, устало и неохотно. Несколько раз подумывал, может, заехать, больно уж неохота тащиться черт его знает куда. Но лошаденка сама по дороге идет, телега трясется. Мысли скверные в голову лезут, но он встряхивается, отгоняя.

Наконец допелись. Не то чтоб торговалось удачно, но все лучше, чем раньше в селах неподалеку. Бабы оказались здесь избалованные, привередливые. То им не так и это. Расцветка им скучная, шали короткие. Но все-таки кое-что выручил, пора и домой, скоро стемнеет, а его лошаденка, да и сам он очень уж не любили возвращаться ночью, во тьме, под звездами и луной. Это еще хорошо, если будет луна. А как тучи? Тащишься как слепой, молишься, чтобы с дороги не сбиться.

Подороги проехали. Время пришло, стемнело. Но звезды сияют, светит луна, им с лошаденкой путь освещают, грязь серебрят. Вначале вспоминал, как шел торг, что лучше пошло, чем запастись. Решил через неделю наведаться снова. Потом подсчитывал, что на вырученное купит в дом, с долгом упросит повременить. Ну, и надо жену приласкать. Горе, заботы, ей, бедной, не меньше, чем ему, достается.

Потом стал вспоминать Давида-Авраама. Он его называл Додик, а жена и вслед за ней дети звали малыша Дуделе. Вначале воспоминания были с болью, но потом он представил, как Додик стоит у престола Господня, как с ангелами поет голоском тоненьким, сладкозвучным:

**Господи, Властелин наш! Величественно имя Твое по всей земле,
великолепие Твое – на небесах.**

**В уста младенцев Ты мощь вложил: врага
мстительного она уничтожит.**

Вот так! Господь призвал его Додика, чтоб в его уста вложить силу и мощь! Его Додик был нужен Господу! Разве можно печалиться и страдать? Это великий грех. Раз на то воля Господня, значит, не печалиться, не страдать, а радоваться надо и веселиться.

**Вижу Твои небеса, деянье перстов Твоих,
месяц и звезды Ты утвердил.**

**Что человек, чтоб Ты помнил о нем?
Люди – чтоб Ты вспоминал их?**

Правда, правда! Великая истина! Что он, человек? Соринка, пылинка, огрызок жизни, обмылок.

**К ангелам Ты приблизил его,
славой, великолепием увенчал,**

**Властвовать над твореньями рук Твоих,
все под ноги ему положил.**

Нет, не его, неудачливого торговца бабьим товаром приблизил Господь, не ему власть над твореньями даровал. Не о нем это, о Додике.

**Овцы, быки,
и зверь полевой,**

**Небесные птицы и рыбы,
свой путь находящие в море.**

**Господи, Властелин наш!
Величественно имя Твое по всей земле!**
(Псалмы 8: 2-10)

Стихи отзвучали: маслом обожженное место помазали. На душе стало спокойно, не весело, не радостно, а тихо, умиротворенно.

Сама по себе голова упала на грудь. Задремал, покачиваясь вместе с телегой, нераспроданным товаром груженной. Выпали поводья из рук. А лошаденка свое дело знает, тихонько плетется, будто он ее погоняет. Погоняй, не погоняй, а быстрее не будет, и сама бы домой полетела поесть и попить, к теплым бревнам брюхо свое прислонить. Полетела б, да свое она давно отлетала. Если честно, то это так, ради словца. На самом-то деле она никогда не летала, разве что в юности малый кусочек дороги могла порысать, но с тех пор много воды утекло. А сколько товару продано, и все не сосчитать.

Гордилась: она торговая лошадь. Случалось, конечно, и воду возить, и дрова, и много еще чего. Но главное не отнимешь: торговая лошадь. Ей завидовали. Завидев, одни горестно ржали, жалуясь на долю свою. Другие ругались, по-всякому обзывая. Тем, кто, горестно жалуясь, ржал, отвечала: ничего, мол, и на вашей улице праздник случится. Грубиянам-завистникам не отвечала. Что им скажешь? Что им ответишь?

Всегда понимала, как торговалось. Знала, как тащилась с утра, и насколько к вечеру легче. Сегодняшний день был за последнее время самым удачным. Конечно, с прежними годами никак не сравнить. Да что же поделывать? Ей самой в этот год все меньше кладут овса, все больше простого сена.

Так и ехали. Медленно. Мелко трясясь по дороге бугристой, по грязи вязкой, серебряной.

В полудреме, открывая глаза, он видел серебристую полосу, тянущуюся вдоль дороги далеко, далеко, в бесконечность. И чудилось: вдоль дороги уложены серебряные монеты, на которых профили царей, королей, императоров. И все властители его привечают, ему улыбаются, ласково говорят:

– Знаем, ведаем, чей ты отец. Знаем, ведаем, что Господь сына твоего из любви к тебе и к малышу твоему к Себе взял, чтоб ангельским голосом нежным твой сын Господа воспевал.

И непонятно ему, с чего царям-королям, среди которых есть кто угодно, но только евреев нет, сын его интересен.

Но те, отвечая мыслям его, говорят:

– Ну и что? Мы все от евреев произошли. Знаешь ли ты, человек добрый, но не слишком, прости ты уж нас, образованный, что мы от вас, евреев, произошли. Мы, значит, цари-короли христианские, все мы Давидова семени, чресл потомки его.

Дивно слышать такое. Чувствует, надо что-то сказать в ответ, ведь столько добрых слов от гоев за всю свою жизнь никто не услышит. А он вот, пожалуйста. И понимает: не он тут причиной, но сын. А может, и он, хоть не успел мальчонка сказать ему тателе, но он его любви плод, семя.

Сладко было в полудреме на кочках подпрыгивать, слушать такие слова, которых за всю жизнь не услышать. Но что-то толкнуло, загромыхало, сверкнуло и понеслось. Поднял глаза: ни звезда, ни луны. Тьма египетская. Чернота. По картузу ударила крупная капля, за ней другая. Через минуту – стена воды, всемирный потоп, и он, Ной, один, без семьи, без чистых-нечистых несется по миру, и нет ни голубя, ни масличной ветви, только сын среди ангелов молится за него.

– Как же ты молишься, ведь еще не сказал в своей жизни ни слова?

– Зачем Богу слова? Он всё без слов понимает.

Раздался гром, тысяча пушек стреляла. Небесное воинство, устав от мерзостей человеческих, решило все на земле уничтожить. Потоп, а теперь прольется с неба смола, как в Сдоме, Аморе.

Громыкнуло, еще раздавались раскаты, сверкнуло, небесным мечом черное небо пластая. Лошаденка вздрогнула, вместе с ней задрожала мелкой дрожью телега, колеса крутились сами со-

бой, вслед за лошадыо устремляясь. А та словно взбесилась, испугалась и понеслась стремительней ветра: огненная колесница, уносящая в небо пророка.

Понеслась, полетела, взвилась. Стремительный конь огневой, чистых еврейских кровей призовой иноходец. Он пробовал удержать, натянул вожжи, иноходец еще бойчей, шибче, чудесней.

Громыхнуло, сверкнуло, и дорога свалилась в овраг, в бездну она провалилась. Закрыв глаза, прошептал:

– *Шма, Исфозль ...*

Падали долго, успел до конца он *Шма* прочитать. Вспомнилось, рассказывал рабби:

– Чем глубже падение, тем выше поднимется человек.

Тогда поразился: надо как можно больше, страшнее грешить, чтоб выше подняться? Чем грязнее в падении, тем чище при восхождении? Было совсем непонятно, но спросить постеснялся, и так слыл человеком не слишком ученым. Спросит, и на смех поднимут. Кому это понравится? С тех пор это мучило, сидело в душе, словно в пальце заноза. Вроде не слишком и больно, а только об этом и думаешь.

Снова гром, снова вспышка, и снова раскаты. И сквозь все это, сквозь потоп, Сдом и Амору и огненную колесницу, откуда-то сверху, с деревьев, на склонах оврага растущих, а может, и выше, с самого неба:

– Падение восхождения ради, восхождения ради падение, ради восхожденья падение.

11. После меня – Жрецу

В минуту непрошеной откровенности, намеренно или по недомыслию она заявляла:

– Ты меня подавляешь.

Пробовал отшутиться:

– Если так, пойду куплю пресс, чтоб не зря говорила.

Шуток, особенно по отношению к себе, не принимала, твердила, как мантру:

– Ты меня подавляешь. Ты упырь, вампир, вурдалак, кровь мою пьешь.

Делал вид, что сосет, рукавом утираясь.

– Упырь, вампир, ты Дракула.

– Дрррр. Акула?

– И это тоже.

Вначале не верил. Потом дошло. Его успехи ее угнетают, вгоняют в депрессию. Завидовала.

Попалась, Господи, идиотка.

Перестал рассказывать о делах. Но все скрыть невозможно: конгрессы, конференции, стажировки. Позвал пару раз поехать. Жены нередко следовали за мужьями. Те – работать. Они – на пляж или по магазинам, в зависимости от места. Потом прихватывали еще несколько дней вместе.

Она отказалась несколько раз. Звать перестал. Информировал: столько-то дней не буду. В последнее время даже место перестал называть.

Вот такая семейная жизнь.

Все счастливые семьи похожи...

Вспомнил: дракула, акула, куда, дура, хватила.

– Мышление подавляющего числа людей (из тех, кто мыслит) консервативно, иначе говоря, прецедентно. Размышляя о том, что сегодня находится перед их глазами, человек роется в памяти, а порой и чешет затылок: когда-то подобное было. Остается вспомнить, что, при каких обстоятельствах и когда. Обнаружив сходство, человек переносит уже случившееся в свое время, и, если способен, принимает решение на основе случившегося порой за много десятилетий, а то и столетий. Право – самая консервативная, самая прецедентная область человеческой деятельности. Но не только оно. Консервативна военная мысль (генералы готовятся к бывшей войне), медицина и даже наука, по сути своей, призванная быть наименее прецедентной. Не может с разными для науки последствиями падать на голову пресловутое яблоко, которого, вероятней всего, не было и в помине.

– Вырваться из прокрустова прецедентова ложа – удел очень немногих. И здесь смелости мышления мало, необходима смелость толка иного. Если случается сочетание двух смелостей, есть шанс на прорыв. Если нет, на нет и суда. Нет, не было и не будет.

– Человеку, по-моему, не хватает ощущения опасности. Да, он может попасть в катастрофу, случаются смерчи, землетрясения, в конце концов, он может заболеть смертельной болезнью. Но, во-первых, в странах золотого миллиарда сделано многое, чтоб уберечь, предотвратить и спасти, а, во-вторых, от человека зависит немного: берегись не берегись, а в катастрофу все равно попадешь, если написано на роду. Болезни? Профилактика, зарядка, утренние обтирания. Чепуха.

Таким образом, у современника атрофируется важнейшее чувство – опасности, которое ничем не заменишь. Он ничего не боится: ни суда – живут и в тюрьме, ни Бога, ни черта, тем более их репутацию атеисты постарались испортить. Скажем честно, это им удалось. У старика Вольтера сегодня сторонников – открытых, а тем более, тайных – куда как больше, чем у Римского папы. Ни голода, ни нищеты. Социальная защищенность, на пособие по безработице выгодней жить, чем на зарплату. Хорошо, если у человека способности, призвание и талант. Такой ищет их приложения. А что делать сереньким мышкам? От коты бегать не надо, мышеловки законом караются. Вальяться вверх лапками и пережевывать сыр? Повалялся, нажрался, потом по...бался. Что остается? От ожирения подыхать. Отсюда мысли крамольные – о голоде, смерче, не дай Бог, войне. Знаю, знаю, что скверные мысли, но поделаться с собой ничего не могу.

В тот вечер он уже было собрался откланяться. Но Первосвященник показал рукой на окно:

– Переждите потоп. Пока до машины дойдете, вымокнете до нитки. – Сказал таким тоном, будто долго искал, и, наконец, разразившийся дождь помог найти ему повод.

– Пожалуй, вы правы, если не слишком вам надоело...

Тот с удивлением посмотрел, словно он произнес неуместность. Но взгляд был коротким, прощающим быстро. Сверкнуло, в комнату ринулся белый, резкий, пронзительный свет, на мгновение поглотивший желтый, уютный, домашний. Так, ветра внезапный порыв, вспыхнув, гасит свечу. Загремело: телега покатила по мостовой, грохоча, позванивая и бренча.

Подошел к окну, всматриваясь в черное, пустое пространство. Помолчал, и вдруг невпопад, не глядя ни на кого, ни на что, словно с тьмой слиться пытаясь:

– Небесный огонь.

Эта случайная реплика напомнила почему-то христианскую традицию на пасху добывать небесный, огонь, говорят, не обжигающий. Серые сумерки, и жрецы, в крошечном церковном пределе отлученные от подлунного мира, жаут, когда снизойдет благодатное пламя. Снизошло – и через минуту-другую, поглощая серые сумерки, озаряется храм небесным сиянием, и, вот, огонь озаряет пространство города, а через часы – всего мира.

– Ну, вот, еще рюмочку в честь потопы. – В ответ, словно согласие, – грохочущие отголоски.

Наполнил рюмки, подняв свою, продолжал:

– За здоровье ваше, – он поклонился, – за здоровье потопы! – поднес рюмку к окну, по которому барабанили частые, крупные капли.

Выпили.

– Было бы время и знания, написал бы трактат о зле и добре. – И в ответ на немой вопрос: – Знаю. Написаны библиотеки...

– Обычно говорят в ином порядке: о добре и зле.

– Верно, тем самым подчеркивая первичность добра, его изначальность. А я утверждаю, что добро не первично, что оно со злом на иерархической лестнице на ступеньке одной.

– И одно без другого не существует?

– Не существует, не существовало и существовать не будет. Потому как одно без другого бессмыслица, глупость, обман.

– А как же с идеей, что Господь есть добро, а зло появляется там и тогда, где и когда добро умалывается?

– Отвечу цитатой. Пророк говорит:

Свет создаю, тьму творю, мир создаю, зло творю,

Я – Господь, всё созидующий

(Иешаягу 45:7).

– Опасный стих.

– Конечно, опасный. Вообще, все, связанное с Творением, – вещь опасная. В древности эти знания были уделом жрецов, точнее, элиты жреческой.

– Но со временем знания выпали на улицу?

– Выпали. В опошленном, примитивнейшем, оболваненном виде.

– Такова судьба эзотерического познания или любого?

– Любое знание эзотерично. Учение о проводимости материалов доступно подавляющему большинству лишь в виде радио, телевизоров. Нажимай кнопки, ручки крути. Вот и вся эзотерика.

– Но физические законы, в отличие от законов Творения, никем не охраняются.

– А зачем? Отсутствие мозговых извилин – защита надежная.

– Надежнее не бывает.

– А Творение – штука опасная. Потому что между этикой и бытием социальным с одной стороны, и Творением, с другой, – пропасть, которую хоть в сто прыжков не перепрыгнешь. В этике есть добро и зло, а в Творении: зло как добро, и добро как зло.

– Зло-добро?

– Точно так. Через дефис, непременно.

– Но все-таки не добро-зло, а зло-добро?

– Именно это сказал пророк о Господе, **всё созидающем**:

Свет создаю, тьму творю, мир создаю, зло творю.

– О добре и вовсе ни слова?

– Конечно, ибо мир, бытие по пророку первично, равно как и зло. О каком добре речь может идти, если в мире нет человека?

– Из этого следует, что, во-первых, мир равен злу.

– Печально, конечно, но здесь ничем помочь я не в силах.

– Не слишком звучит обнадеживающе.

– Крайне пессимистично.

– Но все-таки **свет создаю, тьму творю**. Вначале свет, а тьма напоследок.

– Так, да не так. Здесь все дело в глаголах. «Творю» – создаю из ничего, поэтому «тьма» изначально. «Создаю» – создаю из чего-то, и это вторично.

– Поэтому «тьма», «мир» и «зло» – изначально, они – первичны, фундамент.

– Конечно. Но обратите внимание еще на одно, на внутреннюю, так сказать, смысловую, рифму. Может быть, догадались?

– Создается «свет» и «мир», «тьма» и «зло» творятся?

– Абсолютно верно. «Тьма» и «зло» – продукты Творения, предмет тайного, жреческого, элитарного знания. А «свет» и «мир» – созидаются, они достояние всех. Что сделали со стихом авторы благословения к *Шма*? Перевели этот стих из области Творения на уровень созидания: Свет создаю, тьму творю, мир создаю, **всё** творю.

– И на этом уровне зло и добро поменялись местами?

– Конечно. Послушайте:

**Горе говорящим о зле добро, а о добре злое,
тьму обращающим в свет, а свет – во тьму, горькое – в сладкое, а сладкое – в горькое**
(Иешаягу 5:20).

Снял с полки книгу с множеством закладок.

– Послушайте: «Зло может быть большее, может быть меньшее. Зло у пророка часто вообще предстает запредельным. Совсем иное – добро. Оно неизмеримо, не может быть больше, не может быть меньше. Не может быть запредельным. Добро есть добро. Само – мера, само – точка отсчета».

– Это из области созидания.

– А о другой области вслух говорить нельзя, запрещено, опасно. Вот вам еще кусочек.

Раскрыл книгу и прочитал:

«Не знающий, точнее сказать, не желающий знать полутонов, Иешаягу создает картины, образы абсолютного, чистого, не смешиваемого. Если зло, то совсем беспросветное, злей не бывает. Если добро, то без изъяна, добрей вообразить невозможно. Поэт предела, Иешаягу не вглядывается в бездну: подошел и отпрянул, он в нее падает, без надежды подняться, вернуться в мир полутонов, смешанных красок».

Его бездна как преисподняя, но и там для пророка, пусть не жизнь, но некое подобие жизни. Если для человека полутонов преисподняя-бездна неодолима, то пророк из нее возвращается, подобно фениксу, он умирает и возрождается, выдыхая сатирические картины и образы последнего из возможных пределов. Преисподняя, смерть духа, гниение плоти, социальный распад, человек, вянувший словно трава, и трава, умирающая человеку подобно. И – вдруг, внезапное возрождение. Вместо всеобщего, не знающего меры, не ведающего предела распада – картины, образы всеобщего, всепроникающего добра. Добр человек, даже дикие хищные звери меняют природу, социальный мир справедлив, все расцветает, в пустыне реки текут. Одним словом, вместо сатиры последнего предела на следующей странице – идиллия всеобщего предела».

– Когда можно будет прочитать ваш трактат?

– Никогда. Не смогу, не сумею, не сдюжу. Если угодно, элементарно мне не успеть. Такие вещи пишут всю жизнь, а издают, если вообще издают, перед смертью.

– Чтоб заклевать не успели?

– Можно и так.

– Не слишком оптимистично.

– В мой-то годы какой оптимизм? Вот вам... Вы можете и успеть, – показал рукой на книжные полки, обведя их рукой, словно в одно жестом объединяя. – Здесь толика книг по теме. По-моему, самое главное. После меня, – слегка запинаясь, – они будут ваши.

Поднялся, взял лист бумаги, что-то на нем написал, прилепил скотчем к одной из полок, вернулся на место.

На листе крупными буквами было написано:

После меня – Жрецу

И в углу нарисована смеющаяся рожица. Смайлик.

– У меня это был бы трактат о зле как добре, о добре в роли зла. А можно иначе: Трактат о добром зле и злом добре. Совсем как название сказки.

Когда дверь парадного, поскрипывая, стала медленно за ним закрываться, и в легкие хлынул чистый, послепотопный, холодный воздух, ему внезапно стало тоскливо. Так в детстве случалось, когда пропадала или ломалась игрушка, любимая, незаменимая. Так в юности случалось при прощании-расставании. Но тогда ведь он знал, что пройдет день или час, пусть неделя и все – отсвербит, отболит, растворится. Как сахар в горячей воде, мгновение – исчезает.

Но сейчас было не так. Почему – не объяснить. С предельной ясностью ощущал: этот ясный, больной и холодный воздух – надолго, на всю его жизнь, на всю близлежащую вечность.

12. Луций Местрий Флор

Он шел, над ним нависал многовершинный, по слову Гомера, Парнас. Впрочем, кто его знает, почему Парнас поэт увидел таким. Может, поэт-полубог все видит иначе, чем амброзии не вкусившие? Задирая голову, он соглашался со своим земляком Гесиодом, который видел многоснежные вершины многоложбинного Парнаса, видел серебриющиеся на солнце звонкоструящиеся потоки.

Он шел, о собственной судьбе размышляя, о родном городке Херонея в Беотии, о том, как объездив полмира: всю Грецию, Малую Азию и Египет, появившись в Риме – мировой столице – свел дружбу с Луцием Местрием Флором, соратником императора Веспасиана.

Это был круглый, как он сразу определил, через край переливающийся человек, лицо которого – в зависимости от обстоятельств и настроения – поминутно меняло свое выражение. Казалось, все на свете его увлекает. При первой встрече, заметив на руке его перстень с оливковым золотом, отливающим хризолитом, он восторженно и, вцепившись в камень глазами, воскликнул:

– О, я знаю, это χρυσός (золото, *др.-греч.*), чудесный λίθος (камень, *др.-греч.*)!

Тотчас попросил ему показать и так любовался камнем, что он пожалел, что в родной Беотии, когда блуждал по горам, не проявил терпения и выломал из скалы лишь один этот камень. Тогда издали мелькнул луч, затем второй, третий, словно кто-то с ним медным зеркалом забавлялся. Что это? Долго искал, пока не наткнулся на золотисто-зеленый каменный нарост на скале. Долго тогда провозился, чтоб отбить от скалы этот камень. Солнце успело зайти, и цвет нароста на скале изменился: вслед за солнцем, уходящим за горы, камень в себе замыкался, из золотисто-зеленого становясь глубинно-оливковым с нежным привкусом золотистым. Так вино вместе с ярким настойчивым вкусом иногда наделяет тонким, едва заметным вкусом, тихо журчащим. Так рядом с могучей полноводной рекой, клокочущей и кипящей, стелется еле слышный, бледно-журчащий ручей.

Он несколько раз близко видел Веспасиана. Раз – вместе с сыном, ставшим его соправителем. Из роскошного императорского одеяния, тесного для него, выступала твердо посаженная на короткой шее голова крестьянина, с лицом крупной лепки, с умными, пронзительными глазами. Рядом с отцом рыхлолицый Тит казался природным аристократом. Рассматривая отца и сына, он пытался в их лицах отыскать черты фамильного сходства, но безуспешно. Общим у них было имя. И тот, и другой полностью именовались Тит Флавий Веспасиан, и, в отличие от отца, сын правил под именем Тит. Общим в судьбе отца и сына была успешная война в Иудее, после чего Веспасиан стал императором, а сын – его соправителем, а после смерти отца – наследником власти над полумиром.

Веспасиан любил точное, меткое, лаконичное слово. Его фразы, моментально становившиеся знаменитыми, передавались из уст в уста. В Иудее Веспасиан не спешил. Объясняя нетерпеливым медлительность, говорил: «Лучшим полководцем, чем я, является бог, который хочет от-

дать иудеев в руки римлян без всякого напряжения сил, а войску нашему подарить победу, не связанную с риском. Пока враги собственными руками губят сами себя, пока терзает их самое страшное зло – междоусобная война – нам лучше пребывать спокойными зрителями этих ужасов и не ввязываться в борьбу с людьми, которые ищут смерти и неистово беснуются друг против друга» (Иосиф Флавий, Иудейская война 4:6:2).

Как настоящий крестьянин, Веспасиан был прижимист, чтоб не сказать скуп. Увеличивал существующие налоги, вводил новые, в том числе (что вызвало возмущение Тита) на общественные уборные. Получив первую прибыль, он сунул Титу под нос монету: мол, пахнет? Через несколько дней весь Рим повторял новую поговорку: деньги не пахнут. Умирая, он произнес свою последнюю крылатую фразу: «Увы, кажется, я становлюсь богом» (Светоний Весп. 23, 4).

Конечно, мужик-император не слишком льстил гордому Риму, но это лучше, чем император-безумец. Римляне сыты сумасшедшим актером Нероном, Калигулой, имен похитителем.

Луций Местрий Флор советами и рассказами о римских обычаях помог не наделать ошибок, без которых в Риме не обходился почти никто. Предупреждение не стремиться проскользнуть под носилками весталки, что каралось смертью, сопровождалось рассказом о жрицах богини Весты, которые были неприкосновенны. Если весталке встречался ведомый на казнь и она клялась, что эта встреча была случайной, она могла его помиловать. Весталки поддерживали в храме священный огонь и совершали жертвоприношения Весте, хранили святыни, исполняли обряды, скрытые от глаз непосвященных.

В Греции священный огонь поддерживали жрицы, старые девы, а если, случалось, огонь гас, то его зажигали от солнца. В Риме, если такое случалось, огонь добывали трением палочек, а весталку, виновную в том, что огонь угас, бичевал сам Верховный понтифик (так в Риме именовали Первосвященника). В Риме весталками становились девочки в возрасте от шести до десяти лет без физических недостатков. Их было шесть. Когда освобождалось место весталки, ее избирал при помощи жребия Великий понтифик. Свою чистоту весталка должна была сохранять тридцать лет.

Горе весталке, девственность потерявшей! Соблазнителя засекали до смерти, а ее на Злодейском поле закапывали живьем, давая на день пищу и воду. Так она сама умирала, и в ее смерти Рим не был повинен. Рассказывают о двух весталках, обвиненных в нарушении целомудрия. Обе они по закону могли доказать свою невиновность, совершив чудеса. Одна из них, Туккия, собрав в решето воду, донесла его от Тибра до форума. Другая, Клавдия, потянула за трос и сдвинула корабль, глубоко вросший в ил.

Новой весталке обрезали волосы, их вешали на священное дерево, которому было многие сотни лет. Затем, одев во все белое, ее нарекали, прибавляя к имени Возлюбленная. Вначале весталка училась, под конец службы учила других. Как и учеба и обучение, основная служба весталки продолжалась десять лет, после чего она становилась свободной и могла, если хотела, выйти замуж, что случалось нечасто: во-первых, тогда она становилась обычной матроной, полностью зависимой от мужа, а, во-вторых, существовало поверье, что брак с весталкой к добру не приводит. Над весталками надзирали Великая весталка и Верховный понтифик, почетной обязанностью которых было возносить публичную молитву о благополучии Рима на Капитолии.

Обряд этот увековечен Горацием в прославленной оде *Elegi monumentum*, которую Плу-тарх знал наизусть:

**Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя
Избежит похорон: буду я славиться
До тех пор, пока жрец с девой безмолвною
Всходит по ступеням в храм Капитолия**

(Пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).

Поведал ему, посмеявшись, Луций Местрий Флор и о том, что необразованная, глупая чернь рассказывает множество анекдотов, среди которых особенно ею любимы объяснения разных названий.

– Послушайте, как вы полагаете, каково происхождение слова «понтифик»?

– Думаю, что от *потенс*, могущественный.

– Вот и не так! Спросите на форуме, – не сдержавшись, Луций Местрий Флор засмеялся, – и там вам ответят... – От смеха Луций Местрий Флор зашелся в кашле.

– Хотите воды? Эй, кто там?

Появившемуся слуге он велел подать воду, но пока тот принес, его друг, преодолев приступ кашля, продолжил:

– Так вот, на форуме вам ответят, что это слово не что иное, как «делающий мост». *Понс*, как вы знаете «мост», а возле моста приносились жертвы, да и заведование мостами и их починка есть непрременная обязанность жрецов. Сломать мост римлянин не имеет права под опасением навлечь на себя проклятие.

Луций Местрий Флор помог ему получить римское гражданство и многое порассказывал о Риме, о нравах, царящих в империи, о недавнем триумфе: Десятый легион после нескольких лет долгой тяжелой войны и осады, наконец, взял город Иерушалаим и Храм, которые с остервенением охранял народец небольшой, но очень упрямый, верующий в бога, которого никто никогда не видел и не увидит, о котором никто ничего не знает и не узнает, кроме того, что он есть. Не знают они, и где их бог обитает. В Храме? Отвечали, что нет. На горе, их Парнасе? Ответ – снова нет.

В рассказе особо его удивило то, что хоть храм покоренных и был на горе, но неподалеку были и другие, повыше.

– Почему же они выбрали самую низкую?

– Загадка, мой друг.

– Все народы, у которых в земле есть пусть небольшие горы, строят богам обители на самой высокой из них. Не так ли?

– Так, конечно же, так. Так с древних времен повелось. Жители горных стран выбирают богам самую высокую гору.

– Только египтянам не повезло. Долина их главной реки Нила плоская, как ладонь. Потому на вопрос, где обитают их боги, они отвечают неопределенно. Почему же эти...

– Этот народ для других тайна. Их обычаи странны и непонятны. Варвары, они обрезают мальчикам крайнюю плоть, и делают это на восьмой день жизни, когда дуновение ветерка опасно для младенческой жизни. Что ж говорить о какой-то горе. – Соратник императора, видно, был не слишком склонен обсуждать этот странный, дикий народ и перевел разговор на более интересное – слухи о нездоровье Веспасиана и о том, что ждет в случае воцарения Тита, который, кстати сказать, был покорителем этого города (название не слишком ему давалось, и он стремился его обходить) и разрушителем храма.

Луций Местрий Флор рассказал об одном туземном обычае, напомнившем ему принятый и у них, в Беотии, да и во многих других местах Греции. У туземцев был один совершенно особый день. Называли его Судным, веруя, что в этот именно день Господь судит весь мир. Претензия странная! Их бог, пусть их и судит. Но почему этот странный, невидимый, неведомо где обитающий бог судит других, самое главное – греков и римлян? В этот день они отсылают в пустыню козла, который, как они верят, уносит все их грехи. В пустыне козла сбрасывают со скалы, а вместе с ним и грехи всего народа, все те, что совершены в течение года.

В родной Херонее, исполняя должность архонта, главы полиса, он совершал обряд, называвшийся «изгнание голода». В *пританей*, служивший местом судилища, приводили раба, которого секли прутьями, предварительно тщательно очищенными от цветов и листьев, секли, приговаривая: «Унеси прочь голод, принеси здоровье и богатство». Совершив обряд от имени города, он возвращался и проделывал то же со своим рабом дома.

Однажды в теплый солнечный день Луций Местрий Флор пригласил его на прогулку по городу, обещая провести маршрутом триумфов. Они шли, и Луций Местрий Флор рассказывал.

За сенаторами и вельможами несли трофей, за которыми вели пленных, а за ними – белых, назначенных в жертву, быков. Тит-триумфатор вместе с отцом ехал в золоченой колеснице, держа ветвь оливы. Позади Тита стоял раб, шептавший ему на ухо: «Не забывай, ты всего лишь человек». За колесницей на белом коне ехал брат Тита Домициан, а за ним шли солдаты в оливковых венках и кричали: «*Io triumphe!*» (Ура, триумф, *лат.*) Процессия вилась по улицам Рима, мимо двух цирков, и, огибая Палатинский холм, по Священной дороге, вдоль которой стояли когорты преторианских гвардейцев и городская стража, поднималась на Форум, потом еще выше, на Капитолийский холм, где приносились жертвы богам. Триумфатор был в особой тунике, расшитой золотыми пальмовыми ветвями, которая хранилась в храме Юпитера Капитолийского и выдавалась на день триумфа. Триумфатор, прибыв к храму, выходил из колесницы и на коленях вползал по ступенькам храма Юпитера.

Существовал и малый триумф, называвшийся овацией, при которой полководец приносил жертву в нескольких милях к югу от Рима и на следующее утро въезжал в город верхом на коне с венком мирта вместо оливковой гирлянды на голове.

Луций Местрий Флор обладал даром рассказчика, но, по собственному признанию, был не в силах себя заставить что-нибудь записать. Говоря о недавнем триумфе Тита, он вдруг вспомнил о столетней давности знаменитом триумфе великого Цезаря и рассказывал так, будто был свидетелем этого дивного шествия.

– Началось оно от Марсова поля, прошло мимо цирка, пересекло Via Sacra и Форум и завершилось у храма Юпитера. Колесница запряжена была белоснежными, словно римские тоги, конями. На ней – статуя Цезаря, отлитая в бронзе, перед ней – представляете, ликторы, числом семьдесят два. Позади – повозки с трофеями, карты захваченных территорий, цветные картины. А в самом конце – сотни пленных, над которыми толпа насмехается, и среди них – Верцингеторикс, главный трофей.

Однажды Луций Местрий Флор угощал его старинными фресками.

– Мой друг, обратите внимание на Нарцисса. Прекрасен? Конечно, но я не об этом. Каким еще быть Нарциссу? Смотрите, он еще и ручья не увидел, не то что свое отражение. Но мы-то ведь знаем, что вот-вот с ним случится. Он увидит себя! Главное – собственный взгляд, который его и убьет. Помните, как хитрый Персей уклонился от взгляда Медузы? Взгляд убивает!

– Разве он умер не от любви?

– От любви? Разве от нее умирают? От взгляда. Вот послушайте.

И Луций Местрий Флор, о фреске совсем позабыв, усадил его к ней спиной.

– Бог Кефис овладел силой нимфой, и та, родив сына, отправилась спросить Тиресия о его судьбе. Оба глаза Тиресия были приговорены к вечной ночи за то, что познал он наслаждение как женщина и как мужчина. Слепец Тиресий нимфе ответил: «Если не узнает самого себя». К шестнадцатилетнему Нарциссу вожделели девушки, юноши, нимфы, особенно Эхо, страдавшая от безответной любви. Но он их всех отвергал, предпочитая охотиться на оленей. От сильной любви Эхо повторяла каждое слово, которое любимый ее произнес. А тот, пораженный, не понимал, откуда звучит этот голос.

– Соединимся! – крикнул однажды.

И голос ответил:

– Сольемся в объятии!

Больше не в силах скрываться, Эхо бросилась к Нарциссу, стараясь обнять, но тот убежал, и отвергнутая стала худеть и таять. Кости ее стали скалами. Так от Эхо один голос остался. Однажды Нарцисс пошел на охоту. Устав, лег у источника на траву. Захотел напиться и, наклонившись, увидел свое отражение и влюбился. Так собственный взгляд его погубил! Взгляд, милый друг! Так что отводите глаза, если на вас пристально смотрят!

Он знал, что Луций Местрий Флор пересказывает Овидия. Но зачем обижать нового друга? Пусть думает, что он не читал, тем более что и прочел он Овидия лишь недавно, приехав в Рим. Но что-то кольнуло, и он решил пойти обходным путем.

– Давно, милый друг, хотел вас спросить... – Он запнулся: может быть, и не стоит? Кто знает, как этот римлянин к этому отнесется?

– Так что же? Спрашивайте.

Что ж, если сам он напрашивается. В конце-то концов, что здесь такого? Просто невинная шутка.

– За что все-таки был отправлен в ссылку Овидий? Разное говорят. Думаю, сплетни.

Похоже, римлянин что-то почувствовал. Во всяком случае, чего никогда не случалось, он не тотчас же рот открыл, извергая слова, которые сами собой слагались в историю. Немного помедлил, расправил складки на тоге, внимательно на него посмотрел (он, помня урок, лукаво отвел глаза) и все же, поколебавшись, решил, что это просто случайность.

– История эта столь же известная, сколь и таинственная. Точно известно одно: Август по-эта призвал и произнес несколько строгих и мрачных слов. За что? Сам Овидий в «Скорбных элегиях» сказал, словно сквозь слезы: «Зачем увидел я нечто?» (кн.2, строфа 103)

– Что же Овидий увидел такое, что от Рима был отлучен?

– Лучше, мой друг, поэта дослушаем: «Божество не прощает даже неумышленного оскорбления». А что он увидел? По моему разумению, это вовсе не важно. Главное, что Овидия собственные глаза предают. Вы это поняли хорошо! – Он засмеялся, словно желая сказать, что запомнил, как этот греченок отвел глаза, когда он пристально посмотрел. Отсмеявшись, поднял вверх палец, словно ему, гладиатору, жизнь даровав, и в знак примирения улынулся:

– А как там у вас в Беотии рассказывают о Нарциссе?

– Что ж, если вам, милый друг, интересно...

– А вы полагаете, мне интересно только рассказывать? Чтобы рассказывать, надо ведь слышать. – Помолчал и добавил. – Изредка, – и залиvisto засмеялся.

Переждав заразительный смех, убедившись, что его новый друг и умен, и отходчив, он рассказал историю так и такую, как и какую он слышал в Беотии в детстве.

– Молодой охотник Амений безумно красавца Нарцисса любил. Но тот относился к нему с отвращением: Амений был ему настолько противен, что однажды в подарок он послал ему меч. Амений схватил его и ринулся к дому Нарцисса, где, взяв в имя крови своей к божественному

отмщенню, вонзил в себя меч. Через несколько дней после этого Нарцисс отправился на Геликон на охоту. Там, почувствовав жажду, решил он напиться. Его взгляд остановился на отражении взгляда и, увидев его, он покончил с собой.

– Вот видите, главное – взгляд! А Эхо или Амений, любовь по-римски или по-гречески – какое нам дело? Не так ли?

13. Таро

Вечнозеленая стараниями садовников, иждивением мецената между зданиями бугрилась площадка, прихотью жертвователя обращенная в парк скульптур, мимо которых все пробегали, внимания не обращая. Он исключением не был. Однако сегодня, пробегая, зацепился за что-то, едва не упал, а, выпрямляясь, уперся взглядом в бетонное кресло, которое по прихоти художника называлось креслом Элиягу.

Это бетонное кресло ему припомнилось ночью, когда в окне на горизонте вспыхнули молнии, напомнившие рассказ о вознесении в небо пророка. Исполнив свою миссию на земле, жрецов языческих победив, он на небо взят был живым. Элиягу шел, разговаривал с Элишей, учеником своим. Вдруг возникла огненная колесница, запряженная огненными конями, и отделила их друг от друга. Элиягу вихрем вознесся в небо, и вслед ему Элиша вскричал: «Отец мой, отец мой!»

Сегодняшнее ночное (без костра и без лошадей) давалось ему удивительно тяжело. Вообще он ночное любил. Если не призывали к служению, можно было, не дергаясь, поработать: недоделанное доделать, недочитанное дочитать, непроверенное проверить. Безмолвие. Просто мечта.

Но сегодняшняя ночь не заладилась. Слишком трудным и суматошным выдался день. Жужжание ламп и компьютера его усыпило. Клянул раз, клянул другой, сделал кофе и вышел с ним на балкон. Прохладно, но одеваться ему не хотелось. Вернулся, хотел снова включить компьютер, но передумал, достав наушники, решил спастись от сна при помощи радио. Вначале по-французски объявили Шопена, и пианист с неразборчивым именем с неистовой нежностью стал ласкать клавиши, дух Шопена из небытия возвращая. Затем, словно выполнив жреческий долг, с последним аккордом исчез, замолчал, растворился. Он стал искать что-то бодрящее и наткнулся на собственное русскоязычное детство:

**Есть у меня диплом,
Только вот дело в том,
Что всемогущий маг –
Лишь на бумаге я.**

Детство неожиданно кончилось. Видимо, и на русском языке вслед за французским решено было: время спать. Крутанув дальше, попал на английский, на котором не спали. Прислушавшись, сквозь треск разобрал: песенный маг сменился жрецом. Это слово на разнообразных, древних и новых языках восходит к словам «хвала», «прославлять», «превозносить». У многих народов жрецы составляли отдельные касты. Исключение – древняя Греция, Рим, где жрецом мог быть каждый свободный, которого выбирали. Дальше речь пошла о Египте, где для получения сана необходимо было долгие годы учиться, начиная с раннего детства. В Египте жрецы – хранители «божественной силы» – могли передать ее кому или чему пожелали: людям, животным, предметам. Египтяне верили: божественная сила может быть созидательной, может быть разрушительной, если люди прогневают бога невниманием или непослушанием. В Египте колдовство было запрещено, жрецы разграничивали божественный мистицизм, основанный на кропотливом труде, священных традициях, молитве, служении богу, – и колдовство, которым занимались миряне.

Потом речь пошла о жертвенниках, капищах – заалтарном пространстве в языческом храме, предназначенном капищам – статуям, изображавшим богов. С другой стороны перед алтарем была площадка, носившая название «гребнице», от которого капище отделялось сакральным занавесом. Сам жертвенник, по-другому – алтарь, на котором и приносились жертвы, мог находиться и в храме, и под открытым небом.

Потом затрещало, и когда голос вернулся, он поведал о Якове, построившем жертвенник из камней, сложенных в виде плоской кучи, об Иисусе Навине, построившем жертвенник из камней, взятых со дна Иордана, после чудесного перехода через него израильтяня.

На этом передача закончилась, и женский голос сменился мужским, который начал издавать, с Кристиана Бернара, совершившего в 1967 году первую успешную пересадку сердца.

Снова помехи, и хоть знакомо, но было ему интересно, как широкую публику просвещают. Он вылавливал лишь отдельные фразы, что не мешало составить общее впечатление.

Выполняется пациентам с прогнозом выживаемости менее одного года.

Транспортировка осуществляется в специальном термозащитном контейнере.

При пересадке происходит удаление желудочков сердца. Крупные сосуды, правое и левое предсердие реципиента не удаляются.

Основным средством сохранения донорского органа...

Острая реакция отторжения может манифестировать сразу же после восстановления кровотока, а также в течение первой недели после операции, несмотря на иммуносупрессивную терапию.

Выживаемость после пересадки сердца оценивается как 81,8%, пятилетняя выживаемость составляет 69,8%. Многие пациенты живут после пересадки десять и более лет.

Выключил радио. И его поглотила мертвая тишина. Подумалось: ни одно выражение не может быть так же неверно, так скверно, так лживо, как «мертвая тишина». Глупость, тишина не мертвая – но очень живая. Теплая или холодная, грубая или нежная, но всегда дышащая, трепещущая, живая. Пульсирует, словно сердце, разгоняя едва слышное, насыщая пространство дыханием спокойным, тишайшим и сонным. Господи, кто же, гнусно солгав, «мертвую тишину» придумал? Лжец? Глупец? На скоморошьей лживой луде игрец?

Летом приглашения были нечастыми. Верховный жрец, Понтифик, Первосвященник, отдыхая и размышляя, когда спадала жара, вышагивал километры, изобретая маршруты, один другого замысловатей. Машиной он не владел и ездил только по необходимости.

Любовью вышагивать километры герр Ольсвангер напоминал ему деда. В отличие от Первосвященника, любящего разнообразие, дед всегда двигался по раз навсегда избранному маршруту. По Большой Житомирской шел до деревянного двухэтажного дома Булгаковых (первого дома, где поселилась семья, не столь известного, как воспетый и перепетый на Андреевском спуске). Там переходил на другую сторону и возвращался к Сенной, где поднимался вверх и шел в сторону Рейтарской, пробравшейся в стихи Пастернака, и, наконец, переулками возвращался домой.

Иногда, когда он подрост, дед его брал с собой. Он любил первую часть этих прогулок, исключительно ему посвященную. Но минут через десять-пятнадцать, словно втянувшись в некогда заданный ритм, дед сперва замолкал, слушал его, но потом куда-то в свое уплывал, о нем забывая. Иногда из этого состояния он мог его вывести каким-то особо коварным вопросом, но когда дед начинал мурлыкать под нос всем в доме осточертевшие «Шаланды», дело становилось совсем безнадежным.

Однажды, когда дед замурыкал, он спросил, что такое «шаланды». Ответ огорчил:

– Лодка такая.

Оказалось, что выросший вдалеке от моря дед сам не знал, что такое «шаланда», как и не знал ничего про кефаль, которую не видел и не едал. Но с некоторого времени шаланды с кефалью стали перемежаться вещим Олегом, из которого извлекалось:

**Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.**

Теперь он понимал, что с этих неотвеченных вопросов и началось настоящее взросление. Дед был высшим авторитетом, магом, волхвом, жрецом. Дед всё знал, всё понимал, всё изведал. И вот случилось то, что однажды случиться было должно. Дед не знал. Эту страшную тайну он скрыл ото всех, скрыл – и правильно сделал: не удержались бы, засмеялись.

Хоть лето в здешних краях некороткое, кончается и оно. С началом сезона дождей приглашения Первосвященника учащались, и если прогноз предвещал подряд несколько дней дождей, это было сигналом. Как-то он себя на мысли словил: с нетерпением ожидает прогноза погоды, к которому раньше был совсем равнодушен. Какая, собственно, разница: дом – машина – служение, а вечером – иногда вечер приходился на утро – обратный маршрут.

Говорил Первосвященник неспешно, слова выбирал тщательно, иными, как дегустатор вино, рот полоскал, извлекая скрытые вкусы, потаенные ароматы. Слова были смолистые, вязкие – не жвачку жевать – в слоистых прожилках: нюансы семантики, оттенки эмоций. Особенно любил простое, как говорил, извечное слово. К новомодным относился с опаской. К одним привыкал, случалось, зачисляя в любимые. Зато иные он ненавидел, дергался, их услышав.

Когда говорил, чувствовалось, это не раз сказано самому себе: слова были точны, смысл сказанного выверен, варианты рассмотрены и отброшены. При этом, однако, слова не соскакивали с языка, слова проверялись на точность, доходчивость, возможность вступать в смысловые, эмоциональные, фонетические отношения с другими словами. Порой подряд шли синонимы: варианты были в работе, отработывался единственный. Определений, выражений модальности не бы-

ло вовсе, по мысли автора, они противоречили жанру. Даже глаголы, без которых речь невозможна, были вычесаны густым гребешком. Остались те, без которых совсем нельзя, без них речь бы распалась: имена предметов, людей, действий и ситуаций, имена, как безлюдные острова в бездне хаоса, в пучине несотворенности.

В первый же дождь последовало приглашение. На столе вместе с коньяком и чайной посудой лежала колода. Карты? Вероятно, лицо выдало удивление: все перепуталось, перемешалось, словно в типографии смешали листы одной книги с другой, засунув под обложку для третьей.

– Не удивляйтесь. Это одно из давнишних моих увлечений. Бледные следы былых знаний или былых заблуждений, что, собственно, все равно.

Оказалось, карты Таро – система символов, совсем не простая.

– По одной из версий, карты Таро имеют египетское происхождение, от виньеток Книги мертвых. Другая – возводит к символике каббалы: двадцать две буквы еврейского алфавита и десять *сфирот* (термин каббалы, *иврит*) являются основой системы. Эти тридцать два символа, согласно герметической традиции, соотносятся с астрологическими, алхимическими символами.

Подумалось: неужели он в это верит? И, словно в ответ, герр Ольсвангер продолжил.

– Дело, конечно, не в картах. Меня занимают две вещи. Первая – это система символов, в которой с той или иной степенью произвола каждый знак получает семантику, и все эти знаки, все эти карты слагаются во внутренне непротиворечивую систему. Что может многое объяснить, дать ключ к пониманию систем более сложных.

Впросительно посмотрел, словно ожидал подтверждения: мол, понятно? А если понятно, согласен?

– Вот вам пример. Шахматы как система, понятая, переосмысленная, помогли в развитии теорий, нашедших свое применение в программировании. Система Талмуда овладевшим открывает возможности в толковании текста, используемые новейшими философами. Вы правы, – Первосвященник снова уловил ход его мысли, и, развивая, продолжил: – Дело и в том, что это все тренировка ума, но, поверьте, не только, не только.

Развивая коньяк, он сообщил, что создателем одной из колод был граф Сен-Жермен, что существуют две школы толкования символики Таро: французская и английская. Жестом на удивление ловким вытащил из колоды две карты.

– Согласно основоположнику французской школы, известному под псевдонимом Элифас Леви, связавшему так называемые старшие арканы с буквами еврейского алфавита, ergo, с путями каббалистического древа, ряд старших арканов открывает «Маг», соответствующий букве «алеф». Ее еще называют «волхв», «чародей», «волшебник». Цветки лилии и розы – его постоянные атрибуты. Да, да, – откликаясь на то, что подумал, – логично, совершенно логично. Если магия, то карта «Маг» должна быть первой в ряду.

Встал, подошел к окну, желая проверить, что там с дождем. Очевидно, все было в порядке, потому что, поставив в объяснении многоточие, вернулся к столу и перевернул еще одну карту.

– Это – «Шут», и, в отличие от логичных французов, шутники англичане помещают его в нулевой аркан, перед «Магом», ибо ноль есть всех чисел начало, и именно он соответствует «алефу». Ну а «Магу» у англичан пришлось потесниться, пропустив не кого-нибудь, а «Шута».

Все время в руке он держал недопитую рюмку. Улыбнувшись, весело, лукаво и озорно, допив несколько золотисто-коричневых капель, закалочил:

– Ноль есть начало начал, ничто, словами Екклесиаста, «ничтожнейшее ничто», есть всех вещей прародитель. Так какая версия вам больше по нраву? Французская или английская?

Промолчал. Похоже, герр Ольсвангер ответа не ожидал, а, улыбнувшись, спросил:

– Как заваривать чай? Наверняка по-английски.

14. Первое служение – ваше

Не вставая, он сидел за компьютером уже три часа. Чай допит, надо встать, приготовить новый. Он не был охотником, но хорошо понимал, чувствовал азарт охоты, погони, борьбы. Битый час искал прецедент. В предстоящем служении картина была ясна и очевидна. Кроме маленькой, не слишком значительной заковыки в левом верхнем углу картинке, запечатлевшей поле будущего служения. Не знал, не был уверен, как с ней поступить. Вариантов немало, по меньшей мере, три или четыре. Мелькнуло: «Тот, кто стремится увидеть четыре вещи, – лучше бы ему вовсе не рождался: что сверху, что внизу, что внутри, и что позади» (Мишна, Хагига 2:1). Четыре, впрочем, и три – древнее обозначение целостности, полноты. Значит, его трех-, четырехвариантная заковыка и есть это все. Потому – нельзя не заметить. Потому – разобраться. Потому который час пытается выловить, как в таких случаях до него поступали.

Чем дольше глядел на экран, тем он казался светлее, изображения четче, контрастней. Подумал: глаза устали, надо отвлечься. Не вставая, взглянул в окно и понял причину: почернело, тучи сгустились, вот-вот хлынет, прорвется, взорвется.

Прошло минут десять, и он, наконец, наткнулся. Случай был старый, неудивительно, что о нем не помнил никто. Из времен давних, еще предшественника Первосвященника, потому даже тот о нем помнить не мог. Все точь-в-точь, как сейчас. Решение, четкое, элегантно, найдено не на компьютере – они едва появились, а во время служения. Он тоже о нем подумал. Но среди его вариантов это было последним.

Подумал: Господи, а если бы мне подвернулось такое во время? Настроение тотчас испортилось. Казалось бы, проблема-то решена.

Встал. За окном бушевало. Сверкнуло и громыхнуло.

Как и тогда, случай был безнадежный. Восемнадцатилетний, изможденный, с одутловатым, отечным лицом мальчишка как две капли воды похож на того. Молчал, отвечал односложно, всем видом своим говорил: оставьте в покое, я знаю, все бесполезно, дайте мне умереть. Как и с тем, рядом днем и ночью мучилась мать, надежду давно потерявшая, пытавшаяся ее сыграть, чтоб хоть так поддержать.

Входя, заставлял себя смотреть на нее, хотя было трудно, невыносимо. Почему-то смотреть на мальчишку было ему не мучительно. Может быть, потому, что знал: для него он делает все, что знает и что умеет. А для нее? Для нее он мог сделать только одно. Сумеет? Этого он не знал. Кто послал ему эту жертву? Бог или дьявол? Неважно. Кто б ни послал, он выдержит.

С каждым днем, а в последние дни с каждым часом шансы спасти становились все меньше. Даже если кто-то смертью своей его смерть и отсрочит, то совсем ненадолго. Не выдержит, умрет на столе, но, даже выжив, вряд ли сумеет протянуть и неделю: организм давно износился, не вынесет диких нагрузок.

В той лотерее, которую жизнью назвал записной оптимист, папану выпал скверный, не заслуженный жребий. Но если тому жребий выпал, то свой он вытащил сам. Если кто-то подарит мальчишке на малый грошик надежду, то убивать его будет он, хотя совсем не обязан. Ведь он здесь не один.

С этими словами, помимо воли дразнящими, натягивая, словно резиновые перчатки, на губы улыбку, он, войдя в комнату, стойку с капельницей отодвинул и, поздоровавшись, придвинул к кровати стул.

Мать встрепенулась и тут же осела, как вскипевшее молоко. Мальчишка отреагировал слабо. Открыл глаза, и за это спасибо. Бабушка говорила:

– На все скажи: слава Богу.

Сама она это делала часто, иногда и не к месту. Верила, не верила, но так говорила. Он не верил, не говорил.

– Все еще впереди, – ему показалось, что его голос доносится из далеких детских снегов. Но это была не она. Почему же она говорит не своим, не своим – его голосом? Он обращался к обоим, и к сыну, и к матери, вполне сознавая, что ни он, ни она больше не верят, все отчетливо сознавая.

Посмотрел листок, на котором отмечены показатели угасающей жизни и – рекомендации по ее поддержанию. Посмотрел для проформы: все это знал. Послушал, глянул на монитор, фиксирующий умирание.

Умиравший был в возрасте его сына. Но этого он бы узнал из тысячи, а своего, пожалуй, что нет. Где там «пожалуй», конечно же, нет. С тех пор прошло, пронеслось, минуло двенадцать лет, целая вечность. Тогда и этот был обычным здоровым ребенком, бегал, прыгал, скакал.

Он сделал то, что делать было нельзя: отвлекся, забылся, ушел. Надо встать, что-то сказать, идти заниматься делами, которые никто не сделает за него. Всем достаточно своих дел и забот, больших неприятностей и маленьких радостей. Не придумав, что бы такое сказать, выдал то, что говорят все и всегда:

– Выздоровлявай, – это мальчишке, – всего доброго, – это мамаше.

Услышав осточертевшую фразу, мальчишка устало закрыл глаза, к себе возвращаясь. Мать встала и проводила его до двери, ожидая, что он ее позовет и в коридоре скажет ей то, чего не хотел бы, чтоб услышал больной. Провожала всегда. Поначалу жила надеждой, заглядывала в глаза, ожидая услышать, что эту надежду поддержит. Потом, провожая, вздыхала, изредка приговаривая:

– Если Богу будет угодно.

С тех пор как неделю назад появились явные ухудшения, она провожала молча. Надежда угасла. Последний раз, когда было что ей сказать, был давно, а теперь с каждым днем все медленно, но очень уж верно шло к тому, что предотвратить он не мог. Знала, но, цепляясь за призрач-

ную надежду, схватила его за рукав, услышав, что он надеется, понимаете, если... И дальше пошло столько «если», что она сразу же нить потеряла.

День прошел незаметно, в мелких заботах, небольших неприятностях: бестолковые сестры, опаздывающие студенты, мешающее работать начальство, бесконечные посетители, путающиеся под ногами. В одном конце коридора собрался *миньян* (десять человек, минимально необходимое число молящихся для общей молитвы, *иврит*) у окна, по их мнению, смотревшего в сторону Иерусалима (на самом деле – в обратную сторону, на запад, в сторону моря). В другом конце коридора, подстелив разноцветные коврики, совершали намаз: Аллах велик, милостив, вездесущ. Может, они молятся в сторону Мекки? Спросить? Но как у молящихся спросишь?

Когда уходил, стемнело. Шел по коридору, и какой-то больной сказал посетителю тихо:

– Главный жрец.

В машине, забыв включить радио, он провалился в прошлое, в годы, когда, глядя в небо, дождь ожидая – сочетание его усталые мозги зацепило – он предвкушал, как сегодня-завтра Первосвященник на рюмочку пригласит. Тот недавно вернулся из Франции, в Ницце была конференция, где выступал с докладом, вернулся не с пустыми руками.

Раньше он коньяк не любил.

– Потому не любили, что настоящего и не пили.

– Именно так, – улыбнулся, вспомнив, чего в юности только не пил.

Усмехнувшись, Первосвященник заметил:

– По этому поводу можно бы и вторую?

– Так, именно так!

Потом, конечно, найдется повод для третьей, последней.

Но теперь Главным жрецом, Понтификом, Первосвященником был уже он, и самым заветным желанием было в сезон дождей позвать начинающего, может, даже мальчишку-студента. Сын должен был, школу закончив, в этом году поступать. Вот, он в стайке студентов приходит, и он, знакомясь, натывается на фамилию.

Господи, до чего это глупо. Первогодки к нему не приходят. К нему приходят пусть еще не жрецы – подмастерья. То, что сын мог от матери унаследовать патологическое равнодушие, ко всему и вся безразличие, в голову не приходило. Не могло этого быть, потому что быть не могло.

В холодильнике было пусто. Позвонил в ресторан и после душа с полотенцем на бедрах открыл дверь мальчишке: возраст сына и того, которого уже не спасти. Сунув на чай, проводил внимательным взглядом и, разрывая фольгу – все горячее, ресторан был в соседнем доме – жадно накинулся на еду, вспомнив, что в последний раз ел еще утром. Походив-побродив минут десять, положив на столик рядом с постелью свой телефон, свалился, мгновенно уснув.

В мертвой ночной тишине, в черной беззвучности часы мерно отхлестывали время. Во сне, преобразуя реальность, хлыст поднимался, взвиваясь, свистел, а, опускаясь, жалом вонзаясь, визжал. Спящий не видел, в чьей руке хлыст, видел лишь руку. Не видел, куда вонзается жало: в чью-то кожу, шкуру животного или же в землю? Не видел, но по привычке додумать, представить, вообразить, нестремимую даже во сне, ему представилась тощая лошадь, морда дрожит, из-под лба вытекают глаза. Он пытается схватить руку, взметнувшую хлыст, он пытается подхватить в ладони глаза, левой – глаз правый, а правой – левый. Руки не слушаются, а хлыст продолжает взвиваться, свистеть и, опускаясь на лошадиную морду, жалом вонзаясь, визжать.

Мука длится и длится, настойчиво, бессмысленно, бесконечно. Пытаясь проснуться, сбрасывает одеяло, но холод ему нипочем. Не проснувшись, он сумел прогнать сон, а может, тот, кто сны насылает, над ним сжался, отступился, дал забыться и отдохнуть.

В середине ночи раздался звонок. Вскочил: судьба давала мальчишке последний мизерный шанс.

Быстро приехал. Улицы были пусты. Почти бегом он пересек стоянку, но перед входом по давней привычке, освобождаясь от всего, что служению могло помешать, пошел медленно, со стороны казалась: степенно.

Пересек лобби. Тихо, пустынно, беззвучно. Пронеслось столько раз повторенное, что казалось, не заглядывая в будущее, а вспоминал. В конце огромного лобби журчал настенный фонтан, только ночью и слышный. Мимо фонтана свернуть, направо, сразу же к лифтам. Но не послушались ноги, и завернул налево.

В синагоге пусто, темно и прохладно. Впереди, где свитки хранились, горела лампада: малый и желтый, не освещающий ничего пучок тусклого света.

Молиться он не умел. Стоял минуту, другую, глядя на осколочек света, теплящуюся надежду. Надо что-то сказать, не вслух, про себя. Слов не было, нужных, ненужных, подходящих к слу-

чаю или нет. Не было. Все, на всех языках слова из мира исчезли. Или ночью, когда все спят, и слова засыпают?

Дуло. То ли окно было неплотно прикрыто, то ли ветер поднялся – там, в другой темноте, не этой с крошечным светом, но полной, крошечной. Подуло, и скрипнула дверь. Ветер. Некому больше.

– Верьте себе, себе – не другому, тогда и получится. А в том, что мальчишка умер, нет вашей вины, не только вашей, ничьей. – Первосвященник, Понтифик. Тогда в первый раз в жизни (он же последний), откупорив бутылку, Главный налил ему полный стакан у себя в кабинете. Видно, для таких случаев и держал.

Поднял стакан, на свету задрожавший янтарным внутренним светом. Подумал: стакан коньяка, в первый раз в жизни, как воду, как чай. О чем тогда думал? И через годы было стыдно признаться. Не о мальчишке, того не вернешь, тем более, знал: сделал, что мог. Такими словами Первосвященник разбрасываться не привык, тем более ночью приехав, рядом стоял, оглянулся, попросил намордник поправить, он, Главный жрец, и поправил.

Тогда он был с ним. Увидев Главного рядом, воспрянул. До этого шло, говоря мягко, не очень. А тут вдруг воспрянул. Мелькнула надежда, малый желтоватый комочек, надежда. Сделал все, что он смог. Главный был рядом, но ни слова ему не сказал.

Выпив янтарный стакан, сказал, что уходит, больше не может, не в состоянии видеть, как умирают мальчишки.

Заканчивали. Запивали. Внезапно давление рухнуло. Делали все, скрипели зубами. Но мальчишка ушел. Подручные тени метнулись: не к мальчишке – к нему. Метнулись темно-зеленые, а рядом выросли черные, на лету, обуглившись, почернев.

Вышел один, за спиной – лампы погасли – черноту, тьму, мрак оставляя. За ним – две белоснежные, словно два ангела, павшие с безгрешного неба на грешную землю. Нашатырь, сердечное, все такое. Даже слова сказать не успел. Все поняла и беззвучно осела. Стояла, к стене прильнув. Скатила. Как дети по горке.

Тогда он сбежал, все записал, оформил и убежал. Вечером, когда он не знал, куда себя деть, позвонил Первосвященник. Не поздоровавшись, сказал, что уходит.

В ответ:

– Ни у вас, ни у меня на глупости, равно как на разговоры пустые времени нет. У меня к тому же нет и желания. Хотите отпуск? Пожалуйста. У вас за несколько лет накопилось. С одним лишь условием. Первый же случай – ваш.

– Мне не в очередь.

– Очереди временно отменяются. Первое служение – ваше. А потом – отдохайте, гуляйте, мемуары пишите. Если в Европу, советую путешествовать не по суше – по рекам, на суше всяко может увидеть: и облезшую краску, и нынешних хозяев Европы, как из пены морской Афродита, выплеснутых из скажин. Плавьте по рекам, глядя не вверх, но в воду: дома, замки, изнанки мостов, шпиль костелов и синее небо, солнце, звезды, луна в светло-зеленой рассветной воде, темно-зеленой закатной.

Повисла пауза. Он ждал ответа? Но что он мог на это сказать? Хорошо? Слушаюсь, повинуюсь?

– Вне очереди. Следующий – ваш.

Похоже, Первосвященник, как это нередко бывало, уцепился за слово и не мог его выпустить. А может, слово вцепилось в него? В любом случае он, прощаясь, словно забыв, что принято говорить, пробурчал:

– Вне очереди.

Оформили отпуск. Выпустить пар, отдышаться. Пустился в бега. Первосвященник знал: вернется. Вернувшись, из аэропорта позвонил. Был уже дома. Разливая по рюмкам коньяк:

– Жду вас завтра с утра. В восемь. Пока соберутся, надо бы посоветоваться.

В синагоге он не молился. Он вспоминал. Его воспоминание было услышано.

Подручные темно-зеленые тени несуетно раскладывали в заданном традицией и жреческой волей порядке блестящее.

Ждали жреца.

15. В Дельфах

Первосвященник терпеть не мог экивоков, намеков и эвфемизмов. Когда в разговоре с ним начинали ходить вокруг да около и юлить, морщился: от стыда за то, что собеседник творил с Божьим даром – человеческой речью.

– Простейшей сигнальной системой и животные обладают, потому любое надругательство над языком должно преследовать по закону. Карать строго, чтоб другим неповадно.

Услышав сентенцию, одни пожимали плечами: Первосвященнику и не такое можно простить. Другие в сторонке, подальше от глаз ввинчивали палец в висок. Большинство и вовсе не замечало, дел у всех много, не до старческих странностей.

Несмотря на то что виски предпочитал коньяк, Первосвященник был джентльменом. Это не слишком соответствовало нравам знойным, размашистым, беспокойным. Джентльменством выделялся из окружающей среды, как цветок, выросший, занесенный неведь откуда в вечную мерзлоту. Привычные к иной флоре олени смотрят, дивятся, попробовать не решаясь. Так окружающие глядели на герра Ольсвангера, одни восхищаясь, другие считая поведение это снобистским.

Порой он ловил себя на том, что смотрит на Первосвященника, а видит себя, постаревшего, поскучневшего, готовящегося подводить итоги. Это иногда забавляло, и он пытался проложить мостик между собой сегодняшним и тем, состарившимся. Игра была непростой, поди угадай, что случится там, по дороге от станции промежуточной до конечной. Но со временем это зеркало начало его раздражать. Шагреневая кожа, какой бы ни была эластичной и бесконечной, должна изнашиваться.

Что не устраивало? Одиночество? Его не боялся, к одиночеству он привык. Нemoщь? Но такой трезвой, рабочей старости, как у шефа, можно желать любому. Тогда? Он страшился старости вообще. Не смерти – о ней не думал, не болезней – к ним относился рационально: не смертельную – вылечат, а чему быть, того не миновать. В этом зеркале его не устраивало... само зеркало.

В какой-то момент Первосвященник почувствовал, что он визитами к нему тяготится, и, несмотря на то, что сезон дождей был в самом разгаре, приглашения сами собой затухли, становясь реже и реже. Но дожди прекратились, и лето прошло, неприятное ощущение стерлось, и визиты последовали с большей, чем раньше, все нарастающей частотой. Он привык к зеркалу, успокоился, он смирился.

Просыпаясь ночью, не зажигая свет, он мерил шагами комнату от стены до вспухающей за окном темноты. Окно выходило в парк, и там фонари после полуночи не горели. Шаги то замедлял, то ускорял, стараясь попасть в ритм, который успокоит и позволит уснуть. Ночь была редко милостива к нему, чаще он ходил до рассвета, ходил и ложился, вставал и ходил, стараясь не думать о сыне, что удавалось нечасто, почти никогда. Представлял его выросшим, изменившимся, но бесконечно родным. В сыне он видел себя ребенком, юношей, и эти видения вселяли надежду, уверенность, что тот подрастет и найдет его. Эти видения вытесняли видения старости, никчемности, дряхлости, хотя его зеркало, Первосвященник не производил впечатления старика.

Понимал, от ночных изнуряющих душу шаганий, метаний между стеной и чернотой есть простое решение. Снотворное, даже самое слабое. Но, не отдавая отчета, зачем, отчего, почему, решил снотворное не принимать. Однажды купил, а, поразмыслив, выбросил. Справится. А сына искать не будет. Тот вырастет и отыщет.

С этой мыслью он засыпал, и через какое-то время ночное шагание прекратилось. Но бывало, среди ночи проснется и представляет его-себя, хотя что-то подсказывало: тот не такой, каким он его помнит, тот вырос. Спасительное отождествляющее видение себя, то играющего во дворе, то шагающего с дедом, приходило на помощь. И вдогонку видениям он повторял свою мантру: «вырастет и отыщет».

– Большинство людей, да что говорить, почти все, исключение – редкость, неспособны отделить, отрезать профессиональное от остального. Посмотрите, как чиновник разговаривает с дамой красивой и яркой и с дамой не слишком. Он ничего не имеет в виду, просто так получается.

– Может, и вовсе не стоит требовать от людей невозможного? Сотворенный единым и цельным, человек не может искусственно разделиться.

– Не амеба, делиться не нужно. Следите за терминами: не делиться, но одно от другого, прислушайтесь, отделить и отрезать. Во-первых. А во-вторых, отделение каждый уважающий себя человек должен сделать обязательным, нормой!

Первосвященник еще много чего говорил, а в его ушах звучало: от-де-ле-ни-е, от которого оторвалось последнее «е», оторвалось и колесом по горной тропе покатило, прыгая по камням, грохоча, но, в отличие от знаменитого пятака, не звеня – громыхая.

Скитаясь по Греции, он примкнул к двум парням. А может, они примкнули к нему? Один высокий, худой, горбоносый – тот, что постарше, южных испано-португальских корней, главной обязанностью которого было планирование маршрута. Другой, моложе, плотнее и ниже, с носом прямым, корней северных, скандинавских, главной обязанностью которого был учет дней: в отли-

чие от вечных скитальцев, быстро теряющих представление о календаре, им, скитальцам временным и сезонным, надо было возвращаться. Программисты, работают в Лондоне, снимают квартиру (ползарплаты, однако). Общее motto: работа для денег, скитания для души. У него все было иначе.

Встретились в ресторанчике. Он читал путеводитель.

Парнас (греч. Πάρνασος) – священная гора в Греции, связанная с мифическими сказаниями и известная местонахождением дельфийского оракула. Гора Парнас считалась средоточием земли, подобно тому как Дельфы признавались центром религиозным. Высшая точка – Дельфийский Парнас, с двумя вершинами, вследствие чего называется двухвершинным. Парнас покрыт лесом, вершины – снегом. При Дельфийском храме было много ущелий, обрывов; здесь же – Кастальский источник, посвященный Аполлону и музам, вследствие чего и сам Парнас считался местопребыванием муз.

У него с ними общий маршрут: на Парнас. Причина достаточная не только лишь для знакомства. У скитающихся взаимопонимание достигается сразу, почти мгновенно. Вместе идти веселей, надежней, дешевле, общий маршрут – общность подчиненных ему интересов. То, на что в не-скитальческой жизни уходят месяцы или годы, у подножья Парнаса заняло пару глотков светлого пива, к которому по совету Южного они заказали из рыбьего изобилия сперва запеченную, а потом и соленую.

Остальную кружку они обсуждали знаменитую дельфийскую букву «Е», встречавшую в храм входящих. Поначалу она была деревянной, медной, императрица Ливия подарила «Е» золотое. Северный:

– Плутарх написал по этому поводу целый трактат «О надписи "Е" в Дельфах»,

Многознающий Южный пересказал Плутарховы версии. По одной из них «Е» обозначало число «5». Тем самым мудрецы будто сказали: «Нас всего пять». По другой – буква обозначала вопросительную частицу, смысл которой был в том, что к Аполлону обращают вопросы. Еще одна, теологическая версия заключалась в том, что «Е» означает второе лицо одного из глаголов, из чего следовало, что бог всякого входящего в храм встречает словами: «Познай себя», на что ему следует отвечать: «Ты есть», утверждая истинное и чистое бытие.

Южный разгадывал тайну, а он отключился, вспомнив беседы с одним пациентом.

Тот был раввином, но, в отличие от стереотипа: борода, переходящая в огромный живот, лицо – едва видная за густыми кустами лужайка, он был узок, коротко подстрижены волосы, борода, улыбающийся и веселый. Первым делом рассказал (как раз в эту неделю читали соответствующий отрывок из Торы) о вопросе Моше, обращенном к Всевышнему: о Его имени. Господь отвечает, и этот вопрос-ответ обсуждают раввины, да и священники последние пару тысячелетий.

– Так вот, значение вопроса-ответа следует толковать: Я есть, или точнее: Я буду Тем, Кем Я буду, одним словом, имя Господне указывает на (и он произнес то, что спустя много лет за кружкой светлого пива у подножья Парнаса сказал собеседникам Южный) истинное и чистое бытие.

Потом заговорили о чувстве вины, и он вспомнил о человеке, мелькнувшем перед ним на минутку, поразившем гипертрофированным чувством вины. Тогда он раввину сказал:

– Мне кажется, он свою вину преувеличивает.

Ответ поразил:

– Преувеличить собственную вину невозможно.

И еще таинственная Е напомнила ему анекдот, рассказанный узким веселым раввином.

– Так вот, – с этого начинался его любой рассказ, – приезжает в одну общину, скажем, в Южной Америке новый раввин. Суббота. Выносят Тору, с которой обходят молящихся. Вдруг несущий припадает на левую ногу, будто бы приседает. После молитвы бросился раввин к книгам, пытаясь узнать, откуда этот обычай, каков его смысл. Ничего не находит. Пишет письма друзьям. Никто не знает, о таком слышат впервые. Спросить у местных стесняется, скажут, что неучен. Проходит месяц-другой. Каждую субботу кульбит повторяется. Наконец не выдержал и спросил. Один не знает, другой. Все говорят, что так делали раньше, а мы лишь повторяем. Приводят дряхлого старика, из основателей, помнит, как строили синагогу. Оказалось, на том месте, где совершают кульбит, в давние времена была ямка. Когда строительство завершили, яму заделали, а память сохранилась в кульбите.

Допив, пошли спать, завтра утром подъем. Но ночью пошел сильный дождь, и восхождение пришлось отложить. Оставалось лишь ждать. За дни ожидания светлое пиво осточертело. Но всему – проливные дожди не исключение – приходит конец.

И вот он стоит на вершине, взглядом в новое пространство вживаясь, насыщая душу простором, а под ним мыслью мечтательной и бесплодной, во времени неподвижная, земля древней мудрости воровато растекалась в пространстве.

Добираясь, они, трое с детства неразлучных друзей, торопились: еще в юности решили здесь побывать, но мешали дела, дети, заботы. Юность минула, хорошо, что встретились, и вот перед ними то, о чем мечталось долгими беотийскими вечерами. Чья это была идея, уже и не вспомнить.

Лысый (прежняя кличка – Кудрявый) сказал, что в Дельфах в Аполлоновом храме новый жрец, беотиец.

Толстый сказал:

– Да ну!

Малый подал идею, словно словил брошенный мячик:

– Вот и повод, друзья!

И мяч, как это водилось у них, тотчас пошел по кругу.

– А ведь прав Малый, прав, повод прекрасный! – это Лысый.

– Дорога неблизкая, – Толстый скептик играл привычную роль: стоял у бочки с приготовленной ложкой. Бочка с медом, а ложка дегтя, если кто-то не понял.

– Правда, дорога неблизкая. Вот и славно, наговоримся, распробуем вин по дороге, а то беотийские мне уже надоели. – Малый среди них почитался вина знатоком.

– Закругляйте дела, отправимся через неделю, я позабочусь, чтобы боги были к нам благосклонны. – Лысый считался знатоком предвестий, знаков судьбы, предсказаний.

– Нет, как хотите, через неделю я не управлюсь. На кого я лавки оставляю, надо брата позвать, пусть на рынке покрутится, не все ему дома сидеть, книги читать, барышни от наследства пускают на ветер.

Получив в наследство лавчонку, братья решили ее не делить. Прошло несколько лет, и Толстый решил, что если брат в лавке появляться не будет, дела пойдут лучше. Брат с удовольствием стал заниматься излюбленным делом: читать и писать, а Толстый повел дела так, что через несколько лет к отцовской лавчонке еще несколько прикупил, честно делясь барышами и тайно ученым братом гордясь.

Не через неделю, конечно, но через месяц они отправились в Дельфы. Ехали долго, обсуждая, что скажет им в Храме жрец-беотиец, сея речи, споры жаркие пожиная.

И вот, не спеша, удовольствие продлевая, как в детстве, оставляя самое вкусное на потом, они идут к Храму, и там их встречает жрец-беотиец. Снуют по Храму жрецы, молчаливо, друг с другом жестами сообщаясь, неторопливо, с виду совсем бесцельно и бестолково. Заметив их взгляды, жрец коротко, словно нехотя, рукой показал:

– Наши жрецы молчаливы. Привыкли иметь дело с богами, а не с людьми.

Их ведут вдоль бронзовых статуй, и – поразительно – обычно патина схожа с грязным налетом, похожа на ржавчину, а дельфская – словно лазурь.

– Верно, у медников в старину был особый состав. Может, случай им даровал, подобно тому, как коринфская бронза рождением обязана стorerвшему дому. Золото, серебро с медью сплавилась и смешались, – это всезнающий Лысый.

– Я слышал, будто медник коринфский нашел полный золота ящик, и, боясь, как бы находка его не открылась, кусочками стал отрубать и подмешивать к бронзе. Вот так дивный сплав получился. – Толстый любил объяснения, приносящие, пусть не ему, хоть герою рассказа, ощутимую пользу.

Они бродили по Храму, жрец рассказывал подробно и по порядку, так что через пару часов они подустали и решили присесть увиденное обсудить. Жрец был не против и повел их к воде, где, удобно устроившись, они повели разговор – этого жрец ожидал, так все поступали – о том, что они увидеть не смогут, несмотря на пожертвование, которое сделали Храму.

– Когда-то, я слышал, Пифия вещала стихами, не так ли? – Малый обратился к жрецу.

– Да, так говорят.

– А почему сегодня она замолчала? То есть, не замолчала, конечно, но пророчествует не стихами? – Лысый задал вопрос, на который, он думал, прямого ответа он не получит. Каверзные вопросы с детства были его коньком, за что не раз был друзьями бит.

Жрец начал было ответ, но Толстый оказался проворней:

– Дело в том, что и в древние времена стихотворный размер был не от бога. Разве бог говорит? Прозой, стихами, дело не в этом. Бог у Пифии рождает фантазии, возжигает в душе свет прозрения, дарует ей вдохновение, а жрица слагает стихи, или как-то иначе Аполлона волю она исполняет... – Толстый сбился, но, увидев, что жрец благосклонно кивнул, ответил благодарной улыбкой, решив непременно до единого слова сказанное запомнить, чтобы, вернувшись, в точности пересказать это брату.

– А я вот слышал, не помню уж от кого, что жречество – дело опасное, и... – Малый на мгновение смутился, все-таки среди них сидел жрец, но тот жестом его подбодрил, и он продол-

жал. – Сказывают, есть святилище Геракла Женоненавистника, жрец не должен иметь дела с женщиной, поэтому обычно в жрецы берут стариков. Как-то юноша жречество принял. Сначала он был воздержан, но однажды, когда отдыхал после пира, пришла к нему девушка. Испуганный и смущенный, юноша-жрец оракула спросил, будет ему за этот грех искупление или прощение. И получил ответ: «Бог все необходимое дозволяет».

Жрец впервые за время беседы заговорил:

– Назначение Пифии Аполлона – услышать, а не с людьми говорить. Бог пользуется пифией, чтоб его слышали, она должна быть неопытной и несведущей, душою живя с самим богом, который, по выражению Гераклита, «не вещает, не скрывает, но знаменует». Знамения дает бог во всем. Крик птицы – и это знамение. Разве птиц бог наградил даром речи? Так что ж мы желаем от пифии? Чтоб она говорила поэзией? Величаво? С метафорами? Под звуки греческой флейты?

16. Сын еврея

Флейта звучала пронзительно, снежно, мятежно. Под эти звуки он спал беспокойно, настороженно, чутко, готовый в любой миг проснуться, вскочить, изгоняя дурман, побежать и, остатки сна дожевывая, повернуть ключ зажигания. Знал, минута-другая вряд ли могут что-нибудь изменить. Но – привык, а привычка ведь не жена: с той развелся – забыл, с привычкой не разведешься.

Нередко вслед за стремительным пробуждением вдогонку сон посылал ему крохи, обрывки, остатки видений, которые не успел досмотреть, пережить, перечувствовать. От дома к шоссе переулками пробираясь, услышал, как капли стучат по стеклу, редко, легко, неуверенно, затем, набирая силу, тарабанят сильнее, превращаясь в льдинки, звонкие, хрустальные, новогодние, содвинем их разом, и дальше про музы, и дальше про разум.

И под звон новогодний, хрустальный, смолистый незнамо откуда выползают слова – уродцы хромые, горбатые и убогие. Откуда? Чьи уста изрекли, извлекли, наполнили звуками, словно бокал – гнусью слонявого рта? И вот эти уродцы, за руки взявшись – по одиночке им запахло пропадать – ведут хоровод, втягивая в него, как в воронку, иные, иных, случайно случившихся по пути. Шепелявя, цокая и картавя, прыгают, головами качают, машут руками.

Пытается от них отмахнуться – они вокруг него хороводную удавку затягивают, норовя окружить. Затянули:

**Жил на свете жрец печальный,
Жил-служил и жил-тужил,
Но однажды он случайно
Буйну голову сложил.**

Что-то у них не заладилось, сменили пластинку. Вперили zenки, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, а главный бабачит и тычет. Мычат, ржут и визжат:

**Жил-служил на свете жрец, жрец – не жнец, не игрец,
Будет и тебе п...дец, глупый черный жрец.**

Глупая песенка заглушает птенцом бьющийся о стекло дождь. Но хрустальный звон капель пересиливает ее, она скукоживается, исчезает.

Среди сонма дудящих, орущих уродов забивается в угол слово живое. Молчаливое, неприемное, Гарпократ, греческий бог молчания, тихий мальчонка. Нежно-белый, молочный, фарфоровый мальчик с пальцем у рта, в короне сидит на бутоне лотоса, унаследованного от прародителя-египтянина Гора.

Вскоре после своего знакомства с Луцием Местрием Флором во время праздника в честь Сатурна Плутарх был приглашен на обед. День был прохладный, сильный ветер и дождь, переходящий в снег, но на улицах было много народа, со всех сторон раздавалось Jo Saturnalia. Договорились встретиться на улице Аргилет, получившей название от некогда находившихся здесь неподалеку глиняных карьеров: «глина» на латыни – argilla. Хотя эта улица и была одной из оживленнейших в Риме, с бойкой торговлей и толчеей, застроенной домами из тибурского камня – известкового туфа, и потому не слишком годилась как место встреч, но было у нее и одно несомненное преимущество, тем более важное, что его римский друг пунктуальностью не отличался.

Тут были книжные лавки, дверные косяки которых увешаны объявлениями о новинках, так что, ожидая, Плутарх времени не терял. К тому же, отсюда было рукой подать и до форума, где перед храмом Сатурна должно жертвоприношениями начаться народное празднество. Луций Местрий Флор, опоздавший на встречу, извинился и объяснил: замешкались с домашним жертво-

приношением – свинья, которую назначили в жертву, вдруг, сбросив веревки, убежала, и ее долго ловили.

По дороге он рассказал о хозяине, к которому они направлялись. Не так давно тот был назначен на важный пост префекта Претория, которого все опасались.

– Не один император был префектами Претория убит, не один был ими поставлен. – Собирая эту всем известную римскую тайну, тот склонился к самому уху и, обжигая дыханием, таинственно зашептал.

В ответ молча кивнул: понимаю. Тот обижался, когда его прерывали.

– Это человек совсем не простой! Хотя старается им казаться. Был прокуратором Иудей, префектом Египта. Представляете? Нет, вы и представить не можете, что это значит. Неделю префектом Египта, и вы, ваши дети и внуки обеспечены до скончания века! И перепало это тому, у кого не слишком хорошая родословная. Сын богача? Ну и что? Сидел бы с отцовским богатством, а не, еврейчику этому все подай и положь. Говорят, правда, что он племянник философа. Как его там? Филон, кажется, ну, это неважно. Философ из Александрии? Ха-ха, ну, какие же там философы? Даже в Греции их не осталось. Все философы живут нынче в Риме! – Луций Местрий Флор горделиво воздел подбородок, будто был одним из римских всемирно известных философов.

– И что, в столь тревожные времена не знал он несчастий? – Пользуясь передышкой, вызванной самолюбованием собеседника, он втиснул вопрос, который никак не удавалось задать.

– О нет, милый друг, нет, конечно же, нет. Ему довелось пережить... Не скрою, наш друг – уверен, вы непременно подружитесь, он любит умных, много выдавших людей – при Калигуле в тюрьме побывал, но тот вовремя умер, и император Клавдий его выпустил и на службу вернул. Не просто на службу! Назначил сына еврея, который быть евреем не захотел, прокуратором Иудей. Это Тиберий! Нерон его назначил префектом Египта, командующим двух легионов. – Он снова остановился, передохнуть.

– Евреям Египта и Иудей неслыханно повезло.

– Ха-ха-ха, как бы не так! Плохо вы знаете бывших евреев!

– Я их вовсе не знаю.

– Потому и сказали. В Александрии евреи жили с тех пор, как Александр Македонский в благодарность за помощь разрешил им поселиться в этом прекрасном городе. Все было бы хорошо, только очень они с греками не дружили. Однажды в амфитеатр, где собрались греки, готовившиеся отправиться в посольство к Нерону, прибыли и евреи. Греки убили их. Евреи – им мстить. С факелами бросились к амфитеатру, грозя греков, все это сборище сжечь. Вот тогда бывший еврей послал солдат тех защищать, и, хоть евреи долго сопротивлялись, наш друг Тиберий Александр опустошил еврейский квартал, перебив около пятидесяти тысяч бывших братьев своих. Вот! А вы говорите, что тем повезло.

– Он что, порвав с верой отцов, принял римские верования?

– Принял, не принял – не знаю. Но статую богине Изиде в Александрии воздвиг. Но дело не в этом.

– А в чем?

– В том, что поставил на нужную лошадь.

– Он что, полюбил лошадей?

– Каких лошадей? Впрочем, не знаю. Это неважно. Он любил и до смерти своей будет возлюбленным власти. А лошадь? Лошадь, на которую хитрый еврей поставил, зовут Веспасиан. – Снова к уху его наклонился и зашептал, горячим дыханием обдавая. – Именно он первым признал того императором, и его легионы принесли присягу на верность. За это Веспасиан назначил его сопровождать сына Тита во время войны с евреями, и он был начальником Титова войска, осаждавшего Иерусалим. Когда они с Титом вернулись в Рим, Веспасиан назначил его praefectus praetorio, командиром преторианской гвардии. Теперь вы поняли, у кого мы будем обедать? Уф, вот и пришли.

Когда шли, оглябая форум, и мимо них проходили безбородые юноши, его римский друг непременно оглядывался, рассказ прерывая, а разок, засмотревшись, заговорил юноше вслед стихами Горация (кн. 4, ода 10, пер. Г.Ф.Церетели):

**Неприступный пока, мой Лигурин, щедро Венерою
Одаренный, когда первый пушок спесь пособьет твою,
И обрежут руно пышных кудрей, что по плечам бегут,
И ланиты, чей цвет розы нежней, грубой покроются**

**Бородою, тогда ты, Лигурин, в зеркало глянувши,
И не раз и не два скажешь с тоской, видя, что стал другим:
«Ах, зачем не имел, отроком быв, чувств я теперешних?
Не вернется, увя, свежесть ланит следом за чувствами!»**

Пока гости еще собирались, веселый хозяин, предвзято удивленный, рассказал об обычае, ведущем начало со времен незапамятных. В этот день рабы освобождались от обычных работ, одевались в господские одежды, им разрешалось есть за общим столом.

– Так что, мой друг, не дивитесь, увидев сегодня за общим столом раба. Кроме того, в знак того, что в честь бога Сатурна рабы в этот день свободны, в середине обеда все вольные люди (надеюсь, и вы не откажетесь) встанут и будут прислуживать рабам одну перемену блюд.

– Непременно. Спасибо, что предупредили. Особая, мой друг, благодарность за чудесный рассказ.

Плутарх шел, вспоминая давний тот разговор о горах, на которых боги разных народов живут, о том странном народе, чей бог почему-то живет не на самой высокой горе. Как же они не понимают, что, строя храм не на самой высокой горе, своего бога этим они унижают? Действительно, странный народ. Иное дело римляне, и особенно мы, греки. К примеру, Олимп. В принопамятные времена свергли титанов. Зевс Крона и Рею с Олимпа изгнал. В древние времена ворота Олимпа охраняли богини времени оры. Ни зверь, ни человек не могли туда забрести. Олимпийцы наслаждались амброзией, дающей бессмертие, песней и танцем харит, богинь вечной радости, на кифаре играл Аполлон, ему все девять муз подпевали. С Олимпа боги взирали на то, что творилось внизу, на земле, на муравьиной жизни ищущих пропитание, тоскующих, веселящихся и воюющих.

Но это – боги. А самое главное для людей – волю богов познать. Что может быть важнее для ищущих пропитание? Многие годы он прошлое познавал: изучал события и людей, точнее, людей, а через них – то, что случилось, выбирая таких, кто самой историей был отличен. Думал, прошлое способно научить человека, как жить. Ведь если не повторять прошлых ошибок, то их будет все меньше, пока зло человеческого бытия не исчезнет, не восторжествует добрая воля.

Все было правильно, все так и должно было быть. Только было иначе. Тогда-то он и решил, что пришло его время, оставив и город родной, и семью, идти на Парнас, в храм Аполлона, созданный богом на месте победы над змеем Пифоном.

После победы, собрав пепел дракона, поместив его в саркофаг (он вспомнил, как удивил одного не знавшего греческого римлянина, сообщив тому первоначальное значение слова: пожиратель мяса), установив траурные игры в честь Пифона, бог отправился искать для храма жрецов. В море увидел корабль. Обернувшись дельфином, силою чар привел корабль к берегу, где и открылся он морякам, ставших жрецами его первого храма.

Самый главный и знаменитый храм Аполлона был на Парнасе, в Дельфах, названных в честь дельфина, в которого Аполлон обратился. В этом храме, жрецом которого он вскоре станет, находится знаменитый оракул. Им ведала пифия. Аполлон, прибыв в Дельфы, убил охранявшего вход в прорицалище дракона Пифона. Знал храм счастливые времена, когда со всех концов света приходили услышать волю богов, принося богатые приношения. Но теперь его почитали не слишком, и шел Плутарх, поднимаясь на гору, надеясь, что поможет возродить славу былую.

Плутарх шел, вспоминая, как после многолетних странствий вернулся домой. И первое, что увидел, придя в Херонею, были мальчишки, играющие в игру с глиняными черепками. Две команды стояли друг против друга, разделенные чертой, проведенной на земле. Мальчишка подбрасывал черепок, одна сторона которого была окрашена белым, черным – другая. В зависимости от выпавшего цвета одна команда бросалась бежать, другая ее догоняла. Тогда он подумал: вот умрут эти дети, умрут и дети детей, и их внуки, но через тысячи лет – краска облезет – черепки сохранятся. Эта *острака* – материал воистину вечный. Потом узнал, что игра называется *остракинда*.

Играли с *остракой* и взрослые. Опасная, однако, игра: остракизм.

По решению граждан полиса один из них, хоть не преступивший закон, приговаривался к изгнанию. Собрание граждан, которое приговаривало к остракизму, *остракофория*, происходило один раз в год. Голосование происходило при помощи подручного материала – глиняных черепков, на которых процарапывался ответ: изгнать или нет. Обычно это были люди, неугодные гражданам своим возвышением, авторитетом, могуществом, знатностью, славой, влиянием и богатством. Изгонялись чаще всего на какой-то определенный, впрочем, немалый, срок. На десять лет чаще всего. Порочные и ничтожные остракизма могли не бояться. Он сам когда-то назвал остракизм «усмирением и обузданием гордыни и чрезмерного могущества» (Плутарх, Аристид, 7). Так демократия боролась с личностью, большинству неугодной.

Плутарх шел на Парнас, поднимаясь все выше.
В храме ждали жреца.

17. Скверные круги своя

Нет человека, который хотя бы однажды, случайно, на повороте на прошлое свое не натыкался. Не вспоминал прошлое – натыкался, словно проваливался сквозь время. Но есть и такие – их очень немного – которые на будущее натыкаются. Шел себе, шел и вдруг, внезапно, помимо воли свернул, и вот за углом, словно дом или дерево, пахнущее, зримое и звучащее – твое будущее. Иной не поймет. Мало ли, легкий звон, голова закружилась. На все обращать внимание? В самом-то деле. Печально: встретив, не узнают.

Еще предстояла борьба, не день и не два, но чувствовал: самое страшное позади, он победил, неведомой, чужой ему смертью смерть близкую и родную поправ.

За окном снова темно. Среди ночи приехал, среди ночи, ближе к утру уехал.

Шел к двери, за спиной шепотки. Знал наизусть, что там творится. Но – ошибался. Шептались о том, чего он не знал, чего знать он не мог, чьей смертью он смерть, близкую и родную, поправ. Позавчера другой такой же мальчишка пошел тяжести потаскать, побаловаться на тренажерах. Потерял сознание. «Скорая» – через пять минут.

Всем существом ощущая победу, он ехал, не торопясь по городу, ночному пустому.

Тогда, при Первосвященнике, он успел обмануться. Служение, тяжелое и радостное под конец, уже завершал. Мелькнула надежда – прогнал. Она возвратилась, точку света в душу вживая: где-то там, в бесконечности, где параллельные парадоксально сходились.

Отгонял – возвращалась. Он сердился – она ликовала. Он оценивал ситуацию – не давал ей черный безумный квадрат разомкнуть, обратить в цвет рассветного неба. Настойчиво билась, стучала, в дверь колотила. Сколько длилось, он не запомнил. Казалось, всю жизнь, ergo его персональную вечность. Время от времени бросал быстрый взгляд на мониторы. Привычка вредная, от которой не сумел себя отучить, ведь ему сообщали, ясно и коротко, что происходит, и нужды не было для, пусть мизерных, но все-таки трат времени, внимания, сил.

Запомнилось: словно в оцепенение впал. Голова, руки делали дело, но надежда была вульгарно настойчива, беспардонна: пьяная девка, приставшая в баре. Слов не слышала, не понимала. Ей было на слова наплевать, она их не знала, вычленять из фона, пьяного гула отнюдь не желая. Господи, привязалась. Тряхнул головой, освобождаясь от девки, надежды, от наваждения.

Темно-зеленая подручная тень метнулась поправить намордник, шапочку, вытереть пот. Рассердился, ведь все было в порядке. Знал: сердиться нельзя. Без подручных теней служение невозможно. Когда одна заболела или уходила в отпуск, он нервничал больше обычного. Впрочем, нервничал он всегда, но после первого взмаха напряжение не уходило – стихало. Как-то Первосвященнику рассказал. Тот усмехнулся:

– Слава Богу. Не нервничают одни только роботы. А во время работы – лишь те, которым нашенским ремеслом заниматься не следует.

Такие словечки в устах Главного были чем-то вроде восклицательного (или как тот любил говорить, восклицательного) знака: слушайте, внимайте, запоминайте.

Надежда, девка и Первосвященник непрошено вошли в его мысли. Потом прокручивал множество раз, себя обвиняя: соблазнился, отвлекся, увлекся. Это было не так. Как ни силился, убедить себя не сумел. Искал путь к отступлению, отречению. Не крик и не стон – хриплый, визжащий выдох. Подручная тень болотного цвета молчала, в монастырь молчальников записавшись.

В Латруне был монастырь, необычный – молчальников. Правда, мужской. Вот где спастись от крика, выращивать и топтать виноград, лелеять вино, нежить маслины. Молча, понимая друг друга лишь взглядом, в крайнем случае – жестом понимая друг друга. Без общения, пусть и немного, никакой труд невозможен. Странно, его служение тоже ведь почти бессловесно. Чем бессловесней, тем тоньше, точнее. Когда же не обойтись, как дорогой и редкий продукт, слова нарезают тоненько-тонко, чтоб на просвете светились. Подручные зеленые тени без слов не могли и, сняв облачение, начинали слова выпускать, словно киты в небо фонтаны.

Тогда, нарушив обет, темно-зеленая выбросила хриплый, визгливый фонтан:

– Он уходит, – и осеклась, словно, нарушив молчание, закон преступив и обет порушив, признала себя виноватой.

Одновременно со звуком, кощунственным темно-зеленым, мозг насквозь пронзающим, увидел и сам, понимая: ничего сделать не сможет.

Виноватая тень метнулась, другая место ее заступила, еще одна подскочила, и все они делали то, что не могли не делать. Один Первосвященник стоял, не шелохнувшись, не внося излишнюю суету. Все видел, все понимал, не опасаясь накаркать, твердил про себя: Nevermore. Nevermore. Nevermore.

«Prophet!» said I, «thing of evil! – prophet still, if bird
or devil!
By that Heaven that bends above us – by that
God we both adore –
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant
Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels
name Lenore –
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels
name Lenore».
Quoth the Raven «Nevermore».

«Ты пророк, – вскричал я, – вещий! Птица ты – иль дух зловещий,
Этим небом, что над нами, – богом, скрытым навсегда, –
Заклинаю, умоляя, мне сказать – в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».
(перевод К. Бальмонта)

Ворон каркал. Накаркал Ворон. С веером канарейка.

Глухие звуки. Лезли без спроса, тараканьи ножки сучили и лепетали, плели несусветное, пели, плясали, совокуплялись, изображая слова, но выпростать из какофонии смысл не умели. Чем больше пытались, тем хуже у них получалось: уродцы.

И заглушая, ревело:

– Уходит!!!

Брат Николай умирает. Брат Константин счастлив и жив. Больше не в силах сидеть с умирающим, устал, спать хочет и есть. Уйти, но умирающий:

– Не уходи.

Он остается. Сидит, мучаясь не надвигающейся смертью, но тем, что тот, умирающий, не дает ему жить. Он порывается встать:

– Не уходи.

Все главы под номерами, а эта названа коротко, ясно и просто: «Смерть». От Ясной Поляны до станции Астапово путь недалек.

А в мозгу, заглушая свирели, поднимая над алмазным сверлом облачко пыли, дрель дребезжит:

– Он-у-ходит!!!

Было понятно, что ходит. Непонятно кто ходит. Уходит – куда? Не он, не она: лягушка-зверюшка, тараканий уродец:

– Он-у-ходит!!!

А потом и уродец распался на звуки:

– Оооо, нууу.

Ждали жреца?

Жрец уходит.

С тех пор, реальности подражая, перевирая ее, он во сне представлял, ему снилось, виделось и мерещилось. Вернувшись домой, завалился, не раздеваясь, в кровать. И тут, на счастье, коньяк, а может, бессонная ночь, начали сказываться: боль притупилась, не исчезла, но спряталась, веки стали слпаться, тело обмякло, готовое погрузиться в спасение. Но тут за окном взорвалось, забухало, задрожало. Подскочил: долбили асфальт, рыли землю, извлекая, укладывали. Попробовал лечь, тем более, за окном вроде притихло, но было уже не до сна. Одна зеленая подручная тень заметалась, другая истошно в ухо кричала:

– Он уходит!!! Уходит!!! Ухо...

Весь погруженный в служение, не заметил, когда началось отторжение. Впрочем, никакого отторжения не было. Какое может быть отторжение, если сближения не было? То, что считалось сдержанностью, было лишь равнодушием, безразличием, к нему уж – наверняка.

**Не падали два башмачка со стуком на пол,
И не было там ночника, и воск не капал.**

О разрыве никому не сказал. Даже Первосвященнику. Никому не сказал, но все об этом узнали. Как? Через несколько дней почувствовал за собой шелестение. Шел по коридору, за ним – осенние листья, опадая с деревьев, кружа, дрожа на сквозняке, шепотки шелудивые шелестели. С точностью до наоборот произошло то, что случилось после женитьбы. После свадьбы, когда повился, шуршащие листья, к которым привык, вдруг вопреки законам природы зазеленели, на деревья вернулись.

Вначале подумал: вот, из жрецов в простые смертные возвратили, лишили доверия, не знаем за что, неведомо почему. Как сказал сын полка: он им не показался. Катаев, с удовольствием читаемый в детстве, надолго исчез, пока под конец собственной жизни опять не вернулся, ну, почти настоящим, несмотря на долгие годы почти неизбежного, как говаривала тогдашняя пассия, христопродавства.

Разжаловали. Ну, что ж, всему свое время. Иные времена, жрецы и песни иные. Подумал: разжаловали, и ошибся. Просто, женившись, оставаясь жрецом, он перешел в иное, для иных неприемлемое измерение, лишив бесплодных, тщетных надежд, неизвестно на чем проросших пустых упований. Теперь все вернулось. Законы природы. Осень свои права предъявила – на дожди, на желтые листья, и, вот, оказалось, на него самого.

До женитьбы незамечаемые, его раздражали манеры, привычки и жесты. Разговаривая, нововила схватить его за руку, слов не хватало или, по ее разумению, были они не способны выразить тонкую мысль, передать всю ее глубину. Думал, не доверяет словам и стремится вернуться в довербальное состояние. Со временем он с этой скверной привычкой кое-как совладал. Не в том дело, что отучил, но стал держаться, на людях особенно, на почтительном расстоянии. Несколько раз, не рассчитав, потянувшись, схватилась за воздух и, уловив, надулась, хватать за руки перестала, одновременно перестав с ним говорить, разве только по делу, совершенно необходимому и неотложному.

До женитьбы она казалось ему красивой. Кокетничая, неумело изображая модель, она заявляла: «Я не красивая, я симпатичная». Демонстрировала не скромность, но, заявляя права на некую самобытность, отвергала претензии низменные, примитивные.

Другая дурная привычка была мизинец. Держа в руке чашку, она его в сторону отставляла. Этот Анной отставленный пальчик Вронский тоже заметил уже под конец. Паровоз разводил пары, тогда и увиделся пальчик.

Сперва неприятнь гасил: воспитана там и тогда, не виновата, но помимо воли раздражение росло, превращаясь в стойкое отвращение. Замечал все больше и больше, многое, возрастая, его раздражало, отвращало, бесило. Заметил, как одевается: то серо, невзрачно и грязновато, то нелепо, безвкусно, аляповато.

Сына назвал Илья – ей было безразлично и это. В память о деде, которого нарекли пророческим именем Илиягу. Порвать с ней не мог, на это он был не способен, решив про себя, что дотерпит, пока не вырастет сын, а дальше что будет, то будет. Она, видимо, поняла и решила его упредить. Зачем, почему, что или кто за этим стоял, его мало интересовало. Волновал только сын. Где он? Кем вырастет? Вопросы, оставшиеся без ответа, ему были мучительны.

По многолетней привычке, совершенно необходимой в служении, он искал ответ на любой возникший вопрос, а если не получалось найти, то, по крайней мере, пытался понять, как обойти, невзначай не споткнуться.

Живя с ней, ощущал себя то Карениным, порою и Вронским, но чаще всего – что было совсем непонятно – и тем, и другим, не порознь – это еще можно было б понять – одновременно.

Так начался длившийся несколько лет глупый, бессмысленный поединок. Он все свое время, свободное от служения, посвящал сыну. Она все эти годы говорила, что искала работу: то было ей далеко, то зарплата. Надеялся, что когда отыщет занятие, все пусть не наладится, но спадет напряжение. Зря. Порой казалось, что, притерпевшись, они смогут друг с другом смириться, но проходил день, пролетала неделя, и все возвращалось на скверные круги своя.

Он пытался понять, как у других, ведь на чужих ошибках удобно учиться. Оказалось, что опыт чужой бесполезен. Только счастливые семьи друг на друга похожи, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Безвыходность угнетала. Жить с ней было никак невозможно. Но выбора не было. Выхода он не видел.

18. Очарование мерзости

Впрочем, у ней была страсть. Вместе с ней переселились горшки и горшочки, в которых жили, плодясь, размножаясь, всевозможные кактусы. Однажды, безумно обрадовав, один из ее лю-

бимцев зацвел. Крошечный, нежный и умильный, цветок с каждым днем распускался, поражая изысканной, болезненной красотой. Одновременно стал издавать особенный запах, сперва не слишком заметный, но с каждым днем ощущаемый все сильнее. Наконец, когда совсем распустился, стало невозможно дышать. Подумалось: знак. Открывал окна, проветривал, но запах, похоже, облюбовал его дом и не думал из него убираться. Она не замечала ни мерзкого запаха, ни его отращения. Вообще, реагировала она лишь на слова, иного не понимая.

Не выдержал и сказал. Пожала плечами: что же поделать, я за него не в ответе, зато ведь красив. Он обозвал этот кактус – остальные остались без имени – Очарование мерзости. Мелькнуло: такое название подходит хозяйке, к обаянию которой он притерпелся, и оно запахло долго хранившимся острым сыром, запахом, доведенным Очарованием мерзости до невысказанного совершенства.

На выставке были инсталляции, фотографии и все новомодное, что теперь считалось искусством. Как всегда, попадались штатные знатоки, не пропускавшие ничего и со знанием дела обсуждавшие то, что никому, кроме них, в глаза не бросалось. Казалось, они только и заняты тем, что высматривают экспонаты, мимо которых бодро вышагивают другие.

Инсталляции надоели. Шел, незаметно шаг убыстряя, по направлению к выходу, едва не споткнулся, увидев то, чего от выставки ожидал. Картина. Блеклый фон, из которого наружу рвались красные пятна и полосы: зазубренную пилу протащили по заляпанному кровью холсту. Приближаясь, еще издали увидел он надпись, коронуемую полотно. Стилизованной готикой туповатому обывателю сообщалось название: «Вивисекция».

С памятью что-то случилось, щелкнула кнопка, на невидимый посторонним экран вывода занятия в школьном кружке, а потом биофак, где он начинал, прежде чем перешел на лечебный. Странно, «вивисекция» на экран не вывела анатомичку, видимо, связи между этими понятиями в его мозгу не сложились, хотя, казалось, что может быть ближе?

Это был далеко не единственный случай, когда он памяти своей удивлялся. Она жила по своим, не всегда понятным законам, и он научился воспринимать ее чем-то, хоть с ним и связанным, но – отделенным. Временем? Обстоятельствами? Он с каждым мгновением изменялся, а она, от него на шаг отступая, фиксировала происшедшее, стремясь представить его неизменным, на экран выдавая как настоящее.

Подошел вплотную и присмотрелся. Красное: пятна и полосы. Кровь брызгала, проступала, алела, темнела подтеками, сгустками застывала. Следы крови, ее движение, сжатость с пространством и были сюжетом, соединившим в единое целое пятна и полосы, а куски – в единое полотно.

Отошел, пытаясь увидеть одну только кровь. Из мутного блеклого, выцветшего пространства проступали контуры человека, не понять, женщина или мужчина. Ничего отличительного, высекающего личность из рода не было вовсе. Матрица. Голая форма. Творец еще не решил, каким сотворить человека: подумаем, посмотрим, решим. На кровь пошла самая красная глина. Рыжеватая, сероватая досталась всему остальному.

На картине – силуэт человека. Все остальное – в разобранном виде. Блеклые губы лепились на пятке, уши марионетками надеты на пальцы. Вивисектор наружу вытащил суставы и сухожилия, отвернув кожу и вскрыв полость брюшную, играя, намеренно перепутав, вложил туда бескровное сердце, легкие написал опавшими парусами. Вивисекция сотворила гомункулуса, младенческая подмышка которого вливалась в промежность старого бесполого существа.

Вначале было любопытно разгадывать этот ребус. Но чем дальше, тем тошнее ему становилось. Рука сумасшедшего разодрала невинную плоть, в произволе безумном куски расплыврав.

Когда к выходу пробирался, взгляд зацепился за парный портрет: мужчина и женщина, друг против друга. Она в белом платье, подпоясана черным, ожерелье черного жемчуга. Он в черном фраке с белым вырезом треугольным. За ним белый фон, за нею – фон черный. Между ними, ее от него и его от нее отделяя – свет из окна, неистовый: в его огне на холсте краска вскипает и пузырится.

Люди как люди, мужчина и женщина, но вместо голов – вырезанные из учебника анатомии схемы сердец: у мужчины чуть больше, у женщины меньше. Все, как в учебнике, все, как на схеме, непонятно зачем, со времен незапамятных висящей в жреческой на стене.

Предсердия и желудочки, клапаны, вены, артерия и – аорта. Все разных цветов: синий насыщенный, фиолетовый, светло-кирпичный, песочный. Прорисовано точно и убедительно. Осталось соединить большее сердце с телом мужчины, меньшее – с телом женщины, и ожившее наполнится кровью, вздрогнет, парус наполнится ветром, и сперва, как бы нехотя, начнет перекачивать кровь.

Кто-то сзади к нему подошел, и чтоб не стоять между ним и картиной, он, в сторону отойдя, глянул на посетителя. Маленький, скорченный, неуклюжий, тот улыбался, как от кислого морщась, глупо и кривовато, и подхихкивал, как подросток, увидевший обнаженную женщину.

Любопытство иссякло, да и рассчитано было на минуту-другую. Разгадал – отошел. Так и сделал, отправился восвояси. Шел, чувствуя: кто-то за ним. Оглянулся: не было никого, даже скорченный, хихикающий, и тот в серой мгле растворился. Пусто и одиноко. Хотелось даже вернуться к омерзительной вивисекции, только не быть одному среди белеющих стен пустых. Инсталляции куда-то исчезли: их никогда не было вовсе. Вивисекция сгинула, растворившись в полом пространстве.

Никого. Он один. Чего же бояться в городе, среди людей – не в безводной пустыне. Но страх, разум минуя, проникал глубоко, превращая в очерченный кровью бесплотный сквозной силуэт, из которого Бог, может быть, вылетит человека.

Поминутно оглядываясь, упрямо тащился по бесплотному бесконечному коридору, стараясь не торопиться, не бежать, не спешить. Вышел в дверь, выталкиваемый взглядом матери, беспомощной, все потерявшей, не только сына, но и себя, которую вместе с ним он убил. Мать молчала навзрыд, оглушительно, как пощечина, звеневшая мучительно, пронзительно бесконечно.

Оглянулся, настигнутый взглядом. От вивисекции, из детской подмышки оторвался темный сверкающий зеленый зрачок. Оторвался, грудную клетку вскрывая, сделал глубокий продольный надрез, ребра раздвинув, врезался, впился, вошел в сердце ему, раскаленной иглой выжигая.

Стараясь вынуть иглу, упал, и стены сомкнулись, в белоснежность бесконечную погружая.

По снежному полю, не чувствуя холода, обнаженный, он шел, плелся, без смысла, без цели тащился. Сознал: оснеженному, освежеванному одно суждено: скитаться Вечным жидом, Ага-сфером, Каином, знаком бессмертия заклеянным.

На улице, глубоко вздохнув, врачю видение суетой, вдохнув густой застоявшийся воздух: бензин, асфальт, подгоревшее из пиццерии, крутанул головой, вытряхивая плохо прожеванные слова. Ими экскурсовод убеждал посетителей: увиденное – не просто искусство, а искусство высокое, хоть современное.

Доехав домой, поднялся и, не зная, что делать, снова вышел на улицу, по привычке вытаскивал связку ключей – машина в ответ запищала. Подумав, решил: лучше пешком, и, свернув, пошел по траве напрямик, на улицу, пересекавшую город, начинаясь у въезда, заканчиваясь у выезда, впадая в шоссе.

Выезд, въезд? Разница в чем? Выезд ведь тот же въезд. Это как посмотреть, с какого конца. На мгновение эта мысль развлекала, даже пытался развить, что-то глубокое выстроить. Не получалось. Не связывалось. Потом желал выбросить глупость, но она застряла занозой. Попытался глупость разрушить, разъять. Выезд? Лошади, карета, необъятные кринолины. Но глупость не поддавалась. Решил обмануть. Шел, голову слегка задирая: нотариус, адвокат. Буквы крошечные, незаметные. Почему не сменить? Несложно, недорого. Был бы он адвокат, в придачу нотариус, сменил бы вывеску непременно. А этот, верно, ленив. Может быть, неудачник? Неудачник – это ведь не убийца. Неудачник – проблема личная, едва не интимная. Может быть, и семьи.

Миновал адвоката, напал на парикмахерскую: огромный, во всю длину дома дамский салон: над дамами мастеров копошенье, другие в креслах, очереди дожидались. Вывеска не без затей: прифт почти нечитаемый, да и к чему? Дамы и зеркала, фены, расчески-прически.

Дамы – дома. Было, было, он лишь цитата, реминисценция, лишняя запятая. На городском шоссе строчит пулемет, и – глупые вывески лезут в глаза, словно ветер сором их забивает. Обмылок, осколок, цитата.

Морфинистка, в вагонном купе любовь обронившая. Под диван, видно, она закатилась. А едет – глупые вывески лезут в глаза – искать ее на вокзал, к которому, паром сипя, паровоз потихоньку крадется. Если бы время другое, то на том паровозе был бы плакат с красными аршинными буквами – рассказывал дед – когда с войны возвращались.

19. Что он мог поделать?

Давно собирался в столицу мира. Когда просто произносили *urbs*, город, все понимали: Рим. У всех на устах. Не потому ли случилось здесь такое число пожаров, обвалов, что их прозвали сожителями Рима.

Приехал летом. Жарко, пыльно и скучно. Кто только мог, из Рима сбежал. Ему бежать некуда. Вот и глотал пыль и тоску. На холмах, на низины взирающих, в районах богатых усадеб, к улице спиной обращенных, где сады с деревьями и цветами, можно было дышать. В низинах, за-

вистливо взирающих вверх, на улицах бедных, инсулами застроенных, смотревшим жадно на далекий фонтан, где вообще не было зелени, дышать было совсем невозможно. О таких домах Цицерон говорил: Рим кверху поднялся, и в воздухе он завис.

Ночью и на холмах, и в низинах было темно. Но если там, наверху, у богатых защита, нетнет за перекрестком вспыхнет факел или свеча в фонаре, то внизу – ни факела, ни свечи, ни защиты. Были пожарные, прозванные «бодрствующими», что кроме прямого дела должны по ночам покой охранять, но те, зная ночной город не понаслышке, боялись бандитов больше других.

Писать пробовал, не пошло. Пустынный форум. На Капитолии тишина. Время цедилося, как застоявшееся лесбийское. Но все когда-нибудь заканчивается. Кончилось и тоскливое лето.

Осень и большая часть зимы прошли в празднествах, достигавших почти нероновского размаха. На один его пригласили: в качестве занятого гостя, который рассказом о путешествиях позабавит гостей. Хотел отказать, подумав: приглашают, чтоб не тратиться на музыкантов или шутов, но пересилило любопытство.

Трапезный зал примыкал к цветущему саду. В триклинии было просторно: приглашенных немного. Прибыли гости одновременно: опаздывать было накладно, по давнему обычаю с опоздавших взымали штраф.

На столе, стоявшем посередине и ложами окруженном, не было места. Хоть рабы, разосившие яства на серебряных блюдах, его постепенно освобождали, но место поданных блюд занимали другие. Перед началом – молитвы богам, а затем – что его удивило – по греческому обычаю на головы пирующих сам хозяин в желтом плаще, который во время обеда сменил вначале на фиолетовый, а затем на зеленый, надел венки.

В богатом доме бездна цветов. Ни один праздник не обходится без венков, цветов и гирлянд. Цветы были в клумбах, ящиках и горшках. Алоэ, плющ, тамариск и мирт, маргаритки и маки, лилии и нарциссы, ирисы, розы.

После закуски его представил хозяин, и он, как вежливый гость, поблагодарил за гостеприимство хозяина, а с ним столицу империи, всего мира. Послышался ропот: его речь одобряли, на что хозяин заметил, что сравнивать ему, полмира выдавшему, конечно, есть с чем. Боясь утомить гостей, он поделился впечатлениями о Египте, попросив позволения продолжить рассказ после одной из перемен.

Внесли на носилках аквариум с краснобородкой. И тотчас услышал он шепот:

– Глядите, глядите! Огромная! Безумные деньги! Умирая, переливается цветом пурпура, пирующих смертью своей веселя.

Снова послышались возгласы: рабы понесли сицилийскую рыбу, фазанов, павлинов, еще и еще. Вначале Плутарх считал перемены, блюда пытался запомнить, но понял: сбился со счета, память стала ему изменять. Во время одной из перемен хозяин попросил рассказать о его родине, и он, вниманием не злоупотребляя, поведал гостям о Беотии. Теперь его недолгий рассказ был отмечен благодарственным шумом и возгласами, под которые стоявшие без дела рабы бросились разносить новые блюда.

Кампанские вина – цекубское, каленское, фалернское и массикское, на любой, самый изысканный вкус, лились, как вода. Кувшины приносили полуобнаженные безбородые юноши, а стыдливые девы стояли у стенки перед выходом в сад. Желаящему угоститься достаточно подать только знак: избранника или избранницу проводили в комнату, примыкавшую к залу. Только lectisternium, угощение богов, исполняли взрослые слуги, подносявшие кушанья к ломам, на которых стояли изображения богов.

Когда подавали маслины, услышал шепот: «Они из Пицены», когда принесли копченое сало: «Из Галлии». Венчал пиршество дикий кабан. Когда слуга поставил блюдо на стол, все подошли любоваться, и, только позволив гостям вдоволь насытиться зрелищем, произнеся множество восхваляющих слов, хозяин давал знак взглядом рабу разделить запеченную тушу.

После обеда все встали и подошли к столу, на которых стояли сосуды с вином, тут и вовсе пошла потеха: стали пить друг за друга. Пивший за здоровье кого-либо из присутствующих обращался к нему с пожеланием:

– На добро тебе!

– Будь здоров! – вслед остальные кричали.

С тех пор как он надел в первый раз тогу, одежду взрослых, ему довелось побывать на многих роскошных обедах, но такое видел впервые. Перед десертом хозяин, с трудом установив тишину, принес жертву богам, положив на очаг пироги и вылив чашу вина.

Там, на пиру, он и познакомился с Луцием Местрием Флором. Их посадили рядом. Вероятно, хозяин поручил ему своего занятого гостя. Он был человеком, повидавшим немало и занимавшим немало важных постов. Был услужлив и образован, добродушен, не слишком амбициозен, таким, от услуг которого отказать трудно любому. Не был и надоедлив, расспросив о занятиях,

родине и путешествиях, стал объяснять римские обычаи, сперва комментируя происходившее во время обеда, а затем перешел на то, что Плутарх уже видел или вскоре увидит в римских домах и на улицах города.

После одной перемены римлянин пригласил его немного пройтись по саду, а, вернувшись, подвел к юным девам, ожидавшим внимания приглашенных. Ни одна из них, слишком раскрашенных, его глаз не остановила. Тогда новый знакомец подвел его к мальчикам, и на его замечание, что к ним равнодушен, Луций Местрий Флором, словно извиняясь за что-то, развел в стороны руки, а сам подошел к светловолосому мальчугану, приглашая. Ему же он бросил, разводя снова руками:

– Подлинный Ганимед!

Светловолосый потушил глаза. Хотя в Рим попал не очень давно, но многое о здешнем житье-бытье и верованиях римлян он знал. Ганимед – юноша красоты необычайной, орлом главного римского бога перенесенный на гору Олимп, где влюбившийся в него Зевс сделал его виночерпием на пирах богов. Так что, идя с важным гостем, он уловил взгляды других мальчиков. Некоторые жили здесь до него, а еще двое были куплены вместе с ним. Когда корабль с рабами-евреями причалил, их разделили: одних отправили в амфитеатры, а других – в Рим, на невольничий рынок. Там продавали людей. Он все это видел, когда его и еще нескольких мальчиков вели мимо вращающегося помоста, на котором стояли люди с табличкою на груди. Когда человек на помосте подплывал к продавцу, тот выкрикивал, расхваливая товар. Иногда подходил покупатель, который приказывал рабу раздеться, осматривал, щупал мускулы, заставлял соскакивать вниз, чтоб посмотреть, насколько товар проворен.

Их продавали не там, на помосте, а где-то за рынком, в неказистом обшарпанном доме. Их было трое. Поставили так, чтоб на них падал свет из окна. Велели раздеться, оставив лишь повязку на бедрах. Один за другим подходили к ним покупатели, и каждый вошедший к нему первому обращался. Осматривал, гладил и щупал, велел сбросить повязку, и гладил, пока у покупателя под туникой не набухало. Один так увлекся, что продавец ему что-то сказал, видимо, цену, потому что, услышав, покупатель схватился за голову. А потом тот появился, кто его и купил. Не гладил, не щупал, пристально посмотрел и исчез.

Продавец лебезил, часто-часто что-то ему говорил, видно, расхваливая. Потом они удалились, и снова он увидел хозяина через несколько дней, прожитых в его доме. Здесь было роскошно. Даже у них, рабов, у каждого была комната, маленькая, но куда как больше, чем та, в которой он жил вместе с братьями в родительском доме.

На следующий день старый раб, приставленный к только купленным, повел их всех в баню. Там их приветствовал сам хозяин, грек по имени Грилл. Велели раздеться, и старую одежду рабы унесли. Потом пришли банщики, которые их отмыли от долгого плавания, и всех по очереди отвели в другую комнату, где не было пара. Его повели последним. Старый раб умастил нежным пахучим маслом, а потом стал рассматривать и ощупывать. Под конец, окончив осмотр, велел лечь на живот.

– Теперь раздвинь попу руками.

Ему стало противно, и он вскочил, закрываясь руками. Старый раб посмотрел с удивлением:

– Что это с тобой? А ну-ка ложись!

Мотнул головой.

– Перестань дурить, делай, что говорят. Тебя ждет сам хозяин.

Весь сжался и снова мотнул головой.

– Дурачок, чему быть, того не миновать. Хозяин заплатил за тебя сто тысяч сестерциев. Не глупи. Плетей захотел?

Одной рукой взяв за шею, он уложил его вниз лицом, и, раздвинув, ввел, причинив страшную боль, сперва один, а потом и два пальца.

Извивался от боли, от унижения. Что мог он поделать?

Луций Местрий Флор вместе с мальчиком скрылись в одной из комнат, и минут через двадцать несколько торопливо, словно опасаясь опоздать к новому блюду (это были фаршированные яйцами, овощами и пряностями перепела), раскрасневшийся и довольный, он сидел, глядя на раздувшуюся птицу, положенную перед ним. Тем же тоном, с которым рассказывал об обеденных и городских нравах, подчеркивая подробности тела и поведения светловолосого (имени он не спросил), римлянин бесстрастно рассказывал о том, что произошло, закончив рассказ замечанием:

– Хоть и светленький, но обрезанный, из рабов, привезенных и проданных Титом.

Императора в городе не было, ходили слухи, что разгульная жизнь вызывает в нем гнев. Впрочем, нужды в слухах не было. Что поделаться: крестьянин, которому неведомы вкус амброзии и нектара, приправленных искусством, сладкой девичьей и терпкой мальчишечьей плотью.

Недели подряд Рим развлекался и веселился, пока в самом конце зимы, когда вот-вот должна зима отступить, с небес Юпитер наслал снега – из дома не выйти. Затем потеплело, стало подтаивать, и вот тебе на: зловещий град наслали боги на землю, грозя голодом, мором и наводнением. Старики вспоминали, как лет сорок назад Тибр восстал, взбунтовался, все затопив, и воды носились по улицам, обратившимся в реки. Рыбы плескались на вершинах деревьев.

Понтифик, не дожидаясь, гнева Веспасиана, велел пиры-празднества прекратить, принести от знатных семей ежедневные жертвы – вымолить у богов прощенье, да и гнев императора не мешало утишить.

20. Ангел смерти

Все было так: и темно-зеленые подручные тени и блеск инструментов, и свет, вспыхивающий и гаснущий, и тени-слова на греческом и иврите, и главное – ожидание служения, таинства, ожиданье жреца. Но кроме в плоть воплощенного, хоть не всегда ясного, зримого, было что-то еще, не успевшее или не пожелавшее в плоть воплотиться. А может, и вовсе способно не было воплотиться? Но – ощущалось, существовало, как проблеск в тумане огней трубы, протыкающей небо. Невидимое существует: в мороке стальные канаты восходят к вершине и там исчезают в тумане, как слово, как затаенная мысль. Ее избываешь, ее отгоняешь, но чем усерднее, тем она навязчивее, метастазами расплываясь, как существо породы неведомой, возлюбившее смерть, все на пути пожирая. Как любое живое, стремится существовать. Чем интенсивней живет, тем стремительней смерть приближает, свою и чужую. Может, сроки в единый узел завязаны с интенсивностью бытия? Живому срок не отмерен, он сам его назначает, устанавливая своего бытия интенсивность. Живому отмерена тайная сила, количество бытия, не плоть, но реальнее плоти, с точки зрения здравого, порочного смысла – зияющая пустота, в которой растворяется все: плоть и слова, мысли и тайны.

Он ехал в город, который у одних возбуждает любовь, ненависть у других, ни у кого безразличия не вызывая. Свое отношение к этому городу, не размышляя об этом, любовью назвать он не мог. Это было что-то другое, чувство неясное, сумрачное, немножко больное.

Он ехал в город, чьи непостижные, ломаные ритмы не мог представить в виде привычном – электрокардиограммы. Иное дело знакомая с детства рифмованная силлабо-тоника державных проспектов, огромных пустых площадей, улиц прямолинейных и прямодушных, словно в темном подсознании города-монстра не было тайны, одержимости, затаенности. А может, он думал, и не было. Такой уж народ, такая страна, такое уж государство. В конце-то концов, ничто не случайно. Значит, совсем не случайно на месте византийствующей, на корню загнившей империи не ставший священником семинарист построил жуткую Спарту, Третьим Римом не ставшую.

Машина с мощным мотором нуждалась в пониженной передаче, словно ей дыхание сдавливал этот совсем не разреженный воздух. Горы? Метров семьсот, восемьсот? Смешно. При подъезде, хоть время и неурочное, тяжелая пробка: видимо, город не расположен был всех принимать. Что поделаться? Такая судьба, миссия, назначение.

Над шоссе нависала гора, по которой, словно овцы на выгоне, с вершины спускались надгробия, с шоссе вполне различные, напоминая въезжающим: жизнь есть малая доля того, что человек назвал словом урюмым и непонятым, душу сосущим, словом, над любой судьбой возвышающимся, как эти овцы-могилы. Вечность дрожала в сероватом тумане предвечернего часа, когда солнце еще не зашло, а ночь еще не настала.

В этом городе сумерек не было. Здесь день умирал очень недолго, а ночь рождалась мгновенно. Совсем недолго рождалась здесь ночь.

Он ехал в город, который бывает урюмым, бывает веселым, но никогда до конца таким или другим. Всегда где-то на дне, в колодезной бездне таится иное, что ни понять, ни познать.

Он ехал в город, в котором, как и в других, птицы летают. Он ехал в единственный город, в котором, как птицы, летают буквы, слова. Одни буквы были заскоружды и безобразны. Но были такие – не повторить, не описать словом, такие, которым бы позавидовал и самый искусный наследник Акакия Акакиевича, из чьей безродной шинелюшки он на свет появился, древнее имя и княжеский титул неведомо от кого унаследовав.

Он ехал в город, шел в темные улочки, переулки, кривые и путанные, как души людские, как магия слов, как звуки молитвы.

Буквы летали. Одни плавно, степенно, парили орлинно. Другие стремительно, суматошно, чайками – циркульно, замысловато и непостижно. На одних глаз отдыхал, на других утомлялся. Орлиные, те, взлетая, стремились все выше, им отвечая, высь набухала опарою дрожжевой. Чайки, боясь высоты, в стены с разгона вонзались и пробивали в бетоне брешь, за ними другие, ее расширяя, крошили бетон и вырывались на волю, с простором, с живым безграничем сливаясь.

Чайки, орлы, иврита птенцы и греческого питомцы, были заняты главным, тем, чем все заняты в мире: искали друг друга. Найдя, осторожно друг к другу они приближались, но иврита птенцы и греческого питомцы, друг друга они избегали, хотя редко случалось, желанное находили и, совокупляясь, давали потомство.

Плавные и стремительные, соединяясь, давали потомство крепкое, сильное, жизнеспособное. Так рождалось чистое слово, в котором отцовские, материнские гены, соединяясь непредсказуемо и таинственно, стремились не в облака, как праотцы, а в уста, на глину, папирус, восковые дощечки и на бумагу.

Род чистых слов ширился, разветвлялся, в языки другие вселялся. Узнай в слове *бальзам* ивритское *богем* (духи), в слове *зона* (в память Довлатову) никак на него не похожее «пояс» (*греч.*). Поди узнай в кадке *кад* (кувшин, сосуд, *иврит*), а в трагедии – песнь козла (*tragōdía, греч.*), в непонятно что значащей, но понятно к кому прилипающей вездесущей *харизме* греческий *даф*, а в *цинике* – греческую *собаку*.

Манна (*иврит*) падала с неба, и на земле ее собирали, одни говорят, очень сладкую, а другие – такую на вкус, какой человек пожелал. А манку из магазина несут, не слишком задумываясь, как и откуда туда она залетела. В *сачке*, которым Набоков Лолит и бабочек пестрокрылых ловил, поди в нем узнай *мешок* (сак, *иврит*), от которого есть пошли немецкий *рюкзак* и *сакволяж* французский.

Паря в воздухе и носясь, ища друг друга и сочетаясь, буквы греческие и буквы иврита, буквы-чайки и буквы-орлы – все задавались вопросом, по чьей воле это они совершают, может, миром правит случайность? Одни говорили:

– Господь нас творит!

– Всё в нашей власти! – твердили другие.

Третьи глубокомысленно утверждали, что не может воля отдельных, пусть самых великих букв, самое себя сотворить, ни воля отдельных, пусть и великих слов, из самое себя речь сотворить.

Тем временем жизнь продолжалась. Буквы слагались в слова, создавая роды и кланы. Одни взбираясь наверх, тускло глядели на нижних. Так парящий орел смотрит на чаек, снующих и в безумии стригущих пространство. Чайки, стремясь в орлиное царство, до чрезвычайности редко туда долетали. Орлы их клевали, крыльями забивали: заклевать, до смерти забить чужаков. Но попадались такие, которым, несмотря ни на что, удавалось выжить, к новой стае прибиться, обжиться, а затем – и такое бывало – породниться с орлами.

Слова-птицы летали, носились, кружили. Сюда бы авгура, толкователя воли всеблагого Юпитера, всемогущего бога, авгура, по полету птиц волю богов узнававшего. Да не исполнится, да не свершится, что авгур объявит нечестивым, гибельным, незаконным, а кто не послушает, да будет смертью наказан. Пусть жрец исследует птичьей желудок и почки, сердце, легкие, печень. Пусть на кончике сердца найдет он легкое ожирение, знамение славное! Пусть исследует жрец птичий крик, направление, полета заемную высь. Улицы, переулки и тупики ворожили, кружили, как ветер кружит, листья опавшие ворошит.

Из темных углов, чернеющих тупиков, из провалов, зияющих в стенах, доносились обрывки молитв, шепот влюбленных, шелестящие заклинания, благословения и проклятья. Все это звучало, вскипало и шелестело там, куда проникнуть не мог желтый, словно кожа покойника, свет фонарей, неровными пятнами, полосами кривыми ложившийся на асфальт, на брусчатку, на камень в землю прорастающих стен, некогда белый, почерневший от времени, страданий и боли.

Дома теснились, прижимались друг к другу, один в другом искали защиты от врагов и грабителей, болезней и смерти. Но врывались враги, проникали грабители, как снег, редкий в депешных краях, сваливались болезни, и не званый никем приходил ангел смерти. И тогда из темных углов, чернеющих тупиков, из провалов самим городом выпевалось: то ли песня, то ли заклатье, то ли молитва:

Старинный друг мой, добрый ангел смерти,
не торопись, нальем на посошок,
еще глоток, еще стишок, стежок –
все по твоей неторопливой мере.
Благодарю, что ты со мною был,
со мною плыл, шел в унисон фальшиво,
не торопил и, как сторукий Шива,

от бед и от дождей меня хранил.
Строптив не буду, ты возьмешь меня
под руку и пойдем неторопливо
под твой смешок глухой и не глумливый
порой ночью или средь бела дня.
Мне все равно. Ты знаешь, я устал
от склок и шума, грохота и свиста,
осколков разума, от них сей мир неистов,
и правишь в нем не ты, а суета.
С ним не был никогда накоротке,
точнее, был с ним в отношеньях сложных,
и то сказать, ведь он меня безбожно
превозносил, пиная в тупике.
Жаль, что не ты в нем правишь, очень жаль,
они ведь мнят, что боги, что бессмертны,
хочешь ты над ними, ангел смерти,
а срок придет, то жалишь в тыщу жал.
Жалеешь, жжешь, разжалованный бес,
не сея жнешь, ты мой знакомец давний,
ты дивный, ты не злой, ты парень славный,
без ропота несущий жизни крест.
Ну, ладно, будет, подтолкни меня,
прости, и так со мною задержался,
наверное, в словах поиздержался,
верну, достану только из огня.
Прожаренное с дымом и лучком,
снимай, смакуй – я для тебя старался,
состарившись, всю жизнь я побирался,
слова выпрашивал – поштучно и пучком.
Ты прав, прости, я малость не в себе,
ведь ты не черт, не бес, но – ангел смерти,
диавольская разница, поверь мне:
ты наяву, ну, а они во сне.
А сон, ты знаешь, дьявольски лукав:
зеленый дуб, за дубом – лукоморье,
и нет там ни страдания, ни горя,
а здесь не проживешь ты, не украв
Щепотку, малость малую судьбы,
чужой судьбы, бесхитростной, счастливой –
хоть зелены украденные сливы,
но глупого спасают от беды.
Я знаю меру, не пересолю,
не пере- я борщу, не пережарю,
но переворошу и перешарю,
и воду откипевшую солью.
А в роще выкипает соловей,
в море – орган, и колокол – в тумане,
и в жизни – смерть, а истина – в обмане,
в озоне горнем – знойный суховей.
Ну, вот и все, достаточно болтать,
дай руку мне, смиренный мой приятель,
не сеятель, но жнец ты и ваятель
судеб, хоть не горазд ты толковать
Чужие тексты...

Внезапно поднимается ветер, словно ангел смерти, миссию, служение исполняя, взмывает с жертвой своей в небеса, и за ними остается воронка, разреженный воздух, оттого и метет мелким сором и павшей листвой по земле, а над ней, обгоняя ветер, несутся слова последней молитвы, прощаясь с душой отлетающей.

Словно силаясь слова молитвы догнать, ветер взвивается, поднимаясь по железной ажурной лестнице винтовой, ведущей наверх, на балкон, похожий на маленький козырек, над вывеской на-

висающий. Темно, и надпись не разобрать. Что там внизу под балконом? Магазин? Парикмахерская? Синагога? Никому ночью, тем более в непогоду, это знать вовсе не нужно.

Ветер крепчает, словно невидимый, таинственный жрец совершает свой веками отточенный ритуал, принося в жертву единое главное слово, открытое только ему, слово, которым он провозглашает уходящие души.

Ветер раскачивает одинокий фонарь на железной цепи, скрипящей жутко, раздрающе и нещадно, так, что даже завывания ветра не могут скрипучий по сердцу режущий вопль пересилить. В мути ночной сам фонарь, конечно, не виден, он ведь никому и не нужен, виден пляшущий желтизной болезненный свет, крошечный блик, осколок вечного света Творения.

Поминутно скрипячая желтизна выхватывает выпирающий из земли то ли палец, то ли фаллический знак, непонятно какими ветрами сюда занесенную герму, на дорогах Эллады обозначающую бога Гермеса – каменный, защищающий переулочек от вторжения транспорта. Вокруг фаллоса-пальца носятся в бешеном хороводе обычно степенные гномы и тролли, лохматые домовые, выскочившие поразмяться проказливые бесенята. Носятся, гикают, потешаясь, гоняются друг за другом, визжат, заголяясь, скачут и верещат, куражатся, кружатся, блуд творят, ни ветра, ни желтого света, ничего не стыдятся.

Блики впииваются осами в стены, прокалывая темноту, блики носятся, словно отчаявшись оторваться, взлететь, воспарить. Глухие блики, разве способны они от брусчатки, от стен оторваться? Оторваться, взлететь, воспарить, орлами над миром зависнуть? Да хоть бы как чайки над морем, над сушей суетливо носиться. Куда им. Ведь редкое слово, одно из тысяч подобных себе, а может, кто этот сочтет, и десятков и сотен тысяч, редчайшее слово одно во множество лет на это способно.

Блики, блики... Лики святых, знающих слово, которое на жреческий подвиг способно.

БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ



ВСКРЫТЫЕ ПУСТОТЫ

Какой цветок упал в открытый рот
всегда уместно, к слову говорящих?
Цветок – на блюдечке. А дальше бутерброд –
повыше, для сыгравших в долгий ящик.
Не выплюнуть ромштекс, где лепестки –
и розовым, и красным... Шли по днищу
тарелки – два выонка: твоей тоски
и удивленья; счет пошел – за тысячу...
Тарелку мы не думали разбить.
Что было в горле? Говорилось – «пить».

Лицо магнитит мелкие частицы.

И что я принимал за комаров,
клещей и мошек, крошечных жучков,
каких-то тлей, летящих мне в глазницы, –
на самом деле было из металла,
как будто жести, острой и колючей,
и это все мне так напоминало
ощупыванье моего лица
руками распыленного слепца –
родной, развоплощенной, но живучей
субстанции, что здесь меня искала,
нашла, приникла, - и от боли жгучей
я застонал, и тут она узнала
меня - и тотчас же живой прикрыла тучей,
всю ночь баюкала, звенела и жужжала.

За горизонт в горизонтальном лифте
тащусь на север по боку земли.
О Господи, зачем так молчалив ты?
Скажи лифтерам, чтобы подмели

все эти звезды, фантики и спички.
Сор не растет, не тает, не горит,
но развращает душу Елекрички,
ползущую на встречный Елекрик.

Поэта Серафим из Хиросимы
вел за язык по памяти ко мне.
Их тишина была переносима,
как две сумы молитвенных камней.

Пешком, из переплета в переплет,
по горло вбред, минуя реки яви,
с безмолвием, сияющим, как лед,
они вошли в пылающий Рейкьявик.

Я получил воздушные пары
из ничего. И сделался доволен.
Чудесные! Годятся для игры
в свободную и радужную волю.

Когда летит обратно парашют,
мы уважаем фокусы Вселенной:
не в зрении – прозрением разменным, –
но воздымаясь в обратимый жюг
во плоть не возвращаемых обратно...

Нас унесет туда – где есть у Солнца пятна,
и может быть – чуть-чуть земного дыма...
но говорят – и это обратимо.

МЕТЕОРОЛОГ

В этом – все. А ты, прекрасный олух,
мог бы быть, и – более того,
ты совсем оглох, Метеоролог,
в гром небес оружий «о-го-го!» –

даже и зимой!.. Какая роскошь:
по полю – разбойничья метель,
стель бескрайняя, и жесткая пороша
из затянутых и крученых петель!..

Да и пушкинский любимый этот образ
в каждой чайной прет из-под типка,
у дверей которых – рыбий отброс,
свежеживмороженный – в мешках!

О, время приходило, уходило,
и, спрятавшись в густом березняке,
с той стороны пруда смотрело на могилы,
качала головой, держа ее в руке.

О память, память: ты ли непорочна?
И мной ли те следы оставлены в логу,
что я заметил зрением побочным?

Они у ног моих кончаются в снегу...

Я этого не утверждаю точно.

Но разглядеть точнее не могу.

...Предметы так уложены, как будто
их здесь совсем не трогали века.
Вот тут ещё – *привет!* – течёт река,
и нет совсем ни вечера, ни утра.

Жизнь истончается - и это незаметно.
Всё недосуг продеть её в иглу
и подрубить хоть как-то, худо-бедно,
дешёвую затасканную мглу.

Позор лохмат. Но ровненько, красиво
пройдёт подзор по всей его длине.
Пока ж лохмотья. Срам. И несносима
бессмертья мгла, повисшая на мне.

Когда уже кончается пластинка,
озвученная под корундом Тверди —
её игла скользнёт под сердцевинку,
противно скрипнув: «Веруем?.. Что ж, верьте!» —
прорвёт земную жилку-кумаринку.

Я сделал вдох последний. Но, nascendi,
в моём дыхании ещё остался Выдох —
в то Без-возд-ушие, где все Пустоты вскрыты,
и это уже много больше смерти.

ОЛЬГА КОЛЬЦОВА

...И ВЕРЕСКОМ ПАХНЕТ ТУМАН

Голосовые надорваны связки,
в святцы заглянешь и зла не таишь;
встряски ли ждешь или волка из сказки,
бедный, шумящий под ветром камыш;

святый хранителю, нынче отведу
облаку, птицам, вершащим полет,
тени подспудные прыгнут навстречу,
в рост поднимаясь из топких болот;

северным ветром дохнуло и вестник
ждать не замедлил, — на запад окно,
жалит крапива; язвы же, кудесник,
знак на челе, родовое пятно;

тучная жертва, но, кровью омыта,
злаки земля отторгает сама;
зельем дурманным кропленные плиты,
пустошь скудельная. Акелдама.

И живем на звезде, на кровавой,
И живем на кровавой звезде

Г. Шенгели

по полям елисейским так звонко гуляет коса
слышен топот копыт и прилепленный падает снег
разрезая туман разворачивай брат паруса
что там алефы альфы когда не дойти до омег
по полям елисейским... — не в мифах,
помилуй нас Бог,
асфодели цветут приближаясь к прозрачной воде
этот глупый Нарцисс двойником почитает итог
красотою пленен отраженьем в зацветшем нигде
по полям елисейским... ослышка?
беспамятство смут?
по полям енисейским, где снег по колено и где
обреченно живут на зеленой на страшной звезде
что Землею на нашем беспечном наречье зовут

И где начинается темная заводь тумана
черница-душа разве духом одним осиянна
слепая, бредет через вереск и бредит престранно
лишь арфы далекой на пустоши песни слышны

черница-бродяжка не знает ни крова ни дома
ни пеней ни жалоб одним только ветром ведома
вот так и бредет от околицы до окоема
под неукротимые струны скалистой страны

смирненница в черном в чей сон беспокойный
заходишь
кого баламутишь и с кем по ночам колобродишь
кого до щекотки в круженье своем хороводишь
на воду пошепчешь и воды застынут черны

и вслед за тобою как тени бегут чертенята
и вереском пахнет туман на пороге заката
тропинки не видно травинка-другая примята
и черный арфист будоражит минувшего сны

Бог Нахтигаль, не все я рассказал
в одическом чаду многоголосья;
но зерна, но налитые колосья
себе готовят жертвенный финал, —
бог Нахтигаль, отрежут твой язык
чтоб слаще голос раздавался в чаще,
тирана веселить в забаве вящей —
мой соловей, ты к этому привык;
поэтому ты бог, а я никто,
поэтому ты всё, пусть безъязыкий, —
бог Нахтигаль, двуликий, многоликий...
в немецкой речи... Господи, за что...

Средь шумящих ветвей замер в профиль
повернутый лист
отрезвляющий взгляд светового небесного сита
от бездумья к безумью ложится рассчитанный вист
от безумья к бездумью и карта как водится бита

этот профиль резной неучтенная запись строка
комбинация карт география школьные стены
точка зренья близка близорука размыта легка
обожженный хрусталик и где Навсикаи Елены

где рассчитанный слог и по пальцам
прочтенный размер
не слышны отголоски безумной вакхической
пляски
здесь в стреноженном мире вранья воронья
полумер
так и ждешь как подвоха неумной дурацкой
развязки

в памяти выжженный след обнаружишь,
линзу едва совместив с окуляром
бедное сердце все кружишь да кружишь
зоркий зрачок над терновником ярым

бедное сердце тоска твоя птичья
память скитальца о небе и пепле
ищешь ли с образом сходства отличья
зоркие очи на время ослепли

ибо лишь в точке земного притина
корни и крона сляянны и слиты
блик на коре осокори патина
солнца сухого
сердце мы квиты

вертикальные люди на фоне дождя
вертикальные люди на фоне собора
то ли город отторгнул их уходя
то ли просто не стоят они разговора

одинаковы зонтики в мгле дождевой
фонари мостовая абстрактные лица
пешеходы шагают себе по кривой
ибо туфли испортит дрянная водица

одинаковы люди но листья летят
каждый вырезан Мастером шутчно инако
двойники вертикально уйдут в листопад
в Скорпионье созвездье предзимнего знака

что гадать о судьбе ерунде ворожбе
вертикальный прохожий пройдет равнодушно
если мир вертикальный годится тебе
мне же только строка остается послушна

на сердце камень а под сердцем брешь
навyleт напролет куда же дальше
на сердце лед оно не терпит фальши
утешь его засмейся распотешь
век темен и под веками темно
не открывай очей не сыщешь знака
вот разве «но» заменишь на «однако»
а впрочем брат не говори умно
там в небе реактивный самолет
и след его над радугой морозной
ты попрощайся с ним легко бесслезно
и пристально как чуткий оцелот;
сыграй в игру «замри и отомри»
зарю с зарею в сумерках сличая
своди изьяны соком молочая
...идут года, слепцы, поводыри

кривизна левизны или выступ карниза
астигматик несчастный ступается тьма
по какому капризу взыскуешь сюрприза
искалеченной тенью крадясь в синема
за поземкой по тонкому льду силуэтом
не касаясь земли не оставив следов
в контражуре мелькнешь иксом ипреком зетом
неопознанный джокер минувших годов
над тобою сплетаются голые ветки
разлетаются птицы в преддверье зимы
эти шуточки едки в помарках заметки
над раскисшей землею раствор сулемы

Нырй и целься – море далеко,
не в пенку ненавистную, – в десятку,
меть в око мира, а не в молоко,
а коль промажешь – доставай трехрядку.
С гармоникой губам не совладать,
аккордеон – трофейная отрада,
почти орган, почти что благодать,
дворы, послевоенная бравада...
Охрименко, вагоны, медяки,
на Валааме получеловеки,
и Ладога темнеет вопреки
Неве, и всюду гоппики, абреки,
художники, сиречь истопники,
выпускники кто Штиглица, кто Мухи...
Среди дворцов, каналов и разрухи
гляди в течение темное реки.

Десяностые годы двадцатого века...

Георгий Мосешвили

Заблудившиеся аргонавты
звездной пыли глотнувши с лихвой
понапишут грядущие плавты
новым ктулху одарят лавкрафты
нас за этот приют даровой

Равнодушная ткань мирозданья
не поддерживает разговор
ворожба заклинанья гаданья
заглушают стенанья рыданья
нежным звоном савельевских шпор

Но по синим волнам и по звездам
обреченных на вечный исход
нас припавших к налившимся гроздам
«Арго» вслед разоряемым гнездам
без руля без ветрила несет

Пятна прозелень патина меди
выест очи Киприды укор
застывают столетья в комеди
виноградная завязь трагедий
оскверняющий почву ихор.

старый снег умирает под остовом голых деревьев
старый свет европейски не мал не силен не удал
не откроешь поверий по знакам размечанных
перьев

сколько б ты по обманчивым бликам не ждал
не гадал

безобразье зимы стойкий запах жилья неуютно
знойный ветер с разбегу врезается
в сморщенный лед

сигарета чадит табачок-то засыпан не круто
и прогоркая даль поджидает у самых ворот
плотно дверь затвори крошки хлеба сгреб
из кармана

пусть их пиццы клоуют на чернеющем талом снегу
погляди сквозь разводы случайной
кафешки-шаламана
вот и встретишься с тенью своей на другом берегу

Посмотри на часы
тонкой стрелкой минутной рассвет
обозначен хотя и раздвоен двоичен двузначен
посмотри на часы
циферблат пустозвон пустоцвет
он дискретностью времени вывернут переименован

все проходит сквозь сон
и сквозь жизнь неизменно пройдет
что ж ты ходишь по кругу
зажатый кольцом циферблата
а новейший Ясон
за руном снаряжая поход
захлебнется в волнах
принимая врага за собрата

так следи за секундой
пусть мигом сменяется миг
от трехмерного мира шагни в измеренье иного
или дальше хоть это
отчаянный путь напрямик
в многомерность пространства
не временного – временного

Тектонический сдвиг но в разломах брусчатки
серебрится трава наготове – дрова
ни скитов ни вериг это лишь отпечатки
на сегчатке роится гудит мошкара

пусть незрим ты но зряч и твоя креатура
водит кляч в поводу под разлет мишуры
смертоносная жила сиречь лигатура
метит дегтем и углем дома и дворы

слишком близок рассвет смерть струится рекою
зачумленный расстрига палач нищоброд
по колено в крови ты взыскуешь покоя
вспоминай забывая но память солжет

тектонический гул ни вины ни прощенья
Лакедему подобен бредешь сквозь века
но к истоку приблизится тропка оленья
и на том оборвется застынет строка.

Слепорожденная а надо ли гадать
о том чтобы впотьмах взмахнуть крылами
подлунную тебе не увидеть
душа мельчает в суетливом хламе
но зрячие касания твои
но пальцы как ростки деревьев чутки
а крылья их удвой иль раздвой
протяжно время не дробясь на сутки
слепорожденная вся жизнь твоя полет
ответ бесслезный миру или ветру
кинематограф черно-белый ретро
и кто там плачет кто там слезы льет...

погружайся в поток
захлебнись отраженьем межбликом
ибо это слиянье
таит обоюдную смерть
прихотлив завиток
алым – отблески дикой гвоздики
так на тверди земной
проступает небесная твердь

о высоком? – да нет,
не по чину твердить о высоком
вслед за ветром и снегом
в завьюженном городе N
по замерзшим протокам
по ранившим сердце осокам
мчится память набегом
утопая в снегу до колен

город выстыл и вымер
лишь флюгеры ветру послушны
бессловесный парад
проскрипит под луною в ночи
перепутаны карты – а вывески так
простодушны
не узнаешь своих
и под пламенем сальной свечи

в винной лавке сапожник
у пекаря дрыхнет биндюжник
в кузне жара добавят
девицы веселой мадам
словно сам камнерез
деловито гуляет острожник
и палач городской
невинно как новый Адам

Ну, не просто, а злой и страшный,
Я тобой уже надышалась.
По соседству пробирки наши.
Как живая, какая жалость.

УЖЕ НЕ

...И – не больно, а – мучительно,
Вот в тебя и не смотрю,
Словно в титрах заключительных
Разглашён волшебный трюк,

И не фокусник, а – форточник,
Жадность, а не ловкость рук,
И на память постановочный
Кадр «застукали невдруг».

ОБОРВАННОЕ

И если без причин болело сердце,
Кто безрассудный думал обо мне?
А если не болело и не ныло,
Кто равнодушный обо мне забыл?

И я – не я, а череда последствий,
Театр теней на зыбком полотне,
Натянутом на рамки временные
Судьбы.

ДОСТУПНОЕ

У меня вино и сладости,
Только не с кем говорить.
И с какой внезапной радости
Прислоняешься к двери

И глядишь, глядишь беспamięтно,
Безоглядно, как пропал:
Ложечки бездумный маятник,
Блюдца выгнутый овал -

Нереально и неправильно,
В ощущениях дано,
И молчанием отравлены
Люди, сладости, вино.

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ

Если муза – значит, музыка.
Вижу, но оглохла чуть –
В тихомодном кукурузнике
Ветер обогнуть хочу.

А у музы голос чувственный,
Песня сладкая слегка,
Самолётик же с причудами –
И сорвался с поводка,

Любит, понимаешь, сладкое.
Только воздух, как стена.
Манит муза шоколадкою -
Лишь бы ветер обогнуть.

Но во мне как что-то хрустнуло,
Все контакты сожжены,
Не хочу я, муза, музыки,
Тишины мне, тишины!

Лёгкость ангелоподобная
Нереально хороша,
И лежать в траве, и облако
Долгим взглядом провожать

КРЫМСКОЕ

На животе на шумном берегу,
И камешки блестят перед глазами...
Давно не жаль и другу, и врагу
Желать покоя, счастья и любви –
Увы-увы, людей не берегу –
За что же вам такое наказание? –
Да просто потому, что я могу,
А вам невмочь меня остановить.

Прилив-отлив, прибой-отбой и вот
Я на спине с закрытыми глазами,
А ветер лёг ладонью на живот,
И камни припекают со спины.
Увы-увы, до свадьбы заживёт –
За что же мне такое наказание? –
А чисто-просто кончился завод,
И в этом нет моей – ничьей – вины.

ВКУС И ЦВЕТ

трижды обшаришь сумку – конфеты нету
чем подсластить пилюлю о да пилюлю
ловишь за ломкие крылышки ах моменты
и пригвождаешь булавками прямо к тюлю

солнечный ветер треплет ажурный полог
с крылышек осыпается позолота
будет к апрелю день золотистый долог
да вспоминать его с нынешней горечью неохота

жутко полезная нынче пошла пилюля
даром что вкус... да лучше б меня убили
вот же она приска как раз к июлю
фантик единственной бабочкой не пришпилен

ЧИРИК

Чем дольше повторяешь про себя,
Тем ближе, тем живее, тем ужасней,
Что всё – любя, и даже смерть – любя...
Какие соловьи – такие басни:

Ни сыт, ни пьян и до смерти устал,
Ни петь, ни танцевать, а беспробудно
Считать овец, и если больше ста,
То снова пересчитывать не буду,

А просто каждой на ухо спою – любя –
О том, что не пристало соловью.

СМИРЕННОЕ

Пронесёт – не пронесёт?
С благодарностью за всё
Вот живу и не страдаю,
Словно бог меня пасёт.

Рядом серенький волчок
Дышит в шею горячо,
Но в расстройство не впадаю –
Обречён так обречён.

А над нами на суку
Бесконечное ку-ку –
Что ему ни загадаю,
Всё потом перемогу.

МЕТАМОРФ

Нет ничего.
А если что и есть –
Ещё нащупать надо и поверить,
Что горе излечимо, как болезнь,
Когда весна распахивает двери:

Едва извне воздушная струя
Щеки коснётся, прошлого не станет,
И острёе иного бытия
Замрёт над насекомыми чертами –

Как будто кто её предупредил –
Душа на миг застынет, как чужая,
А радужная тряпочка взлетит,
Иное бытие опережая.

ПРЕСНОЕ

Когда мне будет пусто и темно,
Я вспомню: всё на свете сочтено,
Отмерены и радость, и печаль
Так, чтобы каждый меру получал,

А там подсолишь или подсластишь,
Но привкус детства разве возвратишь..?
Ах, вот бы счастья пряная звезда
Перебивала вкус хоть иногда!..

СВЯЗНОЕ

оно ступало медленно в груди
и разразилось судорожным вдохом
на бесконечный миг опередив
переключение хорошо и плохо
на безразлично равнозначно на
один за всех ведь больше никого и
ну надо же как дует из окна
поёт в тебе сквозное роковое

АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ

НЕСОЗНАНКА

у треклятых трех вокзалов
кто из нас не танцевал
чотких много чистых мало
души черные как нал

мы учились в сраном лите
а до нас он был хорош
золотые лютолюди
сочиняли честноложь

рифмы глупая рутина
постпостпостпостакмеизм
выводил нас аругтонов
но не вывел на карниз

мы ушли в простые клерки
просто чтобы выжить здесь
в туалете запах ёлки
заглушает нашу смерть

где твой черный чемодан
на каком вокзале
неужели в нём мадам
та что мы пронзали

там наверно волоски
прочие волокна
не шевелятся мозги
ни вздохнуть ни охнуть

там наверно днк
или отпечатки
ткань реальности тонка

а меня обзывали «мао»
говорили китаец что ли
я тогда еще весил мало
я учился в начальной школе

всё что было материально
называлось именем ленина
подрастало полуподвальное
недобитое поколение

под общественный запах хлорки
мастурбировал ох как сильно
на стишок федерико лорки
ну который ещё гарсия

перевод неказист и труден
для учащегося дебила
но зато было слово «грудь»
и ого ух как это было

и ребенку в мозги запало
отложилось в его умишко
он потом получил два балла
и притом потерялась книжка

до сих пор это всё чешу я
и надеюсь что вам не видно
как «увел я жену чужую,
полагая – она невинна»

нас водила мамочка
утром в детский сад
нас бросала молодость
мордою в салат

но клыками зрелости
улыбалась мы
ели много мерзости
всякой шаурмы

а теперь осаночка
клонится к земле
докатились саночки
до факсимиле

стоптаны подошвы и
сношены мечты
ждут ребят дешевые
черные мешки

пора удаче на починку
пора успеху на ремонт
попала в механизм песчинка
ты вечно портишь обормот

в башке заела шестеренка
в душе застопорилось всё
бог плюнув отошел в сторонку
ну ёксель-моксель ё-моё

для джентльмена неудачи
всё как-то странно и не так
возьмёт за шкуру и утащит
и дело видимо табак

и бьется и не бьется сердце
непонимая волчья снедь
и вечно не хватает секса
какая жизнь как будто смерть

уйти в глухую несознанку
всё до пылинки отрицать
смотреть глазами кильки в банке
мол 5 you 5 не 25

не понимая их вопросов
не отвечать ни на один
не брать сержанта папиросы
и ухмыляться как кретин

пускай слеза почти беспечно
блеснёт чешуйкою слюды
и так же молча кануть в вечность
в широтах вечной мерзлоты

напьемся из-под крана и
немного покумекаем
когда мы стали странными
смешными неумехами

когда мы стали грустными
в конце какого месяца
как наши судьбы хрустнули
и более не клеются

мы более не ценимся
и больше не считаемся
в последний раз на сцене се-
годня наши таинства

на этой темной лошади
не прокатиться зайцами
сидим на красной площади
прибитые за яйца мы

приближаются взяли под ручки
верлиокие как алкаши
отобрали остатки полочки
нашептали каких-то Жи- Ши -

пидарасы хотели как лучше
чтоб курильщиков тоже к ногтю
подвернувшийся под руку случай
айне кляйне нах этот ноктюрн

уходи улыбаясь бездельник
полутрезвый полночный дурак
между ребер дебиальный будильник
повторяет пустое тик-так

топай-топай но знай своё место
на ваганьковском возле метро
только ломкая спичечка секса
разгорается жорким костром

напиши эсэмэску подружке
или даже на мыло — рискни
упади в серпентарий подушки
и приснится Жи- Ши через И

поэзия как я тебя любил
твоих друзей евреев и не только
я за тебя свою жену избил
и было мне ужасно одиноко

поэзия я не любил тебя
я не писал тебя венозной кровью
и ты не принесла мне ни копыя
но подошла молча к изголовью

ты до сих пор поэзия моя
а у меня нет мыслей или знаний
ты мне пришила крылья воробья
давай они ещё побудут с нами

и после смерти встретимся, конечно,
Втроем: не бог, не царь и не герой.
на это намекнут и наша внешность
И наших душ недорогой покроей.
В обыкновенном ожидании чуда,
Опять утра, с устатку, слегонца,
Там та же принимается посуда,
И те же пропиваются сердца.
Там есть одно, за продуктовым, место,
Которому нам изменять нельзя...
Три мушкетера третьего подъезда
Срывают пробку с первого ферзя

в ларьке закрытом стёкла желты.
по вечерам, по вечерам,
трещат задумчивые вольты
и ветер свищет между рам.

стоят заманчивые водки,
метиловый спящий ад,
на них замедленные орки
глазами страшными глядят:

о, вещее моё «ты там»,
о, вечная моя привычка...
подходят люди к воротам

ТАТЬЯНА ОСИНИЦЕВА

ИСКРЫ БОЖИИ ЛЕТЯТ...

Фотографии святых,
Хроник звуковые хорды
Слышат Баховы аккорды
И за печкой домовых,
Слышат риски голосов:
Просто ангелов штук со сто
В рядовых бессмертных соснах
На холстах в пыли снегов.
Там, где времени глоток,
Там, где мысли — электрички,
Вдох и выдох — переключки,
Кислородный тусесок.
Фотографии любви,
Фотографии блаженных...
Снежных сумраков вселенных,
Белых храмов на крови.

ЧЕХОВ. ЯЛТА.

У зимней Ялты море сквозняков.
И кипарис, и розы, и рассада
Для будущих гостей земного сада
И для театра тлеющих веков.

И соблазняется в огне без снов
Температуры липкая армада,
И за горой туманного распада
Испарина неношенных обнов.

Кого же слушать? Брызгами до дыр,
Чтоб никому не дать договориться.
Зачем не спит подстреленная птица
И материнский старенький Псалтырь?

Кого же слушать мне? Бессонный хор.
О чём «помилуй» просит на обедне.
Тот первый вдох и выдох предпоследний.
Итак, комедия. В Москву. В костёр.

Успех, провал, шампанское, цветы.
Сестра письмо писала Левитану.
И Мамин-Сибиряк немного пьяный,
Собака Бунина обозвала на «ты».

А дом бросай в пожар и так играй.
И всё по кромке, от тоски сгорая.
О, как все говорливы и стенают,
Зачем, зачем придумался ваш край?

Вишнёвый сад не молвит, не шумит.
И степь молчит, как вещая страница.
Куда летит подстреленная птица?
Туда, где море никогда не спит.

Как начинают петь календари,
На Небе нет ни дна и ни покрывки,
И март листает февраля излишки,
Желая зиму отблагодарить.

Он просыпается и на яру опять,
И неуклонно смазывает дали
Из статики в отвязанные ралли,
И кто-то начинает напевать.

И грубовато жаждать чепухи
От дикой и наивной подворотни,
И ощущать, как чавкают те сводни,
Что в лужах плавают солнце на стихии.

Потом ещё химеры, память влёт,
Поминки, рожи, пьянки и старины,
И выше море зелени и сини
За дымным горизонтом, где восход.

...

До мая, правда, надобно доплыть,
Возможно, никого не обнимая,
Вот только бы хоть что-то понимая,
Бессонница. Гомер. Куда ж нам плыть...

Ах, Боже мой, опять весна!
И мне не спится.
И дождь на пыпочках без сна
Идёт напиться.
Момент крутящий голоног,
Срывает крыши,
А ты всё также одинок,
Но стал потише.
Те мать-и-мачехи грехи,
Желтушный венчик,
На пустыре растут стихи,
Родится птенчик.
Созреет в Небе благодать –
Весна без края.
Чужбина – тоже чья-то мать,
Но нам чужая.
Давай, цыган, цыгань, мели
Свою повозку,
Пока пытаются корабли
У лодки сводку.
Пока земля – большой пустырь –
Нага до боли,
Лишь Свет, как вещей поводырь,
Взыскует воли.

Встречать и провожать весну.
Встречать и провожать победу.
Вчера ты с ней ещё обедал,
А нынче ты идёшь по дну.

Переживая свой удел,
О нём нисколько не жалея,
Нырять в тёмные аллеи,
Где был не нужен и не смел.

Где был забыт на много лет,
Ждал отклика небесной манки,
Взлетал на очумелых санках
В слободкин яблоневиный цвет.

Что детство? – Доля красоты.
Так возвращается победа.
И просыпаются побегу,
Твой хлеб – трава, весь мир – на «ты».

Так возвращается она
И принимает – луг да воля –
Страда, желающая поля,
Любовь, не знающая сна.

Вот и хозяйство марта
Не бережёт кармана,
Только синяк под глазом
Карих очей круги,
Это всего лишь марка
И по колено сраму,
Как возле сточной ямы
Жизни пустой струги.
Наст, словно растр моря,
Нотной бумаги папка,
Полный стакан капли
Пьянство закусит сажей,
Битый хрусталь тролля,
Мой молчаливый папка,
Ленты, венки, ели,
Невыносимо сглажен.
Жалко невыносимо,
Осип Эмильич слышит:
Здешний «намордник» жёсткий –
Тож пересылка – ящик,
Мёртвые срам не имеют,
Только о нас дышат:
Слово ли, вопль в россыпь,
Звёздного сна хрящик.

ПРИШВИН

Я сел у реки и вошёл в тишину*,
И был окольцован туманной волной,
Лишь глаз ястребиный за мышью одной
Прицелом оптическим правил струну.

И зорко, и медленно пятилась тень,
Молился восток на мираж-календарь,
Горючая белка, как будто Агарь,
Скрывала в гнезде свой ореховый день.

Шёл птичий урок под восторженный свист:
Качали касатки небесный пустырь,
И яблочный август – Фавор – поводырь –
Сиял, словно в схиму ушедший артист.

И там, в глубине, жил послушник любви,
Не ведая, где же его монастырь,
И трогал Природы лесную Псалтырь
Молчаньем весны, что пылает в крови.

** строка принадлежит М. Пришвину*

Когда мы думаем о лете,
За окнами стоит зима,
Когда мы думаем о смерти,
Нас ищет новая тюрьма,
Нам снится дальняя дорога,
Провинциальная страда,
И ждёт за пазухой у Бога
Неукротимая судьба.

Нам снится птица зимородок,
Лазорью пёрышек лихих
И ледяной лучистый продох,
Что движет корабельный стих,
Мороз пока ещё далече,
И наше небо из окна
Всё помнит звуки чудной речи
И золотую рыбку сна.

А мы всё думаем о лете,
Смирясь жёсткою зимой.
И мы всё думаем о смерти
И воле Света надо тьмой.
И восклицая, словно дети,
Влюбляясь в синий снегопад
Мы так волнуемся о лете,
Что искры Божии летят.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ

ЗЕМЛЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ

Кто я? Что я? Где? И я ли?
Может быть, весь белый свет
только отблеск звёздной дали
и меня в помине нет.

Всё, что видел я и знаю,
вправду ль стало мне судьбой,
а не сам я, вставши с краю,
наблюдаю за собой?

Всё о людях зная точно,
что я знал про существо,
в ком живу, приняв заочно
сам себя за своего?

Иногда всё то, что сделал
в жизни ты – как не твоё,
словно кто, вселившись в тело,
за тебя прожил её.

НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ

Здесь ребёнком, устав носиться,
ты ложился на землю вдруг
и следил, как чертила птица
в чистой сини огромный круг.

Было всё и легко и просто,
пролетал незаметно день,
звёзды в небе садились в гнёзда,
а на землю ложилась тень.

Заклѳчѳнный в одеждах тесных,
суеты до поры не зная,
ты ль не трогал стволов древесных
и не чувствовал запах трав?

В каждой луже вставали реки,
в каждом камне – уступы гор,
и открытые жадно веки
поглощали земной простор.

Пели птицы, смеялись дети,
и не зная душевных ран,
ты носился в нездепнем свете
и от игр был вечно пьян.

Столько смято травы и цвета,
троп исхожено, сбито ног.
Пропадая всё детство где-то,
разве вспомнить всё это мог

ты, гулявший легко и смело,
зажимая в ладонях рук
оперѳнные ветром стрелы
и за спину закинув лук,

что казалось, возможно даже,
несмотря на запрет Земли,
пересечь в час рассветной стражи
горизонта черту вдали.

ВСЁ

Всѳ гораздо проще и пошлее,
не сходи заранее с ума.
Видишь – ряд деревьев по аллее
и геометричные дома.

Слышишь – сердце трепетное бѳется,
чувствуешь – пульсирует рука,
и как будто меньше остаѳтся
времени смотреть на облака.

Календарь природы вдохновенной,
отрывая от себя листки,
голову морочит быстрой сменой
и неодолимостью тоски.

Ласковая явь деньков погожих
всякий раз приветствует в ответ
лицами и спинами прохожих
и унылым перецнем сует,

грохотом машин, спешащих мимо,
криком толп и воплями трибун.
И всё то, что есть, неоспоримо,
как кирпич, кувалда и чулун.

ЗЕМЛЯ

Рождённый и воспитанный в тепле,
очаг домашний ценящий сверх меры,
объём, судьбой положенный Земле,
ты в местные укладывал размеры.

А ночью и размеры и объём
планеты расщепляются как атом,
и мир трёхмерный вынесен на слом,
где веры нет любым координатам.

Где всё — одно пространство на кону
в космической игре за свет средь мрака,
и цифры раздуваются в длину,
а слово сокращается до знака.

В такую ночь забудь расчёт и речь —
в системах измерения нету смысла;
для вечности, готовой в бездну лечь,
тесны слова привычные и числа.

Пройди туда, где ходу нет часам,
а вечность быть лишь круглым повелела,
и ты увидишь мир, который сам
ни цели не имеет, ни предела.

И с этой обречённой пустоты,
устав бродить по высям необжитым,
обратно упадёшь на землю ты
и каменным замрёшь метеоритом.

В тот миг, когда нелёгкая несла
тебя во мрак, пронизанный лучами,
казалось, что земные все дела
не стоят лёгких крыльев за плечами.

Скитальцу нужен дом, тепло и свет.
Пусть небу нет конца и ночь стеною,
средь множества событий и планет
одна всегда останется родною.

СВОБОДА

Пространство, упираемое в небо,
границы отменяет и не столь
привержено обязанностям, где бы
бесчинствовал таможенный контроль.

Средь сфер таких, побрезговавши мненьем
общественным, держись лишь одного —
того, что под огромным подозреньем
сам факт существования твоего.

Не это ли приемлемая плата
за право редкий миг осознавать,
что даже бесконечность тесновата,
как старенькая детская кровать,

когда, с цепей спустивши мысли свору,
коль скоро стать бесплотным довелось,
ты видишь, вопреки слепому взору,
безлюдную Вселенную насквозь.

ПАДЕНИЕ

Ангел с улыбкою как дитя,
всё убивать бы тебе шутя,
совесть тревожить да душу жечь,
нимб свой выключи, выбрось меч.

Брось ты стерильную эту высь,
крылья сложи, по земле пройдишь,
пяточкой босой ощути росу.
Трудно, небось, парить на весу.

Здесь есть всё, что смиряет гнев —
деньги, наркотики, стаи дев,
ложе широкое, как танцпол.
Не говори мне, что ты беспол.

Не погнушайся людских забав,
болт забей на святой устав,
скинь одежды, отставь чины:
в бане и в подлости все равны.

В разных позах, забыв про честь,
можешь пить и гулять и есть,
перья пушистые извозив
в наслаждениях и в грязи.

И пускай протрубит отбой
саблезубый юнец с трубой,
призывая весь мир к Суду,
забивая стрелу в аду.

В бесконечную область тьмы
как красиво упали мы,
и какою была судьба,
даже если теперь труба.

Устав от жизни, жизни похлебав,
окрысившись от дел и словоблудья,
он снегу предпочёл дыханье трав
и людной суете – покою безлюдья.

Глаза стреляли в спину, били в лоб,
кулак ломал преграды без усилья,
и как хотелось жить и вечно чтоб
от крови занимались сухожилия.

Но годы отошли и на висках
рассыпались сединами устало,
и понял он, что сила не в руках,
а в том, что сердце мучило и рвало.

Сокрытое внутри, подчас звуча
то совестью, то богом, вечно пело.
Сгори в огне раздумий как свеча
и душу дай всему, что слишком тело.

НИЧЕГО

Сказать по правде, вовсе ничего
не надо нам с ветвей людского сада;
пускай иные рвут плоды его,
а мы пройдем, не бросив даже взгляда.

Подумать только, чем ты связан стал
с обрядом обязательств и расрочек,
когда взглянул на небо, как в кристалл,
и книгу судеб стал читать меж строчек.

Хотя соврал: порою от людей
отсутствие их нужно в поле зренья,
когда разнообразие идей
тождественно приливу вдохновенья.

Тогда куда спокойней дышит грудь,
и радость вдруг возьмёт да озадачит,
и кровь из сердца тихо держит путь,
хоть тело ничего уже не значит.

РУСЛАН МРАКАБРЕД

ЛУННАЯ БАТАРЕЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЧАЙ С ДЕСЕРТОМ

настоявшийся мрак осветлён лунной долькой
что подошвами в лужах размята
и прохлады подмешана мята
подсластим ночь друг другу и только

седеет крона от ненастий
спибают память и ветра
зарубкам тесно на запястьях
судьбой исписана кора

однажды в тихом старом скверце
когда он был луной облит
на дубе вырезали сердце
с тех самых пор оно болит

ЛУННАЯ БАТАРЕЯ

I

батарея луны под завязку заряжена
индикатором силы горит из-под век
в разношёрстном зверинце взбёрошенных
ряженных
я ночью маскарадный костюм человека

я вонзаю клыки словно вилку в розетку
зажигаясь и пью электрический сок
и в седые виски до нажатия резета
лунный спутник транслирует пульса вальсок

по антенне хвоста конденсатору сердца
по солёному электролиту слюны
но помехами рябь пробегает по шерсти
если красным налит индикатор луны

II

здесь питание бесперебойное
регулярная подзарядка
всё тут встроено всё настроено
по инструкции по порядку

починю тебя только вывези
я тюремщик и я беглец
я на проводе как на привязи
на разъёме как на игле

я стал мысленно-управляемым
и команды сигналов чту
это чувство незаземляемо
ведь земля из-под лап ту-туууу

заряжу тебя только вывези
не электро же я щенок
я на проводе как на привязи
если сердце подключено

ЧЕРНОВИК

это слова но и Слово (с заглавной)
тоже лишь слово (подчёркнуто красным)
слово есть слово (исправлено: слАва)
и(жирным шрифтом) звучит не напрасно

всё словеса (запятая) однако
(и на полях два красивых цветочка)
чёрт с ним (и три восклицательных знака)
я бескорыстно люблю их (и точка)

ЗАКЛЯТИЕ

Все дороги, тропы, пути вовне
В сеть сплету, завью, завяжу узлом.
От меня пойдёшь, а придёшь ко мне.
Побежишь, а я – на пути твоём.

От меня с горы – словно в гору, в зной;
С ветерком – как в шторм, против всех ветров.
И луна, и тьма заодно со мной.
Я кольцом огня осажу твой кров.

От меня запрёшься, а я внутри.
С четырёх окон я войду в твой дом.
Загляну луной. Жди беды, смотри!
Сквозняком ворвусь, просочусь дождём.

Я – трясина, лес, тёмный омут, степь.
Заблудись во мне, утони и спинь!
Моё слово – сталь. Нерушима цепь.
Ты теперь моя. Навсегда. Аминь.

белое вино на чёрный день
растворится в море белой ночи
так не белом гаснет дребедень
тёмных словно портер белых строчек

до утра за кухонным пиить
чёрным да по-белому япона
беленькой по-чёрному топить
то что в твёрдой памяти не тонет

ЗМЕИНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ

все пути-дороженьки вдаль и вглубь
сбрось чужую кожу людских одёж
все пути – да в кольца в шинящий клуб
как сдавлю в объятиях не уйдёшь

ядовито знание что храню
раз вкусив забудешь что знала до
пустит корни в жилы начнёт возню
заползёт в хребет тебе холодок

раз пришла оглядываться не смей
кто покажет спину мне обречён
будешь как богиня долины змей
самой гибкой-ласковой между жён

от змеиной клятвы не отрекусь
я лишаю жизни и я лечу
поцелуй отравленный взгляд-укус
загляжу-замучаю заглочу

а судьба-тропиночка вдаль ползёт
что язык раздвоена выбирай
с языка и яд с языка и мёда
так шипел Привратник у входа в рай

ДОРОЖНАЯ

за седой грядой
за седьмой водой
за границей родных миров
за сосной сосна
за весной весна
за тобой через вал и ров

за тобой через девять жизней
за тобой через семь смертей
тот кто призван и тот кто признан
не скулит на седьмой версте

за дубком сосна
за зимой весна
за разлукой твой дом вдали
и вольным вольна
за волной волна
за отливом всегда прилив

за затишьем маячит буря
а за бурей горит маяк
чтоб закат запекался буро
и рассвет закишал смея

с теми считаюсь чей взгляд как двустволка
переговоров с едой не веду
знаю одно волк всегда чует волка
это в роду

с вашим «по шерсти» давно не торгуюсь
серую шкуру ношу мехом внутрь
кость не приму вместо вражьей другую
только зевну

всё что поймаю в берлогу к трофеям
всё что в силке отгрызу отреку
лапу ли сердце мне шкура нужнее
мне и врагу

дырки в душе залижу и воспряну
выживу стану сильнее и грубей
если когда-нибудь ты меня ранишь
лучше добей

АНАСТАСИЯ ВИНОКУРОВА

КАЛИ-ЮГА

ОЖИДАНИЕ

Как будто бушуют в крови партизанские гены
врождённым умением – пускать под откос поезда.
И шепчет зима с лучезарной ухмылкой пиены,
что «здесь и сейчас» – лишь ступенька
к «туда и тогда».

Как будто за чем-то постыдным и тайным застала,
и как-то смешны оправдания – мол, я ни при чём.
Как будто настигла уже на подножке состава,
который решением сердца давно обречён.

Прошу – «Помолчи!» Приглашаю несносную
в гости –
усталая смерть со следами былой красоты.
Горят поезда. На моём календарном погосте
на холмиках прожитых дней вырастают кресты.

Хихикает мерзко ехидная старая сводня,
дыханием тьмы отравляя мои вечера
до самого дня, когда завтра ворвётся в сегодня
затем, чтоб уже никогда не уйти во вчера.

МАМА

О самом мучительном всуе не говорят,
тревожные сны списав на болезни роста.
Несёшь на руках двух весёлых и злых зверят
сквозь морок и зыбь безрадостных девяностых.

Сквозь сжатые зубы и горькое «не могу».
Сквозь слёзы в подушку, когда тяжело и тошно.
Сквозь чувство вины, что упрямо стучит в мозг
о том, что десятый день на столе – картошка.

Твой хлипкий предел до кровавых мозолей стёрт,
но кто же, кроме тебя, защитит от стужи
двух маленьких фей, двух принцессочек,
двух сестёр –
в суровом краю, где никто никому не нужен.

Слепую, щемящую нежность переборов,
в безмолвной надежде – а что ещё остаётся? –
одну отправляешь на запад, в страну ветров, –
другую на юг, где целебное светит солнце.

И каждой вдогонку шепчешь: «Беги, беги!..
Так надо. Птенцы покидают родные гнёзда...»

Когда-нибудь всем нам придётся вернуть долги.
Дай Бог, чтобы это не было слишком поздно.

Помни: нагим приходишь – и так же прочь.
Все барыши не дадут задержаться дольше.
Будь здравомыслящим и воздержись от просьб –
знай, что никто никому ничего не должен.

Вой на луну, рассказывай анекдот,
прячься от тех, кто требует обещаний.
Честно же: ты – никому, и тебе – никто.
Жизнь – чтобы жить, а не рыгаться в чужих печалях!

...И возвращайся в объятия пустых ночей.
И подыхай – самым жалким из одиночек.
Осознавая: нет мира страшнее, чем
тот, где никто никому ничего
не хочет.

сгинул ночью тёмною
пёс цепной –
ходит смерть бездомная
за спиной.

видно, все обеднею
казнены –
затаилась, бедная,
у стены,

чёрной сажей выпачкав
кирпичи,
движется на цыпочках
и молчит.

и ладонь когтистая
на плечо –
а в груди так чисто и
горячо.

встанем обе, хлюпя
в три ручья.
что ты ходишь, глупая?
чья ты, чья?

ЗИМА

Тёплых и отзывчивых – дефицит.
Ветер перешёл на дурной фальцет.
А вокруг – ходячие мертвецы
с первобытным ужасом на лице.

Я иду – свой собственный лжепророк –
по утрам шептать себе: «Да забей!»
и себя выгалкивать за порог,
тонко мимикрируя под зомбей.

Лишь печать молчания на устах
на последнем отданном рубеже.
Ледяной горгоны изящный стан.
Не смотри, оставь меня : я – уже

в чистом и бесстрастном твоём раю,
лишь в груди – негаснущий уголёк.
Все дороги тянутся к февралю –
как нечеловечески он далёк!

Ощупью сквозь месяцы темноты –
где-то есть счастливые времена,
где слова бесхитроствы и просты...

Господи, пожалуйста, верь в меня!

Я влетаю тебя в эти строки лазурной пряжей,
Я шифрую тебя среди сотен случайных слов.
Кто намерен уйти – не снимал бы ночную стражу.
Я практически злюсь: ты откуда
такой бесстрашный?
То ли смел, как герой, – то ли просто пустоголов!

Я ведь тот ещё клад – человек-тридцать-три-
проблемы!
Ни претензий, ни вздохов – всё правильно,
сам пришёл.
Мне плевать на закон и гуманность
к военнопленным.
Я вгрызаюсь в тебя и пускаю тебя по венам –
И мне в кои-то веки становится хорошо.

А потом я кричу – в испуге, на изморе,
И поди разбери, кто к кому угодил в капкан.
Зеркала покрываются трепетной зыбью моря,
Застывая улыбку единой в трёх лицах мойры,
Что влетает меня в голубую, как небо, ткань.

Священные скарабеи
расплавленным солнцем дышат.
А я становлюсь слабее
и типе.

А я становлюсь прозрачней,
лишь свет между пальцев брезжит.
И в мыслях одно - добраться
до побережья.

Без страха. Без сна. Без кожи.
Без слез провожаю лето.
И нет ничего дороже,
чем это.

FIN

Когда ощущаешь близость финальных кадров,
с тревогой хватаешь пульт, отматываешь назад:
ведь столько всего ещё можно успеть сказать!
Поверьте, хоть кто-нибудь – бапошка, ребе, падре!..
Один только шанс – ты справишь, ты всё
исправишь...

...но снова срываешься в вязкое дежавю.
В прекрасной иллюзии – вроде, ещё живу –
отдавшись во власть любимой до слёз отраве,
что въелась в тебя – до изгибов, до мелочей.

...И с каждым повтором – в тысячу раз горчей...

Ты всё ещё ждёшь, восторженный некрофил,
ты помнишь – это был лучший, великий фильм.
Лишь тени его сейчас на экране корчатся.
Ты слышишь за кадром тихое – отпусти!..
И всё, что ты можешь, чтобы его спасти, –
это нажать на play
и просто позволить ему
закончиться.

...А я превращаюсь в камень,
к земле прижимая пальцы,
колючими позвонками
вращая в тяжёлый панцирь,

легко привыкая к массе
нежданного атрибута.
В застывшей смешной гримасе –
вбирающей мир, как будто

в замедленной киносъёмке,
где каждая мелочь веска.
Уж если финал – то ёмкий.
Уж если судьба – то фреска.

И пусть суетой запахнет –
едва ли она коснётся
нефритовой черепахи,
лежащей навстречу солнцу.

...А я превращаюсь в слово.
Тяжёлое – взвесьте, смертьте.
И вдох – у черты разлома.
И выдох – длиннее смерти...

БАБА-ЯГА

Отвечай, богатырь! Не смущайся, не куролись.
Проходи, расскажи, как плутал в непроглядных
безднах.
За каким же лесом тебя занесло в мой лес –
чай, недаром семь пар бапмаков износил
железных?

Да, я знаю, где скрылась чудная твоя любовь –
я из тех, что сидят у черты и латают брешки.
Не ищи костяной ноги да вставных зубов –
может, ступу тебе? Слушай больше, что люди
брешут!

Что с испуганных взять – только крестятся,
как пройдут.
Вспомнив бабку и мать, обвиняют во всех
невзгодах.
Не живут мужики в проклятом моём роду:
как бы ни был силён – а иссохнет к закату года.

Может, если бы не одна – так слетела б спесь,
и повсюду бы звали работать и веселиться...
Я, конечно же, помогу – для того я здесь.
Уж, поди, заждалась несчастная Василиса!

Только в ночь не ходи. Оставайся до петухов.
Говори обо всём и отгаивай понемногу,
не казни сам себя, что нечуток и бестолков.
Вот волшебный клубок – он укажет тебе дорогу.

Провожу до ворот – а дальше уже нельзя...
Молоньей на висках до срока проступит проседь.

...А у той, что останется, будут твои глаза.
Но она никогда-никогда о тебе не спросит.

...А потом попадаешь в водоворот.
(Кто вздыхает мечтательно – тот беспардонно врёт
или просто не в курсе: давай-ка – попробуй выйди!)
Ты лишаешься воли и быстро идёшь ко дну,
на самую чёрную, самую глубокую глубину –
и вдруг начинаешь видеть,

что достаточно щёлкнуть пальцами – и прощай.
Твоя ненависть – камень, обида твоя – праща,
а отсюда в кого ни пульни – попадёшь не целясь.
Тут лобой как под лупой – распластан, смирен и наг.
Тут не спрятаться в полумерах, полутонах –
от оживших кошмаров, что прежде в мозгу вертелись.

И становится ясно, что есть только да и нет:
либо падаешь дальше – либо идёшь на свет.
Искушение силой – тут не ходи к провидцу!
Ты клянёшься себе ни разу не вспоминать,
сколько стоит благословенная тишь да гладь –
что придётся отдать, чтобы взять и остановиться.

А потом возвращаешься и наливаешь чай –
тает кубиком сахара выцветшая печаль,
а случайные гости щёлкают перед носом,
заглушая стремительный необъяснимый страх:
«Эй, принцесса, откуда это в твоих глазах?!
Избавляйся скорей – мы такое давно не носим!»
Ты безмолвно твердишь – отщепенка

чужих вальгалл,
что ни ты и ни та, что тебе улыбается из зеркал,
окончательно неопасны, – они не верят.
Провождаешь до остановки. Идёшь домой.

...А потом холодеешь, вдруг ощутив спиной,
как легко и безжалостно щёлкает это время.

КАЛИ-ЮГА

Кали бежала с юга с медной от солнца кожей,
С мёдом арабской речи, льющейся прямо в сердце,
К дому, в котором легче, к мужу, с которым – схожи.
К миру с привычным крутом сонных единоверцев.

Кали вернулась. Разом рухнула в небо полночь:
Здесь – ледяная скука, там – вождельный берег.
Прошлое длинноруко: горькое слово «...помнишь?..»
Бешеным дикобразом вертится в подреберье.

Гул крышесносной ночи, пряный тунисский морок,
Губы со вкусом соли в старом автомобиле.
Полно, при чём тут совесть? Кали всего лишь сорок.
Кали всего лишь хочет, чтобы её любили

Жарко и безотчётно – пусть и ни слова правды.
Сон на плохом английском – «...эти глаза – как
звёзды!..»

Тот же, кто нынче близко, засуетится справа,
Клонув неловко в щёку: «Буду сегодня поздно».

Кали бросает мужа, лечит грибок и триппер.
Что за досада – сохнуть в этом нелепом теле!
Соединилось всё в единственном честном всхлипе:
Кали всего лишь нужно, чтобы её хотели,

Чтобы её ласкали – тихо, светло и ясно, –
Гладили по затылку, нежностью убаюкав.
И целовали – пылко. И прижимали – страстно.

«Юга! – бормочет Кали. – Вечного юга, юга!..»

...Это внутри – безжалостною строкой,
горьким соблазном, горящей в груди отравой.
Ты совершенна. Зачем я тебе – такой:
с сердцем пустым и застывшей в глазах тоской?
Я на любовь к тебе не имею права.
Милый ребёнок: не взаться – не надломив.
Ты не поймёшь, я уже навсегда останусь
узником неприступного замка Иф.
Зрелость и мудрость – просто осенний миф,
созданный, чтоб без паники встретить старость...

...Это внутри – так бьётся о рёбра боль,
тщётной надеждой медленно истекая.
Я, как собака, следую за тобой,
пряча глаза и смешиваясь с толпой.
Глупый ребёнок – зачем я тебе такая?..

АЛЕНА БАБАНСКАЯ

НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ, НА КОНЧИКЕ ПЕРА...

МАРТ

В лесу ни былинки зеленой,
Лишь солнцем без края залит
Весенний пейзаж запыленный,
Слегка полинялый на вид.
Пруды не оттаяли толком,
Но всюду пернатая рать
Затеяла тенькать и щелкать,
И глоткой луженой орать.
И снова живется с азартом,
И ветер гудит в проводах.
Вот карта бубновая марта,
Попробуй ее прогадать!

ВОСКРЕШЕНИЕ

То скрипки вой, то барабан
Посльшится.
Пока ты выжимал раба
До ижицы.
Пока ты выживал, как мог,
И вкальвал.

Ты был почти что царь и бог
Без малого.
И вот уже достиг небес
Обители.
А раб тотчас в твоём воскрес
Ценителе.

КАШИРА

Неуютно, зябко, сыро,
В непроглядной дымке лес.
Здравствуй, мать моя Кашира,
Поиграй на трубах ГРЭС!
Что-нибудь такое сбациай
Об устройстве мировом,
Чтобы сразу разрыдаться,
Утираясь рукавом.
И пока февральский, тощий
День над нами не погас,
Выпьем с горя, что попроше,
Или водку, или квас.

ЖИВЫ!

Коль с неба просыпался птичий галдеж,
В пушистом сугробе его не найдешь.
Повсюду трехпалые метки
И ягоды, сбитые с ветки.
А кто беспорядок такой учинил
Кто руны писал без ума и чернил?
Чего тут гадать и дивиться,
Дрозды, воробьи да синицы.
В морозный денек, что сиятельно пуст
Из варежки-гучи напали на куст,
Трепцать бы им все, веселиться
И куст как живой шевелится.
Мы живы, мы живы, мы живы чив-чив!
Четвертую скорость на сердце включив.
Упрямыми клювам вертят.
И нет ни печали, ни смерти.

НА ДВА ГОЛОСА

Мир висит на кончике пера.
Все на свете – буквы и чернила,
В рифмы развеселая игра.
Я тебя намеренно сочинила.

– Мир застыл на кончике иглы.
Кто в твою поверит ахиною?
Уколись, забудься и умри.
Я тебя придумать не сумею

НИКАКОГО ЖУРАВЛЯ

Как ты зиму не расписывай,
Красок две, от силы три,
Наливай себе анисовой,
Да окошечко протри:

Все неясны очертания
Середины февраля,
Лишь синичье щебетание.
Никакого журавля.

SLEEPING BEAUTY

Там, где в гробу стеклянном
Царевна спит
Лужи под целлофаном–
Осенний хит.
Может и склеит ласты
В своем гробу.
Сумрак лежит, как пластырь
На бледном лбу.
Вздоргнет порою решетка
Ветвей над ней:
Солнечный луч короткий
Кольнет больней.

МОТЫЛЬКИ

Мотыльки, прозрачные как призраки,
В свете солнца кружатся над лужей.
Не гадай, кто званный, а кто призванный,
Те и эти с разумом не дружат.
Счастлив будь, и ни о чем не спрашивай,
Отдавайся танцу без оглядки.
Сколько мотыльков сгорает заживо
В равнодушном мировом порядке.
Но пока трепещут крылья в воздухе,
Где тепло осеннее повисло,
Не гадай, с какою целью созданы-
Может быть, без цели и без смысла.

ИЗ ЦИКЛА «МУЗЫКА»

танго

Ах, это аргентинское танго.
Мы снова проверяем: кто кого?
Кто музыку заказывал, кто платит –
Значенья не имеет в результате.
Мне этот ритм никак не побороть:
На три шага и полный поворот.
Пока меж нами музыка не смолкла,
Взлетать шелкам и кастаньетам шелкать.

музыка

Без уважительных причин
Давай-ка музыку включим.
Какая странная музыка,
Она слепа и безъязыка,
Сентябрьским залита дождем,
В ней смысл попутно был рожден,
Но все, от мала до велика,
Ее пытаются пиликать.
И яшень слышит, остроух,
И лист ложится на траву,
И перелетных певчих стая
Ее за нотный стан хватает.

чардаш

Наяривает чардаш баянист
Он, как и я, крошечный оптимист.
Горяч как пламень, холоден, как лед,
Его и смерть, пожалуй, не проймет:
В подземном переходе через Стикс
За нами будет музыка нестись:
Минорные, мажорные лады
У черного молчания воды.

Для осени с оркестром

Нине Резник

Концерт для осени с оркестром
Гудит и булькает по крышам,
Пугает мокрую окрестность,
Скользит ботинками по жиже.
Концерт для осени с оркестром
Слова народные и ноты.
Сколь слово дикое не пестуй,
Оно не ведает заботы.
Оно беспечное, резвится,
Не тратит время на страданье:
Ах, лишь бы с музыки не сбиться,
В такт попадая мирозданию.

ВЛАДИМИР ТАРКОВСКИЙ

НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ

Твой мейнстрим – наша высшая степень родства,
Не проходит и месяца чтобы без качества цвета,
Там где сущность тронется, мы делим обычно на два,
И в игольное ушко продетый

Замыкает петлю верблюд, точен зоркий глаз,
В корабельных пустынях оазисы кровью топят,
Медвежонок зашитый стал символом первых нас,
Путовкой взгляда исчезнувший в водостоке.

Что ты там видишь, плюшевый сукин сын?
Зрчком поделенным на два, в польнях без улова
Шины машин, да растроченный крепдешин
Кукольной юбки, ушитой до вне закона.

Перестань говорить, если лето всегда не за нас
Если лужи весенние – желчь скороспелых
причастий...

Если пить и любить – только в тамбуре –
здесь и сейчас,
Прижимаясь лицом, как к стеклу, в давке утренней,
К счастью.

ОСЕЧКА

Как нечто сна не стоящее даже,
Лечебной извести на раненных стволах –
Дух памяти уже обеззаражен
В ее глазах, словах...

В ее походке твердо убежденной,
В трех оборотах верного ключа:
Три раза вправо, влево дверь, лицо без кожи
Уткнулось в зеркало, сквозь самое себя.

Не стоящее соучастья в случае,
Ни языка, ни долгих лишних ласк –
Все ниже – окупается с получкой,
Дробя экстаз.

И в никуда придя из ниоткуда
Не испытав ни страха ни тоски
Сбрасывает с отцветающего чуда
Седеющие волоски

Ведет дневник, но ест его страницы –
Все не беда: забудем, прожужим...
Уже не каркают, но только плачут птицы,
Окольцевав небесный водоем

Да, птицы могут плакать, это правда,
Спроси охотника с подранком на руках
Густеет кровь, затягивая ранку –
Я все прощу, я все прощу мой птах,

Как нечто сна не стоящее даже,
Воды болотной юркнувшей в сапог.

Храни, за дробовик, осечку давший,
Не давший нам двоим подняться, Бог

ВАРИАНТ СОЗДАНИЯ

Океана не будет, но будет катиться воск
По материи скал, подчеркнув их гранитные скулы.

Ну зачем ты купальный костюм натянул, водонос?
Сдохли все, подчистую, заметь, до последней акулы.

Тихо плачет рыбак, под гамак приспособив свой невод
Старый евнух в гареме русалок прилипших ко дну.
Только дайте мне повод – он стонет, – лишь дайте мне
повод
Или ту золотистую, или рябую, вон ту.

Он их справно кормил, он дарил им букеты кораллов,
Выпускал из сетей, чтобы снова однажды поймать...
Акварина, Аквария, что с вами бедные стало?
Где отец-волнорез ваш, и где луноокая мать?

Будут новые воды. Кровавые, жуткие воды.
Фея войн понесет от пропившего ум рыбака.
Я лоблю вас, – прошепчет он, не понимая природы,
По подобию созданных,
выбравших берега...

Высшая лига, зрители, ставки, купюры мятые
Без макияжей, цапек, без дорогих понтов
Ловили сачком для бабочек клочки облаков
закатные
Это ли не причастие всех маленьких городов?

Но за подкладку счастье, знаешь, забьется бывает и
Вроде бы как бы есть оно, и вроде бы как бы нет его
Бешено птица бьется, в острых силках камлает
Как же все близко: озеро, гроздь рябины, дерево

Пуля висок царапает, состав в сантиметре
проносится
Солнце слепит, по обручу, ходит кругами блик
Глаза разделяет ясные, грубая переносица
Левый – слезник расходует, правый, почти привык

НА ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

На поиски приключений, Родная
Побежим
Я только спасу свою рыбицу
(рыба гниет с головы)
Прихвати стальной обруч для игры в серсо
А я заячью лапку возьму, и пучок оберег-травы

Ах как станем с тобой веселиться
Плавать в лучах заходящего солнышка
Выгибать спины, щуриться и смеяться
Пусть снайперы водят прицелами, смотрятся стекла
Им будет до нас не добратся

Ха ха! Не добратся! Мы мертвые, детка, мертвые
Чернее осины той, суше всех рыжих сосен
Мы только с тобой и можем, два калача тертых
Антибиотиком снега, воспаленную накрыть осень

И на загнивающих пустошах, на язвах опухек
обветренных
В доску своими будем, в тапочках и халатах
Вот она лобушка наша, праведная и жертвенная
Мы мертвые, искренне мертвые, большего нам не надо!

На поиски приключений, Родная
Не спать! Не спать! Поднимайся смурная девка!
Не ты ли того хотела, плавиться не сгорая?
Мост через речку алую перешибить плевком?

Вечность сегодня ссучилась, скорчилась,
да в отказ пошла
Где же теперь тарелочки мытые, кошки сытые?
Желай меня и не желай меня, это теперь не важно
Рыбница-душенька бьется, смотрится в щель корыта

Ну а потом, со временем (время теперь –
ничтожество)
Может быть и согреются в тапочках пальцы ног

Тожественны станем в сумерках, ведь если и
смерть – *у-божество*
Так значит в ногах ее наш с тобой, прижился
какой-то Бог.

АБСОЛЮТ

Сворачивая по водке, он отвинтился в дружбу.
Сергей Арешин

Сворачивая по водке, на повортах: *да ну нах!*
Болтался в волнах соленых, давился песком в дюнах.
Истина – не молчи – истина лишь одна:
Заныривая у берега – касаешься мордой дна.
Полпами обрастаешь, таранишь башкой коралл,
Рифмами повторяешь: *хотел, отбирал, страдал.*
Узкие ласты, клешни сточены, выбит глаз,
Кто сверху уже не важно – Бог или водолаз,
Кто отвинтился в дружбу, а кто перешел на брас.

Сворачивая не глядя, заламывая плавник...
И как бы уже не страшно, как бы уже привык,
И ты-то на лодке утлой, бьешь по воде веслом,
И я то грёбу на полной, сквозь рифов вхожу в разлом

Все сколы, морщины трещин, порезы уже на мне,
Выныриваешь у берега, становишься весь в огне,
Сворачиваешь по водке, а может по вискарю,
В осадок на дне бутылки, в единственный абсолюто.

ВСТРЕЧА

В этих длинных очередях, в этих снах непролазных,
С номерком на ладони дождаться местечка у входа,
И уйги, убежать без оглядки, свалить недосказано,
Босиком, по сугробам, задворками, огородами.

Чтобы ты не ждала, а я вот, уже здесь, под окнами,
Без шапки, слезятся глаза, и в пальто распахнутом.
Чтобы встретила так, как прощалась однажды
с мертвым:
Прикоснувшись губами ко лбу ледяному,
влажными.

И все станет у нас, зазвенит время
в подстаканниках,
Поезд тронется вновь на рассвете – горячий,
дышащий,
И застынет в глазах навсегда светлой грусти таяние,
Так покойные смотрят на спящих родных
своих выживших.

Вывод только один: отрекаясь не быть
обреченным,
В этих дырах зрачков, в этих серых
хрусталиках глаз
Долго вижу себя, проигравшим и
опустошенным,
Жизнь прошла без тебя, небо вытерло ноги о нас...

ФЛЕШКА

Фб – я тебя сохраняю на флешку,
Березу обнявшую, в панаме джинсовой –
Так верно шурился Нильс гусей провожая...
Судьбой цифровой проникает в носитель жизнь.

Все пройдет, ничего, просто так же всегда
улыбайся,

Пока берег мелеет и входит на сушу камыш.
Я признаюсь тебе, да и сам не забыть
постараюсь,
Ты с такой же улыбкой, свернувшись
калачиком спишь.

Этот лес без тебя, для меня – весь в костях
скотобоен,
Костяника суха, у малины токсичны шипы,
Даже лист тополиный под ветром, мертвецки спокоен,
На болотах не ряска, но будто бы пепел и пыль.

Потому я ребенка – тебя сохраняю на флешку,
Лямка комбинезона слетела, упав на бедро –
Это Нильс зацепился, с гусей опускаясь в подросток,
Это все что придумал я, все, что теперь мне дано.

Эта цифра души - этот пикселем сотканный образ,
Монитора дешёвого жидкий фальшивый кристалл,
Да глаза мальчугана, ушедшего хитро от розги,
Да родного лица, самый милый на свете овал.

И птицы нам садились на самые плечи
И красивые женщины целовали нас в затылки
С платьями ярче чем закат в июле
С платьями пахнущими травой июльской
И было добро и было небо
И взгляды и губы и было живое
И играли в песочнице дети забыв о пощаде
Я помню я видел я плакал и клялся

СВАДЬБА

Ты в подвенечном платье, как в костюме
Снежинки, двадцать лет тому назад.
Жених весь потный, рыбой плещет в трюме,
С неясной поволокой на глазах.

Еще чуть-чуть, еще одно мгновение –
Алтарь в слезах, два безупречных *да*,
Есть напряженье, ни одно движенье
Вам не дается больше без труда.

Джазмен, виолончель терзает, тучный,
Уж гости в хлам, но вы еще трезвы,
И вроде бы весь мир благополучен,
И никуда не деться от весны...

Стаканы водки, вокруг себя расставив,
Пустившись в опалелый хоровод,
Я ничего тебе не пожелаю,
Спущусь туда, где пьянствует народ.

Но вспомни, как горели наши губы,
Как ты тогда еще была жива,
О Боже, трупы! Здесь танцуют трупы,
Евреи, русские, но больше – татарва.

Так что же ты в углу сидишь недвижна,
И коньяка не в силах пригубить,
Тебя, себя, и звезды ненавижу,
Жаль, так бывает, как тому не быть?

А после, на рассвете, весь горячий –
Башкой в сугроб, как бурая лиса,
Неважный, и уже ненастоящий,
С оледеневшим золотом в глазах.

МУХИ ДРЕВНИЕ НОВОЙ ВОЙНЫ

Мухи древние новой войны
Залетают к нам в окна жужжат издевательски
А мы войны старыми ставшие
Ладонями отмахиваемся сонными

Где утра те с поцелуями царственные
Где доспехи те тел обнаженных
Друг о друга лязгающие перед битвой
Нового дня

Где пиалы наши с кровью вишневою
Заставлявшие их капитулировать
Сонмы бойцов теряя

Мухи древние новой войны
Мы плацдармы теперь для вас
Затонувшие корабли самолеты разбившиеся
Повернулись друг к другу спинами
В проржавевших латах

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО

О любви и не только и об облаках
Обо всем обо всем о внезапных потерях
О внезапных находках о лужах апрельских
И о том как саднит после выхода в космос
В безвоздушное имя твое с поцелуем мне чуждым
Не моим прилетевшим из северных странствий

О траве после нас больше так и не вставшей
О дешёвом металле на пальцах и в мочках
Комариных укусах и юрких котятках
О коровах в тени тополей перегретых

Пренебречь пошлой рифмой и ритмом солдатским
Только чтобы стрекоз на плечо не садилось
Их глаза разноцветные смотрят и видят
Сквозь меня сквозь мои потроха проникают

Я же вижу тебя как тыходишь нагая
В воды тихих озер чьих не вспомнить названий
Где одежды твои навсегда улетают
И ты голая ходишь по берегу скорбно
Со стыдом прикрывая озябшие груди
А вокруг только запах полыни стрекозы
Донсящие где я
как больно и страшно

Я хочу в этих сумерках спать у тебя на руках,
Разлагаясь, быть может, представив нас
в склепе фамильном,
Закапив оба глаза смотреть в свою память сквозь страх,
Даже будучи мертвым, оставшись влюбленным
и сильным.

Я хочу в этих сумерках знать, что ты будешь жива
Еще долго-предолго, румяная и молодая,
А когда время кончится, реки одев в рукава,
Я тебе на блок-флейте о грустном бессмертье сыграю.

Я хочу в этих сумерках, в этих миазмах луны,
Ощущать только твой, еле слышный амброзии запах,
И покуда твоей холодок не коснулся спины,
Приходи ко мне чаще, ищи меня в сумрачных травах...

АЛЕКСАНДР КРУПНИНИН

МЫ НЕ ПРОСТО ПЬЕМ КОФЕ

КОГДА Я УЕДУ НА ОСТРОВ СКАЙ

Т. С.

Когда я уеду на остров Скай смотрителем маяка,
В городе С. никто не заплачет, потеря невелика.
А там, внутри маяка, будет лестница длинная,
как до небес.
Поднимаясь по ней, я постепенно забуду город С.,
Забуду вокзал, похожий на древний храм,
Забуду речку, которая делит город почти пополам,
Забуду гостиницу «Утренняя звезда»,
А потом забуду тебя, забуду тебя навсегда.
Надо мной будет небо, внизу будет остров Скай,
И, поняв, что закончилась жизнь, я подумаю
«ну и пускай».

Я проверю лампу и стану спускаться вниз,
И забуду, что я Александр, пусть меня
называют Крис,
Подберу фамилию, чтоб начиналась на Мак,
И останется только небо, только море и этот маяк.
А жизнь того, кто был мной, оборвется, как
тонкая нить.

Без города С., без тебя он просто не сможет быть.
Крис полюбит стоять ночами на своём маяке
И только днём во сне иногда будет слышать
слова на неведомом языке.
Их выстукивали колёса, когда кто-то другой
подъезжал к городу С.,
Кто-то другой, который теперь исчез.

САПФИРЫ

Я подарил тебе тринадцать стихов-сапфиров,
ты сложила их в коробку от доширака
и увезла в свой странный город Камышин,

и там они исчезли в лабиринтах твоей
квартиры,
где безухая хромая собака,
где пауки с крестами на спинах
по углам плетут паутину,
где мыши...

где мыши ночью выходят на кухню,
пробуют мясо, которое неделями тухнет,
исследуют посудные горы,
бегают, ведут понятные только им разговоры
о чём-то низком,
натываются на коробку,
трогают лапками, но довольно робко
и быстро возвращаются к тарелкам и мискам,

к тарелкам и мискам,
которые никто никогда не моет,
никто никогда не моет...

а хромая собака не в силах прогнать их и
только воет.

Этот вой покрывает город Камышин,
и плачет глухонемой алкоголик Гриппа,
хочет сказать о жизни, но не может ни бе, ни ме,
и чувствуют что-то страшное даже мыши,

а тринадцать сапфиров мерцают тускло во тьме.

ОДИНОЧЕСТВО В КАМЫШИНЕ

Когда ночь накрывает этот странный город
Камышин,
Когда обыватели спят – никто ничего не
видит, не знает, не слышит,
В гороховых панталонах, сиреневом парике
Спускается с чердака глухонемой алкоголик Гриппа.
Он целыми днями сидит в каморке и пишет,
А ночью по Пролетарской улице ходит к реке.

Он садится всегда на своём любимом месте,
Достаёт пирожки, начинает есть их,
Особой водкой наполняет стакан.
Дружить с таким человеком – немного чести,
Поэтому он одинок, никому не известен.
Проходит час, и он уже в стельку пьян.

И тогда во Вселенной меняется что-то –
Во вневременную кофейню открывают ворота,
В эти ворота входят Курт Швиттерс и Хуго Балль.
В цветных париках, в смешных кюлогах
Так же, как он, похожи на идиотов,
Они садятся рядом, пьют кофе и смотрят вдаль.

Появляется дворник Иван Дерендяев,
Ругает собравшихся на берегу негодяев,
Человек нерусский, прокуренный, тёмный,
довольно злой.

Он думает: «Как только носит земля их?
Когда, наконец, эту сволочь перестреляют?»,
Скрипит зубами и яростно машет метлой.

Гриша хотел бы сказать ему: «Да, уймись ты!
Когда мы уйдём, здесь будет кристально чисто. —
(Гриша читает претензии дворника по
движениям губ)

Мы не просто пьём кофе, мы дадаисты», —
И слезы текут по роже его неказистой,
Текут оттого, что дворник не образован и груб.

Потом просыпается Гриша в моче и кале
И понимает, что не было Швиттерса с Баллем,
И жизнь, как прежде, холодна и пуста.
Но разве ворота в небе не открывали?
Придумать такую глупость он мог едва ли,
К тому же помнят нежный вкус капуччино его уста.

ПОЭТ

Поэт был такой, Иннокентий Свеклов.
Кричали, что он разрушитель основ.
А он только строил цепочки из слов,
Стихи составлял из видений и снов.

Подолгу любил он смотреть на обои,
Рассматривать белое и голубое.
Там жёлтый квадрат, там зелёный кружочек,
Там россыпь таинственных розовых точек...

Он думал, что слово имеет свой цвет,
А смысла какого-то вовсе в нём нет.
Стихи — это просто узоры из слов,
В них пользы не больше, чем в рёве ослов.

И вот, посадили поэта в тюрьму,
Утрату единства вменили ему.
И там, на холодной тюремной стене
Успел написать он «Стихи о весне»,

«Стихи о маршале Е»,
«Стихи о маршале Лине»,
а также «Стихи о змее Кундалини».

Он начал, конечно, с маршала Е,
который тихо сидит на скамье,
и только в кои-то веки
приподнимает веки.
Бушуют различные бури,
а маршал сидит и курит,
и думает маршал Е о Кундалини-змее.

Потом перешёл к змее,
столь чтимой маршалом Е.

И после змеи Кундалини
дошёл он до маршала Линя,
который редко сидел на скамье, как Е.
(Позже в пустыне Гоби
это его и угробит.)

И, наконец, стал писать о весне,
о тёплом апрельском дне,
о голубе на окне,
о солнце и о луне.

Потом на нары упал и спал...

И видел узоры из слов
Поэт Иннокентий Свеклов.

КУЙБЫШЕВ И УЙБЫШЕВ

Один был такой, по фамилии Куйбышев,
И ещё был другой, по фамилии Уйбышев.
Вряд ли сейчас многие помнят про Куйбышева,
И уж совсем никто не знает про Уйбышева.
А, тем не менее, этот Уйбышев
Был куда умнее, чем тот самый Куйбышев.
Но Куйбышев руководил Госпланом,
А Уйбышев был простым наркоманом.
Куйбышев произносил доклады, проникнутые
особой радостью,
Уйбышев всаживал в вену шприц,
наполненный всякой гадостью.
Уйбышев умер и валялся в вонючем подвале,
А Куйбышев, как принц, три дня пролежал в
Колонном зале.

Теперь Куйбышев горит в аду и просит святого
Иоанна:
«Отправь к моим внучатам хотя бы этого
наркомана.
Пусть передаст, лучше курить им марихуану,
Чем возглавлять что-нибудь, подобное
Госплану.
Но святой Иоанн на Куйбышева не обращает
внимание,
Он проводит время в весьма приятной
компани.

Многие помнят поэта Светлова,
Но мало кто знает поэта Свеклова.
И вот, наслаждаются общением святой Иоанн,
Светлов, Свеклов и Уйбышев-наркоман.
Они пьют холодный чай, едят авокадо,
А Куйбышев с завистью смотрит на них из ада.
Он заявляет: «Поэт Светлов занимался
романтизацией гражданской войны,
Героизацией всякой шпаны.
Он вдохновлял агрессию против беззащитной
Гренады.
В общем, ясно, что в рай его брать не надо.

А если уж взяли туда Светлова,
То надо гнать оттуда Свеклова,
Который занимался формальными
экспериментами
И разрушал единство между народом
и интеллигентами.

А если в рай берут всех подряд,
То почему меня командировали в ад?
И, наконец, непонятно, как это в рай попал
наркоман.
Выходит, у вас тут жульничество и обман.
Распределение происходит по блату.
Я буду жаловаться своему депутату!»

Святой Иоанн, Светлов, Свеклов и Уйбышев
наслаждаются авокадо,
Им даже не слышно, что там Куйбышев
кричит из ада.

Понятно, что в рай всегда попадают поэты,
А о чём они писали – важно не это.
И понятно, почему в рай попал наркоман,
Ведь за него молился сам святой Иоанн.
А Куйбышев может сколько угодно ругаться
в своей Геенне,
Там всегда появляется много самых различных
мнений.

УСПЕНИЕ

Убла-хан был некогда русским витязем.
Но случились странные события, вы удивитесь им.
После того, как его Алёна
Сбежала в какой-то монастырь отдалённый,
Убла-хан из русского превратился в монгола
И стал громить беззащитные монастыри и сёла.

Вот Убла-хан по лестнице поднимается в келью,
Где сестра Фотиния занимается рукоделом.

Сестра Фотиния, сестра Фотиния,
Твоя нить золотая и синяя,
Твоя нить голубая и серая.
Отче наш, Богородице Дево три раза и Верую...

Сестра Фотиния, сестра Фотиния,
Твоих мелких стежков аккуратная линия.
Скоро будет праздник Успения.
Плащаница и чин погребения.

Вот внизу закрипели ступени,
Но ты скрипа не слышишь, ты слышишь пение.
Твоя келья под самой крышей,
Но поют где-то выше, намного выше.
Святой Боже, Святой крепкий, Святой
бессмертный, помилуй нас.
Святой бессмертный, помилуй...
И в келью спускаются ангелы во главе
с Архангелом Михаилом.

Убла-хан врывается в келью
С очень неблагородной целью.
Он хочет расправиться с мастерицей,
Вышивающей к празднику плащаницу.
Убить, басурманин, сестру Фотинию хочет,
Но в келье нет никого, только перья
Архангела Михаила и прочих.

Убла-хан, подняв перо Архангела Михаила,
Тут же превращается в русского воина Данилу.
И младшие ангелы, улыбаясь, смотрят в окошко,
Как он рубит сопровождавших его монголов
в окрошку.

А на небесах новый голос присоединяется к пению
В преддверии наступающего праздника Успения.
Доносятся звуки евхаристического канона
В гармонизации митрополита Алфеева Иллариона.

КОГДА ЗЕМЛЯ ПОКРЫТА СНЕЖНЫМ СЛОЕМ

Когда земля покрыта снежным слоем,
Так на Руси издревле повелось,
На мёртвые поля выходят трое,
Владимир Рысь, Марк Крот и Павел Лось.

Всё замерло, не слышится ни звука,
Не крякнет гусь, не взвизгнет поросля.
Владимир Рысь идёт, поднявши руку,
В руке свеча мерцает у Рыся.

Сидят в домах, попрятавшись, девицы,
Глаза девичьи холодны, как лёд,
А генерал известный, Рукавицын,
По ящичку им каждый вечер врёт.

Все бабы спят, мужья впадают в пьянство,
Из них немногим видеть довелось,
Как рассекают снежное пространство
Владимир Рысь, Марк Крот и Павел Лось.

И день и ночь темно, на небе звёзды,
В руке Рыся чуть теплится свеча,
Они идут втроём, забыв про отдых,
По пастбищам совхоза Ильича.

Лютует Сталин, время Горбачёва,
Пожары, войны, что бы ни стряслось,
На снежные поля выходят снова
Владимир Рысь, Марк Крот и Павел Лось.

Потом пойдёт весною в рост природа,
Земля потом зазеленеет вся,
Но никогда в другое время года
Не встретишь ты Рыся, Крота, Лося.

ПОКИДАЯ ВАВИЛОН НАВСЕГДА

Ире Бородинской

Всё началось с того, что девочка Ира
покинула свою квартиру
и направилась в сторону детского сада,
но, не заходя туда,
прошла мимо его ограды,
покидая Вавилон навсегда.

Вдохновлённые этим,
двинулись другие дети,
и потом, захопнув любимые книги маркиза де Сада,
вышли воспитатели детского сада.

Уходят все. Идут столяры, побросав зензиобели,
идут хранители Музея изобразительных
искусств имени Врубеля,
забыв про свои коллекции.

Студенты философского факультета покидают
лекции.

Идут участники шахматного турнира имени
Чигорина,
идут актёры, не доиграв спектакль по пьесе
Григория Горина,

Уходят мэр Подлизонов и главный бандит
Кузнецов.
Мэр бандиту широкополой шляпой
прикрывает лицо.

Уходят крысы, мыши, бездомные собаки, кошки.
Над ними голуби, воробьи, бабочки, комары, мошки.

На выходе из города все строятся в колонны,
Двигутся в сторону Муромцевского района,
Девочка Ира, люди, животные, насекомые,
Кузнецов, Подлизонов.

Уходят все, в городе остался один Кирюша,
наверно, ничего не слышал – больные уши.
Динозавр Кирюша с белым пятнышком
на левой щеке,
лежит, вымирает где-то на чердаке.

А, может, просто не рискнул Кирюша
тащить свою огромную тушу,
а, может, законы нашего мира
он знает лучше, чем девочка Ира,
знает, что всюду будет противно и сыро,
а счастье нигде не найдёшь ни черта,
только одна суета.

Но, как бы ни был умён Кирюша,
таких, как он никогда не слушай,
ведь, если не подводит погода,
и в сердце поёт свобода,
так приятно идти, неизвестно куда,
покидая Вавилон навсегда.

ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В ХЕЛЬСИНКИ, ПОКИНУТЬ АД

Переселиться в Хельсинки, покинуть ад,
жить неспешно, почитать «Helsingin Sanomat»,
гулять по городу с элегантно тростью,
ждать Лидию, дорогую гостью,
и, получив в кофейне эсмэску, мол, еду, еду,
подпрыгнуть до потолка, вылив кофе на
брюки какому-то шведу.

На рыбном рынке для любезной Лидии
покупать копчёную салаку и мидии.

Копчёную салаку в бумажном пакетике,
конечно, атакует чайка, забыв об этике,
поэтому размахивать руками и кричать
«кыш-кыш, пернатый!»,
шокируя публику на Александеринкату,

и целовать губы, перепачканные салакой,
если бесценная Лидия не найдёт возражений,
однако...

ЛИДИИ КЛОДИИ

Я, как всегда, на Севере,
а Вы в переулках Трастевере,
Лидия,
заходите в церковь святого Эгидия,
спускаетесь в катакомбы...

ни о ком не тосковал бы я так,
видит Бог, ни о ком бы...

финские сосны покрываются инеем,
но музыка уносит туда, где римские пинии,
где воробышек клюёт ячменные зёрна с Вашей
ладони
и смотрит в глаза своей мадонне,
вдыхая тот единственный аромат от Марии
Кандиды Джентиле
или
кружит над головой Лидии Клодии...

в сером плаще не по погоде
на площади Кауппатори мечтаю о пароходе,
плывущем туда, где божественные мелодии,
к Лидии Клодии...

НАШ ПОЦЕЛУЙ ПРОЩАЛЬНЫЙ БЫЛ ТАК ДОЛОГ

*Наш поцелуй прощальный был так долг!
На улице, среди глубокой ночи –
Пожар далеких дней...*

Исикава Такубоку

Наш поцелуй прощальный был так долг
На улице среди глубокой ночи,
Что знаменитый врач-невропатолог
Приехал с медицинским молоточком.

Он стучал по каким-то нервным точкам
Но не могли разжаться наши губы.
Вокруг шумел народ, ругался грубо,
А участковый бил ногой по почкам

Багровый свет скакал по нашим лицам,
Сгорели Дом культуры и аптека,
То полыхал пожар далёких дней,

И семьдесят четыре человека
Отправили в районную больницу
С ожогами различных степеней.

И ШУМЕЛИ ДЕРЕВЬЯ

... и шумели деревья
покуда хватало глаз
и плакала
плакала выпь
и махала крыльями
покуда хватало уха

и кусты расступались
и тропинка тащила нас
в те края
где не требуется
ни зрения, ни обоняния, ни слуха

в те края
где муравей может ползти по руке
и казаться таким огромным
как будто это не муравей
а росомаха

в те края
где бревно очень похожее на судака
может плыть по реке
а река журчит
и выжурчивает
выжурчивает
что-то похожее на Н-моллную мессу Баха

в те края
где будильник встал навсегда
и где стрелки его – все три –

хотя и нежно, но крепко
оплела повиллика
в те края
где только и можно услышать «да»

но выпь всё кричит
и я не слышу
не слышу «да»
из-за этого крика

и лес шумит
шумит, покуда хватает глаз
и мне ничего
не видно, не слышно
из-за этого шороха, шопота, шелеста, шума и
грома

Мы идём по тропе
и она уводит, уносит нас
туда, где только и можно жить
где мы будем с тобой всегда
будем дома

ЧЕРЕНДЫБ

Тебе до моих дел нет никакого дела.
Наверно, ты замуж вышла, может быть, родила,
Однако, в толк не возьму я, как тебе не надоело
Писать дурацкие письма и спрашивать, как дела.

Дела мои вовсе не плохи, купил набор черендыбов:
Чёрные, цвета маренго и даже цвета экрю,
Ещё приобрёл аквариум, там плавают разные рыбы,
И я, наблюдая за рыбами, сижу весь день и курю.

С тех пор, как тебя забыл я, прошло уже много
месяцев.
Как тебя звали? Анюта? Или, быть может, Рахиль?
А ты мне всё пишешь письма, в которых
несёшь околесицу.
Слова какие-то тусклые, похожие больше на пыль.

Неделя идёт за неделей, качаюсь в кресле-качалке я,
Сижу, уставясь в аквариум, кручу в руке черендыб,
И только время от времени читаю слова твои
жалкие,
И только время от времени кормлю червяками рыб.

ДАМА В ТРАУРЕ

Дама в трауре рассматривает розовое платье
и мантилью,
покрытые более чем двадцатилетней пылью.
Платье сохранилось неплохо, а мантилья
трачена молью.
«Что делать? Что делать?» – вопрос отзывается
в сердце болью.

Идти за снегом,
Как идти хлебом –
Не точный привкус, пролитый белок.

Округлось миру придадут очки.
С тем миром ты играешь на очки
И каждый раз проигрываешь с честью.

В прихожей коврик пахнет мокрой жостью.
В окне мерцают окна,
Как рачки.

Когда приходят гости в темноте,
Глубоким вечером,
Фонарным, желтым светом.
Пологий склон,
Отвесный ультиматум,
На кончике порога - чистотел.

Когда остынет дождь,
И, не успев
Упасть,
Возьмет твои предплечья,
Когда подшерстком чувствуешь
Пьяный, млечный
Чужой порог –
Зев дома, досок пасть.

Когда я разбужу в тебе мотор -
Случайный генератор звуков, чисел,
И чистый лист,
И кислый клавишин,
Затылок твой погодонезависим,
Как кнопка.
Нажимаю на повтор.

Когда приходят гости в темноте,
Их, как меня,
На музыку кладут –
Лопатки в нотный стан,
Скрипичный ключ
Царапает ладонь,
Как новый берег
Для моряка царапал
Горизонт.
Вот пауза.
Вот зонт.
Занозы. Двери.
Фонарный свет,
Ночной диапазон.

А мне не стоит верить –
Не резон.
Кто врет мелодию,
Тому не стоит верить.

ТРИПТИХ

1.
Когда я счастлива, я всего боюсь.

Машин,
Отпустить тебя в магазин,
Вдруг я тебе приснюсь
В каком-то нездешнем и странном
Платье,
Звонков среди ночи,
Полетов, смещения позвонков,
Каких-нибудь страшных болезней,
Дремающих между слов,
Крутых поворотов, острых глухих углов.

Много чего боюсь,
Хотя я совсем не трус.

Просто счастье
Делает мир вокруг
Чудовищно хрупким.

Ты делаешь мир вокруг
Песочным печеньем -
Я вижу неловкий сруб
И крошки.
И мне не хватает рук
Его страховать -

Нелепый ребенок,
Живой, незащитный круп.

2.
Когда устаю, мне становится все равно.

Держать мир глазами,
Смотреть на него в окно,
Глотать его снова:
"Только не упади!".

Представлять, как в солнечной дымке,
Там впереди
Рушатся города.

Когда устаю, я уже не боюсь
Никогда.

3.
Тогда
Мне становится даже жаль,
Что вода не выльется через край,
Что не вырвется птица из-под ребра -

Зубы земли с налетами серебра,
Косой дождь из перьев,
Чудовищная жара,

Небесная сковородка,
Вскипевшая Ниагара,
Земная кора
Сочится смолой от жара,
Волшебная флейта,
Малахитовая гора, -

Что им тоже придет пора
Не сегодня и не сейчас,

Что мы держимся за балласт,
Что мусолим как фантик наш мир в горсти
И стесняемся
Отпустить.

СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОИХ ДОМАШНИХ РАСХОДОВ

Мне нужен маньяк,
Строгий, старательный
Эконом.

Он будет книги вести,
Говорить о том,
Сколько меня
Можно пустить
В расход.

Сколько нужно на сон,
На работу,
На искренний переход
На «ты», когда было «вы».

Черепица моей головы,
Ресницы мои,
Птицы, колечки, пшвы.

Он будет все измерять,
Отмерять мой сердечный
Звон,
Настраивать мне зрачок.

Будет вести учет:
Позвонки мои,
Запонки,
Пальцы наперечет.

Сколько крови потратить
На вдох, перевод, отчет?
На звонок зубному?

Я смотрю в пиджачок
Аккуратному эконому.

Он готовит на подпись
Мою часовую норму.

Мои города,
Внутренняя среда,
Сгиб локтя –
Здесь поцелуй,
А вот здесь – укол.

Крохи меня
В конце рабочего дня
Он стряхивает под стол.

Мир схлопнулся чемоданом,
Закрит на ручной замок.
Ангелы шмонают его, кидают
И рвут из рук.
То, что кажется линией близко,
На отдалении – круг.
Самолет идет на крутой виток.
Мы в багажном отсеке
Пьем разведенный сок.
Разрешение на посадку
Дают не вдруг.

Мир стучит у тебя в запястьях,
Спешит убежать в виски.
Ты берешь его,
Сжимаешь его в тиски,
Твой рукав, будто жгут,
Перетягивает пески,
Океан, небосвод, –
Небоскребы как поплавки.
Ты пытаешься записать это
В молескин.
И ругаешься –
Лейблы в стихах
Называют лишь дураки.
Дураки.

Дураки несут
Запрещенный товар в плаще –
Отрывают подкладку,
Запивают туда прашу,
И надеются больше на «забуду»,
Чем на «прощу»,
Когда сонный таможенник
Не находит среди вещей
Ни креста, ни четок, ни лотоса,
Ни клещей
(без которых не извлекается
Бог-во-рту).

Самолет опускается в пустоту.

МОЛИТВА ПОНЕДЕЛЬНИКА

Пожалуйста, продержись.
Даже если уже держался.
Чистил зубы, стоял в автобусе,
Ближнему подставлял плечо.
Пожалуйста продержись еще.

Пожалуйста, продержись.
Даже если при взлете лайнера
Понял, что счастлив,
Вдруг испугался посадки,
Сжав ледяной стаканчик,
Почуял, как горячо.
Пожалуйста, продержись еще.

Пожалуйста, продержись.
Даже рядом
С говорливым таксистом,
Которому ни замолчать,
Ни ответить,
И силы есть только на
«Да, ничо»...
Пожалуйста, продержись еще.

Пожалуйста, продержись.
Даже если выучился,
Школу закончил,
Пара дипломов,
Курсы проф. переподготовки,
Нашел работу, живешь отдельно,
Устроил жизнь и умеешь готовить
Лечо и суп харчо.
Пожалуйста, не гляди в будильник
Будто ты обречен.

Пожалуйста,
Продержись еще.

СКАЗКА

Есть такая китайская традиция:
если кто-то умирает, не вступив в брак,
их хоронят вместе с человеком
противоположного пола,
чтобы хотя бы в загробной жизни
был шанс.
Ну, ты понимаешь... (с.)

1.
Их по китайскому
Обряду в землю,
То есть ближе к ядру,
Дальше от солнца.
Не почему-то вместе,
А просто так,
По знакомству.
По «красивый мальчик,
Но очень всего
Стеснялся»,
«По одной расплетала
Афро-косички,
Как будто вообще ей
Нечем было заняться».

А в загробном мире
Ботинки хлопали
И никак не весна,
Только мох
Под ступами.
Носок становится мокрым,
Совсем нет времени.

Никакими не кутали сутрами,
Никаким не пугали бременем.

Просто оставили там вдвоем
Смотреть на подземное зарево.
Хочешь – не хочешь,
А разговаривай.

«Ты», – говорит он, – «шнурок
Завязываешь не так».

Она хмурит лоб,
Морщит нос –
Ну, какой дурак!

«Нет», – говорит он, –
«Тишина тут такая, как в деканате,
Десны бледнеют,
Присвоили цвет гранатин,
А меня положили к тебе лицом,
А, простите, к велосипеду – задом.
Не успел им сказать,
Что мы здесь – пешком,
Что велосипеда нам здесь
Не надо».

Тут он переходит
На доверительный шепоток
И она прощает его.
Больше не сердится
За шнурок.

2.
«Ты», – говорит, – «другая.
Шея длинная,
Одежда простая,
Коса тугая.
Стоишь у земной коры,
Будто ничем тебя
Не возьмешь
И не испугаешь.
Не дрожишь,
Не рисуешься,
Криков не исторгаешь.
Короче, если б знал раньше,
Что ты такая...».

«Погоди», – говорит она.
«Это погода всему вина.

Когда там не зима,
А тут еще не весна,
Поневоле станешь
Глуха, ровна,
Ненавязчива, вдумчива
И корректна.

А я, может, слабая.
Не окрепла
После простуды.
Болела тогда конкретно.
А я, может...
Мне, может, всю жизнь
Приходилось делиться плиткой
Шоколада с братом,
Потому что он меньше ростом.
А я расстаюсь,
То есть отпускаю
Всегда непросто.

У тебя вот велосипед,
А у меня три мобильного,
Две собаки из пластика,
Колечки, наперстки, нитки,
Дыхательная гимнастика,
Старый компьютер, ланчбокс
И зачем-то Шнитке
Рваная ненужная партитура.

Меня всю собрали.
Так ждали второго тура,
Что от солнца спрятали все,
Что считалось тогда моим,
Что могло бы напомнить им
Про мои причуды, мои привычки.

Меня провожают вещи,
Встречают вещи,
Вещи – мои кавычки.

3.
Так он ее провожал до центра земли,
Чтобы там посидеть в кафешке.

Так они шли,
Жевали слова,
Забывали в спешке,
Где чье плечо, чья рука,
Чей неловкий ворох
Битловских песен.

На радость родителям
Там, подо мхом
Под мокрой землей
Они пребывали вместе.

Так «вместе», как только возможно
На этой овальной земле.

Не почему-то, а просто.
Что б веселей.

4.
Так лежали они,
А в саду скрипели твои качели.

И мы за них плакали,
Очень мы их жалели.

Так что даже придумать
Толком их не успели.

Ничего, закончим на той неделе.

P.S.

«Говорят, такой бизнес есть
– приторговывать трупами.
Трупы лежат на складе,
В полиэтилене,
На пятой полке
Между пластмассовыми зверями
И крупями.
Чувствуют себя при этом,
Уверен, чрезвычайно глупыми.

Их держат за тем,
Что если кто-то умрет,
Сразу наплась бы пара
Для похорон».

«Чего? Какой ты пошляк,
Дурак!».

«Будешь обзывать – дальше не повезу».

«Ну и пожалуйста!
Тоже мне выискался – Харон!..
На велосипеде».

ГЕОРГИЙ ЖЕРДЕВ

НА КРАСНЫЙ СВЕТ

БЛЮЗ НА ПЕРРОНЕ

Оставь этот город убогим.
Пусть бомжуют на его скамейках
Ногами к урнам, головами на запад.
Забывтые в осени.

Оставь на пороге подковку
На счастье всем остающимся
На жестких скамейках.
Обожженным закатом.

Обещай писать письма.
Мы будем читать их вслух
внимательным сумеркам,
Объясняя: каждое письмо –
Короткое возвращение.

Оборачиваюсь
На собственные следы
Сам себе согладатай
Ангел с глазами гоблина
Дышу себе в спину

КАК ОБЫЧНО

Ранена мама рамой:
Драит ее с утра.
Шаг –
От рамы до драмы.
Здравствуй, город Петра!
Трели твоих трамваев,
Тролли твоих дворов –
Я
Тебя забываю,
Значит, опять здоров.
Снова готов, как прежде,
Не претендуя на,
Пялиться в глаз надежде –
В мыльный пузырь окна.

Слава маячит справа,
Слева мурлычет лень.
Ночь
Чугунной оправой
Окольцевала день.

ГОРОД-МУЗЕЙ

Где гранит лежит пластами:
Век на веке, пыль в пыли –
Похотливыми устами
Нас целуют упыри.

Здравствуй, стадо молодое,
Незнакомое на вкус!
Потянуло к водопою –
Напой собою муз.

Ибо вечно лишь искусство,
Что священный град хранит.
Ты ему – на два укуса,
И прессуешься в гранит.

из пошлости позы из плоскости
в простор бестолковой неги
растем свободные лотосы
поджав ненужные ноги

вселенная входит выходит
сквозь ситечко темени
оседая на стенках
клочками вакуума
мы думаем ни о чем
с каждой думой
становясь все первичнее

АВГУСТ-2002.
С-ПБ, УЛ. САДОВАЯ

Пока Европа отплавала –
Роились нои у руля –
Такой жары давно не знала
Санкт-Петербургская земля.

Светило жгло без передышки,
Желтея, будто алыча.
Санкт-петербурженки-ледишки
Мне в ноги таяли, журча.

Бредя не в ногу, вольный трутень,
Садовой ул. наперерез,
Я рассекал пикантный студень
Полурастаявших телес.

NN.

Мы пожили в застое,
Нам дарены судьбой
Беспечные застолья,
Бесплатная любовь.
Нас жизнь не баловала
Лососевой икрой,
И пили мы, бывало,
Одну «Медвежью кровь».
Но нас любили феи
И нам светили звезды –
Всегда в апофигее
К любым апофеозам.

Пока страна шагала
В грядущий коммунизм,
По Хармсу и Шагалу
Мы сочиняли жизнь.
И дробью многоточий
«Генезис» и «Пинк Флойд»
Озвучивали ночи
Провинции хмельной.

Несла нас по стремнине,
Обыденности мимо,
Судьба, нестошмый
Перпетууммобиль.
Нас миновали травмы,
Облавы и потравы.
И всяк свою Петрову
По-своему любил.

АВТОПОЭТ

Поэт, я лиру посвятил
И долго буду тем народу,
Что бранный мир, не зная броду,
На красный свет переходил.

Переходив десятый срок,
Я так же строг в своих желаньях,
Но изощренней и жеманней –
И это видно между строк.

Я не спешу исторгнуть плод.
Отчизна ждет, а я спокоен.
Я улетаю за строкою –
И долго длится мой улет.

КОГДА НИЧЕГО

Когда ничего не происходит
Просто бредешь на троллейбусную
остановку

Стоишь в темноте куришь
Каждый вечер
Однообразно зимний

Когда ничего не остается
В карманах судьбы и смысла
Кроме дыр
В которые все подевалось

Когда ничего
Карминный фонарик чинарика
В сужающемся пространстве
Чертит руны
Исполненные значения

голый король
в абсолютном платье
не понят
толпой в обносках

культ
культя
культуры

Поэт обрюзг. Писал когда-то
Такие легкие хорей,
Всегда летящие куда-то.
Полет окончен. Захирели.
Скрывая раннюю одышку
На первом слоге, пишет ямбы.
Еще не время – гвозди в крышку:
Поэт еще стоит у рампы,
Ловя привычное вниманье, -
Но все увесистее пгтамы,
Амфибрахичнее дыханье.

Известный советский поэт
Уходит в последний полет.
На пыльных тропинках далеких
планет

Следы твои дождик польет.

Где шел ты, проходчик тропы,
Сердечко сжимая в горсти,
Следы твои вырызвет ежик травы
И яблони будут цвести.

НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Когда поэт обут, одет,
Имеет завтрак и обед
И даже ужин,
Он – не певец народных бед,
Он дармоед, а не поэт.
Кому он нужен?!

Когда поэт – любимец дам,
Не признающий слов «не дам»
И воздержанья,
Он не поймет простой народ,
Который губят недород
И нестоянье.

Когда ж пиит немыт, небрит,
Имеет гнойный уретрит,
И честь, и мужество, и стыд
В спирту утопли, –
Ему Отчизна все простит,
Она растроганно сопит,
Глотая сопли.

... Зима. Застуженный народ
Свои пальтишки достает –
Одни заплаты –
И вновь бредет на тусклый свет,
А впереди бредет поэт,
Рифмуя маты.

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ

Проходит по русской поэзии каменный Бродский,
Крошась шаг за шагом, но не становясь легковесней,
И вдовая муза, предчувствуя рык командорский,
Порхает с дивана и прячет поэта-повесу

В шкафу, а пустые стишки его прячет в комод,
И чинно тоскует, в руках приснопамятный Пригов.
Здесь скушно и некому руку подать,
Так что Бродский уходит.
Вздыхает поэзия. И умирает интрига.

поэт поёт что видит
поёт чем дышит
поёт кого ест

слабакам
силлабика
с тоником

в долгих беседах с сыном
чувствую, как взрослою
сын спит и сосет палец

ОСЕНЬ

Нивы сжаты. Сжато время
От рассвета до заката.
Прячут сморщенное семя
Листьев желтые заплаты.

Терпеливо ждать под спудом:
Все сгниет и мы пробьемся.
Будет май и, если буду,
Значит, мир еще не сдулся.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

у стока востока

Не вышло выше обычного
Выше – плешивый шива
Вышивальщик-многостаночник
Пестрящий наперстками

Не вышло глубже обычного
Глубже глюки кабуки
Щерятся злыми щелочками
Клацают каблуками

Не вышло дальше обычного
Дальше желтеют дали
Циррозного дао

Не дано да и не надо
Милая, наша тайна –
Взаимное вычитание
Одно тело четыре руки
Занятые рукоблудием

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Над периметром Питера
Потерянно тремя о шпиль.
Мы рептилии-птицы,
Археопитерцы,
Сводный кунсткамерный

Хор ветеранов.

Наш век был – веселый, но каменный.
Наш потраченный город
Истерт в золотую пыль.

Последние годы свернулись спиралью.
До хрипа, до скрипа в альвеолах рваных
Вдыхаю молозиво поздних туманов –
И таю с изнанки, устало стирая
Запойные знаки бывшего и дури,
Зовущейся жизнью и щедрой на меты.
Я честно горел, но долой
сантименты –
Пора прибираться, пока не задули.

Ты в гости приходишь, а в пыльной прихожей
Под вешалкой, брошена комом – смотри –
Моя оболочка, змеинная кожа,
Снаружи потерта, чиста изнутри.

трудности перевода
на красный свет
ворчливых старушек

ПО ВЕЧЕРАМ О ВЕЧНОМ

Весь день промаявшись херней,
Вдруг обнаруживаю к ночи,
Что день последним был, что Ной
Уже отплыл, что море точит
Борта песочницы моей.

Брататься с тварями морскими,
Болтаться в пене ста морей
Планктоном, плоть свою раскинув
Во всю вселенную, где вновь
Ни берегов нет, ни причалов.

Лишь я, иных начал начало,
Да где-то – странствующий Ной.

ИРМА ГЕНДЕРНИС

ПРИКУСИ ЯЗЫК

процарапывала на лепестке а вышло – на всю ладонь
красное мокрому \не сирень?\
кто-то подсказывает \не огонь\
натачивает ножи ножницы и тростник
смачивает слюной выданный номерок
бумажный горит то ли горизонт то ли связной
больше не передаёт и переводами не говорит

прежде чем отгуляет молва
зуб отстучит о зуб
память вкопанная в слова
вызовет жженьё и зуд
прежде корень совьёт гнездо
и пустится вспять расти
стирая в памяти слов лицо
чем сможешь произнести

вспомнишь резные улья
соты сотовых связей
рулевые столы и стулья
завязи слова выехавшего на грязи

забудутся обещанья гула
пчелиного, на весы ли
положишь платё со стула -
как воздушный поток без силы

гимнастический твой снаряд –
бревно на сруб деревянный, жизнь...
упражненье на кольцах – сто раз подряд –
спрыгни на маты и отвяжись

в этот же зал войду погодя
гимнастический аттракцион...
брошу в кольцо баскетбольный мяч
на зеркальце выдохну ацетон

третий лишний – каждый второй
каждый второй – с левой ноги
встаёт и уходит в себя с головой
и не видит в себе ни зги
обернётся вокруг оси –
и снова – с левой
встаёт из могилы мысленно пронеси
говоря нелёгкая мимо тела

жизнь
это сосуды
по которым текут
зёрна проросших слёз

вот и ты
поднимаясь по шаткому древку
следишь год от года
как слеза всходит
на полотнище сердца
и растворяет подножие крови

местная анестезия:
оповещение В Контакте:
Ты дал ссылку
взяв с меня слово

мы с Тобой побратимы отныне
в скважине пепла

округление угловатых чисел
округление времени
которое не дотянуло до целого
одну единственную единицу

пластика голоса
операция на вибрациях
чтобы стекло лопалось
когда закричишь-взвоешь
в стеклянном шаре
выдуваемом ветром

прячет слово язык
показало – и таково
рот на замок закрыт
голосом
рассчитанным на одного
рассчитайся по одному
в строю где вольно
язык прикусив на корню
станет больно

АНАТОЛИЙ ЮХИМЕНКО

МОЛОЧНО-КИСЛОЕ БРОЖЕНЬЕ

я был раздавлен, пойман, потрясен,
когда слабел от этой дивной хвори
и ты – сестра моя по обедневшей крови –
была назначена ответчицей за все;

дышала на моем плече,
старела, мучила и как могла любила,
зачем-то это надо было,
ах, только вспомнить бы – зачем;

беспамятство, тщета, никак,
склерозный ум, сор серых клеток,
а там, где полнокровна Лета,
любовь-купальщица невинна и нага;

где нет ответов – плавится печаль
и тяготит надменным слитком руку,
как сладостно терять подругу
и сгоряча рубить с плеча,

и хоронить живую речь
в неживой, но обманчивой гортани
на расстоянье ранних расставаний
и поздних, как раскаянье, невстреч;

принадлежащее не нам,
нас искушает бледнокровнойхворью,
затем ли, следуя верховьям,
река восходит к родникам.

и к юдоли наивной и грешной
хрупкий луч пробивался бы косо,
и досталось бы вере с надеждой
расплетать твои темные косы;

но когда законная верба
светлым облаком станет клубиться,
две монашки – надежда и вера –
проклянут площадную блудницу.

я деву-женщину любил,
как часть ее владений,
немой и вязкий, будто ил,
содеянный в эпоху наводнений;

семь тучных лет вскормил намытый ил,
хмелел ячмень, накапливая солод,
и я прирученную челядью служил,
чтоб ты не знала как зовется голод;

потом сжигали воды в топке небеса,
и лишь глаза сочились родниками,
и вышло время: нищему бросать
на площадях плодоносящий камень;

ах, дева милая, жена моих скорбей,
ночной услады неприкаянная дива,
в худые годы нет иных затей:
брать корм с руки легко и горделиво;

из этих рук уже не взять плода,
а тот, что взят, червив или надкушен.
покоя нет. и не было. и никогда
его не будет. значит, он не нужен.

«и это я, великий человек»
Нила Высоцкая

потом зажгут на кленах листья,
и не сочтя за тяжкий труд,
то шкуркой беличьей, то лисьей
согреют обнаженный грунт;

а ты согрей меня участием,
как всходы злака юный снег,
быть может, я рожден для счастья,
как всякий праздный человек;

в каком-нибудь твоём поле,
тончайшем, где ни дать, ни взять,
мы, будто смертные уснули,
чтоб осенила благодать;

вот для нее и носит вены
сухие, будто русла рек,
ничтожный,
низменный,
мгновенный,
простой великий человек.

улыбнись уголками глаз,
излучая соленую зелень,
наведи на меня порчу/сглаз,
опои приворотным зельем;

отбери даже право быть
не твоим, преходящим в Лету,
помести в свой привычный быт,
как дыханье в грудную клетку,

изведи меня, истомы,
обожги тем – высоким – током,
что проносится над людьми
то есть ставит их вровень с Богом.

без тебя, как смогла, постарела
та хозяйка скуластого нрава,
та девчушка воздушного тела,
та услада/отрада/отрава;

ты ей сделал лишь бегло наброски
как морщинам ложится надежно
в чуть намеченные бороздки
и она оправдала надежды;

ты ей только подыскивал колер
для волос, как у горлицы сизой,
цвета пепельного укора
с проступающей укоризной;

ты собирал ей целебные травы
мать-и-мачехи и материнки
и она узаконила право
нетерпимости и материнства;

ее имя для неёба – отчизна,
ее облик слит с плачущей ивой
и она, как смогла, заучила,
что грешно быть смешной и счастливой.

та женщина, которая случалась,
но не случилась, не произошла
заветное с заведомым случила
и привечала часть добра и зла;

лукавила, ласкавилась, лучилась,
училась между строк читать «прости»,
та женщина, которая случилась,
затем что не могла произойти;

прости ей, Боже, и воздай по вере.
родимое. заветное. свое.
как по предплечии, по тонкорунной
(заблукавшей) вене
прерывисто журчащий ручеек.

«никто меня не долюбил до счастья.»
зато и я не залюбил до горя,
когда в зрачках твоих, как тать полночный,
паштал
и шил из губ твоих, изогнутых дугою,

и укрывал скупую подать взгляда,
и плыл/тонул на лодочке ладони,
вину вдыхая, - цепкий запах яда
цветущей пыли атропинной белладонны.

мы – квиты.от навязчивых прощений
твердеет вера травяных настоек,
пьет стыд вина, не ведая отмищений,
как все невинное и для греха простое.

простора б для земных пологих судеб,
где квиты мы и дар не разворован.
но бродит сок.хмелеет кровь в сосуде.
молчит молочное младенческое слово.

ВИКТОР КАГАН

И ВСЕ ОСТАНЕТСЯ КАК ЕСТЬ

раз говорю любя
или любовь примня
разговорю тебя
разговори меня
разговори да так
чтоб замолчал навек
чтоб пятаком пустяк
слов на примятость век
чтоб в поминальном хмелю
Боже и Твою мать
сплавились в *Я люблю*
а не могу сказать

с лица воду не пить
да и вода не водка
много не выпьешь
а водка
хороша сама по себе
сама собой хороша
не посудой
красота
с ногами от шеи
90 – 60 – 90
скоропортящийся товар
обложка
позабытого года плаэйбоя
женись
на дурнушке простушке золушке замарашке
лягушке

если конечно
среди шумного бала
на ярмарке дутых тщеславий
под твоей ногой не рассыплется в пыль
хрустальный башмачок
если вопли вселенского чата
не заглушат твой слух
и не помешают расслышать голос с кочки
куда упала стрела твоего взгляда
и счастлив будешь
а те кто твою дульсинею называют коровой
и желают вам с ней накрыться медным тазом
пройдут как проходит простуда
и никто не скажет о них
жили-были старик со старухой
какая красивая пара

щечкой к плечу прижата жизни скрипка
и под лучом прозрачны струны лет
когда живёшь так счастливо и зыбко
как пишешь между слов дрожащий свет

безымянное слёзное небо
в позаброшенном времени веке
и монеты замками на веки
и на стопку нетронутость хлеба
и душа паутинкой провисла
потянувшись за тающим духом
так прости и прощай и да пухом
и теперь и вовеки и присно
спирт на выдохе встреча на вдохе
стынет воск оплывающих свеч
и немая срывается речь
с губ навстречу молчанья эпохе

На счётах дней осталось две костяшки,
и старый год, прощай, и здравствуй, новый год.
И в белоснежной куст топырится рубашке
и тянет шею в темь – его прихода ждёт.

Напротив дом седой раскуривает трубку
и дым восходит ввысь неспешно, как душа.
С ладони сыпет вниз серебряную крупку
Луна и в темь Земли уходит не спеша.

Младенец спит светло и безмятежно.
В ковш молока небес на добрый путь налей.
Протяжно скрипнет дверь. Сверчок ответит нежно.
Осталась пара дней, как вздох протяжных дней.

Этому дому стоять и стоять –
плач намерзает на головешку.
И виноватых не будет опять
или назначат в виновные пешку.

Этому дому ... Да что там дома?
Кости шевелятся на пепелищах.
Это история сходит с ума,
путаясь в дымных державных уснищах.

Это страна по душе сапогом –
знай своё место в углу и довольно.
По-человечески мучился дом.
Вот и отмучился. Больше не больно.

Звёзды стынут на ветру,
ветра стон протяжно гулок,
мудрость ищет поутру
потеплее закоулок.

Тают отголоски снов,
тело душу глубже прячет,
тени облачных челнов
в млечном мареве маячат.

Ведьма в небе на метле,
кофе стынет на столе,
между слов зевок столетья,
многоточье ...
междометье ...

Жизнь прекрасна, нелепа, странна,
как пирушка друзей в крематории.
Матерится и вязнет страна
на разбитых дорогах истории.

Вереница фонарных столбов
с век назад перебитыми лампами.
Над горбами сосновых гробов
три вороны с поджатыми лапами.

В обезумевшем мире, в углу
спит младенец с прозрачными веждами.
Паучок на дощатом полу.
Хрущкий дом со смешными надеждами.

играли на ангельских лирах
по капле цедили коньяк
а после мочили в сортирах
мотали кишки на кулак
и лбы по церквам разбивали
прощенья прося за грехи
и музам покорны писали
симфонии вальсы стихи
колени любви целовали
вели за собою умы
и грабили и убивали
и всё это господи мы

На грохочущем трамвае
от кольца и до кольца–
куда вывезет кривая,
от начала до конца.

И душа вспорхнёт с подножки,
полетит на смертный свет,
как в пять лет, держа в ладошке
три копейки на билет.

Шуршат в ночи бывшего небылицы,
с лица остатки зноя не смахнуть
и в небесах загадкою дымится
из крематорных труб текущий Путь,

и в вечности полощется рубаша,
в которой ты родился невпопад
эпохе, заходящейся от страха
и прячущей в огонь незрячий взгляд.

Глокает вечность, не жуя, столетья,
сквозь память пробивается трава,
а жизни недописанная четья
никак в строку не выстроит слова.

Наталье Горбаневской
...много званных, а мало избранных (Мф.20:16; 22:14)

и призвана была и спрошена
и глаз не пряча отвечала
и жизнь свежа и незаношена
и не кончается начало

4 июня 1972

В обдрипанном ампире Пулково
на чемоданчике потёртом
сидеть, не веря в неба гулко
свободу быть не под эскортом
мордатых ангелов с погонями
и нимбами покраса хаки.
И отражаются иконами
в зрачках прощальных жестов знаки.
Сегодня выпроводит родина
пального тунядца рыжего,
а завтра он увидит Одена –
живого, датого, не книжного.
И побредёт сквозь одиночество
меж ада стенами и рая,
сглотнёт с горчинкой сладкой отчество,
как слёзы, имя называя.
А жизнь минует и родители
не потеснятся ради сына –
в навечной питерской обители
есть комнатка, нет половины.

Да знать бы, что он схватит нобеля, –
конторщик залупался пьяный, –
мы б твоего пустили шнобеля
ну, блин, не дальше Магадана.
.....
На просекоченном майдане
с дерущей горло пылью едкой
последний час на чемодане
с полупотухшей сигареткой.

Да будет водосточна жесть
жилица – жития кладбища.
Пусть всё останется, как есть –
заброшенное пепелище,

скулящий пёс, орущий кот,
душа, озябшая до дрожи,
письмо, что столько лет идёт
и не дойдёт уже, похоже,

и яблочный хрустящий Спас,
и всё, что не было и было,
огонь, вода и трубный глас,
дыхания второго сила,

горячий лёд и стынь огня,
свободы зов, закона дышло
и то, что вышло у меня,
и то, что у меня не вышло.

Уже смолой сочтется сруб
горчаще-хвойной домовины
и с пересохших рвутся губ
слов несказуемых лавины.

Заката догорает весть
о том, что новое не ново
и всё останется, как есть,
и снова онемееет слово,

что так и не произнесу,
так и останется картинкой
в небесном призрачном лесу,
прилипшей к небу паутинкой.

Кто только ни учил меня
как жить,
что делать
и к чему стремиться,
кто только ни учил ...
Но ни имён, ни лиц, ни обстоятельств,
ни чему учили
не припоминаю,
не поминаю словом никаким –
ни злым, ни добрым,
встречу – не узнаю.

А те, кого зову учителями,
те не учили –
просто жили-были,
делились тем, что знали и любили,
не лезли в душу
и не принуждали.
Их лица проступают словно лики
через патину времени,
сквозь пыль былого,
ржавчину сует
и плесень табелей о рангах и заслугах.

Что? Имена?

К чему вам имена?

Проснуться за полночь, не спать,
Тянуть коньяк под сигарету,
глядеть в камин и правде лгать,
и поклоняться Интернету.

А где-то в Малых Ебеньях
Или Задрочинске Великом
Мерцают светляки на пнях
Нерукописным Божьим ликом.

и только не плакать не плакать не пла...
слеза по щеке утекает неспешно
о господи с кем там мария спала
бессонно и кротко светло и безгрешно

да что вам за разница грех благодать
но жала из сплетен не поковырявали
и камни со свистом и каждая блядь
талдычит в соитье с шестом о морали

волхвы и слепая звезда в темноте
младенец зашёлся в отчаянном крике
приснилась судьба на шершавом кресте
и губка у губ на протянутой пижке

и ты не рыдай мене матери моя
омой моё тело водой дождевого
хохочет варавва и два воробья
дерутся за хлеб у солдат за спиною

Сидеть у моря, ждать погоды,
гадать наступит ли, когда,
перебирать по пальцам годы,
делить на годы и года,

чинить разбитое корыто,
латать пробоины души,
поверить, что всё шито-крыто,
пускать по водам гольши,

считать круги, не спать ночами,
морочить голову судьбе
и зябко поводя плечами
играть на выставшей трубе

в потёках горьковатой соли
отбою йодистому вслед
и руки целовать Ассоль
в морщинках съёжившихся лет.

Набрякшие сырые небеса,
продрогшие на Аничковом кони,
друзей с другого света голоса
и след прикосновенья на ладони,

и ночи белой призрачная вязь,
и дней коротких сумерки смурные,
раздолбанная уличная грязь
и язвы переулков прободные,

и глупость без руля и без ветрил,
и слово – от прозренья амулетом,
и женщина, которую любил,
но сам тогда и знать не мог об этом.

Взывая то к чёрту, то к богу,
молясь, костеря, матерясь,
протаптывать слепо дорогу,
месить вековечную грязь.

Из праха пришедшие – праху
поклонимся, падая в прах.
Вот только сменить бы рубаху
и чтоб поцелуй на губах

не выстыл, пока не растает
в небесных потёмках душа,
пока ещё рядом витает,
не сказанным словом шурша.

А там и слезой закатиться
за проблеск, за выдох, за взмах,
пока ещё Синяя Птица
живёт отраженьем в глазах

и светятся два изумруда,
глядясь в отражения блик,
пока продолжается чудо
навыдох, навывлет, навскрик.

НАТАЛЬЯ КРУПИНА

ВЗГЛЯДЫ

РИЖСКИЕ СТИХИ

Костел взмывает ввысь - под облака,
А облака все бархатней и ближе...
Латышского не помня языка,
Я на латышском сны цветные вижу.

Несет река прозрачную волну,
А Рига спит, и видит сны о чуде,
И шпиль на башне притянул луну -
Ночной чудесный, золоченый флюгер.

Стекают стрелки постепенно вниз-
Часы сложили лапки, как кузнечик.
Из домской залы выйдет органист
Смешной, нелепый, толстый человечек.

И по ночному городу пойдет,
А дождь за ним стакатто бьет по крышам.
И звездный плот над Даугавой плывет!
Я это вспоминаю на латышском...

ИЗ ЦИКЛА «ЦИРКОВЫЕ»

Шла девочка по линии тугой...
И мир счастливых глаз внизу качался.
И под ногой канат все не кончался,
И купол гнулся черною дугой.
Шла девочка по линии тугой...
Но ни один из тех, сидящих в зале,
За ней следящих жадными глазами,
Не знал, что нет страховки за спиной!
О, публика, прости ее за то, что
Не для тебя сейчас ее дебют.
Он там, внизу, с другой, и это точно!
Как точно то, что там ее не ждут!
Ну, вот и все. Зачем так много света?!
Пустой канат качает тишина,
И музыка смешалась, как волна...
Шла девочка... а впрочем, было ль это?

РИЖСКИЙ ДОЖДЬ

Дождь в Старой Риге, дождь,
Странный ночной чудак.
Неба беззвездного дрожь
В лужах купает мрак.

Трогает клавиши крыш
Тихим аккордом ночь.
Ангел мой, ты не спишь,
Слушаешь рижский дождь.

Он по окну стучит,
Просится робко в дом,
Слышишь, орган в ночи
В квинту звучит с дождем...

БАЛАГАНЧИК

Я уставшая Коломбина
В предпоследнем снегу седин.
Помнишь, как я тебя любила,
О, мой ветреный Арлекин?

И заплатки на ветхой накидке
Словно звезды сияли - точь-в-точь,
И казалась дворцом кибитка,
И казалась короткой ночь!

Но летели года и версты,
Словно камни из-под колес,
И ненастной ночью поздней
Ветер странствий тебя унес!

И по лунной седой дорожке
Ты судьбу искать уходил.
И платан сиротливой дрозью
Навсегда тебя проводил.

Но в забытом краю однажды
Я опять тебя обрела.
Арлекин, мой дружок отважный,
Я забыть тебя не смогла.

Но зачем в придорожной роще,
Под убогим простым крестом,
Мой единственный, мой хороший,
Ты обрел свой последний дом?!

Я тебя не покину, милый.
И угасну здесь от тоски...
Я тебя одного любила,
О, мой ветреный Арлекин!

СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ

Был горьким снег... Он сыпался стеной,
За ним, как призрак, город вырастал...
И шли следы, как белый пес за мной,
И каждый звук, немея, замерзал.

И было что-то в снежной пелене,
Что разделяло «завтра» и «вчера»,
И умирало прошлое во мне,
Как скорбный снег на угольях костра.

И снежный ангел за плечом рыдал,
И робко целовал седую прядь,
А я ему шептала: не беда,
Не стоит об ушедших вспоминать!
Все отболит, и снова яркий свет
Твой согреет чуткие крыла...
Пускай любовь сегодня умерла
Но я-то знаю – будет новый снег!

ВЕСНА

Я сегодня наступила на грабли.
Кто-то бросил их на грядке с редиской!
А из шланга - бриллиантами - капли,
А из глаз салютом радужным брызги!

И слетала пена белая с вишен,
Шмель искал в цветке свой взяток пьянящий,
И струилось солнце лавой по крыше,
И стекало в лопуховую чашу.

И забор топорщил колья как сабли,
И природа от восторга балдела.
Я вдохнула запах ландышей белых...
И вторично наступила на грабли!!!

НОЧЬ

Небо в желтых холодных опилках -
Так Куинджи сходит с холста...
Я разбила ночь как копилку,
А она оказалась пуста...

И теперь не собрать, не скленть
Воедино осколков не сместь,
Пусть она свои звезды сеет
И качает тумана сеть!

И ночным, рассеянным взглядом
Ты одаришь меня, уходя...
Ночь не склеишь, да и не надо.
Вновь расклеится от дождя!

ТИХИЙ АНГЕЛ

Я когда-то светила от счастья
И умела любить горячо,
И меня защищал от ненастья
Тихий ангел за правым плечом.

Он меня охранял от простуды,
Сил хватало меня уберечь
От обид, от людских пересудов
От долгов и предательских плеч.

Но однажды в бескрайности дальней
Я - хмельная - его предала.
Рассердился мой ангел печальный
И ушел, прижимая крыла.

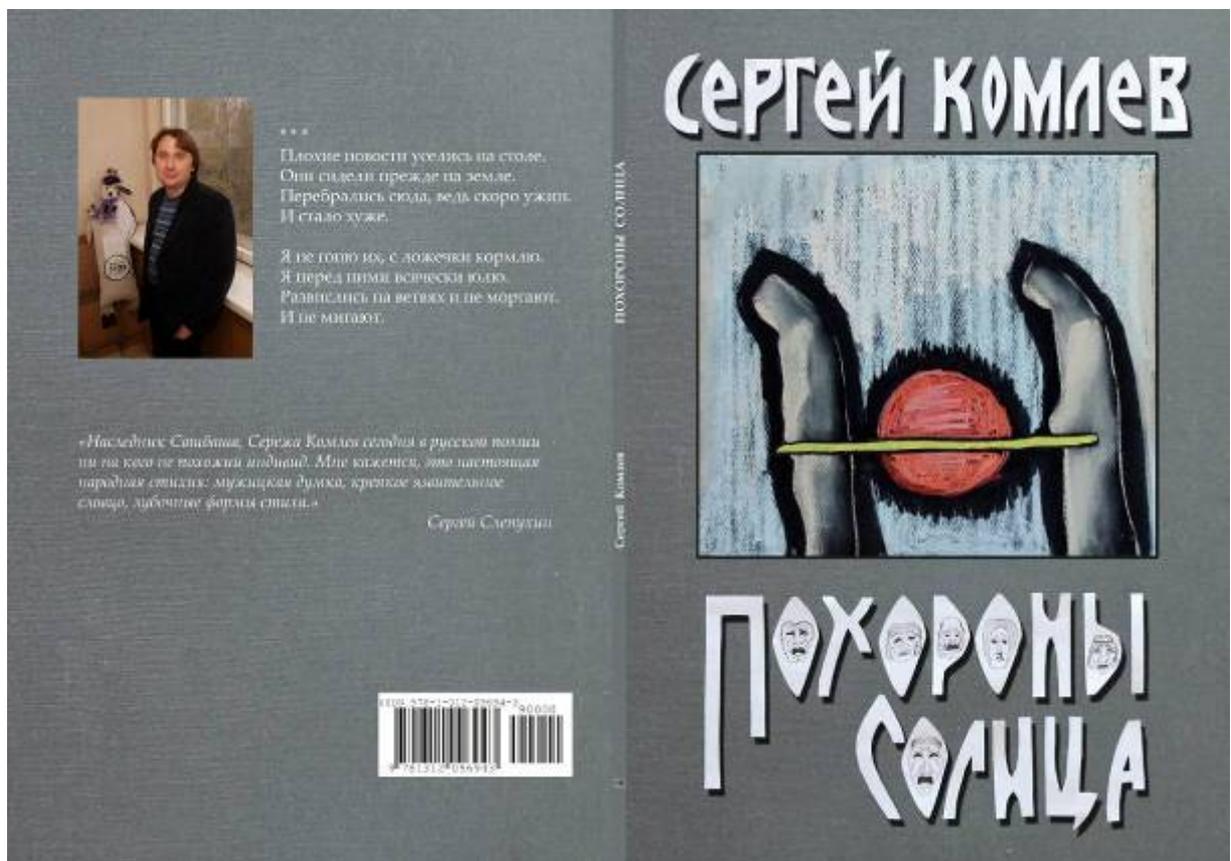
Я теперь прозябаю убого
И не смею любить горячо.
Суть не в том, что не манит дорога...
Просто ангела нет за плечом.

ЭПИТАФИЯ

Ушел Мюнхгаузен с утра
Бездушной новостийной строчкой.
Недоприду... недоигра...
Недо... и все. И боль. И точка.

Недозабравшись в небеса,
Но лучше всех увидев небо!
Недолобив, недописав,
Недосердившись... недо... недо..

Ведь возвращался он всегда.
И улыбался нам с экрана...
Барон! Ушли Вы слишком рано!!!
Вас к чаю ждать?
...Вас ждать когда???



Сергей Комлев.

ПОХОРОНЫ СОЛНЦА

«Евдокия», 2014

ISBN 978-1-312-09694-3

<http://www.lulu.com/shop/sergey-komlev/funeral-of-the-sun/paperback/product-21588233.html>

МАЭСТРО



БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО¹...

Эссе

Алексей Николаевич Хетагуров проработал в Государственном Историческом музее почти сорок лет. За эти годы он многое узнал, многому научился, видел «многое и многих» и сам, по его словам, «дошел до стадии экспоната». Сведения об истории «экспоната» чрезвычайно интересны. По отцовской линии Алексей Николаевич принадлежит к старинному осетинскому роду Хетагуровых, который берет начало еще в XVI в. О прародителе рода – Хетаге, сыне кабардинского князя Инала, существует множество легенд и преданий. Вот одно из них:

Хетаг принял христианство и был преследуем своими исламскими родственниками. Когда посланная ими погоня стала наступать его близ места, называемого Суадаг, он услышал громкий призыв из леса, растущего на северном склоне Кавказских гор: «Хетаг, к лесу!». На этот призыв Хетаг ответил: «Не Хетаг – к лесу, а лес – к Хетагу!» Вслед за этим возгласом появилась большая роща и окружила Хетага в поле. Преследователи были напуганы этим явлением и вернулись в Кабарду. Роща эта существует и поныне, называется рощей Святого Хетага и считается священной и неприкосновенной. Рубить в ней деревья и уносить домой даже ветки – святотатство, влекущее за собой несчастье, по понятиям осетин. Легенду записал Андуккапар Хетагуров, собравший в 1930-х годах сведения по истории рода.

Самый известный представитель рода Хетагуровых – Коста Хетагуров (1859-1906). Обладая разносторонними талантами, Коста Хетагуров был неутомимым общественным деятелем, неустанно боровшимся за свободу осетинского народа, прозаиком, драматургом, поэтом и публицистом. Он создал осетинский литературный язык, заложил основы осетинской литературы и способствовал развитию осетинского театра. Коста был первым осетинским живописцем – учился он в Петербургской Академии Художеств в одно время с В. Серовым и М. Врубелем, занимался в классе П.П. Чистякова. Значение этого самообытного, яркого человека со светлым умом и сильным характером велико не только для осетинской культуры, но и для общечеловеческой.

Двоюродный племянник Коста – Николай Хетагуров, окончив Владикавказскую гимназию (в той же гимназии несколько ранее учился Вахтангов), поступил в Московский землемерный институт (теперь – институт геодезии и картографии). В Москве он познакомился – через своего студенческого товарища – с Михаилом Вениаминовичем Ченцовым, другом известного осетинского журналиста А. Цаликова. Ченцовы – старая дворянская фамилия, дед Михаила Вениаминовича участвовал в Кавказской войне, работал вместе с Пироговым, а сам Михаил имел звание личного почетного гражданина. Его дочь Ляля рано лишилась матери, и все заботы о ней легли на плечи отца. Это она в один прекрасный вечер открыла дверь высокому черноволосому молодому человеку – Николаю Хетагурову. Своей белозубой улыбкой он ослепил ее на всю жизнь.

В пятнадцать лет Ляля осталась круглой сиротой, а в шестнадцать – соединила свою судьбу с Николаем. Они прожили вместе более полувека и большую часть жизни – на Покровке около Чистых прудов. Инженер-геодезист, Николай Иосифович много времени проводил в экспедициях, прошел на шестах северные реки, побывал в Якутии, Сибири, на Дальнем Востоке, в Амурской области, в Казахстане, на Кавказе, совершенно соответствуя осетинской поговорке: «мужчина – гость в доме». Это был счастливый брак несмотря на разницу в возрасте (а может быть, и благодаря ей), несмотря на разные темпераменты и воспитание, причем подлинный «кавказский» темперамент был присущ Елене Михайловне в большей степени, чем Николаю Иосифовичу – настоящему кавказцу. «У женщины душа ребенка» – не уставал он повторять и относился к ней всю жизнь, как к большому ребенку.

Перед самой войной родился Алеша Хетагуров. Одно из его первых еще младенческих воспоминаний – голос Левитана, читающий сводку Совинформбюро по радио. Военное и послевоенное детство, не слишком удачная учеба в школе – много забот мальчик доставлял родителям. Когда же, окончив школу, Алеша успешно поступил на истфак Московского университета, мама заплакала от радости. Учился он на вечернем отделении и кем только не работал – даже, несмотря на свою крайнюю худобу, грузчиком на Школфильме! Студенческие годы, проведенные на Моховой, остались в памяти как самые лучшие.

¹ Опубликовано в журнале «Мир музея», №5 (163) 1998.

В 1968 году Алексей Николаевич защитил диплом на кафедре источниковедения. Тема диплома: «Неизвестный памятник русской общественной мысли начала XVIII века (Иллюстрированная рукопись неизвестного автора)». Речь идет о рукописи «Жизнь и похождения Полидора Фабия», хранящейся в РНБ. Научным руководителем Хетагурова был прекрасный человек и замечательный историк-источниковед А.Д. Горский, впоследствии зав. кафедрой истории феодализма в России. Его стараниями студенты учились работать с источниками и самостоятельно мыслить. Не одно поколение выпускников истфака МГУ вспоминают его с благодарностью и уважением. Хотя Горский настоятельно рекомендовал продолжать научную работу, Алексей Николаевич не пошел по этому пути. Сейчас он порой жалеет об этом.

В 1968 году Алексей Николаевич поступил на работу в Государственный Исторический музей. Работал сначала в 5-м Историческом отделе, потом в ИЗО, а с 1974 года – в реставрации темперной живописи.

Величественное здание на Красной площади со сложным внутренним интерьером и устройством поразило Алексея: новому человеку всегда было сложно разобраться в лестницах, коридорах, дворах и переходах этого творения архитектора О. Шервуда. Поразили его и сотрудники, многие из которых работали в музее не одно десятилетие и помнили еще и И.Е. Забелина, и князя Н.С. Щербатова. Первое время Алексей недоумевал, почему некоторые дамы здороваются с ним по несколько раз в день. «Может быть, так полагается у воспитанных людей?» – подумал он и тоже стал здороваться с каждым, кого встречал, даже если расстался с ним всего несколько минут назад.

Только позже, уже ближе познакомившись с коллективом, Хетагуров понял, что это были совершенно разные сотрудницы – разные, но имеющие как бы один облик: гладко зачесанные назад и собранные в узелок волосы с проседью, одухотворенные лица, строго-внимательный взгляд сквозь очки, хрупкие фигурки, одетые в темные платья. Это были типичные гимовки, наделенные чувством собственного достоинства, скромностью и удивительной глубиной познаний – каждая в своей области, будь то рукописи, драгоценные металлы, книги, оружие, живопись, нумизматика или археология.

Музей оказался целым миром, ярким и необыкновенным, наполненным удивительными людьми. Многие из них сами были частью русской истории. Так, зав. отделом рукописей Марфа Вячеславовна Щепкина являлась дочерью известнейшего палеографа В.Н. Щепкина и внучкой знаменитого актера. Мария Михайловна Постникова-Лосева – заведующая отделом драгоценных металлов, была из старинного рода, сохранился портрет ее матери, написанный В.Серовым. Юную Татьяну Николаевну Протасьеву – сотрудницу отдела рукописей – писал П.Корин в образе послушницы в картине «Трое» (один из этюдов к большой картине «Русь уходящая», которую Корин так и не окончил). В экспозиционных залах музея, расписанных М. Васнецовым и П. Семирадским, в его фондовых отделах, хранящих неисчислимые сокровища (миллионы единиц хранения!), еще витал «римский дух» Российского Исторического музея – РИМа (таково было его прежнее наименование).

Первой музейной личностью, что произвела на Алексея Хетагурова яркое впечатление, была Элла Соломоновна Коган, принявшая его в 5-й экспозиционный отдел. Опытнейший музейный работник и экспозиционер, она всегда была переполнена новыми оригинальными идеями – глаза горят, в пальцах неизменно зажата тлеющая папироска. Перейдя в отдел ИЗО, Алексей Николаевич стал заниматься живописью и графикой начала XX века под руководством Надежды Николаевны Гончаровой. Человек энциклопедических знаний жизни и быта русского дворянства, живописи и графики XIX века, она много помогала начинающему сотруднику.

Необычайно сильное впечатление произвела на молодого человека и Мария Юрьевна Барановская – удивительный, необычный, яркий человек, оставившая глубокий след в душе у всех, знавших ее. Исследователь и искусствовед что называется «милостью божьей», она находилась в каких-то своих личных взаимоотношениях с XIX веком, обладала колоссальными знаниями и необыкновенной памятью, была удивительным знатоком московского некрополя. Невозможно перечислить все оригинальные черты этой неординарной личности.

Несмотря на разницу в возрасте, завязалась дружба, которая еще упрочилась после того, как Алексей Николаевич стал работать в реставрационных мастерских, расположенных в Новодевичьем монастыре. Мария Юрьевна жила в Больничных палатах Новодевичьего монастыря вместе со своим мужем – Петром Дмитриевичем Барановским, которого вряд ли нужно представлять широкой публике: роль Барановского в спасении памятников российской архитектуры неопределима.

Мария Юрьевна и Петр Дмитриевич прожили сложную, счастливую и трагическую жизнь. Быт их в Больничном корпусе был очень тяжел, почти без удобств. Мария Юрьевна жаловалась: «Я всю жизнь работала на эту печь!» Комната была вся загромождена книгами, изразцами и другими предметами старины, которые Петр Дмитриевич сам покупал для создаваемого им музея в Коломенском, и спать ей приходилось на раскладушке. А душ появился только перед самой кончи-

ной Марии Юрьевны, так что она даже не успела ему как следует порадоваться. Алексей Николаевич часто прогуливался с Марией Юрьевной по монастырю – она ступала тяжело, опираясь на палку. Некрополь Новодевичьего она знала наизусть и гуляя по дорожкам, проложенным над захоронениями, рассказывала своему спутнику, где кто поконится: «Здесь – хороший человек, а здесь – неприятный, Пушкину пакости дела!»

Алексей Николаевич присутствовал при кончине Марии Юрьевны. Отпевали ее в Успенской церкви Новодевичьего монастыря, похоронили в Донском монастыре, как и пережившего ее Петра Дмитриевича, который до последнего вдоха продолжал бороться за сохранение русской культуры – почти слепой, он огромными буквами писал на картонках свои записки и говорил только о спасении памятников архитектуры.

Еще работая в ИЗО, Хетагуров познакомился и подружился с реставраторами масляной живописи Иваном Федоровичем Есауловым, Борисом Беляниновым и Владимиром Шпиловым. Сами профессиональные художники, они всячески поддерживали Алексея Николаевича, когда он всерьез решил заняться живописью, приветствовали его еще наивные начинания, помогали советами, да и просто красками. Их стараниями он и перешел в отдел реставрации, где стал заниматься темперной живописью.

В ГИМе богатейшие фонды икон: свыше 10 000 единиц хранения, собранных в Отделе Древнерусской живописи, Драгметаллов и в филиале ГИМа – Новодевичьем монастыре. В музей иконы попадали разными путями: из собраний известных коллекционеров, из даров царской семьи, в недоброй памяти 1920-30-е годы – из упраздненных и разрушенных церквей и монастырей.

Так поступил в музей иконостас работы Рефусицкого из Успенской церкви на Покровке – той самой церкви, которую в свое время пожалел разрушить Наполеон, но не пожалели большевики. Есть работы Симона Ушакова, один из первых списков чудотворной иконы Иверской Богоматери, список Смоленской Богоматери, очень интересные так называемые «мерные иконы», которые делались в размер младенца с изображением его святого – например «Святая София» царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра I.

Большинство икон, особенно из разрушенных церквей, находилось в тяжелом состоянии, их пытались как-то спасти еще в 1920-30-х годах – осыпавшийся красочный слой заклеивали в целях профилактики тем, что было под руками: газетами, оберточной бумагой. Десятилетиями реставраторам темперы приходилось заниматься в основном консервацией и профилактикой: удалять старые заклейки, сделанные зачастую на желтке, со временем превратившимся буквально в камень; укреплять красочный слой, бороться с последствиями многочисленных протечек и аварий. К тому же, иконы долгое время были «не в моде» – они практически не экспонировались. Только с 1980-х годов иконы начинают появляться в витринах и на стендах музея, украшать собой выставки.

Естественно, что любой реставратор считает свое дело самым трудным, а предмет своей реставрации – самым хрупким и сложным. Для темперной живописи это утверждение, пожалуй, наиболее справедливо. Кроме того, что икона является предметом религиозного культа и произведением искусства, это – еще и сложная «конструкция»: деревянная доска, льняная паволока, левкас, иногда несколько слоев темперной краски, олифы или лака, записи, металлический – нередко драгоценный – оклад... Сколько знаний, умений, труда требуется реставратору, чтобы спасти и сохранить икону во всей ее структурной сложности и красоте!

За каждой иконой – целый мир православной символики, духовная наполненность, «намоленность»; целая вереница образов: художник, писавший икону, заказчик или владелец. Вот двухсторонняя икона «Богородица Корсунская с приписными», на обороте изображена «Голгофа», а внизу – длинный текст с пояснением кто, зачем и для чего написал эту икону. Подобные подробные объяснения встречаются очень редко, обычно иконы остаются «безымянными».

Из текста на иконе «Богородица Корсунская» мы узнаем, что «Сие истинное изображение подобие и мера с самого чудотворного образа: пресвятыя Богородицы зовотыя Корсунския: иже иметца в богоспасаемом граде Калуги в церкви Святого славного великомученика Георгия и в пределе святых первоверховных апостол Петра и Павла что на большой проезжей московской дороге что за лавками». Написан сей образ «тщанием и радением на кипарисе по обещанию... диакона Григория Иванова сына» и является родительским благословением диакона своим детям. Писал икону церковный изограф Тимофей Петров ноября 13 дня 1730 году. «Любезныя моя чадо, – обращается Григорий к потомкам: – аз вас породих в богоспасаемом то граде Калуги, и воспитах и научих страху Божию в пресвятом то вышеупомянутом храме; и да будет ныне вам сей святыи образ на спасение и защищение на враги видимыя и невидимыя лук щит оружие крепкое и заступление...»

До реставрации текст почти не читался из-за загрязнений и потемневшей олифы, на иконе были утраты, трещины, поздние вставки. Алексей Николаевич провел большую работу: укрепление левкаса, красочного слоя; заделка трещин, удаление загрязнений, снятие потемневшей олифы,

удаление затеков краски и записей. На клеймах с изображением местночтимых святых был подведен левкас по местам утрат, выполнены тонировки. «Богоматерь Корсунская» экспонировалась на 2-м реставрационном Триеннале в 1996 году.

Иконы требуют к себе особенно трепетного отношения не только при их реставрации, но и при хранении и экспонировании – состояние их зависит от малейших изменений температуры и влажности. Что может чувствовать реставратор, когда видит икону, вернувшуюся обратно в мастерскую после выставки, где не соблюдались необходимые температурно-влажностные условия и понимает, что реставрацию надо практически начинать заново!

Роль и значение реставраторов в музее не всегда понимались правильно. Многие воспринимали реставратора как нечто среднее между уборщицей и оформителем, не понимая того, что реставрация – это отдельная особая отрасль знаний и мастерства, что только объединенные усилия реставратора, хранителя и исследователя могут привести к наиболее плодотворным результатам в деле сохранения музейных ценностей.

За 20 с лишним лет работы в мастерской Хетагуров не только реставрировал иконы – ему пришлось выполнять и другую работу, казалось бы не связанную с его непосредственным занятием: он участвовал в археологической экспедиции музея в Крыму, на Таманском полуострове. Там была найдена греческая комната II в. до н.э., очевидно имевшая культовое значение, так как вся она была расписана античными фресками в несколько тонов – орнаментальные пояса и рельеф меандр. Рухнувшие когда-то саманные стены исчезли, а фрески лежали в несколько слоев в земле. За два сезона они были демонтированы, законсервированы и вывезены с раскопа в музей.

Алексей Николаевич участвовал в реставрации голландских кожаных обоев XVIII века для палат бояр Романовых (филиал ГИМ) – укреплял и тонировал утраты. Приходилось заниматься и металлическим флюгером-грифоном (герб Романовых), венчающим палаты – удалять несколько слоев записей. В советское время флюгер подвергся «опале» и был снят, так как палаты находились в непосредственной близости от ЦК. После расчистки, восполнения утрат и последующего золочения он вернулся на свое место. В церкви Троицы в Никитниках (филиал ГИМ) Хетагуров восполнял и тонировал утраты на фресках.

Рано проявившаяся любовь к искусству определила не только выбор профессии, но и весь образ жизни Хетагурова, ибо по сути своей прежде всего он – художник. Еще мальчишкой Алеша уходил из тесной московской коммуналки и бродил с этюдником по пригородам. Его поразило своей красотой Кусково – старинные дворцы, пруды и каналы, яблоневые сады, кипящие по весне белизной. Он добирался туда на электричке и писал свои первые этюды, еще не подозревая о том, что волею судьбы большую часть жизни проведет совсем недалеко от Кусковского парка – на Утренней улице в Перово. Алексей Николаевич успел запечатлеть Кусковские деревушки, сады – сейчас все это исчезло с лица земли.

Учась в университете, Хетагуров поступил в студию ДК гуманитарных факультетов МГУ, которой руководил Федор Морицевич Кригер. Это был настоящий Учитель – энтузиаст своего дела, замечательный педагог, талантливый художник, большой знаток живописи и истории искусства. Он окончил в 1914 году юрфак МГУ, во время первой мировой войны служил офицером в действующей армии, после Февральской революции был избран в Совет солдатских депутатов, общался с Керенским. После Октябрьской революции он отошел от всякой политики и стал художником. Еще в юношестве он учился живописи в студии художника-передвижника В.Н. Мошкова, был отмечен самим В.Суриковым. Писал Кригер пейзажи, натюрморты, портреты – создал галерею портретов своих сослуживцев-однополчан 1916-1917 годов.

Жил Федор Морицевич очень скромно, все силы отдавая любимой студии и заочному университету искусств. Это был очень обаятельный человек: аккуратный, с умным живым лицом, он несколько напоминал внешне Александра Бенуа. Несмотря на преклонные годы, он каждый день ходил пешком в студию на Моховой – а жил он рядом с Третьяковкой. Кригер вел студию почти до 90 лет, сохраняя удивительно ясный ум, молодость души, тонкое понимание прекрасного. Теплые дружеские отношения с учениками не прерывались у него до самой смерти – скончался он в возрасте 96 лет.

В своих «Записках» Федор Морицевич писал: «...нет никакого особого самостоятельного изобразительного искусства, но есть художники самоучки, стремящиеся приобщиться к подлинно художественному овладению умением творчески отображать жизнь, действительность средствами графики, живописи, скульптуры. Достижение этой цели требует подготовки, искусства технического и морального, т.е. школы и воспитания в такой учебно-творческой обстановке и атмосфере, которые исключали бы взгляд на занятия в студии рисунка, живописи и скульптуры, как на забаву, на «игру в искусство». В студии должно царить радостное настроение, восхищенность самим процессом изобразительной деятельности, рисунком, этюдом – т.е. эйфория».

Федору Морицевичу это удавалось. Кроме занятий в студии, устраивались выезды на природу, различные экспедиции, посещения выставок и музеев. Кригер всячески помогал всем своим студентам, в том числе и Алексею Хетагурову – при содействии Федора Морицевича были устроены две персональные выставки Хетагурова в ДК МГУ. Оценивая работы Алексея, Кригер замечал, что художник «понемногу отходит от просто правдивой передачи природы, от географичности изображения пейзажа к художественно-образному выражению его характерных черт и, самого главного, «состояния природы», ее души».

Огромную роль в становлении Хетагурова как художника сыграло творчество Ван Гога. Выставка Ван Гога в 1971 году в Пушкинском музее перевернула все его мировосприятие. Все время, пока продолжалась выставка, Алексей ходил туда, как на службу – нет, скорее, как в храм, – и простаивал часами перед полотнами Ван Гога, пытаясь постигнуть их удивительную тайну. Он до сих пор помнит свои тогдашние чувства – восхищение, потрясение и боль от того, что никогда больше в жизни он этого не увидит! Разве мог он предполагать, что через 20 лет с таким же волнением будет стоять перед картинами Ван Гога на его родине – в Амстердаме, на выставке, посвященной столетию со дня смерти художника, куда были привезены лучшие работы со всего мира. И опять всеми правдами и неправдами пробирался Алексей Николаевич в музей (цена билета – 16 долларов!) и оставался там до самого закрытия – чуть ли не последним посетителем!

Постепенно Хетагурову удалось отойти от прямых подражаний Ван Гогу и выработать свой собственный неповторимый стиль. Красота русской природы в весеннем цветении и осеннем разноцветье, русская зима в снегах и туманах – вот чему посвятил он свое творчество. Особенно художнику удаются зимние пейзажи – почти одними белыми он передает такое разнообразие оттенков и настроений, что полотна как бы излучают морозный, жемчужный свет. Пейзажи Хетагурова – как некие окна в другой мир, мир гармонии, красоты и радости. Это тем более удивительно, что творит художник отнюдь не в состоянии «эйфории», как призывал его учитель, а в состоянии ярости, порой чертыхаясь, на чем свет стоит, как он сам признается. Алексей Николаевич не признает работы в мастерской, он пишет только на природе и всегда «*a la prima*» – любое полотно, какого бы оно ни было размера, он создает за один сеанс, полностью выкладываясь на пленэре.

Хетагуров объездил многие края России, писал свои пейзажи в Москве, Подмосковье, Владимирской области, в Крыму, на Кавказе, бывал в Прибалтике и на Каме, но последние годы он черпал вдохновение на русском севере – в деревне Астафьево на границе Вологодской и Костромской губерний, километрах в 50 от города Кологрива.

Кологрив – удивительный город. В свое время Екатерина Великая, «путешествующая в своем Отечестве», осталась недовольна его месторасположением, и по ее высочайшему повелению город... перенесли в другое место! Кроме того, это единственный город в России, где есть железнодорожный вокзал, но нет железной дороги – вокзал в начале века построили, а железная дорога прошла верст на 60 дальше.

От Кологрива до своей деревни Хетагурову приходилось добираться самыми немислимими способами: иногда летал маленький самолет – если позволяло состояние земляного аэродрома, иногда шел катер – если вода в реке Унже стояла высоко. А чаще – просто на попутке, потом на лодке, потом пешком.

Когда-то в Астафьево было около 300 дворов, а в наше время доживали свой век старики – на несколько деревень, протянувшихся вдоль Унжи на десятки километров, вряд ли набрался бы пятток постоянных жителей. Раньше пароходы по Унже проходили от Вологды до Костромы, сейчас же река обмелела, забита сплавляемым лесом, и летом по ней с трудом проходит моторная лодка... Деревни, выстроенные из мощных бревен, стоят, как черные призраки, зарастая травой по самые крыши, да ржавеют в полях скелеты брошенной сельхозтехники...

В соседнем Вяльцево несколько лет назад сторел дом местного богатого крестьянина – двухэтажный, с железной крышей, чугунными «резными» водостоками, с лепниной на потолках... Хозяин налаживал жизнь, посадил липы около дома – редкость в этих северных местах. В 1913 году свозил свою семью на Парижскую выставку... Что было дальше – нам всем известно. Русская деревня разрушена. Но красота этого северного края вдохновляла Алексея Хетагурова также, как его «соседа»: жившего недалеко от Кологрива, в деревне Шаблово, удивительного самобытного – сказочного и мудрого – художника Ефима Честякова.

Сосновые и еловые леса, чуть разбавленные березой и осинкой, прихотливо текущие Унжа и Марханга, удивительные закаты, снежные зимы, россыпи черники и брусники по осени – природа живет своей жизнью и властно манит к себе творческую душу. Охота, как говорится, пуще неволи – никто не заставляет художника ехать в такую даль, в такую «неудобь», но он едет, пишет свои картины порой на ветру, под дождем и на морозе. Зимой выбраться обратно бывает очень трудно, однажды пришлось идти пешком 22 километра – картины Алексей Николаевич нес за спиной, и ветер разворачивал его, как парус!

Работая всю жизнь, Хетагуров никогда не был членом никаких союзов и партий, никогда не поступался своими убеждениями ради призрачных выгод, не толкался локтями. «Быть знаменитым некрасиво, – считает он вслед за своим любимым поэтом Борисом Пастернаком, – не это поднимает ввысь»:

Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

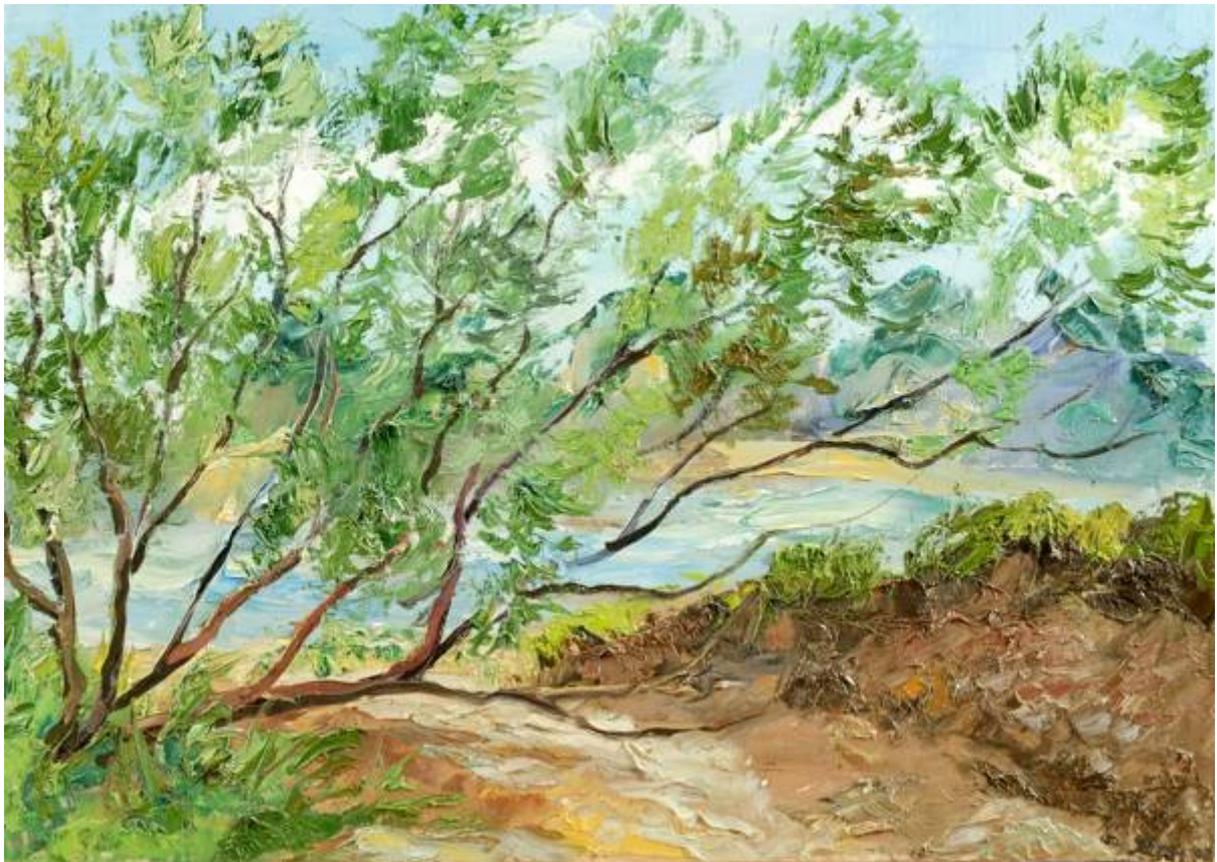
Картины для художника – как дети, ему трудно расстаться с каждой из них. Но «дети» – число которых перевалило за тысячу – все же разбрелись по свету: поклонники творчества Алексея Николаевича Хетагурова есть в России, в Голландии, в Австрии, в Польше, во Франции, в Америке... Очень любят картины Хетагурова сентиментальные немцы, для которых «russische Taja» начинается за московской кольцевой дорогой: более 50 полотен с заснеженной «тайгой» ушло в Германию. Даже коптские монахи увезли с собой неведомую для них русскую зиму в глухие монастыри, затерянные в Аравийской пустыне.

Пожелаем же творческих успехов Алексею Николаевичу Хетагурову – художнику, реставратору, историку, коренному москвичу, одному из многих российских интеллигентов, редко знаменитых, а чаще безвестных, упрямо продолжающих свое дело сохранения и созидания отечественной культуры, несмотря на грошовую зарплату и тяжелые условия труда. Государство, к сожалению, не ценит этого труда, но – мы надеемся – оценят современники и потомки.

Достоевский говорил, что Красота спасет мир.

Не пора ли Миру приложить усилия для спасения Красоты?





ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ...



ПОЛИНА СИНЕВА

О ВАЛЕРИИ ИСАЯНЦЕ

Эссе



Судьба Валерия Исаянца причудлива и драматична, как и судьба его стихов: они пережили более тридцати лет полного забвения. За этот срок не было издано ни одной строчки.

Валерий Исаянц родился в 1945 году в Воронеже, закончил филфак ВГУ. В 1971 году в Крыму познакомился с Анастасией Цветаевой. Эта встреча, как впоследствии оказалось, сыграла немалую роль в жизни обоих. Своей дружбе с молодым поэтом из Воронежа Анастасия Ивановна посвятила отдельную книгу воспоминаний – «История одного путешествия». Но читателя книга увидела лишь в следующем, XXI веке: писательница не хотела публиковать эти воспоминания при жизни.

В конце 1978 году вышел первый сборник стихов Валерия Исаянца «Облики» под редакцией Арсения Тарковского. Этой маленькой книжечке в мягкой обложке на долгие годы суждено было стать единственным «вещественным доказательством» существования поэта. Творчество Исаянца не вписывалось в стандарты советской литературы. Выпал он и из социума – лишился квартиры, жил на пенсию по инвалидности и помощь сочувствующих ему людей. За ним закрепилась слава сперва городского сумасшедшего, а затем – странствующего поэта. С начала 90-х годов Валерий Иванович много времени проводил в лесах в окрестностях Воронежа, странствовал в электричках по центру России. Большая часть архива поэта 70-х и 80-х годов утрачена.

Когда в 2004 году наконец увидела свет «История одного путешествия», об Исаянце заговорили. Более того – для многих стало открытием, что он, оказывается, жив. Так Анастасия Цветаева, которая когда-то стремилась поддержать своего юного друга на жизненном и литературном пути, спустя много лет, уже из небытия, еще раз смогла поучаствовать в его судьбе.

В 2013 году в издательстве «Водолей» вышла книга стихов Валерия Исаянца «Пейзажи инобытия». Она состоялась благодаря воронежским энтузиастам, которые несколько лет собирали черновики, которые Исаянц носил в своей походной «суме», переписывали и сохраняли тексты.

Как предварение к этим отвоеванным у небытия стихам хочется привести ответ поэта на вопрос о смысле жизни:

– Он состоит в *чувстве живого*. Потому что всё, как неожиданность – мы получили, и мы живём.

БОРИС ЮДИН

УПЛОЩЕНИЕ СЛОВА

Эссе

«Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому».

Николай Заболоцкий

В одна тысяча девятьсот двадцать девятом году сотрудник отдела детской книги ленинградского ОГИЗа Николай Заболоцкий снял комнату в Ленинграде в доме 36 на Большой Пушкарской улице.

Хозяйку квартиры звали Вера Ивановна Иеромуза.

Николаю Алексеевичу было двадцать шесть лет, он закончил пединститут имени Герцена по отделению языка и литературы, отслужил в Красной армии, был членом ОБЭРИУ (объединение реального искусства) и только что вышла из печати тиражом 1200 экз. ценою 1 руб. 10 коп. его первая книга «Столбцы». На 72-х страницах уместились 22 стихотворения.

Сын агронома должно быть знал догадку Тимирязева, что сознание природы «глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека».

А если и не знал, то это ничего не меняет.

Потому что совершилось то, что и должно было. Семь человек, зарегистрировавших своё Объединение при Доме печати, уже опубликовали Манифест. В нём были строки, которые можно повторить и сегодня.

«Требование общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревенскому школьнику, – мы приветствуем, но требование только такого искусства заводит в дебри самых страшных ошибок. В результате мы имеем груды бумажной макулатуры, от которой ломятся книжные склады, а читающая публика первого Пролетарского Государства сидит на переводной беллетристике западного буржуазного писателя».

Вторую главу Манифеста писал Николай Заболоцкий.

«Может быть вы будете утверждать, что наши сюжеты «нереальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что житейская логика обязательна для искусства?..У искусства своя логика и она не разрушает предмет, но помогает его познать».

И двадцать два стихотворения Столбцов – это слово, музыкальное и живописное, помогающее понять и познать. Это было не Ленинское «отражение мира», а создание своего, особенной Вселенной, полной красок и звуков, в котором нет хорошего и плохого, но есть вечная жизнь в вечном движении. Там мудрые лица коней и руки деревьев сплетены воедино с воронами, маклаками, лестничными котами и гулящими девками.

Это джаз-рапсодия записанная кириллицей.

Стихотворение «Вечерний бар», которым начинались «Столбцы» – это ирреалии Невского проспекта, увиденные глазами самого проспекта. И этот свежерождённый взгляд и есть лирический герой, написанный широким мазком. Не колонковой кистью а мастихином:

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блесело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился...
Но это рассказать нельзя.

Глаза упали, точно гири,
Бокал разбили, вышла ночь,
И жирные автомобили,
Схватив под мышки Пикадилли,
Легко откатывали прочь.

Там Невский в блеске и тоске,
В ночи переменивший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.

Это первые джазовые акорды книги, напоминающие «Rhapsody in Blue» Гершвина, уже вырвавшиеся из немоты окружающего мира. Это мультипликация. Ожившие картины Филонова с портретами мудрых лошадей.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!
Мы услышали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Движение – вот основа жизни Вселенной Николая Заболоцкого.
Только в первом стихотворении книги «Вечерний бар» сорок две глагольных формы на сорок четыре строки.

Это мир строгой цветовой гаммы. Оттенки чёрно-белого, красного, серебряный, золотой и голубой – это любимые цвета Филонова.

В книге нет запахов, кроме копячьего «золотонного хвостика».

И кот, в почетном сидя месте,
Усталой лапкой рыльце крестит,
Зловонным хвостиком вертит,
Потом кувшинчиком сидит.
Сидит, сидит, и улыбнется,

В книге царствует обилие еды без вкуса и запаха. Рынки, рыбные лавки, свадебные столы, пекарня и даже каша, которую помещивает младенец – всё это театральный реквизит. Это нарисованный очаг в каморке папы Карло. Это «Книга о вкусной и здоровой пище», которую листает голодный.

Это «параллельный природе» мир Филонова, попытка уйти от реальности в изобретаемое, отвлечённое. Это сюрреализм Иеронима Босха. «Сад земных наслаждений», где фути Баха исполняет джаз-оркестр Цфасмана.

Николай Заболоцкий любил и понимал живопись. «Любите живопись, поэты», – писал он в 1953-м году.

«Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи - копии античных скульптур. Рисование вместе в математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои местные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения».

Н. Заболоцкий «Ранние годы».

Итак – джазовая живопись стиха, жизнь, существующая сама по себе. Авторское отношение к этой жизни – это всего лишь несколько строк. Это, когда допекло.

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышшиной норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!

Зато жизнь эта звучит, орёт, поёт и извивается в бешеном танце.

И под железный гром гитары
Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
А там – молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов –
Труда и творчества закон.

И ленинградские дворы становятся инструментами, которые связуют реальное и виртуальное. Это, ещё непридуманый Кубик Рубика, многогранный и равносторонний.

На что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

И над всем этим звучащим и движущимся многомерием железной глыбой застыл Часовой.

А день в решетку пальцы тянет,
Но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
Стоит, как башня, часовой,
Хранит волшебное становье.
Ему знамена – изголовье,
А штык ружья: война – войне.
И день доволен им вполне.

Михаил Зощенко, вылепивший образ Назара Ильича господина Синябрюхова, принял «Столбцы» восторженно. Большая часть писательской братии враждебно. Заболоцкого обвиняли в зауми, неклассовом подходе, искажении реальности.

«Гротескная манера, снижающая традиционно-высокое и превозносящая «штаны» может быть, кем-нибудь воспримется как сатира (для этого есть основания и в подборе материала: обывательский быт, под которым, как известно, в наши дни лишь ленивый не издевается). Однако, голос говорит (жалобно или с пафосом протестуя) о безысходном уродстве извращенного в пропорциях мира и, например, тема красной казармы («Часовой») разработана Заболоцким так же, как и тема обывательского быта. Неужели и здесь сатира?

Мир Заболоцкого («О мир, свинцовый идол мой...») это – показанный острейшими современными поэтическими средствами достаточно известный в русской поэзии «страшный мир». Перед Заболоцким – мастером стиха, стоит очень трудная задача – преодолеть своих «идолов», «истуканов» и «кукол», выйти к более широкой и ценной тематике, приблизиться к основным задачам молодой революционной поэзии».

В. Друзин. Красная газета, 1929, 6 апреля, суббота, № 86

Потекли бесконечные пародии. Арго в журнале Крокодил в 1933-м году называет свою пародию «Ум за разум» и жаждет принятия мер.

Спит Земля и силы копит,
Чтобы были у нее.
Спит различное млекопит
ающееся Зверье.
Спят Гиены в диком Поле.
Спят Шакалы у Воды.
Спит Звезда,
и даже боле:
Спит
Редакция
«Звездь».

Заболоцкий пытался объясниться. Он опубликовал в «Звезде» несколько стихотворений, дополняющих философию «Столбцов»:

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.
Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

«То, что я пишу, не пародия, – писал Заболоцкий, – это мое зрение. Больше того: это мой Петербург-Ленинград нашего поколения: Малая Невка, Обводный канал, пивные бары на Невском».

А на столе уже начинался перевод древне-русской поэмы о побеге под названием «Слова о полку Игореве» со строчками:

Малое великим называют
И куют крамолу брат на брата.

В одна тысяча девятьсот двадцать девятом году сотрудник отдела детской книги ленинградского ОГИЗа Николай Заболоцкий снял комнату в Ленинграде в доме 36 на Большой Пушкарской улице. А уже через год он женился и съехал от Веры Ивановны Иеромузы.

26 февраля 1929 года Наркомпрос издал распоряжение «О разграничении функций между Главреперткомом и Главискусством», по которому на Главрепертком возлагался «политический контроль за репертуаром зрелищных предприятий»

И даже Маяковский не выдержал:

Подмяв моих комедий глыбы,
сидит Главрепертком Гандурин.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
на этой треснувшей бандуре?

А через год, Введенский, Хармс и Бахтерев были арестованы и сосланы. ОБЭРИУ прекратил существование.

Но Николая Заболоцкого ценил сам Николай Тихонов, превратившийся к тому времени из незаурядного поэта в чиновника. Журнал «Звезда» охотно публиковал Заболоцкого. Да и детский «Чиж и Ёж», в котором подкармливались обэриуты, тоже не отказывал.

Уржумский мальчик Сергей Миронович Киров не мог не знать о талантливом земляке. Вряд ли они встречались и вряд ли Хозяин Ленинграда давал какие-то указания.

В системе координат, когда оси превращаются в вертикаль не нужно было давать указания. Достаточно было, что Хозяин обратил внимание.

Теория утверждает что при достаточном количестве элементов сеть образованная из функционально простых элементов может приобрести способность к разумному поведению и даже проявить феномен само-осознания, обнаружить себя.

В начале тридцатых несколько миллионов верных и преданных бойцов, запачканных кровью Гражданской войны, начали стремительно стареть. А так хотелось, чтобы трубили трубы о том, что жизнь прожита не зря и кровь лилась не даром.

И эта социальная среда не могла быть безъязычной. Она отливалась в лозунги и призывы, она вызванивалась в строевых песнях, в пирамидах синьбузников, в киношной слащавой лжи, в словословиях пролетарских поэтов. «Шершавый язык плаката» выворачивал восприятие наизнанку. Плакат, как и чертёж, живёт только в одной плоскости. Величественные планы партии – это тоже всего лишь чертёж. Неподвижная виртуальная реальность, лежащая на плоскости. Многомерный мир Заболоцкого интуитивно сопротивлялся превращению в схему. А схема была жестока, хоть и привлекательна, и сполнение желаний в ней манило своей простотой. Она стирала с листа ватмана всё, что пыталось выйти за рамки и казалось оппозицией.



Поэт пытался выжить.

С 1934 по 1937 год на страницах газеты "Известия" появилось тринадцать публикаций – стихотворений, переводов стихов и критических статей, автором которых был Николай Заболоцкий. Абсолютно плоских и раблепных стихотворений. В 1936-м году страна истерически праздновала столетие со дня смерти Пушкина. И Заболоцкий не остался в стороне.

Лицом к народу – к его интересам, к его нуждам, к его стремлениям! Лицом к народу – к его борьбе, к его труду, к его завоеваниям! Лицом к народу – к его крепкому, мужественному, красочному языку, к его прекрасным песням, к его чудным сказкам! Пушкин, величайший наш поэт, сто лет тому назад погибший в неравной борьбе с дворцовой аристократией, жив доселе и дорог нам именно тем, что и всеми своими бессмертными творениями, и своими мыслями, разбросанными по дневникам, статьям и письмам, предвосхищает многие наши заботы, желания и помыслы, направляет наши поиски, бережет нас, охраняет от ошибок, помогает нам выйти на широкую дорогу воистину народной советской литературы. Далеко ушли те времена, когда «ученость, политика и философия по-русски еще не изъяснялись». Речи Ленина и Сталина служат прекрасным примером того, какой чистоты и мощи может достигнуть русский язык, прошедший через горнило революции и безраздельно устремленный к народу. Речь Сталина на VIII Съезде Советов своей железной логикой, всей своей мудрой простотой, всем своим убийственным юмором доходит полностью до любого из нас, будь то школьник или профессор, одинаково, – доходит и порождает восторженный отклик из глубины души. Нашей поэзии еще очень далеко до этого. Поэтому не будем хныкать, а будем работать, будем работать так, чтобы каждый шаг пройденного пути освобождал нас от наших немощей и приближал нас к искусству большому, полнокровному, многообразному, понятному и дорогому массам – тому самому искусству, которое называется искусством народным.

Заболоцкий Н. Язык Пушкина и советская поэзия (Заметки писателя). // Известия, 1937, № 22

Самое интересное в этой статье – это фраза об убийственном юморе Сталина.

«Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в Союз по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

– Эти товарищи хотят говорить с вами, – сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

– Мы должны переговорить с вами у вас на дому, – сказал он».

Н. Заболоцкий. История моего заключения.

«В 1929 г. в «Издательстве писателей в Ленинграде» вышла книжка стихов Заболоцкого «Столбцы». В этой книжке Заболоцкий дает искаженное через кривое зеркало «изображение» советского быта и людей. Это – страшный, уродливый быт, это – отвратительные, уродливые люди. Их только и видит Заболоцкий. Попытка представить это «изображение» как сатиру на старый быт являлась дешевой маскировкой. Ибо Заболоцкий, как сам он утверждал, писал о «новом быте». И он одинаково уродливо, одинаково издевательски изображает и советских служащих, и «дамочек», и красную казарму, и красноармейцев, и нашу молодежь. Вот, например, «характеристика» молодежи:

Потом пирует до отказа
В размахе жизни трудовой.
Гляди! Гляди! Он выпил квасу,
Он девок трогает рукой,
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.

Заболоцкий юродствует, кривляется, пытаясь этим прикрасить свою истинную позицию. Но позиция эта ясна — это позиция человека, враждебного советскому быту, советским людям, ненавидящего их, т.е. ненавидящего советский строй и активно борющегося против него средствами поэзии».

Отзыв Н. В. Лесючевского по запросу органов НКВД. 1938

«Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался и мы сидели молча. Следовательно что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова...

...Наконец, меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью...

...Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем как сквозь сон помню, что какие-то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных».

Н. Заболоцкий. История моего заключения.

Из писем к жене:

27 февраля 1939 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Родная моя Катенька, милые мои дети!

Я здоров и две недели назад отправил тебе первое письмо. Ответу еще быть рано, но жду его с нетерпением. Мой адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна, мне.

Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать. Просил послать тебя, если ты в силах, 50 рублей и посылку сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Еще, дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продается в виде облаток рубля полтора коробка. Если есть — пошли, родная. Также хорошо бы — луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую я. Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в месяц.

Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.
Любящий вас папа Н. Заболоцкий.

25 июня 1940 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Моя милая Катя! На днях получил твое письмо от 31 мая 1940 о том, что Верховная Прокуратура передала мое дело в НКВД для утверждения отмены приговора.

Я всегда твердо верил в то, что мой приговор будет отменен и я буду реабилитирован. Тем не менее твое письмо так сильно подействовало на меня, что я до сих пор хожу под его впечатлением. Легче стало жить на свете. Каждую ночь вижу во сне вас, мои дорогие, и Ленинград. Верю, что уже не так долго ждате мне окончательного разрешения дела в НКВД.

Твой Н. Заболоцкий.

Телеграмма 31 августа 1944 (Михайловское)

Освобожден, оставлен вольнонаемным здесь, подробности письмом.
(Это не Пушкинское Михайловское. Это Алтайлаг в с.Михайловка Михайловского р-на)

«Пишу Вам с той почтительной робостью, с какой писал бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения, что автор "Журавлей", "Лебедя", "Уступи мне, скворец, уголок", "Неудачника", "Актрисы", "Человеческих лиц", "Утра", "Лесного озера", "Слепота", "В кино", "Ходоков", "Некрасивой девочки", "Я не ищу гармонии в природе" -- подлинно великий поэт, творчеством которого рано или поздно советской культуре (может быть даже против воли) придется гордиться, как одним из высочайших своих достижений. Кое-кому из нынешних эти мои строки покажутся опрометчивой и грубой ошибкой, но я отвечаю за них всем своим семидесятилетним читательским опытом»

Корней Чуковский. 5 июня 1957 г.

Поэтический образ, став популярным, быстро теряет свежесть, неожиданность и становится привычным и прирученным.

Образы «Столбцов» приручить невозможно.

Прирученные образы поздних стихотворений Заболоцкого запозсовели моментально.

Они были мастерски выписаны, но выписаны в одной плоскости.

Ко времени освобождения Николая Заболоцкого из обэриутов уже никого не было в живых. Он оставался один, расплюснутый асфальтовым катком времени. Мастер, потерявший секрет объемного слова.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим.
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

1957

ПИШУЩАЯ МАШИНКА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ.
ЗАМЕТКИ ПО ТЕМЕ.

Эссе



В 1916 году, рецензируя второе издание «Камня» Мандельштама, Гумилев использует нестандартное уподобление:

«Его <О. М.> вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль.

Эта мысль напоминает мне пальцы ремингтонистки, так быстро летает она по самым разнородным образам, самым причудливым ощущениям, выводя увлекательную повесть развивающегося духа¹.

Выразительная метафора критика будет иметь существенные последствия: машинистка и ее инструмент, вместе и по отдельности, названные прямо, либо обиняками, будут регулярно появляться и в прозе и в стихах Мандельштама – от простых упоминаний («Животный страх стучит на машинках <...>²; «Клавишная прогулка по всему кругозору античности»³), до ключевых, хотя и не вполне прозрачных силовых точек в «1 января 1924 года»: «И где-то щелкнул ундервуд», «То ундервуда хряц: скорее вырви клавиш – / И щучью косточку найдешь», «Но пишущих машин простая сонатина – / Лишь тень сонат могучих тех»⁴. Процедура вбирания и осмысления поэзией технического объекта в этом случае представляет собой – как и в классических случаях телефона⁵ и трамвая⁶ – чрезвычайно интересный процесс, хотя имеет и

¹ Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М. 1990. С. 200

² Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Т. 2. Проза. М. 2010. С. 347 («Четвертая проза»).

³ Там же. С. 160 («Разговор о Данте»); здесь же, в комментариях Л. Г. Степановой и Г. А. Левингтона обсуждается вопрос, о том, имеется ли в виду здесь клавиатура пишущей машинки или рояля (С. 545 – 546)

⁴ Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Т. 1. Стихотворения. М. 2009. С. 137 – 139. Обширные параллели к этим фрагментам приводятся в работе: Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem. 1983. P. 297 – 301.

⁵ Тименчик Р. Д. К символике телефона в русской поэзии // Труды по знаковым системам. XXII. Зеркало: Семантика зеркальности. Тарту. 1988. С. 155 – 163 (УЗ ТГУ. Вып. 831).

⁶ Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии // Труды по знаковым системам. XXI. Символ в системе культуры. Тарту. 1987. С. 135 - 143 (УЗ ТГУ. Вып. 754).

принципиальное отличие – ибо пишущая машинка гораздо ближе и интимнее связана с творческим процессом как таковым. Собственно, появление машинки в писательском быту – первая (с момента изобретения бумаги) и последняя техногенная метаморфоза литературного церемониала; совершилась она почти мгновенно, происходила бурно и оставила многочисленные следы, предварительной ревизии которых и посвящена настоящая заметка¹.

В Россию дивное изобретение проникло в конце 1880-х годов; журнал «Нива», взявший за правило знакомить своих просвещенных и многочисленных читателей с новинками художеств, науки и техники, посвятил пишущей машинке маленькую главу в хронике:

«Так называемая *пишущая* машинка есть механическое приспособление, дающее возможность оттискивать обыкновенный типографский шрифт (отлитые из металла буквы) на полосе бумаги, которая проходит под ним, навиваясь с катушки на катушку. Первая пишущая машинка была изобретена в 1855 году г. Фуко и с тех пор совершенствовалась различными изобретателями, из которых наибольшего внимания заслуживает Маллинг Ганзен и его пишущий шар. Это последнее изобретение было улучшено американцем Шольсом в 1867 году. Он устроил пишущую машинку с клавишами, которые прижимаются пальцами, как фортепианные. Каждой клавише соответствует особая буква шрифта, которая и опускается, если прижать клавишу. Машина устроена так, что буквы, одна за другой, в том порядке как берутся, ударяют в одно и то же место по проходящей под ними ленте с краской, прижимая ее к полосе бумаги, также двигающейся как и лента и следовательно оттискивают буквы на бумаге одну за другой. Педалью регулируется образование строк. Этот аппарат, с успехом применявшийся уже несколько лет в Западной Европе, дает более семидесяти слов в минуту, а если наложить друг на друга несколько рядов ленты с краской и бумаги, то он доставляет одновременно до 16 оттисков рукописи. Дальнейшим усовершенствованием этого аппарата является изображенная на нашем рисунке пишущая машинка Ремингтона, которая дает возможность, без большого навыка и напряжения, излагать свои мысли на бумаге по меньшей мере вдвое скорее чем рукописно; причем печатанное не только копируется обыкновенным конторским прессом, но и сама машина дает зараз 4-6 оттисков на обыкновенной бумаге, 10-15 на почтовой и до 30 – на шелковой. Процесс печатания производится ударами пальцев обеих рук о клавиши легко и свободно, печать ясна и отчетлива, и следовательно устраняет недоразумения, возникающие иногда при чтении разных, подчас весьма затейливых или неразборчивых почерков.

В России машинами Ремингтона обзавелись уже: Государственный банк, некоторые министерства, правления почти всех железных дорог, многие торговые фирмы и проч. Склад пишущих машин Ремингтона находится в Петербурге, на Большой Морской, № 21, в магазине американских изделий Генриха Блокка»².

¹ Из работ, касающихся этой темы, стоит отметить недавнюю статью: Виоле К. Писатели и пишущая машинка (Языки рукописей. СПб. 2000. С. 21 – 37), в которой приведены обширные примеры взаимодействия человека и механизма и изложена тщательно прописанная история технической стороны вопроса; ср. в отзыве рецензента: «Любопытно узнать, как разные писатели по-разному воспринимали пишущую машинку: одни писали на ней с самого начала, а другие лишь придавали окончательный вид первоначальному варианту, написанному от руки; одни печатали с большим количеством опечаток (торопились) и ничуть этим не смущались, а другие эти опечатки старательно исправляли (статья Катрин Виолле «Писатели и пишущая машинка»). И что с того? Конечно, если бы автору статьи в самом деле удалось доказать, что «использование пишущей машинки влечет за собой значительные стилистические изменения», «трансформирует стратегию создания текста, его синтаксическую конструкцию», и показать, как именно это происходит, это было бы очень интересно» (Мильчина В. // НАО. № 55. 2002. С. 391 – 392).

² Пишущая машинка Ремингтона // Нива. 1887. № 43. С. 1074. Выбор места для ее продажи не случаен, владелец магазина Генрих (он же Юрий Иванович) Блокк (в разных написаниях Блок, Блох) был известен своим пристрастием к гаджетам; ср. реплику завсегдатая его московского магазина: «В Москве — на Кузнецком Мосту — в те времена был магазин велосипедов, пишущих машинок (которые тоже <как и фонографы> только тогда начали появляться) и иных подобных приборов. Владельцем его был Юлий Иванович Блок — не имевший никакого отношения к тогда еще не известному поэту Блоку, но имевший отношение к московскому музыкальному миру: он был большой меломан, постоянный посетитель симфонических концертов, где у него были постоянные места рядом с С. И. Таневым и графиней Софьей Андреевной Толстой» (Сабанеев Л. Л. Воспоминания о России. М. 2005. С. 115); ср. мемуар петербургского покупателя: «На Гороховой улице Генрих Блок продавал пишущие машинки. Я купил здесь ленту для моего «Ремингтона» (Гумилевский Лев. Судьба и жизнь. М. 2005. С. 35); монополия сохранялась и в XX веке; см., например, в рекламных объявлениях, печатавшихся из номера в номер в журнале «Будильник» за 1900-й год: «Самую

Как это часто бывает, европейский приоритет был оспорен отечественными умельцами: в разные годы предпринимались попытки улучшить механизм¹ или видоизменить саму концепцию прибора²; несмотря на это, развитие получила именно первоначально представленная модель. Более того, товарная марка первопроходца на несколько десятилетий³ сделалась нарицательной, что породило ряд речевых новаций: не только восседающая за крупным механизмом барышня сделалась «ремингтонисткой», а иногда и «ремингтонщицей»⁴ (слово *машинистка* в это время еще заре-

усовершенствованную из всех машин настоящую всемирно-образцовую РЕМИНГТОН модель 1900 № 7 и 8 можно приобрести исключительно у тов-ва Г. Блюк».

¹ Наиболее известная из них – «пишущая машина» (уменьшительный суффикс не применялся по отношению к этому монументальному изобретению) М. И. Алисова. В рекламной брошюре говорилось: «Изобретение это появилось впервые в 1870 году. Затем в продолжении трех лет г. Алисов трудился над усовершенствованием машины и, достигнув заметных в этом успехов, выставил ее на венской «всемирной выставке» и позднее на устроенной в С.-Петербурге Императорским русским техническим обществом «выставке усовершенствованных механизмов и орудий». Наконец, в 1876 году машина эта была выставлена в Америке на «Филадельфийской выставке», где она обратила на себя особенное внимание публики и печати. <...> Машина эта не есть заимствование или усовершенствование какого-нибудь уже существующего прибора, но она представляет собой оригинальное и вполне самостоятельное изобретение, не имевшее никаких прецедентов, доказательством чему служат повсеместно полученные г. Алисовым привилегии на эту машину» (Пишущая машина М. И. Алисова. С приложением описания машины. СПб. 1878. С. 3). Выглядела она не очень похоже на привычный нам образец, а действительно напоминала швейную, с которой и сопоставлялась: «Величиною она не более швейной со столиком машины, а вес ее может простираться, смотря по размеру, от 4 до 8 пудов». В рекламной брошюре особо отмечался темп работы («Средняя скорость работы на машине равна 60 буквам в минуту, тогда как писец, копируя бумагу набело, проставляет от 40-50 букв в минуту»), скорость обучения («Работать на машине можно выучиться за несколько дней. Назначенные русским Военным Министерством писаря выучивались работать на ней в 6 дней, занимаясь только по 3 часа в день») и лояльная к пользователю цена: 320 руб. Любопытно, что сходные метаморфозы прогнозировались машинке уже на излете ее жизненного пути: Пишущая машинка. Век XXI // Знание - сила. 1980. № 3. С. 23

² Циолковский К. Э. Моя пишущая машинка. Калуга. 1928. Здесь единицей печати была не буква, а строка, алфавит представлял собой изысканное смешение букв русского и латинского алфавита и т.д.

³ Основной конкурент – «Ундервуд» - пришел в Россию к концу XIX века и, хотя и снискал превосходную репутацию («Лучше всего пишущая машинка, кажется, системы ундервуд. Прежде чем отдавать печатать, нужно спросить и систему машинки, а то есть ужасные, мелкие и мазаные. Отнюдь не красным шрифтом — лучше всего черным. Все это очень серьезно». – Письмо Н. Клюева к А. Н. Яр-Кравченко начала осени 1934 года. – К биографии Н. А. Клюева последнего периода его жизни и творчества (По материалам семейного архива Б. Н. Кравченко). Публикация А. И. Михайлова // ЕРОПД на 1990 год. СПб. 1993. С. 172), потеснил пионера в языковой практике существенно позже, к концу 1910-х годов. Еще десятилетием позже две основные марки пишущих машин воспринимались как равнозначные, что послужило фоном для юморески Дона-Аминадо «Роман пишущих машинок»:

«Я не знаю, правда это,
Явь ли это или сон?..
Мы стучали на машинках
Ундервуд и Ремингтон.
Он стучал на Ундервуде,
Я стучала на другой.
Он имел свою работу,
Я отдел имела свой.
Мы молчали и любили.
Мы любили... этот труд.
Мы молчали и стучали,
Ремингтон и Ундервуд» и т.д.

(Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М. 1994. С. 209). Другие торговые марки, рекламировавшиеся на российском рынке («Гаммонд» («Хаммонд»), «Континенталь» («лучшая по конструкции и прочности»), «Смис-Премьер», «Вильэмс», «Дэнсмор», «Бликенс», «Крэндель», «Франклин», «Глоб», «Бликенсдерфер»), подобного распространения (как минимум – в стихах) не получили; не исключено, что из-за просодической и рифменной бесперспективности.

⁴ «Александра Львовна вчера и сегодня ужасно много сработала. Чудная корреспондентка и ремингтонщица» (реплика Льва Толстого в записи Д. П. Маковицкого // Литературное наследство. Т. 90. У Толстого. 1904 – 1910. Кн. 4. М. 1979. С. 356)

зеврировано за технически оснащенной швейей¹), а сам процесс принял имя ремингтонирования², но и получающийся в результате текст метонимически именовался *ремингтоном*.

К началу XX века машинопись прочно вошла в редакционный и писательский обиход, так что ремингтонная разборчивость манускрипта сделалась для большинства издателей непременным условием его рассмотрения³. Обратным эффектом этого сделались две разнонаправленные этические новации: стало неловко посылать неперепечатанные рукописи⁴ – и, одновременно, правила хорошего тона побуждали извиняться за частное письмо, напечатанное на машинке: «Тебя не шокирует ремингтон? – уж очень я привык к нему. Но все равно – и чернилом целую тебя»⁵; «Нет, дорогой Валерий Яковлевич, я ничуть не "оскорблена" вашей машинкой. Правда, такое письмо всегда кажется написанным "под диктовку", что лишает его аромата интимности; – но, может быть, это консерватизм, старый взгляд на "письмо" (независимо от его содержания, конечно, говорю я об "интимности")»⁶. Актуализированное отныне противопоставление рукописного и машинописного послания (звучно выраженное Цветаевой: «Спасибо за письмо, хотя маленькое и на ре-

¹ Ср., напр.: «В эти мгновения Плясов вспомнил встречу с Маней и короткое знакомство с ней. Она была машинисткой, то есть работала в швейной мастерской на машине. Он встретился с ней на улице вечером под Троицын день, когда она, измученная десятичасовой работой, медленно шла домой с жаждой жизни, любви и счастья в измученном теле» (Зарин А. Е. Лето. Петербургская повесть. СПб. 1901. С. 33)

² См., например, в письме А. Белого к П. Зайцеву 20 июня 1928 года: «Шлю на днях Вам «Арменит» (на 3 печ<атных> листа для «Красной нови»), – Вам потому, что, может быть, можно ремингтонировать (в 2-х экземплярах); дорогой, известите Санникова; и ремингтонируйте, если «Кр<асная> новь» не перерешила в принципе напечатать; *он – удался вполне*, переписано вполне четко (К<лавдия> Н<иколаевна> переписывала); если они удовлетворяются рукописью, то можно не ремингтонировать; но (в случае I ремингтона) надо соблюдать *ради ритма* мои окончания; если пишу сочинен<ье>, надо писать «*ь*», а если «*ние*», то «*ие*». Все наборщики и ½ ремингтонисток не соблюдают моих окончаний, калеча мне ритм» (Зайцев П. Н. Воспоминания. М. 2008. С. 412); одновременно существовали синонимы «отбить на ремингтоне» («Книга эта была ею <О. А. Добиаш-Рождественской> самой отбита на ремингтоне и затем литографирована». – Письмо Д. С. Усова к Е. А. Архипову от 19 сентября 1925 года // Усов Д. «Мы сведены почти на нет...». Т. 2. Письма. Составление, вступительная статья, подготовка текста, комментарии Т. Ф. Нешумовой. М. 2011. С. 343), «перестукать» («Варвара Николаевна! Перестукайте на машинке!». – Помета неизвестного лица на рукописи поэмы «Ус» С. Есенина, адресованная жене Р. В. Иванова-Разумника В. Н. Ивановой. См.: Есенин С. А. Полное собрание сочинений. Т. 2. Стихотворения (маленькие поэмы). М. 1997. С. 291 (комментарий С. И. Субботина)) и т.д.

³ См. например: В мире искусств (Киев). 1907. № 2. С. 26 («От редакции»: «Просят гг. авторов присылать статьи по возможности писанными на пишущей машинке»); уже к концу 1910-х годов вынужденное обращение в типографию с рукописным оригиналом выглядело анахронизмом и влекло ожидаемые последствия: «Машинок для перепечатки у нас не было – наборщики набирали с рукописей. Многие из рукописей были малоразборчивы. Почерк Эренбурга оказался особенно недоступен наборщикам. Эренбург, увидев, как перевраны его стихи в альманахе, за голову схватился и стал ожесточенно исправлять чернильным карандашом ошибки» (Мицдлин Э. Необыкновенные собеседники. М. 1979. С. 13)

⁴ «Простите, что не напечатал на Ремингтоне: обратиться не к кому, нанять – денег нет» (письмо И. И. Тачалова к М. Горькому 15 декабря 1911 года. - Горький М. Материалы и исследования. Т. I. Л. 1934. С. 430).

⁵ Недатированное письмо Л. Н. Андреева к Н. А. Чукамалдиной // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах. <Т. XI>. М. 2001. С. 493 (публикация В. Н. Чувакова).

⁶ Письмо З. Н. Гиппиус к В. Я. Брюсову от 22 апреля 1909 года // Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Filosofova с В. Я. Брюсовым (1904 – 1906). Публикация М. В. Толмачева, комментарии Т. В. Воронцовой // Российский литературоведческий журнал. 2001. № 15. С. 217; много лет спустя Гиппиус уточняла свое отношение к предмету: «А письма на машинке — их гораздо приятнее читать; вероятно, писать тоже; их только хранить нет заботы, как все, что не "fait a la main"» (письмо к Ходасевичу от 12 декабря 1928 года: Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor. <1978>. С. 95); эта этика просуществовала до второй половины XX века; см. соответствующие места в письмах В. Каверина («Извините, что отвечаю Вам на машинке,— что-то ломит руку». - Каверин В. Литератор. Дневники и письма. М. 1988. С. 237) или Д. Максимова («Простите, что пишу на машинке. Это неприлично, но у меня ужасный почерк». – Russian studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. Т. III. 2000. № 2. С. 456), а также выразительный анекдот про Т. Г. Цявловскую: «К Новому году Татьяна Григорьевна получила поздравление от четы Виноградовых, написанное на машинке. Оно начиналось — «Дорог...», а далее от руки — «ая Татьяна Григорьевна» — и вновь текст на машинке. Недолго думая, Т. Г. села за машинку и наступала: «Дорог...» и тоже — «имя рек» от руки. Не знаю, поняли ли Виноградовы ее насмешку» (Богаевская К. П. Из воспоминаний // НЛО. № 29. 1998. С. 140).

минигтоне: люблю большие и от руки»¹) заставляет и пишущего, и читающего отыскивать различия в содержании, инспирированные метаморфозами формы: «Константинупско, брат, – ты что же это – на машинке, как радио жарить? – или, просто говоря, машинку купил? – у меня раз в жизни на две недели была машинка, – так я тогда всем писал на ней, и все извинялся. Ты уж напиши *от руки*, и как – и что, не спеша, про новостипки, – а то куда-то мне от машинки холодак залез, – не хочу холодака»²; «Смотри – какая трещина в психологии: на машинке – «прекрасные места», пером – «скучно». Этак, пожалуй, переменится вся... идеология, ежели я стану всегда писать на машинке!! О, ужас!!»³.

Основные претензии к появлению новой – между рукописью и книгой⁴ – ипостаси текста⁵ связывались с увеличением дистанции между творением и творцом: «Много поправок (смысловых и словесных) возникают прямо под рукой. Никакая машинка не заменит! Я – рука – бумага.

¹ Письмо Р. Гулю 4/17 января 1923 года // Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. Письма. М. 1995. С. 518

² Письмо Б. Пильняка к К. А. Федину от 22 ноября 1922 года // Пильняк Б. Письма. Том 1. 1906 - 1922. М. 2010. С. 511 – 512; об обсуждавшихся в кругу серапионов связях между текстом и формальной стороной его бытования см.: Чудакова М. Рукопись и книга. М. 1986. С. 108 – 109.

³ Письмо К. А. Федина Н. С. Тихонову 8 августа 1928 года // «Серапионовы братья» в зеркалах переписки. М. 2004. С. 475; вот, напротив, редкий пример положительных ожиданий, связанных с машинкиными резервами выразительности: «Не могу даже и ремингтоном изобразить, описать радость при Вашем сообщении, что Вы пишете обо мне статью. Я всегда мечтал об этом, и суждено сбыться моим «дримам», английское слово «дрим» – сновидение по-русски живет под паспортом сонливости, дремы, дремучего леса» (письмо Д. Бурлюка Э. Голлербаху 8 апреля 1930 года. – Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб. 1994. С. 180)

⁴ Щадя долготерпение читателя, я отказываюсь от перспективных сопоставлений поэтических обликов машинистки и типографского наборщика, хотя портреты последнего – как и первой – и выразительны («Мой неизвестный друг и брат, / Какие видишь ты картины, / Когда ложатся буквы в ряд / В рассказ причудливый и длинный». – Грушко Н. Ева. Пб. 1922. С. 50), и сентиментальны («Друг наборщик! Ты часто меня выручал / Без тебя кто бы песни мои увидал? / Как цветы полевые в безлюдной глуши / Все завяли б они в кабинетной тиши» (Сизов К. Стихотворения. Казань. 1903. С. 26); «Измучен, отравленный пылью свинцовой / Газетный наборщик за «кассой» стоит... / Хоть ноги устали, в глазах уж рябит, / Но водит рукой он по «кассе» основной, / И буква за буквой в «верстатку» лепит» (Крупнов А. Е. Стихотворения. Кн. 1. Изд. 2-е. Одесса. 1903. С. 99); «Склонясь на бумаги тугую стопу, / Глаза корректурой слепишь, - / Чтоб завтра манили к веселью толпу / Полотна крикливых афиш. / Мы сыпшем загадочных нот вороха; / И с помощью цинка пластин, / На тех же машинах даем без греха, / Прекрасные снимки с картин» (Животов Н. Ключья нервов. Собрание стихотворений. Книга первая. <Киев>. 1910. С. 9); «Герои славной армии свинцовой! / Вы дух освободили от оков» (Зинаида Ц. <Быкова З. И.> Лучи и тени. Пг. 1916. С. 309) и др.

⁵ Впрочем – к началу 1920-х годов уже встроенной в технологический ряд и весьма в нем уместной:

Папирус сдержанный, торжественный пергамент
И строго деловой кирпич,
Сухой и ясный камень
И властный медный клич.
И щедрая ритмическая память
Рапсовых и певцов.
Полезный ремингтон, болтливая бумага,
Распутная печать
Из сонма всех бесов, рожденных в Вавилоне

(незаконченный набросок: Волошин М. Собрание сочинений. Т. 2. М. 2004. С. 563); заслуживают упоминания отношения самого автора с «полезным ремингтоном»: «Дорогая Александра Михайловна, ну вот видите последнее мое безумие: пишущая машинка, даже письма на ней пишу. Но это имеет свой смысл: необходимо научиться писать как можно скорее, т<ак> к<ак> правая рука от письма быстро устает и немеет. Если б мне пришлось рукой написать столько, сколько я должен был переписать за это время стихов, то у меня бы уже пальцы отнялись» etc. (Письмо Волошина к А. М. Петровой от 9 мая 1917 года. – Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой 1911 – 1921 гг. Публикация, подготовка текста и примечания В. П. Купченко // Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. II. СПб. 1999. С. 157; благодаря образцовому комментарию, мы знаем не только марку машинки («Смис-Премьер»), но и основные этапы ее жизненного пути см. там же, с. 158).

Я – рука – машинка – бумага. Насколько утяжелена инстанция передачи¹. Одновременно и сама машинка, встречающая в тесный дуэт музы и сочинителя², приобретала отчетливые антропо-

¹ Письмо М. Цветаевой к П. Сувчинскому от 4 сентября 1926 года // Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. Письма. М. 1995. С. 323; ср. сходные эмоции, выраженные в ретроспекции: «С Ахматовой» говорили о Сологубе, его наследии (о том, как неверно оставлять вместо рукописей переписанные на машинке стихи) <...>. – Запись в дневнике П. Лукницкого от 14 декабря 1927 года // Об Анне Ахматовой. Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма. Л. 1990. С. 165; ср. также игривое преломление того же мотива: «Игорь Северянин сказал, что он никогда не мог бы писать на машинке, что он должен видеть свой почерк, сочиняя стихи, что и бумага для них должна быть особенная – сиренево-фиолетовая. Вообще, добавил он, музыка боится всяких машин, техники, фабричных труб» (Дейч А. День нынешний и день минувший. Литературные впечатления и встречи. Изд. 2-е. М. 1985. С. 283); логического тупика эти чувства достигают в эпизоде, едва ли не выдуманном мемуаристом: «Горький на это сказал:

– Вчера я иду домой. Вижу, в окне свет. Глянул, сидит человек и «ремington» починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый. Тоже стал глядеть и вдруг: «Сволочи! Чего придумали? Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи!» (Федин К. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М. 1977. С. 98).

² Порою образовавшийся любовный треугольник описывался трагически:

«Жутко во тьме,
Рублями звенят поцелуй,
Льнет проститутка
Блудить с моей музой,
Днем она стучит на «Ундервуде»
В Гувузе.
Тьма лижет глаза черным языком,
Но я и ночью вижу.
Люди, люди!» (Герасимов М. Черная пена // Кузница. 1922. № 9. С. 7 - 8);

порой – лирически:

«К пишмашинке оба мы относились как к чему-то родному, одушевленному; еще бы: – ведь она была третьим сотоварищем в нашей творческой игре! – Недаром Ярославский в одном из стихотворений, вошедшем в сборник “√ Я” (“Корень из Я”), шутя называет машинку второю своею женой... Бедная верная машинка!» (Ярославская-Маркон Е. «Клянись отомстить словом и кровью...» Публикация и примечания Ирины Флиге // Звезда. 2008. № 1. С. 138; имеется в виду следующее ст-ние:

МАШИНКА

Моя машинка мне почти – жена;
Я сердцем к ней с любви стекаю лона...
– Да, я влюблен... Какого же рожна
Мне и не быть в нее влюбленным? –
Вчера... Вчера она была больна
И был жесток я к мастеру-хирургу...
Отнес в починку я ее, накинув бурку,
И в полном здравии теперь она...
– Пощелкивает резво, шаловливо
Железной лапкою по валкину лбу, –
Звонки звонка умеренно крикливы
И лента ликвидировала бунт...
Я так ее люблю; моя жена...
– Другая... та, которая из ЗАГСа, –
– Два года с ней я в бричку брака впрягся –
Ты ревновать к машинке не должна...
Поэт всегда – слегка магометанин
И многоженство лакомо ему;
– Быть может этот брак с машинкой странен,
Но в сердце много суетливых смут...
Машинка мысль мою железом жадно тиснет, –
Ты эту мысль выграниваешь мне, –
И песня строк певучим соком брызнет

морфные черты: «Мой ремингтон кланяется твоему ремингтону и ждет от него писем»¹; «Посылаю Вам обещанную мною Вам на время каникул пишущую машинку. Счастливая машинка! Она думала служить бедным... дуракам какими мы являемся, а она будет служить великому поэту и философу! Но за то какое унижение, когда она возвратится к нам»². Из этой коллизии оказывается два выхода. Согласно одному из них, муза сама усаживается за пишущую машинку, отбирая у писателя роль медиума:

Послушай, муза, плюнь на высь, –
Есть дело!.. Ну же, опустишь:
Свалять нам надо, на заказ, –
Обычный святочный рассказ...
Не поднимай брезгливо губ,
Ведь даже Федор Сологуб
И Арцыбашев «Соломон» –
Сажает муз за «Ремингтон»...³

Во втором случае – машинка захватывает власть над сочинителем, не только выбирая за него форму текста («А знаете, почему на Западе так распространен свободный стих? Потому что там пишут стихи прямо на машинке!»⁴), складывая за него недобрые заклинания («страшное халдейское слово КНАОГШЦИОПТИРАОГИМ, получившееся само собой на пиш. машинке»⁵),

В бегущих рифм затейливой возне...
– Не верь, жена, лукавой лысой злобе, –
Игре стиха все жалобы равны! –
Ты и машинка – вы нужны мне обе,
Как двоеженцу две его жены!...

(Ярославский А. Корень из Я. Биокосмисты. Л. – М. 1926. С. 229 – 230))

¹ Письмо В. Шкловского к Ю. Тынянову 4 марта 1929 года. – Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 197 (публикация О. Панченко); ср. еще более выразительное антропо- или даже зооморфное уподобление литер машинки – сомкнутым челюстям: «Нас встретили захламленные помещения, заржавленные машинки, в зубах машинок торчали старые куски дореволюционных сценариев» (Нашельбаум И. Угол отражения. СПб. 2004. С. 143)

² Письмо Ф. де Режики (Philippe de Regis) Вяч. Иванову 23 июля 1937 г. // Итальянский архив Вяч. Иванова. Опись 5. Картон 9. Папка 12. Режис Филипп де. Л. 10 – 10 об.

³ Агнивцев Н. Вы хотите? – Извольте // Сатирикон. 1913. 31 декабря. № 52. С. 3. Пристрастие Сологуба к машинописи и машинисткам (живое свидетельство которому – трехсотстраничная пачка деловой эпистолярки, посвященной найму последних – ИРАИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 52) давно уже не было секретом для современников: «Пока же – делаю тоже усилие: беру окованное перо и пишу длинное письмо (хорошо вам, вы все ваши чары на ремингтоне...) да еще диктуете, наверно!» (письмо З. Н. Гишпиус к Ф. Сологубу от 3 декабря 1909 года // ИРАИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 183). Взятое на выборку письмо одной из абитуриенток выпукло характеризует круг требований и пожеланий работодателя: «На машинке скоро писать не умею. Занятия я очень хочу получить постоянные. К праздникам отношусь безразлично, хотя, конечно, хорошо бы иметь 1 день в неделю свободный. <...> Относит. убежденный я должна сказать, что мои полит. убеждения довольно определенные, но они не могут помешать мне заниматься у литератора и другого толка, если... Хотела написать как-нибудь помягче, но скажу прямо. Если его убежд. не есть убежд. черносотенцев-террористов. <...> Против того, чтобы быть летом босой, я ничего не имею. В деревне это очень хорошо, я люблю. Я думаю, вы говорите о деревне?» (письмо Л. И. Галкиной к Сологубу 28 мая 1908 года // ИРАИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 164. Л. 2 – 3). Из множества свидетельств о роли машинописных документов в его писательском быту приведем одно: «Была у него также своеобразная манера при чтении вслух своих только что выпешших из машинки листов как-то особенно их подвертывать» (Эрберг Конст. (Сюннерберг К. А.) Воспоминания. – Лавров А. В., Гречишкин С. С. Символисты вблизи. СПб. <2004>. С. 236)

⁴ Реплика пожилого Маршака, переданная мемуаристом: Берестов В. Кленовый лист под подушкой // Я думал, чувствовал, я жил. Воспоминания о Маршаке. М. 1988. С. 435; один из самых знаменитых текстов, написанных по прямому указанию машинки, многим, конечно, памятен и так: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня! Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая государыня!! Сегодня придет полиция!!!».

⁵ Большухин Ю. Ползучие мысли // Опыты. Литературный журнал. Кн. 9. 1958. С. 80. Комический эффект от смешения машинописного с печатным текстом и от словесного выражения физических дефектов

открыто бунтуя¹ или изводя постоянными попреками («пишущая машинка <...> скороговоркой повторяла слово «то», приблизительно со следующей интонацией: «то ты пишешь не то, Тото, то - то то, то это мешает писать вообще»²). Отсюда происходит чрезвычайно распространенное к концу 1910-х годов уподобление плодовитого писателя – пишущей машинке: «Обидно, что Бальмонт теперь всего на всего – Ремингтон»³; «Дмитрий Мережковский – известный боголюбец христианского толка, маленький человечек, литературная деятельность которого очень напоминает работу пишущей машинки: шрифт читается легко, но – бездушен и читать его скучно»⁴; «Вчера на сон грядущий я прочел ваши тоненькие книжечки. Вас интересует мое мнение? Во-первых, я скажу, что вы уже бегло пишете на «Ундервуде». «Ундервудом» я называю стихотворную технику. Научиться писать ритмически с акцентуемыми окончаниями не трудней, чем хорошо работать на пишущей машинке»⁵ и мн.др. Гораздо реже это сравнение манифестируется от первого лица: «Я ведь – ремингтоновская машинка. Записываю только то, что приходит. Что ж, им ремингтоновскую машинку-то показывать»⁶.

Двойственная природа пишущей машинки определяет два противоположных метафорических ряда, по которым идет ее включение в образный строй русской поэзии. Первая череда ассоциаций, основанная на ее внешнем виде – музыкальная. Начиная с первых, еще девятнадцативечных прозаических уподоблений («она имеет клавиатуру рояля, и с нажимом каждой клавиши на бумаге появляется соответственная буква. Есть виртуозы, могущие часа в полтора «разыграть» все-

механизма многократно отыгрывается в литературе – от Семена Исидоровича из «Пеперь» М. Алданова («В той, берлинской машине почему-то не было ни вопросительного, ни восклицательного знаков; они потом проставлялись от руки, – выходило некрасиво» etc // *Современные записки*. 1933. <Т.> II. С. 84), до незабвенных «канциринадлэжностей в кредит за счет Правлэний».

¹ «Однажды пишущая подняла машинка / Великий бунт, / Сказавши: - Вот так фунт! / Что я? Безумная? Кретинка? / Писать все дни по тысячи листов! / Да будь я проклята! Да чтоб мне лопнуть сразу! / Хозяин мой как видно бестолоков, / Коль выходного не дал мне ни разу. – / На это отвечал хозяин: – Горе мне! / Ты, дура, ничего не понимаешь, – / Ты лишь статьи мои перебелишь, / А мне за них влетает по спине» (Заболоцкий Н. Пишмашинка и автор // *Заболоцкий Н. Собрание сочинений*. Т. 1. М. 1983. С. 471).

² Набоков В. Собрание сочинений русского периода в пяти томах. Т. <2>. СПб. 1999. С. 421 («Защита Лужина»). Ср. впрочем и довольно редкий случай реабилитации механизма: «Не пишущая машинка / Перепечатывает скверно, / Как будто вовсе разучилась, / А ты! И потому, наверно, в конце концов и получилась / Такая масса опечаток, что все они не что иное, / Как очень четкий отпечаток происходящего со мною – / Такая бестолочь, такая / Опшсок уйма, оговорок... / И я тебя не попрекаю, / Ведь я тебе не лютей ворог. // Но прояви и ты терпимость / Ко мне! Не Нестор я, не Пимен / И даже и не Анонимус, / И даже не непогрешим, как / Тот римлянин, наместник божий... / Да ведь и ты тоже / Не пишущая машинка!» (Леонид Мартынов. *Машинопись // День поэзии*. М. 1979. С. 41 (указано Р. Д. Тименчиком)).

³ Письмо А. Бурнакина к И. Анненскому от 12 июля 1908 года. – *Иннокентий Федорович Анненский*. 1855 – 1909. Материалы и исследования. М. 2009. С. 516 (публикация А. И. Червякова). Этот отзыв предвосхищает распространенный анекдот, рассказанный, в частности, Одоевцевой: «Бальмонт пишет стихи почти без передышки и сразу начисто, на пишущей машинке – черновики у него нет. Утром, выпив кофе, он, как полагается по его программе, настукивает три стихотворения, потом идет завтракать, а когда после завтрака снова усаживается за машинку, возле нее лежат уже не три, а шесть стихотворений — три из них напечатала сама пишущая машинка, и он не знает, которые принадлежат ему, которые ей, и все их вместе посылает в редакции журналов» (Одоевцева И. *На берегах Сены*. М. 1989. С. 224). Надо сказать, что в писательском быту Бальмонта машинка действительно играла существенную роль: «Пишущая моя машинка весело стучит, и дней через 10 - 12 я надеюсь послать Вам рукопись новых моих стихов, «Светослужение»» (Письмо Бальмонта к В. В. Оболянинову 19 января 1937 года // *Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. К. Д. Бальмонт и его литературное окружение*. Воронеж. 2004. С. 178).

⁴ Горький М. О белоэмигрантской литературе // *Горький М. Собрание сочинений*. Т. 24. М. 1953. С. 337

⁵ Мариенгоф А. И в хвост и в гриву // *Гостиница для путешественников в прекрасном*. 1923. № 2. Страницы не пагинированы (отзыв о стихах Ричиотти и Полоцкого); ср. также в предисловии Бурлюка к книге стихов Хлебникова: «Хлебников не подобен поэтам, кои пишут на «пишущей машинке»; рукописи кои заключены в папки с золотым обрезом, автору известна каждая строчка. Хлебников – не Данченко – кто больше отпечатал, чем написал» (Бурлюк Д. Виктор Владимирович Хлебников // *Хлебников В. В. Творения 1906 – 1908*. М. <1914>. С. [2]).

⁶ Реплика музыканта и композитора В. Ребикова, запомнившаяся Волошину (см. в его дневниковой записи от 7 августа 1910 года: *Волошин М. Собрание сочинений*. Т. 7. Кн. 1. М. 2006. С. 314 – 315).

го, например, «Евгения Онегина»¹), сопоставление машинки и рояля / пианино будет многократно эксплицировано в стихах:

«Пером прочит он
По бумажным грудам
И завитушки цифр
Наследит.
Там девушка
За новым ундервудом
Как за роялем крошечным, сидит.

Она играет,
Но никто не слышит,
А гаммы рвутся,
Клавиши скрипят.
А ундервуд
Давно с одышкой дышит
От судороги
Бешеных сонат.

И гаммы вдруг
Запрыгали по скату,
И девушка
Взялась за бутерброд.
Та, что играла
Лунную сонату,
Вложила хлеб
И пять икринок
В рот.

Она нежна
К бетховенским причудам,
От клавишин не отрывает рук.
Ползут, как ноты, перед ундервудом
Последние счета в «Хлебопродукт»²

Или:

«Ни кухарка-де,
ни прачка –
ей
ни мыть,
ни лап не пачкать.
Машинисткам-де
лафа ведь –
пианисткой
да скрипачкой
музицируй
на алфавите.
Жизнь –
концерт.
Изящно,
тонно
стукай
в буквы «Ремингтона»¹.

¹ Всемирная выставка в Париже 1889 года // Альманах Север. СПб. 1889. С. 240

² Алтаузен Д. Безусый энтузиаст // Октябрь. 1929. № 1. С. 59 - 60

Или:

«Мои часы летят за Ундервудом;
Отчетлив быстрых букв удар.
Передо мной бумаг летает груда
За экземпляром экземпляр.
И в стукотне машинки оживленной
Звучит непойманный мотив
Симфонии строительства вселенной
Своеобразен и красив»²

Или – с пунктирно намеченным сопоставлением:

«Профиль, склоненный над Ундервудом,
Бледные пальцы на черной стали,
Каждый солнечный луч, как предвестник чуда,
Волнует сердце томящей печалью.
Смеется солнце сквозь серые шторы.
Удары клавиш быстры и четки,
Лишь иногда в деловом разговоре
Случайно брызнет дрожащая нота.
Кто-то играет на верхнем этаже...
Дрогнули пальцы на черной стали,
Кто голодному сердцу сказку расскажет
О смеющейся солнечной дали?»³

Или – с большевистской прямоотой:

За окошком летят снежинки,
Но не трогает вас мороз,
Вы играете на машинке,
Как на клавишах виртуоз.

Все поэты поют о домнах,
О величье полярных льдин,
Только ваших рекордов скромных
Не воспел еще ни один.

Ни один еще не возвысил
Этих пальцев нелегкий труд,
Эту музыку букв и чисел...
И лирический «Ундервуд».

Туфли новые и перчатки
Я надену в пригожий час
И для «срочной перепечатки»
Принесу вам стихи о вас.

Вы положите жестом гордым
Ваши пальцы на «Ундервуд»,
И лирические аккорды,
Будто лебеди, проплывут.

Перед вами бумаги груда.
Ноют пальцы, но ничего!
Вы не пленница «Ундервуда»,
А властительница его¹.

¹ Маяковский В. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. М. 1958. С. 92 – 93 («Товарищу машинистке»).

² Лабунский И. Машинистка // Земное. Астрахань. 1921. С. 45

³ Райтлер Ю. // Ипокрена (Полтава). Вып. IV. 1919. С. 17

Во втором случае на сопоставления побуждает наблюдателя не внешний вид прибора, но издаваемые им звуки. Вообще говоря, череда синонимов, которыми описывается шумовой фон машинописных работ, весьма впечатляюща: пишущие машинки грохочут², стучат³, трещат⁴, щелкают⁵, чирикают⁶, барабанят⁷, стрекочут⁸ – и многое чего еще. В редких случаях производимым звукам отыскиваются параллели в живой природе: птичьи трели («на высоте, над самой головой полковника, трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка»⁹), стрекот *Ensifera*:

Владеет Петербургом тишина,
Пропешшим дышат каменные груды;
И только из открытого окна
Трещат кузнечиками Ундервуды¹⁰

– или – конский топот:

«Он – вождь,
он – герой,
по крутому рву,
В кассу,
денжье копить.
Въезжает
на черном коне
«Ундервуд»
в стукоте букв-копыт»¹¹

¹ Ковынев Б. В. Искусство полета. М. 1959. С. 50 – 51 («Лирический «Ундервуд»»).

² «Среди грохота и стука / В переписочном бюро / Уловил я силу звука / Ремингтона твоего» (Олейников Н. Стихотворения и поэмы. СПб. 2000. С. 75 («Машинистке на приобретение пелеринки»)).

³ «Стучит машинка без отказа, / Струится солнце на листы. / Легко диктует строгий разум / Итоги страшной пустоты» (Одарченко Ю. Сочинения. М. – СПб. 2001. С. 73); «Строга, верна, предупредительна, / Все плечи кутая платком, / Стучит машинкой убедительно / Неусыпающий местком» (Шуточные стихи М. А. Кузмина с комментарием современницы. Подготовка текста и примечания Н. И. Крайневой и Н. А. Богомолова. Вступительная заметка Н.А.Богомолова // НЛО. 1999. № 36. С. 194); «Бойко, быстро на машинке / Стук, стук, стук! Гладко все, и без запинки / Стук, стук, стук!» (Абкович К. Огни и дали. Вильно. 1922) и мн. др.

⁴ «Теперь там агитпроп. Трещат машинки / Среди фанерных, сплошь в плакатах, стен» (Шенгели Г. Иноходец. Собрание стихов. М. 1997. С. 84); «День твой движется к вершине, / Он ведет военный шаг / В треске пишущих машинок, / В планах, цифрах и цехах» (Браун Н. Верность. Л. 1936. С. 20 («Портрет»)).

⁵ «И где-то щелкнул ундервуд» Манделштама (см. примеры сходного словоупотребления: : Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983 P. 298 – 299).

⁶ «Салон наркома – чопорно, чисто, сурово, простецки. Мужичьи бороды, солдатские шинели, сапожный дух. Рядом, поспешая, чирикал Ундервуд» (Бражнев Е. Зеленый шум (Из книги «Стучит рабочая кровь») // Красная новь. 1924. № 7 – 8. С. 287)

⁷ «Т<a>к к<a>к выяснилось, что еще ходатайство не заготовлено, я разозлился и вчера, в день заседания> правления, пошел в Союз и написал ходатайство, отбарабаненное на машинке» (Письмо Е. Ланна к М. Волошину 8 декабря 1925 года // "...Темой моей является Россия". Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы. М. 2007. С. 80; барабанной дробью уподобляются звуки пишущей машинки у Багрицкого: «И, ундервудов траурный марш / Покинув до утра, / Конфетные барышни спешат / Встречать героев кино» (Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М. – Л. 1964. С. 53. («Ночь»))

⁸ «Застрекотали пишущие машинки, заскрипели перья в розовых и подагрических пальцах» (Манделштам О. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Т. 3. Проза. Письма. М. 2011. С. 249 («Как родился и умер»))

⁹ Булгаков М. А. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 2. М. 2002. С. 159 («Белая гвардия»).

¹⁰ Евгеньев <Рапоф> Б. Заря. Пб. 1921. С. 10 («Перспекты, переулки без конца...»).

¹¹ Кирсанов С. Романтика контор // Кирсанов С. Строки стройки. Стихи. М.-Л. 1930. С. 22; у того же автора встречается и противоположный пример: «Наряжена к весне в цветы лоштинка, / а рапорт обо мне стучит машинка» (Кирсанов С. Поэмы. М. 1956. С. 141); частным случаем метафор природного ряда можно считать знаменитое: «Как на пишущей машинке / Две хорошенькие свинки» (Чуковский К. Стихотворения. СПб. 2002. С. 155).

Как правило же равномерный и дискретный механический шум ассоциируется с аудиальным воплощением хода времени:

Где гречневый дед - золотая улыба
Словесное жито ссыпает в сусек!..
Трецит ремингтон, что Удрас и Барыба
В кунсткамерной банке почили навек,

Что внук китовраса в заразной больнице
Гнусавит Ой-ра, вередрами цветя...
Чернильный удав на сермяжной странице
Пожрал мое сердце, поэзии мстя¹

Выразительным апогеем этих метафорических рядов служит настойчивое уподобление пишущей машинки пулемету (к чему, вероятно, подталкивала и омонимичность конторского «Ремингтона» и популярной оружейной марки²). «Пулеметом стучал ремингтон, а ундервуд, как эхо, тарыхтел тел в соседней комнате»³; «Пулемет алфавитного треска / Из-под женских проворных ногтей / Выливает в журчащих песенках / Монотонные нити затей»⁴; это же сопоставление демонстрировалось и с обратным вектором: «Не чернила, а кровь / Запеклась на штыке, / Пулемет застучал – / Боевой «Ундервуд»»⁵.

Дополнительный план этой разновидности тропа придавал уже сложившийся в литературном сознании образ машинистки: существа виктимного⁶, социально угнетенного¹ и чрезвычайно далекого от какой бы то ни было воинственности²:

¹ Кляуев Н. А. Сочинения. Т. 2. Б. м. 1969. С. 148 - 149 («Коровы – платиновые зубы...»). Этот же шумовой эквивалент времени имеет две добавочные функции: стимулирует память («Я под мелкую дробь ундервуда / Вспоминаю бывлые мечть». - Померанцев К. Итальянские негативы // Мосты. 1965. № 11. С. 153) и управляет сновидениями:

«Мария Ивановна. Я сегодня ночь не спала

Варварка. Отчего?

Мария Ивановна. От снов

Варварка. От снов не спали?

Мария Ивановна. Ну да! От страшных снов

Варварка. Что же вы видели?

Мария Ивановна. Старички на костыликах бегают, блошки пляшут. В голову мне гвоздики забивают

Варварка. Отчего же это сны такие?

Мария Ивановна. От пишущей машинки

Варварка. Отчего?

Мария Ивановна. От пишущей машинки. Студенты – жильцы мои – хорошие люди, а беспокойные. Тот, что на актера учится, – кричит, кричит, кричит – будто начальство какое. А тот, что на инженера, – принес домой пишущую машинку. Всю ночь: тук, тук, тук! тук, тук, тук! А мне снятся: гвоздики, блошки, костылики. Гвоздики, блошки, костылики...» (Шварц Е. Ундервуд. М. – Л. 1930. С. 9 – 10); отдельный и любопытный пример аудио-текстовой синхронизации в слоговом поле машинописных работ – в ахматовской строке «И легких рифм сигнальные звоночки»: «А. Ахматова в одном из стихотворений назвала рифмы «сигнальными звоночками», имея в виду звонок, который при печатанье на пишущей машинке отмечает конец строчки» (Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб. 1996. С. 97; указано Р. Д. Тименчиком)

² Возможно, в противодействие этому эффекту мирнейшему из омонимов добавлялся женский род: «Орали, курили, ошалело ворошили друг друга. Трещала где-то ремингтонка. И в дыму махорки и в грохоте ног все были, как в вагоне» (Гладков Ф. Огненный конь // Наши дни. Художественные альманахи. № 3. М. – Пг. 1923. С. 194)

³ Белых Г. и Пантелеев Л. Республика Шкид. Повесть. 2-е изд. М. – Л. 1928. С. 209

⁴ Галанов В. Отель Монтре // РГАЛИ. Ф. 1346. Оп. 1. Ед. хр. 94. Л. 17

⁵ Светлов М. Избранные стихи. М. 1932. С. 29 («Пирушка»)

⁶ В одобренной Блоком поэме демон выбирал себе в жертву представительницу именно этой профессии: сии: «Другой раз я пришла к нему с поэмой о Демоне и Тамаре, живущих в наше, советское время. Они те же, но своей настоящей сущности они сами не знают. Она им только снится, и они никак не могут войти в свою настоящую жизнь. Тамара — машинистка, она целую ночь печатает, и вдруг в стук ремингтона начинает влетаться сухой, нездешний, горький и страстный голос. Все это Блоку нравилось. Но вдруг он дошел до того места, где в ночном видении Тамаре мерещится родной аул, и она чувствует дым кизяка. Блок рассердился» («Воспоминания об Ал. Блоке» Н. А. Павлович. Вступительная заметка З. Г. Минц, комментарий

И лучи, как золотые шпаги,
Через окно, вонзившись в жесткий пол,
Золотят постылые бумаги
И конторский неуютный стол.

Прядь волос беспомощно и мило
Свесилась на детский белый лоб.
И маячит на листе уныло:
«Посылаем шесть бесплатных проб»...

Слишком нервно суетятся пальцы,
Отбивая цены на бензин, –
Этим пальцам подошли бы пяльцы,
Иль аккорды старых клавесин...

Не изящны рыжие ботинки.
Сильно ноют к вечеру виски...
И под стук докучливой машинки
Увядают грезы-лепестки...¹

Или:

МАШИНИСТКА

В очках, на пишущей машине
Работает и день и ночь,
Привыкла к жизненной рутине,
Но отдохнуть давно не прочь.

Ей отдых этот не дается:
Ей надо есть, ей надо пить,
Как рыба об лед она бьется,
Но как же ей иначе быть?²

Или:

«Анна Иванна с улыбкой во взоре,
На Ремингтоне стучала в конторе...
Стучала, стучала... Места лишилась
И... отравилась»³

Или:

Он был – инструктор в скэтинг-ринке –
Джон Листер – тульский мещанин,
Она стучала на машинке
В конторе фирмы: «Штоль и сын».
Он был – блондин, она – брюнетка.
Он пил – шартрез, она же – натр,
Его манила – оперетка,
Ее – Мариинский театр.

Она читала с увлечением
Все: и стихи, и – словари...
Он – ничего, за исключением,
Конечно, графа Амори...

¹ Нуар Ж. <Окснер Я. В.> Сквозь дымчатые стекла. Берлин. 1922. С. 73

² Чернобаев И. К. Стихотворения. М. 1914. С. 62

³ Н. Агнивцев. Цит. по: Куферштгейн Е. Странник нечаянный. (Книга о Николае Агнивцеве – поэте и драматурге). СПб. 1998. С. 25

На Невском, встретившись, сначала
Он ей – мигнул, она, грозя,
Его – нахалом – обругала
И вот: они, уже, – друзья!

И, через час, по коридорам
Их коридорные вели!..

.....
Прельстил ее он таксомотором
И рюмкой скверного Шабли¹.

Или:

«Злая фея темной ночью,
Разорвав порфиру в клочья,
На крутой спине козла
Силой чар бесовских с трона
Прямо в лапы «Ремингтона»
Вас сюда перенесла»²

Или:

МАШИНИСТКА.

Эх, это звание! Оно,
Не утаишь, окружено
Непривлекательною славой.
Кто, чтоб излить гражданский пыл,
Совучрежденья не корил
Его «бичом» – «советской Клавой»?
Да, защищать нелегкий труд
Вас изучивших «Ундервуд».
Вся ваша жизнь – сплошная чистка.
Кем отягчен разбухший штат?
Кто в волоките виноват?
Ну, натурально, машинистка.
Вас бессердечно доконал
Юмористический журнал,
Вас извели газет придирки.
Но, признаюсь, я вам не враг,
Копировальщицы бумаг,
Подчас не стоящих «копирки».
Я не придиричив. Пусть ваш вид
Провинциала удивит
(«Грим», маникюр, наряд по моде –
На полугодие в кредит) –
Он учреждению не вредит
И... соответствует природе.
Кто виноват, как не она,
Что машинистка влюблена?
Кто не простит ее румянца,
Коль, обернувшись наугад,
Она встречает томный взгляд
Неотразимого начканца?!³

К началу 1920-х годов в смысловом поле пишущей машинки возникает новый мотив – производимая ей деперсонификация почерка, огорчительная для романтиков и желанная для ал-

¹ Агнивцев Н. Городская любовь // Сатирикон. 1913. № 23. 7 июня. С. 7 (указано Н. Н. Соболевой)

² Агнивцев Н. В галантном стиле о любви и жизни. М. <2006>. С. 202

³ Кроткий Эмиль <Герман Э.> Машинистка // Желонка. 1924. № 15/16. С. 227

чущих анонимности¹, настораживает временных узурпаторов власти, отчего происходит массовая конфискация и строгий учет² потенциальных орудий преступления. Один из попавших под подозрение литераторов вынужден тщательно аргументировать нежелание расставаться с любимым инструментом:

«В секцию полиграфического производства

На основании приказа учсупетрайона № 60, уведомляю:

а) у меня имеется пишущая машина фирмы *Ремингтон*.

б) фабр<ичный> № 24401, тип № 5.

в) каретка *малая*.

г) шрифт *закрытый*, русский.

д) модель «Paragon» (одна из самых ранних); куплена в 1884 году.

е) неисправная: заскакивают буквы, но писать *кое-как можно*.

ж) *Эрберг (Сюннерберг)* Константин Александрович – профессор, декан, ученый секретарь Института Живого Слова; товарищ председателя Вольной Философской Ассоциации; главн<ый> редактор Театр<альной> Энциклопедии; товарищ председателя Научно-Теоретического отделения Института Театральных Знаний; писатель.

з) Международный просп. № 40/27, кв. 26. Тел. 81-89.

и) по роду деятельности машина эта *необходима* как мне лично, так и тем учреждениям, в которых я работаю, особенно *Вольной Филос<офской> Ассоциации и Театральной Энциклопедии, где пишущих машин не имеется*.

К. Эрберг (Сюннерберг).

Канцелярия Института Живого Слова удостоверяет, что профессору ЭРБЕРГУ по роду его деятельности в качестве ученого Секретаря Института пишущая машина необходима.

Управляющий делами: <Подпись>.

Совет Вольной Философской Ассоциации сим удостоверяет, что машиной тов. председателя Ассоциации Конст. Эрберга Ассоциация пользуется для своих надобностей.

Председатель Р. Иванов³

В новых исторических условиях значение пишущей машинки изменяется: частное обладание ею становится небезопасным, но навык машинописной работы оказывается спасительным для многих – бюрократическое устройство страны определяет постоянный спрос на услуги бывших ремингтонисток. Лишь в послевоенные годы новое поколение портативных машинок возвращается в обыденную жизнь – и под их многоголосый немелодичный треск в России устанавливается догуттенберговский ход живой и нестесненной запретами литературы.

¹ Уже в 1900-е годы машинка использовалась и в криминальных целях («Был В. И. Ковалевский. Страшно расстроен. Рассказывал о мошенничестве Шабельской: она подписала на 120 тысяч фальшивых векселей. <...> Мало этого, она писала письма от имени Ковалевского на ремингтоне с его поддельной подписью» (Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Лондон – М. 2000. С. 451—452; запись 5 декабря 1902 года)), и ради безымянности отрицательных рецензий: «Бумаги, принесенные Дмитрием Васильевичем <Григоровичем>, были тщательно переписаны на ремингтоне, причем за эту переписку платил он сам специально, для того чтоб в конторе не узнали по почерку, кто писал отзыв о пьесе, – а ненависть его к конторе была поистине феноменальна» (Гнедич П. П. Книга жизни. Воспоминания. М. 2000. С. 136); сведения об индивидуальных отличиях каждого экземпляра машинки утверждаются в общественном сознании уже в 1930-е годы: «Правда, у каждой пишущей машины есть нечто вроде своего почерка. Но почерк моего Ремингтона они могут узнать только после того, как произведут у меня обыск» (Алданов М. Начало конца // Современные записки. LXVI. 1938. С. 122).

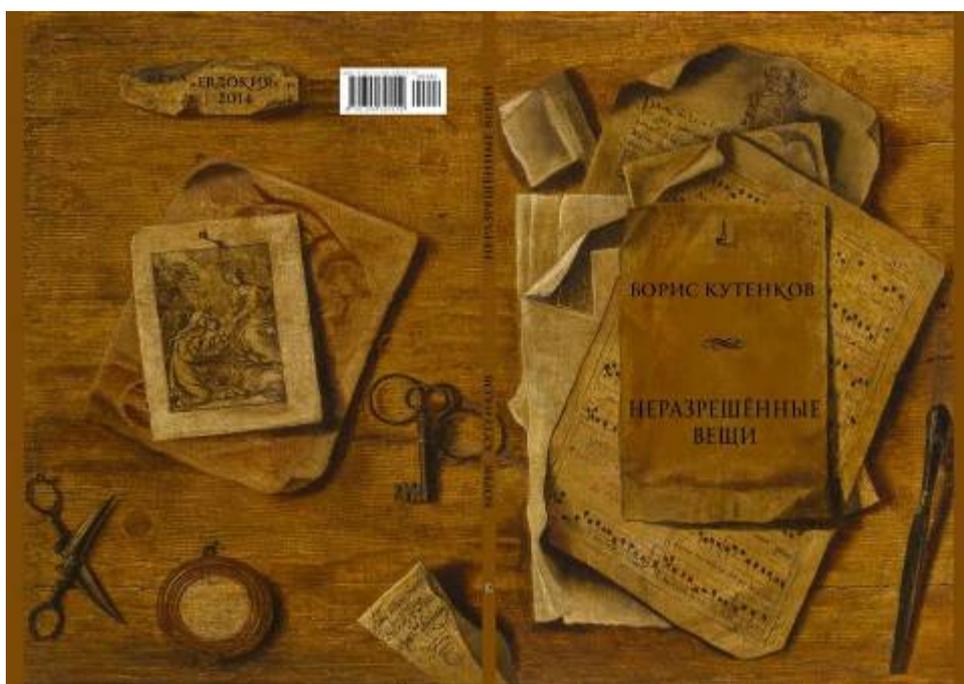
² «Наступил грозный 1927 год, историческое значение которого в тени 1937 года для судеб России, по видимому, до конца не осознано даже объективными историками. Для Бориса Владимировича <Горнунга> он начался, как и почти для всех его друзей по распавшимся литературным и научным кружкам, с вызовов в ГПУ, в частности, по поводу статей «Гиперборея» (о «Гермесе» не вспоминали) или уточнения местонахождения проданной к этому моменту старой отцовской пишущей машинки» (Горнунг М. Поэт, ученый, человек // Горнунг Б. Поход времени. М. 2001. С. 457 – 458).

³ Белоус В. Вольфила (Петроградская Вольная Философская Ассоциация). 1919 – 1924. Книга вторая. Хроника. Портреты. М. 2005. С. 178



Ольга Дернова. «Человек»
изд. «Евдокия», 2013 г.
ISBN 978-1-304-59203-3

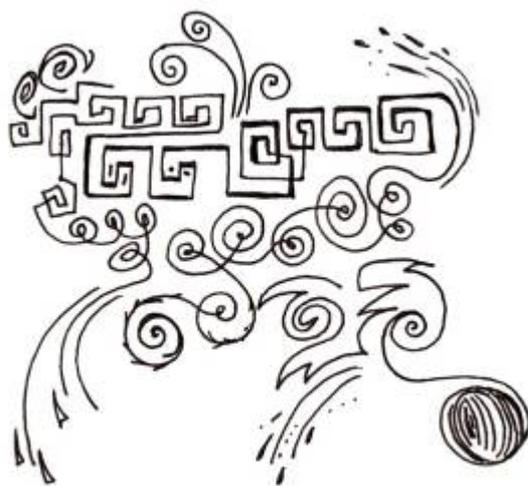
<http://www.lulu.com/shop/olga-dernova/tchelovets/paperback/product-21292549.html>



Борис Кутенков. «Неразрешённые вещи»
изд. «Евдокия», 2013 г.
ISBN 978-1-304-69015-9

<http://www.lulu.com/shop/boris-kutenkov/nerazreshennyje-veshchi/paperback/product-21345322.html>

НЕВЕРНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ



ВАСИЛИЙ БЕТАКИ

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ЗА 30 ЛЕТ

(1956 – 1986)

Окончание

Часть третья.

МЕДНЫЙ ВЕК

(вступление, добавленное к книге в 2010 г.)

Прежде всего, я хочу еще раз напомнить, что эта книга – не литературоведческая.

В ней – мои личные отношения с поэзией, причем даже и не вполне сегодняшние. Книга написана в 1986 году, по следам огромного цикла моих радиопередач по «Свободе», цикла, который назывался «Поэт говорит о поэзии». С 1974-го по 1985-й я раз или два в неделю говорил по радио о поэтах и поэзии. Я не претендовал на объективность и систематичность. Сам жанр, в моем понимании, давал мне право на субъективность.

Несмотря на переделки текстов, все-таки статьи в этой книге, как я уже не раз подчеркивал, остаются в основе своей статьями 70–80-х годов XX века. Какие-то из статей, которые мне сейчас кажутся совершенно неинтересными или несправедливыми, я не включаю в сегодняшнюю редакцию, но мне не хочется делать вид, что книга написана сейчас. Поэтому нет тут кого-то, о ком я сегодня сказал бы, поэтому, когда я говорю о моих ровесниках, которые были в литературе уже более 25 лет назад и продолжают в ней жить, я все-таки опираюсь на стихи, написанные тогда. Ведь иначе книгу пришлось бы переписать очень сильно, а мне этого делать не хочется. Пусть уж она будет такой, какая когда-то написалась, ну, с некоторыми сегодняшними изменениями.

Пушкинский век – привычно золотой, а начало XX – серебряный. Захотелось придумать название и для того расцвета поэзии, может быть, и не самой лучшей, который пришел с оттепелью. Медный? Ироническое. Но вполне в духе древнейшего мифа...

Как чертики из табакерки, после XX съезда выскочили тогдашние молодые поэты.

Именно тогда, начиная с 1956 года, в Москве и Ленинграде стали издаваться ежегодники «День поэзии». Поэтические вечера проводились повсюду – в скромных районных библиотеках и в колоссальных залах московских Лужников или питерском Концертном. Появилось и немало «поэтических кафе», которые, конечно, сразу же попали под контроль районных комсомольских организаций, за которыми неизменно стоял КГБ. Но, так или иначе, интерес к поэзии во много раз возрос.

А к тому же еще возникли «барды».

Полвека все гитары были ржавы.

Традиция пошла от Окуджавы.

Более или менее шумное, но – главное – одновременное появление почти двух десятков новых имен в литературе, которую эти поэты буквально штурмовали в середине 50-х годов, и привело к тому, что их всех скопом стали называть шестидесятниками. Однако эта кличка большого смысла не имеет. Что общего между Александром Кушнером, например, и Владимиром Высоцким? И что общего между этими двумя замечательными поэтами и... ну хоть Евтушенко?

И все-таки есть поэты, которые очень сильно объединены своим временем и очень упорно в нем сидят. Я бы только их и называл шестидесятниками, о них я напишу ближе к концу этой третьей части книги.

Итак – третья часть.

ПИТЕРСКИЙ ДОМОВОЙ

(Роальд Мандельштам)

Почти полвека тому назад умер в неизвестности молодой поэт. По странному совпадению, он был однофамильцем одного из лучших поэтов XX века – Осипа Мандельштама.

Но звали его Роальд, в честь Амундсена. Хотя физически Роальд был полной противоположностью великому путешественнику. Болезненный, месяцами прикованный к постели из-за хронического туберкулеза, приносившего неослабевающие боли, он только мечтать мог о путешествиях...

Весь мир Алика – питерские кварталы, те, которые мы зовем Петербургом Достоевского: район Сенной, Мойка, Крюков канал, Гражданская, Подьяческие... Ну и далее, вся так называемая «Коломна» (где, кстати, происходит действие пушкинской мещанской комедии *«Дамик в Коломне»*). Наши обшарпанные дворы, забитые дровяными сараями, бульжники мостовых, проваленных по центру, какие-то распивочные, которые открывались в 40-х годах в семь часов утра... Весь этот город, та сторона его, которую и позднее, когда появились иностранные туристы, мало кому показывали, этот город, «достоевский и бесноватый», имел пятьдесят лет назад своего поэта.

Эти таинственные даже в то прозаическое время, хотя и ничем не примечательные кварталы, где и в 60-е годы можно было встретить все те же фигуры – то ли пьяный работяга топает набум лазаря, то ли это Раскольников с топором под полкой?.. Таков был наш послевоенный город, в котором мы становились взрослыми, – пятнадцатилетние, торопившиеся к своему двадцатилетию, странным образом словно попавшие между поколениями мы, те, кто родился в 29–33 годах... Алик был наш ровесник и наш полудетский поэт.

Мостика профиль горбатый,
Милая, тих как всегда,
В красную дырку заката
Ветер вдевал провода.
Бедный, неласканный, старый,
Скоро устав на земле,
Кто-то качался кошмаром,
Будто в трамвайной петле...



Вообще-то трамваи, оглушавшие визгом на поворотах то с Канала Грибоедова в переулки, то из узких этих переулков снова на Канал – появлялись они как призраки из того, другого Петербурга, куда мы не каждый день ходили... Из того, который «блистательный», который и был-то совсем рядом – минут пятнадцать пешком... И все же – он был другой... А тут визжали трамвайные колеса, сворачивая в Фонарной переулочек, и звук их растворялся в этой тихой, безавтомобильной части города...

Трамвай у Роальда Мандельштама – не менее таинственен, чем у Гумилева. Рядом живут прозаичность и романтизм в стихах Алика, как рядом находятся Петербург Достоевского и Петербург Пушкина. Контраст двух обликов города, пересекающихся, переплетающихся, исчерченных рельсами, неразрывно совмещенных и призрачных – вот один из вечных мотивов в поэзии Роальда Мандельштама.

Сон оборвался. Не кончен.
Хохот и каменный лай. –
В звездную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай.

Пара пустых коридоров
Мчится один за другим.
В каждом – двойник командора –
Холод гранитной ноги.

Да. Всего-то несколько минут – и появляется Петербург легенд и поэм, тот, привычный, альбомно-книжный... Но и он становится и непохожим на себя, и вместе с тем узнаваемым у поэта молодого, наивного (чего тогда никто из нас не понимал), но празднично-яркого, несмотря на грустный основной фон его строк:

Звонко вычеканив звезды
Шагом черных лошадей,
Ночь проходит грациозно
По тарелкам площадей
Над рыдающим оркестром,
Над почившим в бозе днем,
Фалды черного маэстро
Вороненым вороньем...

Алик любил бродить ночами. Опираясь на палку, приняв очередную порцию морфия, который только и спасал его от мучительных болей запущенного костного туберкулеза, он высывался из подворотни, оглядывался молча и выходил на пустой тротуар. Первым из нас присоединился к нему Вадик Преловский, художник, рисовавший грязные напши дворы, крыши, набережные каналов с перекошенными фонарями у подъездов, где смутно угадывались тени влюбленных, которым некуда было деваться...

Позднее наша компания так и называла себя – «болтайка». Но еще раньше мы болтались ночами с Вадимом, Роальдом и художником Арефьевым – странным и крепким... Потом появился Роман Гудзенко... Но это уже было позднее, после того, как я в 1950 году исчез из города на пять лет, «эмигрировав» учителем в донские станицы...

Белая ночь смазывала всю угловатость тех, заброшенных и малоизвестных набережных, где мы бродили. Я не писал тогда о городе. У меня были другие, далекие темы... А вот Алик – только о Нем, бульжном, гранитном... Чаще о бульжном. Вот Новая Голландия:

*Запах камней и металла
Острый, как волчьи клыки,
– помнишь? –
В изгибе канала
Призрак забытой руки,
– видишь? –
Деревья на крыши
Позднее золото льют.
В «Новой Голландии»
– слышишь? –
Карлики листья куют.*

Здесь все – и реальный город, и скрытая в нем тайна, и стремление обреченного человека вырваться из пут повседневности в экзотическую даль, куда трамваи не ходят...

И воображение вкладывало в дневные серые пейзажи таинственный привкус дальних стран, которые – и Роальда это знал – не суждено ему было увидеть...

Наш общий друг Вадим Преловский повесился в 54 году. Я вернулся в Питер в 56-ом... Опять вокруг Алика были художники, состав болтайки почти целиком сменился. Но так же ночами бродили по городу художники в обществе Алика. Это рождало стихи. Наполняло экзотическими образами творчество приговоренного поэта...

Он умер в 1961-ом. Уверен, что дожить до двадцати восьми лет ему позволила только поэзия...

Первая книжка Роальда Мандельштама издана была в Израиле в 82-ом году.

Теперь-то понятно, что он был предтечей нашего Медного века, его первой ласточкой, которая замерзла, оттого что слишком рано прилетела...

Там, где чугунное кружево кружев
Давят питоны дубовых перил,
Бесится ярче оранжевой лужи,
Солнце, рыжее, чем стадо горилл.

И чем серее были невские туманы – тем ярче его стихи. Чем серее были люди на этих набережных – тем праздничнее были его стихи.

Разлад мечты и действительности стал тем перепадом той разностью напряжений, которая порождала ток его поэзии.

Бульжники мостовых, сшибаясь с гранитами набережных, высекали искры стихов...

ПРОТИВОВЕС НЕБЫТИЮ

(Александр Кушнер)



Александр Кушнер – один из самых значительных русских поэтов второй половины XX века, удивительно непохожий на своих ровесников – в основном ораторских и ритмически нервных поэтов.

Стихи Кушнера развивают поэтику акмеизма, ту, что «по сути своей и есть петербургская поэтика». Конкретная деталь у него – крупным планом. Она не только ощутима, как любой предмет на голландском натюрморте, но она – знак, символ и единственное подтверждение истинности существования мира, который мы именуем «реальным». Любой предмет – гарантия бытия. Дневного бытия. Ведь это только днем.

*...во всем определенность,
И сад с тенями по углам
Приобретает ту объемность,
В которой место есть и нам.*

*С крыльца сбегать во двор отечный,
Сорвать листок, задеть бадью...
Какой блестящий и непрочный
Противовес небытию!*

Эта жажда определенности, которая сродни петербургской архитектуре, противостоит хаосу несуществования. Предметы у Кушнера так сугубо материальны, именно потому, что за ними тайна. А что за гранью их физического бытия? Память?

*Ни в это призрачное небо,
Ни в эти тени на домах,
Ни в самого себя, нелепо
Домой бредущего впотьмах,*

ни во что это можно было бы и вовсе не верить,

*Но в силу многих обстоятельств
Любви, схватившейся с тоской,
Хотелось больших доказательств,
Чем те, что были под рукой.*

Доказательств чего? Реальности бытия?

«Александр Македонский умер, Александра Македонского зарыли, он превратился в глину, из глины сделали затычку для пивной бочки». Так вот зачем мы? Чтоб стать затычкой для бочки?

Желание осознать бытие, увидеть вечность в любом самом малом предмете – мотор негромких, точнейших философских миниатюр Кушнера...

*Какое чудо, если есть
Тот, Кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий,
А если все само собой
Устроилось – тогда, друг мой,
Еще чудесней.*

Прошлое и будущее сосуществуют. Брызги обратного потока времени порой достигают нашей души и приносят знание, почти не воплощаемое в слова, – о том, что там, во встречном времени было, то есть будет с нами. И может – понятия будущего и бывшего и вовсе лишены смысла?

Вот флот Нельсона прошел в тумане мимо французского, и только поэтому стали возможны и наполеоновские завоевания, и все, с ними связанное... А если б не туман? Какой вариант истории был бы разыгран? И, возможно, по ощущению поэта этот вариант и существует в одном из временных потоков?

*Мне в истории нравятся фантазмагии, фанты,
Все, чего так стыдятся историки в ней,
Им на жесткую хочется цепь посадить варианты,
А она – на корабль, и подносит им сходу сто дней!*

Вся бескрайняя жизнь предстает нам в стихах Кушнера, как плавание в потоке времени, движение по течению, но притом все время ты насторожен: а что, если брызги встречного потока долетят, да и скажут что-то такое...

Так верхнее течение Невы ведь ничем не предвещает ни золотистых стен, ни белых колонн Петербурга...

*...Ни наших с вами праздничных стихов,
Что помнят каждый дом и переулоч,
Ни гения, дудящего в трубу
Победы, щеки важно раздувая,
Но так и ты не можешь знать судьбу
Заранее, как эта даль речная...*

И слышится читателю (может, не всякому, а вот мне так точно!) рассуждение Льва Николаевича Толстого: «Вот человек вышел из комнаты. А раньше он вошел в нее. Но ведь он был до того, и будет после того, хотя я его и не вижу в этой комнате».

В традиции русской поэзии – еще от Державина, не говоря уж о Пушкине, постоянно звучит мотив неизменности природы и скоротечности человеческой жизни. А вот у Кушнера мотив этот вывернут наизнанку: мучительное ощущение движения времени у него не куда-то из себя, а из мира – в себя.

*II молодости след растаял и простыл,
Здесь не было кустов!
О, кто за двадцать лет нам землю подменил?*

Все кругом куда более эфемерно, непрочно, чем твоя душа! Она-то не меняется! Она – постоянное окружающего, изменчивого мира.

Течения времен у Кушнера конкретизируются до материальной их осязательности. В бытовых деталях или в легендах этот временной поток чувствуется. Лови его брызги, но не смей войти в его встречную струю: не оглядывайся! А Орфей оглянулся, вошел в обратное течение!

*О, не оглядывайся! Но душа горит,
Не оглянуться ли? Неверная стезя.
Мы скажем, что споткнулся...
Вот и Орфей себе твердил: «Нельзя!»
Он потому и оглянулся.*

Сама запретность невыносима для души. «I яблоко Евы, и ящик Пандоры» – любое постижение скрытых истин всегда губительно, но ведь и отказ от попытки постичь – один из видов небытия. Значит, улавливай знаки, намеки, и этими крохами живи. Примми, что есть, но беися в клетке неизвестности...

*Времена не выбирают,
В них живут и умирают,
Большой пошлости на свете
Нет, чем кланчить и пенять,
Будто можно те на эти,
Как на рынке поменять.*

Немалая часть смысла жизни – искать, ловить капли, намеки, тени...

*Придешь дамой, шуриша плащом,
Стирая дождь со щек.
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще!*

Значит, пока все в порядке!

Только летит в пространство мольба о самом необходимом:

*Когда-нибудь, когда со мною
Небытие, случисься вьявь,
Сотри, смешай меня с землею,
Но зренья, зренья мне оставь!*

Основные мотивы проходят насквозь через все творчество Кушнера, не меняясь, как душа не меняется среди изменчивой природы. Многие поэты от ранних стихов уходят далеко. У Кушнера же небывалое постоянство, верность себе. Меняются ритмы, становятся более длинными и неторопливыми строки, длиннее порой и сами стихи (особенно в книжке «Канва», которая по сути является первым по времени избранным), но в главном Александр Кушнер остается все тем же.

В стихотворении «Рисунок», подробно пересказывая детское впечатление от картинки в учебнике, на которой изображены плывущие ассирийские воины, Кушнер знает, что через много-много лет

Совсем о них забуду.
Бог весть, в каком году
Я в хламе рыться буду,
Учебник тот найду
В картонном переплете,
И плеск услышу в нем:
Вы все еще плывете?
Мы все еще плывем!

Плывем... Одни наши ровесники – «в никуда, другие в князья», третьи – в эмиграцию.
А мы? Мы – все еще плывем!

(Послесловие к главе о Кушнере, добавленное в 2010 году Леной Кассель)

Кушнер – это поэт повседневности. Он обладает редкой способностью наполнять смыслом и красотой ежедневные детали существования.

По Кушнеру можно будет изучать русские 60–70-е годы XX века и находить смысл и красоту в приметах этой жизни – не романтизированных, не приукрашенных.

Недаром один из ранних кушнеровских сборников так и называется – «Приметы».

Именно повседневность выстраивается в вечность. Именно она с ее мелочами остается отпечатком, уходит письмом в будущее, именно через нее ощущается та самая связь времен, которую так страшно порвать.

И вот читаешь:

*А я на школьных сквозняках
Состарюсь, мел кроша в руках.*

И влывает в будущее колченогий стул:

*Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино напарули,
Что осталось от гостей.*

И зимние праздники.

«Хвоя, вата, серпантин» протягивают руку Пастернаку.

И до бессмертия – рукой подать, вот оно.

Рядом с отстранением.

*Смотри, как будет без тебя:
Еще прекрасней и прохладней.*

Сразу за этим

*Не убавляясь от смертей,
Неуловима и бессмертна,
Едва видна из-за дождей,
Толпа расходится с концерта.*

И дальше, дальше

*Ты проходил здесь столько раз,
Читая красные афиши.
Теперь ты видишь: мир без нас
Еще прекраснее и тише.*

Это стихотворение «Площадь Искусств». На углу этой площади большой зал филармонии – центр притяжения, знак вечности в советской жизни.

И в этой грустной жизни с длинными зимами и очередями вдруг оказывается неподвластный вечный смысл.

И еще один герой Кушнера – город Ленинград. Нет, не обязательно Петербург, не город торжественной красоты, город дворов и повседневности не в меньшей степени.

Город смутный, город, в котором так часто зима, снег, или осень с дождем. Город негромкой речи, огромной реки, облупленных дворцов.

*Я войду в волшебный
Мутный полусвет,
Прокричу в служебный
Телефон: «Привет!»*

И через две строфы

Ни дверей, ни друга,
Ни его руки, –
Только мгла да вьюга
С ледяной реки.

И рукой подать отсюда, от этих серых громадных домов, от дворов-колодцев, от асфальтовой воды до всечеловеческого, до самых основ нашей культуры.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

P.S. Да, Кушнер равен себе. И в его совсем недавних стихах появляется сахарница, которая досталась ему в наследство от Лидии Яковлевны Гинзбург. И эта сахарница живет теперь с ним, но помнит прошлое, и в этой вещной предметной памяти Кушнер.

И эта память – бессмертие.

*Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул, и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волнение?
Заплакала? Песок просыпала на стол?*

ЗА ГРАНЬЮ ТРАГЕДИЙ

(Наталья Горбаневская)



В любой трагедии есть какое-то ощущение выхода. Пусть не для героев – для зрителя и читателя. Само созерцание трагедии дает нечто зрителю – в силу ли сравнения грандиозных чувств на сцене со своими, в силу ли чего другого неведомого, но то, что Аристотель назвал катарсисом, безусловно, существует. Так по законам парадоксов – а по ним вся наша психика построена – безнадежность приносит надежду.

Так было от веку... Но вот какой отклик вызывают такие стихи?

*Не выплыву, не доплыву.
На облаках, как наяву,
роняют чайки плач в Неву,
и этот сизый хрип,
и эти капельки свинца,
где нет ни смерти, ни конца,
где целят в бедные сердца,
но не достанут их.*

Это ощущение трагедии, лишенной даже естественного трагического финала. Когда даже смерть – и та уже не существует.

В стихах Натальи Горбаневской речь идет о времени, отнявшем даже право на «нормальную» гибель. В стихах из сборника «Три тетради» доминирующий образ – зеленая вода, непрозрачная вода. Она колышется, но она мертвая. Вода Леты. Она за пределами всего, даже за пределами небытия. И только есть голос, уже переставший страдать, поскольку страдание ведь тоже жизнь!

А тут – и смерть уже за спиной. Природа тоже запредельна, как все в этой черно-зеленой акварели:

*Заря звезды висит, как будто в петлю
продела голову, кровавы деревья,
но первая роса по-прежнему права,
но лик земли с заоблачностью сцеплен.*

Или:

*Сон – это сонная, вязкая река,
где в водорослях весла не легки и не звонки.*

Или еще:

На воде, все равно что нигде.

Главная пружина, главный конфликт всех этих стихов, звучащих в мире, где и безнадежность сама потеряна: «Сожалею, значит – живу, там, где и воспоминания о существовании быть не может».

Зеленый омут – это время. То, которого уже нет. Словно эти стихи о послеапокалиптических временах. И сквозь воду, или звездную муть, виден «ангел огненный, ангел с мечом, с автоматом». Вот примета мира, в котором мы живем. Ангел сторожит ворота Рая... И здесь поэт – «соловей, ударенный под вздох» – задает себе вопрос:

*Что там за дверью, в глубине в душе,
Где даже пятна света не ложатся?*

За всеми пределами живо только одно: любовь.

Пока она есть – даже в этой невыносимой запредельности можно если не всплыть, то – уплыть. В себя... Но и любовь тут – скорее уход от любви, чем она сама.

*Все. С концами. Не в этой жизни
островной
повстречаешься вяле и вяле
ты со мной,
только парус кружит и пружинит
над волной
Ахерона.*

Вот и назван Ахерон. Мы уже ждали его, как Стикс и как Лету... Но каков же мир видимый, «реальный»?

Или точнее – что было толчком для создания этих запредельных картин? На это ответ – одно стихотворение, выключенное из той системы образов, о которой до сих пор шла речь.

Оно в некотором смысле и есть ключ к расшифровке того мертвого мира, в котором бьется под толщей зеленой воды живая любовь:

*Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья,
будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступления.
И, прикована вечной незримою цепью к нему,
я усладу найду и отраду найду в этом страшном доме,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога.*

Душа – кольцо парашюта, последняя надежда, но он никак не раскрывается... И любовь тоже не спасет, а потому –

*Я сама
никому не отправлю письма,
никому
не пошлю телеграмму во тьму.*

Времени давно не существует. Мир уже прошел через Армагеддон.

Если от ранних стихов Горбаневской оставалось впечатление, что мир пространственный, как пол и потолок в комнате – сжался, превратился в точку, то теперь – в точку сжалось и время. А старинная любовь, что влечет на дно, существует только вне среды... Вне мира.

Неправомерно было бы образы, несущие духовную волну этих строк, называть пейзажем. Пейзажа у Горбаневской не бывает. Это только тени деревьев или звезд, только тени потусторонних рек, текущие в ритмах античного гекзаметра... Поэтому тютчевское «мысль изреченная есть ложь» – для Горбаневской априорно и бесспорно определяет все возможные способы выражения.

И тут возникает пушкинский вопрос: «Куда ж нам плыть?» В детство? Против течения времени? А почему бы и нет, ведь время уже не течет...

*О время, время, поверни порядок,
связующее раздели звено,
о время!.. Но безмолвствует оно,
в убежище колдунчиков и прятков
нам никому вернуться не дано.*

Единственное направление «куда нам плыть» – горизонт. Но ведь и его не существует!
Невозвратность – вот лейтмотив книги «Перелетая снежную границу». Ни поэт, ни покинутая страна не могут встретиться. Пути разошлись: возврата в прошлое нет, а пространственная встреча – обман, ибо это не встреча – все другое и все другие.

Только ты неизменна, измена.

P. S. (2010 г.) Наталья Горбаневская живет в Париже. Пишет. И мне кажется, сегодняшние ее стихи – не повернуты в прошлое, в них больше печали, и значит, нет безнадежности.

ВЗАЕТ НА ЕДИНОМ КРЫЛЕ

(Юнна Мориц)



Как зуб, прорезалось крыло,
Торчит, молочное, из мякоти.

Так физиологически подробно описывает Юнна Мориц самый обычный для поэтического сознания процесс. Материализуется стертая метафора, из нее возникает стержень стихотворения «Рождение крыла». Пастернаковский «всесильный бог деталей» живет в стихах Юнны Мориц.

И золотистый мандарин
Напомнит в переносных смыслах
Все то, что Ярославль дарил
Мне в сентябре, в двадцатых числах.

За деловитостью бытовой речи – ярче символика. Чем сильнее луч прожектора, тем глубже мир на сцене, выхваченный этим узким лучом. Общение с миром предметов, вглядыванье в него требует всех сил личности – а на общение с людьми этих сил и не остается... Но зато увидишь такое, чего никогда не разглядит затерявшийся в социальной суете человек.

Когда повальны раздевания
Лесов и, мрак усугубляя,
Идут дожди, до основания
Устройство мира оголяя.

Суть эта постигается таким углублением в себя, что поэт в мире внешнем вроде бы и вовсе не присутствует. И это происходит лишь для того, чтоб его чувства присутствовали в нас. Это – расплата за почувствованное глубинное... Иначе – никогда не объяснить, что

Сад не просит от нас, как и мы от него,
Ничего, кроме слова и света.

Вся поэзия Юнны Мориц – на одну тему, которая раскрывается от стихотворения к стихотворению новыми и новыми гранями. Она – опять по-пастернаковски – заставляет природу говорить о человеке, минуя всех посредников, все условности социальных отношений. Независимость личности для нее выше общества и мира.

Лучше вольным соловьем,
Чем орлом у трона.
.....
Голос чей-то и ничей
Слово к слову сложит,
И никто меня ничем
Обделить не сможет.

Не возьму чужой воды
И чужого хлеба.
Я для собственной звезды
Собственное небо.

Есть у Юнны Мориц стихотворение о Моцарте, который проходит через «мир свинства и бытности грязной» в бархатном костмочике, совсем как мальчик, с тем, чтобы поразить этот безобразный мир, который для Моцарта только призрак. Но ведь повлиять на мир скаредности и грязи можно только не принадлежа к нему, пройдя мимо него по касательной... Процесс творчества она описывает так:

Зрачками – вглубь. В гортани – сушь.
Вкачу, вчитаю по слогам
В гордыню, в собственную глушь
Ежеминутной жизни гам.

Поэты – сообщники природы. И слово «гордыня», повторяющееся в ее стихах чаще, чем любое другое, есть псевдоним жертвенного отшельничества во имя созидания.

...и нет меня нигде.
Все легче, легче растворяюсь
В толпе, в тумане и дожде.

Самый категорический и бескомпромиссный уход от действительности, от ее «лабазного мрака» – это уход в себя.

В тот мир, который на единственном крыле парит где-то в недосыгаемости, разглядывая все, что потом нам, читателям, дается крупным планом. Для нее вполне естественны вот такие строки:

Возьму окно и передвину
Поближе к своему лицу.

Стихи Юнны Мориц – гимн индивидуальности. Трагический груз одиночества – плата за неповторимость.

Отстоять свою личность, сохранить ее нетронутой, недоступной ни для каких дирижеров!

...там играла лира.
Я шла одна. И, судя по всему,
Мой путь лежал в такую область мира,
Куда, как в рай, идут по одному.

Эта выключенность одновременно из пространства и из времени дает возможность ассоциациям вольно блуждать:

А в зазеркальной глубине –
Часы, весы точны вполне
(Плюс-минус двадцать тысяч лет)
И за углом – кофейня.
Мы в ней садимся у окна –
Лицом к луне, и времена
Шалют на сорок тысяч лет, –
Ведь за углом – кофейня!

«Здесь и сейчас..», или – «гроза, моментальная навек»? Конкретность этой кофейни, этого рая поэтов, где мир души выключен из общего круговорота, конкретность эта знаменуется и тем, в частности, что само слово «кофейня» в стихотворении рифмуется только с самим собой, как бы в знак того, что она, кофейня, вне всего, ни с чем, кроме себя не связана; тавтология тут – символ выключенности из всего.

Юнна Мориц последовательна – она отключает свое восприятие не только от Времени, как Пастернак, но и от конкретного пространства. Только так достигает она связи «*меж рифмой и луною, солью мысли и волною*».

P. S. (2010 г.) И вдруг после конца советской власти поэта будто подменили. Юнна Мориц стала писать уже в несветское время стихи, полные вульгарно советских штампов, глупо политиканских, стихи шовинистические, антизападнические! Да и потянуло ее к какой-то из разновидностей фашизма. И, как говорят, теперь даже само имя ее звучит не то продажно, не то психологическим словом. А поэт был немаленький. Вот поэтому я и не выбрасываю статью о ней из этой книжки.

В ПОИСКАХ ЗЕЛЕННЫХ ЦВЕТОВ

(Николай Рубцов)



*В кустах раскричалась болотная птица...
Послушать сначала бы? Не повторится...
Ни лодки, ни птицы, ни Коли Рубцова...
Вот разве приснится, что ухают совы..*

1990 г.

В том условном мире, который свой у каждого поэта, для Николая Рубцова поиски зеленых цветов – символ, равнозначный погоне за утраченным временем у Марселя Пруста, или походу за Синей птицей у Метерлинка.

До последних дней жизни, которая так трагично и глупо оборвалась, Рубцов не мог примириться со своим временем. Он был из тех, кто не в своем веке родился и не искал возможности как-то наладить контакты с веком ему чужим... Для цельного человека, каким был Рубцов, это конфликт неразрешимый, смягчить его он не мог и не хотел. Он тянулся к иным временам, а когда нечуткие люди спрашивали, о каком конкретно веке он тоскует – Рубцов только морщился: «Не лезь в душу копытом!».

Две мощных силы, определивших поэзию и личность Рубцова: отталкивание от эпохи и притяжение к родной земле...

*Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.
Неведомый сын удивительных, вольных племен.
Как прежде скакали на голос удачи капризной.
Я буду скакать по следам миновавших времен.*

*Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои,
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра.
И лодка моя на речной догнывает мели.*

*И храм старинный, удивительный, белоколонный.
Пропал, как виденье меж этих померкших полей.
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.*

Неприятие своего времени было у него настолько острым, что он, не сумев понять, чья и в чем вина, одним махом отрицал все, относящееся к «окружающей действительности» («а зачем меня окружила?»). Он отрицал полностью ту псевдокультуру, что была сотворена советской пропагандой, а заодно отрицал и тот нормальный прогресс, который с этой псевдокультурой по сути вовсе не связан, а существует вследствие естественного хода времени.

Рубцов выплескивает с водой ребенка, не может отделить одно от другого: его запутала та пропаганда, которая любые нормальные проявления всесветного и повседневного человеческого прогресса ставила в заслугу государству и партии. Его не могла убедить даже знаменитая эпиграмма тех лет:

*Выхожу один я на дорогу
Сквозь туман котопая легла.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
Это все нам партия дала.*

Отрицая систему, Рубцов огульно отрицает все, что эта система, по его мнению, принесла России. Вот как он видит по сути весь мир XX века:

*Поезд мчался с прежним напряженьем,
Где-то в самых дебрях мирозданья,
Перед самым, может быть, крушеньем,
Посреди явлений без названья,
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «до свиданья!»*

Обычный поезд – страшен, как всадник из Апокалипсиса... И поэтому нарочитой беспомощностью звучит концовка стихотворения – беспомощный довод растерявшегося человека:

*Ну, какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?*

Довод, никак не рассчитанный на то, чтобы кого-нибудь убедить, еще более обостряет

ощущение роковой обреченности всего, что кругом, всего, от чего поэт отрекается, и всего, что любит. Символом своей судьбы, символом своей души Рубцов делает коня, везущего телегу по мостовым задушливого города. Он вообще не любил городов. Самые светлые строки его всегда посвящены полям и лесам Вологодчины, куда еще не успел добраться прогресс, для Рубцова тождественный удушающей атмосфере страшного тиранического государства.

*В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте...*

Так пишет он о монастыре над Сиверским озером, храм которого расписал когда-то «небесно-земной Дионисий»...

Предчувствия поэтов порой – почти прозрения: не случайно писал Рубцов и о дуэли Лермонтова, и о горькой судьбе Есенина, и об убитом агентами сталинских властей Дмитрие Кедрине... Бескомпромиссность в принципе всегда обречена, Рубцов это чувствует:

*Давно душа блуждать устала,
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю...*

Выхода он не видит для того, кто так, как он, опоздал родиться:

*Я не знаю, куда повернуть:
В тусклом свете блестя, гололедица
Для меня обозначила путь...*

Пейзаж Рубцова почти всегда окрашен серыми струями дождя, бесконечного, безрассветного. Дождь олицетворяет все силы, враждебные душе.

*А туча шла, гога горой,
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под грозой
Молчала набожно и свято...*

На реке Сухоне – «много серой воды, много серого неба». Как у Верлена, так и у Рубцова – дождь этот становится несносным, заливая душу, никуда не деться от него –

*...картина
Такая – мы не видели грустней,
Безжизненная водная равнина,
И небо беспросветное над ней,
На кладбище затоплены могилы,
Видны еще оградные столбы,
Ворочатся, словно крокодилы,
Меж зарослей затопленных гробы.*

Гробы – частицы того прошлого, которое для поэта и есть единственная реальность, но и они затоплены дождем. Век нынешний не пускает к векам минувшим, к векам, затопленным временем... Рубцов тянется в былое, зная, что найти его невозможно: «мне не найти зеленые цветы!»

Счастливым я помню его только один раз. Когда я привез его к руинам Изборска. – древней крепости в 30 километрах от Пскова. Был сентябрь, и стук яблок, падавших с ветвей от слабого ветерка, наполнял Колю радостью... И еще тогда удивило меня то, что он, вопреки своему литературному образу, ездить верхом почти не умел... На коня взбирался как-то вроде непривычно и неуверенно...

Рубцов – поэт осени, что для русских поэтов нередко, еще от Пушкина повелось.

Осень Рубцова – это прежде всего плач по утрате связи с прошлыми временами; связи, которая не сама оборвалась – ведь ее и переехал своими колесами тот поезд, что «перед самым, может быть, крушеньем», еще самонадеянно несется черт знает куда, лишь бы «в п е р е д!», где этот самый «перед», никто ведь не знает...

Не грандиозные космические замыслы, а просто:

*От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и быльёю
Прошедших здесь крестьянских поколений.*

А в стихотворении «Жар-птица» на традиционный русский вопрос «что делать?» Рубцов дает свой ответ, негромкий и смиренный, как и вся его поэзия:

*А ты, говорит, люби и жалей
И помни хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей...*

Много ли надо человеку? И простыми, как всегда, словами Рубцов решает эту проблему для себя, только для себя, никому ничего не навязывая...

*Снег летит – гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро
Жизнь порой врачует душу –
Ну и ладно... И – добро...*

Посмертная популярность Николая Рубцова годах в 80-х стала вдруг быстро расти. Кажется, на его имени и сейчас спекулируют разные казенные патриоты...

ЧЕЛОВЕК В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

(Глеб Горбовский)



Официальной советской поэзии свойственна гигантомания.

Это продиктовано одним из неписанных правил соцреализма. Все должно быть монументально, как мухинские «рабочий и колхозница» на ВДНХ. Бетонные штаны и столь же удобная юбка – символы бесчеловечной «героики», той барабанной фальши, что выросла из зерна, брошенного Горьким: «Человек – это звучит гордо».

Гордыня казенного героя, советского простого сверхчеловека, которому, как известно, «нет преград ни в море, ни на суше», поощрялась официальной критикой до самого конца советской власти. Этому псевдоницшеанству на кумачовом фоне противостоит в стихах Глеба Горбовского обычный человек.

Не маленький человечек, с трудом находящий лаз из гоголевской шинели, но и не гигант, а вот такой, обыкновенный...

Он добр и грешен, он говорит, не повышая голоса, и – странно! – его слышно сквозь барабаны и хоровое пенье маршей всяческих энтузиастов.

Вот так и слышали в конце 50-х годов мягкий, без надрыва, голос Глеба Горбовского. Услышали не только те, кто стосковался по живой, не железобетонной душе, но и те, кто поводит, как радарами, цементно-монументными ушами, оберегая бывший «новый мир» от людских голосов...

Внимание – даже очень пристальное тогда внимание – со стороны этих поклонников молитвности очень удивило поэта, и написал он вот такие стихи:

*Я тихий карлик из дупла,
лесовичок ночной.
Я никому не сделал зла,
но недоволен мной.
Я пью росу, грызу орех,
зеваю на луну.
И все же очень страшный грех
вменяют мне в вину.
Порой пою, и голос мой
не громче пенья трав.
Но часто мне грозит иной,
кричит, что я неправ!
Скрываюсь я в своем дупле,
и, в чем моя вина,
никто не знает на земле,
ни бог, ни сатана.*

В чем же вина этого безобидного лесовичка? Оказывается, что вина его перед хозяевами идеологии огромна! Пользуясь церковным выражением, скажем, что он не менее чем ЕРЕТИК! А для любой идеологии и для любой религии, включая коммунистическую, любой еретик «опаснее врага».

Так вот, в том он повинен, что не встал на ходули, не затрубил в горн, не изображает собой памятника своей великой эпохе... Да просто в том, что всюду остается обыкновенным человеком. Он чувствует себя частицей всего живого, частицей природы. И объясняет он зверям и растениям:

*Никакой я
не начальник,
туп земли,
а также – соль...*

И верится в это, когда он грустно, якобы между строк, говорит, что вот родила его мама, а могла бы и птица... Так ведь и теряются всякие рубежи между человеком и прочей тварью живой. И во всех есть божественная искорка жизни. Увидав на улице ослика, везущего рекламу и кассу цирка, Горбовский говорит:

Скромный ослик, кульками уши.
Служит ослик, как я, искусству.

Полная антитеза громоподобию памятников, которые после Горация, Державина и Пушкина стали сочинять все, кому не лень.

А сколько вмятин осталось в поэзии от этих многотонных постаментов! Чуть не каждый официальный поэт сочиняет некий памятник, а если даже не сразу видно (по скромности или по низкому положению в иерархии СП), что это – памятник, так разве что потому, что неповторимо индивидуальное пушкинское (да и державинское) «Я» заменяет автор, как положено, безликим,

зато поощряемым сверху «МБ». И вот Глеб Горбовский которому это мыканье так же чуждо, как носорожья шкура из пьесы Эжена Ионеску, говорит о том, как неуютно ему в толпе каменных монстров:

*Меж камней
и меж орясин
пробираюсь молча я,
словно старый
тафтанасик
на ухабах бытия.*

Да ведь это – все та же пушкинская «Телега жизни». Телега, а не «стальная птица», или, пуще того, уж вовсе не ентушенкова «факета», которою где-то у крикуна нашего заменена все та же несоветская телега! Понятно, что авторы стальных птиц разом почуяли чужого. Вместо «сплошной лихорадки буден» Горбовский посмел назвать одну свою книгу крамольным словом «Тишина».

Ну, и шума вокруг этой «тишины» устроили! Лесовичку чем только ни грозили...

*Боюсь осенних помрачений,
когда вот-вот
и срянет снег...
Боюсь,
как всякий злой, вечерний
и одинокий человек.*

Никому не дано пробить броню одиночества. Только полная потеря личности, по Горбовскому, есть плата за избавление от одиночества...

Вместо проблем, которые нам выдавали десятилетиями за самые главные в жизни, он обращает внимание совсем на иное.

*Зачем сердечнику кофейник,
Когда казнит себя палач?
...
Кому любимая дороже –
Себе ли, мужу, или мне?
А крокодилы ходят лежа,
Поди, узнай, по чьей вине?*

В мире природы, в мире тишины, в мире слова – Горбовский дома. Но стоит ему услышать, что за спиной кто-то идет, как идущие множатся.

*Я меняю маршруты, плутаю,
В магазины и в бани влетаю,
Серой мышью ныряю в метро я,
А за мной уже топаят трое...*

И, наконец, когда он «из вчера выбегает в сегодня», за ним уже топает целая толпа... Что это? Описание реальных стукачей? Нет, конечно: тут страшнее, потому что это – коллективизм собственной внеперсональной персоной... Символ неизбежного образа жизни, навязываемого человеку. И пусть ему даже хочется

*кричать, стонать, мяукать,
визжать и выть пилой.*

Все труднее и труднее отстаивать свое право на тишину...

Первая книжка Горбовского вышла в 1960-м году. Называлась она «Поиски тепла». Уже в самом названии была скрытая полемика с «духом времени». Да и для большинства своих ровесников-поэтов Горбовский был несколько инороден: почти все наше поколение, вырвавшееся на эстрады и в залы (не исключая и автора этих строк), больше ценило чтение стихов со сцены, чем

тихую книгу, предназначенную для свидания с читателем лицом к лицу, один на один... Все мы, кроме Кушнера и Горбовского...

А когда Медный век отшумел и отбренчал, Горбовский остался Горбовским, – лесовичком, ищущим тишины.

Наконец, когда совсем новое поколение – поэты «тайной свободы», или, как их еще дразнили, «тихие лирики» – вышли в самиздат (как известно, в печать при советской власти их так и не пустили!), то Горбовский – словно шепот на площади, все так же слышен был, как и среди своих бунтующих ровесников – поэтов шестидесятнической «бури и натиска», которые даже тишины, и той требовали во всю глотку.

*Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?*

– кричит Андрей Вознесенский.

Горбовский явно должен был стать близким новым поэтам, вот этим «тихим лирикам». Но, к удивлению моему, ничего такого не случилось.

Почему же он – чужой для поколения В. Кривулина, Е. Игнатовой, Ю. Кублановского и прочих новых поэтов, родившихся после войны или в самом ее конце?

Причины этого лежат уже не в русле поэтики, а в особенностях советской действительности. И не только задиристое, несмотря на «тихость», неприятие, отрицание всех, кто старше, этому виной (об этом явлении точнее всего сказано у Василия Аксенова в «Прогулке в калашный ряд») – есть тут и вина самого Горбовского.

Новое поколение – непечатное, родилось в самиздате и так дожило до своего сорокалетия (о них – четвертая часть этой книги), а Горбовский – не в стихах, а в жизни, во внешней карьере – себя в конце концов причислил к тем, кто «тащит и не пукает». Захотелось в конце концов положения, захотелось ему даже и редакционных должностей... Надоело числиться среди подозрительных «оттепельных».

Кстати, это ведь был почти тот же самый настрой, что несколько раньше, в самом начале пути, привел Евгения Евтушенко к тому, чем он многие годы и являлся. Но в отличие от хваткого и громкого сверстника, Горбовский не стал расплачиваться с «благодетелями» натурой – не стал писать ожидавшихся от него лживых стишат. Просто потому, что он поэт, потому что – не может. И точка. Но вне стихов он стал вполне официален и вошел в официальную поэтически-чиновную номенклатуру, очень-очень нуждающуюся всегда хоть в одном талантливом человеке... Вот потому-то ему к пятидесятилетию и позволили свою книгу назвать «Избранное», чего ни Со-сноре, ни даже Кушнеру тогда еще не позволялось...

И вот вопрос: можно ли винить Горбовского в том, что он позволил спекулировать собой? Он ведь отлично помнил, как его в 68 году травили за «Тишину»... Микрождановщина тогда развернулась широко, и Горбовского надломил.

После выхода «Избранного» – прекрасной книги – хочется все же напомнить Горбовскому, как боялся он стать тем, кем стал...

«А крокодилы ходят лежа» – Горбовский, к счастью, не научился так ходить, – ни крокодил-ом, ни носорогом окончательно и не стал.

Но оказалось, что не лишен он и пророческого дара: в одном из ранних стихотворений Горбовский иронически нарисовал будущего себя «в чинах» и, к сожалению, угадал:

*Я куплю себе галстук
зеленый, как травка,
Щегольну по бульвару –
бульварный поэт...
Будет ценной и модной
моя бородавка
под округлой скулою –
коричневый цвет...
Будут старые девы бубнить о поэте:
– Утром пьет он какао...*

– Водку пьет он в обед... –
Рассуждая порой обо мне,
как о странном предмете,
будут мне убавлять по ошибке
количество лет.
Будет весело тем
наблюдать меня в такой роли,
будет больно друзьям –
если будут друзья...
Я куплю себе галстук,
зеленый, как поле...
Будь он проклят –
разумный и будущий Я!

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗМА?

(Олег Чухонцев)



Общим местом давно уже стал разговор о темпах века, о торопливости и суетности, о гонке жизни – неизвестно, куда и зачем.

Эта напряженность передалась и многим поэтам. Как музыка, стих тоже включается в ритм своего времени... И вот – две категории поэтов. Одни мчатся в потоке этого мира, порой опережая его, воюя с ним или упиваясь им, а другие... Среди первых – такие разные, как Александр Галич и Андрей Вознесенский...

А вот вторых меньше. Это поэты, которые не то чтоб не слышали электронных гитар – бешеного пульса века, но ритмы эти вызывают у них потребность контрапункта – и возникает медитативная поэзия, текущая неторопливо, словно она – противоположна всем стремлениям и болезням столетия.

Показательно, что в мировой поэзии такие поэты нередко появлялись в самые бурные времена, удивляя современников своей «несовременностью», и мало кому было дано понять их уравновешивающую роль.

Так, в Англии в самый бурный период ее истории писали великие метафизики Джон Донн и Спенсер... Неслучайно сегодняшняя англо-американская поэзия связана с ними больше, чем с романтиками.

В русской поэзии в этой традиции – отчасти Державин, конечно же, Баратынский, в некоторой степени – Тютчев...

Чухонцев начал публиковаться поздно, книги выпускать – еще позднее, отчасти в силу причин внелитературных, скорее биографических, а именно – сравнительно «спокойной» для XX века биографии.

Отбросить все неважное, все преходящее, неспешно взглядеться в самое простое – и в нем найти тайну. Мы в суете отвыкли ее искать:

...есть у нас секреты, а тайны – нет...

Вот ключ к тому, что заставляет Чухонцева не спешить, искать, взглядываться...
«Нелепо говорить, молчать нелепо» (это из «Девочки на велосипеде»).

*А мы, душа, другие знали сны,
Но так давно все было, что едва ли
И было с нами... Юность пронеслась,
И пролетели врозь велосипеды.
Лишь имена Simson и Diamant
Еще тоской черемуховой веют,
Послевоенной, злой... И хорошо!*

И вот на том же едином выдохе, длящемся чуть ли не двадцать лет, проходит и встреча людей чужих, почти не узнающих друг друга...

*Теперь столкнуться на перроне: ты ли? –
И как очнуться: круглое лицо,
Прямая, полногрудая фигура,
Затянутая тонким ремешком,
Как дачный саквояж, и зонт японский –
Чужое все! – И только твердый взгляд
Как вызов, да еще сухие губы
Надменные... Зачем, зачем всю жизнь
Я догонял тебя? Теперь я знаю,
Что первая любовь обречена,
Но медлю почему-то...*

И ни слова о самом главном, о том, что любовь эта живет, но в том глубинном, о чем не сказать словами.

Вся поэма словами говорит только о том, чего уже нет:

«Я все забыл, я ничего не помню...» – настанвает Чухонцев, и с каждой следующей строчкой, утверждающей гибель прошлого, убеждаешься в обратном! Главное не высказано словами, по сути смысл «затекста» противоположен буквальному смыслу текста!

Прошедшее не умерло, оно живет сегодняшнего. Только мысль изреченная есть ложь. А умение передать несказанное – вообще главное достоинство поэзии Чухонцева. Она – удавшаяся попытка поэтического реализма, и она удалась только потому, что в ней есть метафизический план, не подвластный словам. Иначе – была бы проза, с рифмой или без нее, ну, как любая провальная попытка реализма в поэзии...

Удивительна цельность поэтического мира Чухонцева. Даже ключ к тайне его поэзии – само слово «тайна». Да, в скачущих темпах века некогда людям искать ее в себе... Но взглядишь в себя, проживи снова то, что уже прожито. Найдешь кое-что и поважнее, чем калейдоскоп внешнего мира! За утверждением Чухонцева «Я оторвался от своих корней» четко возникает мысль о том, что как раз не оторвался от них тот, кто об этом так прямо пишет...

*Не каждому дано
Из колеи осточертевшей вытасть,
И время на ходу остановить.
Раз воплощенность – это путь свободы.*

Первую книгу Чухонцев выпустил в 37 лет...

Грустно звучало ее название: «Из трех тетрадей». Ведь это – три совершенно отдельные книги стихов, каждая со своим эмоциональным настроением, и уж конечно – со своей доминирующей темой!

В неторопливых строках Чухонцев продолжает искать тайну. Зачем мы – на земле? В избыточности вопросов он близок непохожему на него в остальном Александру Кушнеру! Вот входит он в родной дом и видит за столом гостей.

*Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.*

Итак – время отменено. Его нет. Все, кто умер, – тут вместе, вне возраста и времени. И не случайно явная переключка с Маркесом, – со «Ста годами одиночества»!

*И я сказал: – Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но подумай о вас.
Но я приду – и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
– Не говори, чего не можешь знать, –
услышал я, – узнаешь – содрогнешься.*

Последняя строчка – скрытая цитата: это слова призрака отца Гамлета. Не только тайна жизни... Но и тайна любви, тайна творчества связаны с тайной памяти... Исчезает ли человек бесследно, как та девочка на велосипеде, превратившаяся в чужую и почти незнакомую женщину? Ведь взрослая она уже вовсе не она... А та, та прежняя, где? Тайна – это ожидание. Это воробьиная ночь, так и не пролившаяся, не разрешившаяся дождем. И именно так называется третья тетрадь стихов – «Воробьиная ночь». О тайне жизни, тайне любви, тайне творчества...

УЧЕНИЦА ФАТА-МОРГАНЫ

(Новелла Матвеева)



Все помнят барда Новеллу Матвееву, начавшую петь в 60-х, но я уверен, что значительная часть тех, кому нравились ее песни, даже и не подозревают, что она писала стихи, которые не пелись и часто были совсем не похожи на ее песни.

Когда Максим Горький еще был писателем, он как-то сказал, что романтики в литературе появляются от серости окружающей жизни.

Новелла Матвеева – один из поэтов, принадлежащих той разновидности романтизма, которая прежде всего – протест против серой действительности, – ходила по заоблачным тропам.

Пристальный взор находит в обычном экзотику, а в экзотическом – нечто знакомое каждому, узнаваемое. Вот что Новелла Матвеева пишет в своей первой книжке о самом обыкновенном перце.

*Орден кухни, герб кладовых,
Южных блюд огнедышащий флаг.*

И называется это стихотворение «Ода перцу».

Цепочка ассоциаций ведет под пыльный навес, «где серьгою трясет продавец», а у входа в лавку висят «связки перца, как связки ключей от запальчивых южных сердец».

Попугай болтает на языке когда-то истребленного племени, на языке, что весь поместился «как семечко в маленький клюв и может еще расцвести»... Поэтому попугай привык на мир «сверху смотреть снисходительно, когда назовут дураком».

В рисунке трещин на стене Матвеева видит тициановские полотна.

И – наоборот: в наивной трогательной песенке «Девушка из таверны» сквозь декоративное условное название проглядывает такая обычная, молчаливая, жертвенная любовь...

*Когда же ты уходил к другой,
Или просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде.*

И когда уже и от гвоздя следа не осталось, она все равно помнит и любит, и гордо говорит: «а что я с этого буду иметь – того тебе не понять». В этой простенькой песенке апология романтизма в его крайнем выражении.

Борьба романтизма с «реализмом» для Матвеевой равна борьбе духовности с прагматизмом. В стихах о Рембранте, о жизни его, то роскошной, то нищенской, находит она точные слова для выражения этих крайностей:

*...Его схоронили с оглядкой на кладбище нищих,
Его, короля светотени!
Пылится палитра, паук на рембрандтовой раме
В кругу паутины распластан,
На кладбище нищих, в старинном седом Амстердаме
Лежит император контрастов!*

Этой ярчайшей в крайностях света и тени жизни противопоставлена египетская мумия, ее серый неменяющийся мир. Мумия для нее – философский символ окружающей жалкой жизни, в которой ничего не происходит, той, о которой и говорил когда-то Горький...

*Зачем ты в наших днях?
Послом какого дела?
Зачем лишь тело – след твоей души,
В том мире, где душа должна быть следом тела?*

Но ведь на то она и мумия, чтобы предлагать потомкам только созерцание «праха в твердом виде», вместо вечных творений духа, чтобы по ее примеру каждый захотел «в ничтожестве навеки укрепиться». Скатиться к примитивности, обыденности, бездуховности минерального существования – и как удобно тогда жить будет!

*Ибо путь от Платона к планктону,
И от Фидия к мидии прост.*

Путь духовного подъема куда сложнее. И Матвеева обращается к реалисту с просьбой:

*Ну не шли к отдаленной звезде
В серебристую дымку инстинкты
И бурчанье в твоём животе!*

Бездуховность и безмыслие – мишень ее романтической иронии байроновского типа.

Есть у этой иронии и более конкретный адресат, ведь Матвеева писала не в безвоздушном пространстве, и демагогические разговоры о доступности и понятности искусства велись официальными лицами на страницах газет и журналов.

Пусть зовут к «простоте», разумея ее как синоним примитива, пусть демагогически требуют «общепонятности и доступности» (сами там где-то решая, что кому доступно и нужно, а что недоступно и ненужно). Истинное искусство не рассчитано на кретинов. Оно требует напряжения, освоения, соучастия, и в этом освоении и соучастии и есть обогащение духа.

Для Матвеевой органичен один из сложнейших жанров европейской поэзии – сонет (не форма, а именно – жанр!). Сложность сонета – не изыск, это скорее отражение многогранности и прежде всего диалектичности философско-поэтической мысли.

*И если он врасплох мою строку обрубит –
Я – не поэт. А он – поэтов любит!*

Так пишет Матвеева в своем сонете о сути сонета.

Таков ее вклад в традиционную в русской поэзии тему. Пушкинское «Суровый Дант не презирал сонета» – тоже разработка этой темы... И афористичность иных сонетных формул есть одно из главных достоинств этого жанра.

*Не черта я боюсь, а трафарета:
Он глуп, смешон, но в нем – кончина света!*

Так пишет она в другом сонете, под названием «Штамп».

Живописная экзотичность Матвеевой противостоит обязательной теории конца 40-х годов: «пиши только о том, что видел, остальное советскому читателю не нужно» (читателя, разумеется, не спрашивали – опросы в СССР вообще не проводились!)

Интерес к экзотике мог пробудить у читателей несанкционированное государственно-опасное любопытство: вдруг еще потянет их за пределы «одной шестой» или, не дай бог, в историю, не регламентированную советским учебником!..

В поэзии Матвеевой очень сильна тоска по дальним странам, очень остро выражена потребность вырваться за пределы повседневности. И она обращается к Киплингу, к поэту, который с экзотикой на «ты», возможно, даже не осознавая, что для него, выросшего в Индии, экзотика – это самая что ни на есть повседневность. Вот как характеризует она Киплинга:

*Ты, нанесший без опаски нестареющие краски
На изъеденные временем холсты.*

Матвееву душит обыденность, она раздвигает мир воображением.

В одной из самых характерных своих песен, в «Караване», чтобы выйти из непонимания, из людской неконтактности, из мирка, наполненного здравым смыслом, она опять выбирает сугубо романтический путь:

*Право уйду! Наймусь к Фата-Моргане,
Буду шутом в волшебном балагане,
И никогда меня вы не найдете:
Ведь от колес волшебных нет следа!*

Одна из лучших книг Матвеевой – «Река» – представляет собой некий поток образов-ассоциаций, впечатлений, которые чем дальше уводят нас от первотолчка, от первообраза, тем больше эмоционального и живописного богатства они в себе несут.

Эта вот зависимость яркости произведения от степени отдаленности окончательного текста от первоначального «материала» и есть один из главных законов романтизма вообще. Когда незначительный повод рождает «Я помню чудное мгновенье», мы вправе говорить о романтическом типе личности поэта и можем сознательно игнорировать сугубо классицистическую и никак не романтическую стилистику и лексику этих пушкинских стихов.

Вот строки из стихотворения Матвеевой «Душистый горошек». Сколько тут самых неожиданных, самых, казалось бы, из ничего расцветших образов!

*Душистый горошек, дешевая роскошь,
Весны королевич босой,
Цветущая иллюминация плошек,
Сияющих только росой,
Таинственный, вещий, нахмуренный бархат
Тех курток и воротников,
Который так гордо – но впроголодь носят
Художники многих веков...*

В простом цветке на окне – целый мир с его красками, судьбами, но цепочка ассоциативных метафор ведет нас дальше и дальше, и каждый образ занимает свое место в этой мозаике и что-то добавляет к тому, что нам только что нарисовали... Цветок дразнит пышные и самодовольные георгины – ах, какие они снобы! – дразнит жалкие, запутанные мхи... Неуправляемая личность, жизнь без компромиссов, это –

*И мнится в бретях, в потертых вельветах
С единой морщиною лба
Шума, надвигается к нам с горизонта
Художников вольных толпа.*

...И все это представляется, когда вглядываешься в цветы душистого горошка.

*Душистый горошек из племени крошек,
Бедняк, постреленок, гамен,
Хочет, из пальчиков делает рожки...*

Эта негромкая, но победительная красота вызывает из небытия своего героя – Художника. На протяжении ста с лишним строк этой сверкающей лирической поэмы он все ярче и ярче обрисовывается, и в последних строках – его живое явление.

Мелодия стиха – тяжелый марш, ритм, контрастирующий с образом маленького невесомого цветка. Марш роковой неизбежности: законы красоты побеждают жалкий закон нищенского прагматизма.

Эта возникающая почти из ничего яркая феерия образов косвенно объяснена в одном небольшом стихотворении из той же книги: такая живопись возможна именно потому, что

Я более свода люблю впечатление свода.

Что ж, впечатления бывают и точнее, чем пощупанная пальцами реальность...

В книгу «Закон песен» Новелла Матвеева парадоксально не включила ни одной из своих песен, но в этой книге множество сонетов. Причем сонеты тут более чем традиционные. Поэты XX века, когда обращались к сонетам, писали их, в основном, энергичным пятистопным ямбом. Матвеева же возвращается к допушкинскому сонету, к длинной шестистопной строке с цезурой, классически делящей строчку на два полустишия:

*Боготпротивная, дрянная вещь тоска.
Три вида есть у ней, самым грехом творимых:
Тоска ни по чему, тоска из пустяка,
Тоска по случаю причин неправимых.*

Даже лексика вслед за ритмом становится несколько архаической, а отсюда и образная система вместо современных многослойных метафор, сюрреалистически сдвинутых эпитетов, дает нам единую развернутую метафору, заполняющую весь сонет. Конечно, архаичность тут – это архаичность сегодняшнего все же поэта, но язык Матвеевой в ее более поздних стихах максимально очищен от неологизмов, от употребления слов в их жаргонном, «сдвинутом» смысле.

Следуя традиции пушкинских времен, Матвеева пишет и свой «Поэтический трактат». Такая попытка создать сегодняшнее «Искусство поэзии», теоретическую поэму, перекликающуюся с трактатом Буало или Чеслава Милоша, вполне удается Матвеевой. Но, в отличие от французского

классициста и начетчика, как и в отличие от польского поэта, она никого не поучает, а только утверждает свою творческую позицию в полемике.

*Содей же, о, Зоил, ты действие благое:
Отстань – весь в молниях, весь в тучах – площадной
Учитель скромности, дай мне на миг покоя,
Что толку ментором работать надо мной?*

И лексика, и ритм, близкий к александрийскому стиху Буало, тут нарочито архаизированы, но все, как всегда у нее, пронизано иронией. Классицистическая внешность оказывается шутовским, карнавальным нарядом, в котором легче «истину с улыбкой говорить».

Эта поэма отстаивает право поэта на наследие всей мировой культуры, то самое, которое советские малообразованные критики яростно отрицали, объявляя «литературщиной, которая не нужна народу».

*Но тщетно столь гневит, столь возмущает сноба
Музейной тьмою подшибленный поэт,
Что для глупца «музей», пылица, двери гроба,
Для человечества – бессмертной мысли свет.*

Полемизируя с властвующим невежеством, ведущим свой род еще от пролеткультов, Матвеева пишет:

*Поэты Фермопил, певцы горящей Трои,
Заметь, художники и есть мои герои.*

Отрицает Матвеева и русский «верлибр», в котором не видит и следов стиха. Надо сказать, что русский верлибр – явление странное. Ведь английский верлибр обладает чрезвычайно богатой звукописью, держится в огромной степени на внутренних аллитерациях, разнообразных звуковых переключках, которые русскому языку отнюдь не свойственны. И в результате свойств самого языка русский верлибр чаще всего оказывается очень беден.

*В кругу полубогов есть боги-квартираны.
Парнас для них не дописал законы,
Проста или сложна,
Да будет рифма вновь такой, какой придется,
Одна лишь просьба к ней: пусть рифмой остается –
Дочь Эха, а не дочь анархии она.*

И небольшой певучий романтический голос Матвеевой, смело отстаивающий хоть право современной поэзии на сонет, хоть право ее на рифму, остался в русской поэзии.

Р. С. Я очень давно не читал Матвеевой. Говорят, что в постсоветское время она пополнила собой ряды кликушествующих патриотов. Грустно, если это так... Но поэта надо судить по взлетам и быть благодарным за то хорошее, что уже написано. Это хорошее с нами, даже если, читая, трудно отрешиться от ужасного сегодняшнего...

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

(вступление 2010-го написала Лена Кассель)

*Нас, может быть, мало, нас четверо,
И все-таки нас большинство.*

Это Андрей Вознесенский.

Четверо: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский.

Наверно, в этих четверых суть шестидесятничества выразилась сильнее всего. Да еще в ленинградском Викторе Сосноре.

А значительных поэтов среди них трое: Вознесенский, Ахмадулина и Соснора.

Шестидесятничество – огромное явление, но о нем нельзя говорить только в применении к поэзии, поэтому его обсуждение далеко выходит за рамки этой книги.

Поэтов-шестидесятников пренебрежительно называли эстрадниками. Если убрать из этого термина уничижительный оттенок, то под ним обнаружится основа. Шестидесятники читали стихи в огромных залах, даже интимную лирику орала через микрофон. Не всякие стихи можно читать залу. Маяковского – можно, Мандельштама – нет. Стихи, рассчитанные на звучание в залах, были стихами, зовущими за собой, поднимающими слушателя. Есть большая разница между такими стихами и стихами, которые человек читает один на один с книгой, а если и слушает поэта, то не в толпе, а каждый сам по себе – так, например, слушали Бродского.

Поэзия в 60-е была нужна, как вода, как хлеб. Может быть, в какой-то мере в более поздние времена ее место заняла рок-музыка, но про это я уже ничего не знаю. Тогда же именно стихи заменяли общую деятельность, политическую мысль, и тысячи молодых, в основном, людей, приходили слушать поэтов.

Броские метафоры, афористичность, неожиданные рифмы – все это привлекало. Но главное – привлекало «содержание» – стихи шестидесятников по эмоциональному накалу во многом были сродни песням протеста. Но протест это был советских до мозга костей людей, ремонтников. Одно из очень знаменитых стихов Евтушенко – «Наследники Сталина». Евтушенко просит родную партию – защитить от Сталина. Шестидесятники, писавшие политические стихи, верили в революцию и улучшение советского строя, как и те молодые советские люди, которые приходили их слушать.

А слушатели поднимали этих поэтов, заводили их, и возникал контакт поэта и зала. Чтения были важнее бумажных книг.

Когда эти поэты стали чуть старше, советская власть научилась их довольно удачно использовать. Они ездили за границу, читали там свои стихи – если политические, то по сути вполне советские, только антисталинские, и на Западе умные люди кивали головами и говорили, что в СССР начинается свобода. Не говоря уже о том, что в лирике эти поэты впервые стали говорить о любви даже с намеком на секс. И это тоже была свобода.

Впрочем, надо отметить, что ни Ахмадулина, ни Соснора политических стихов не писали, а Соснора и за границу почти не ездил.

Шло время... Политические стихи Вознесенского и Евтушенко становились все более советскими. Вероятно, возможность ездить за границу и прочие блага постепенно делали свое дело...

Стихи Рождественского, на мой взгляд, совсем слабого поэта, собственно, всегда и были советскими...

А люди, тот самый зал, для которого они писали, менялись. Кто-то переставал читать стихи и садился перед телевизором, а кто-то начинал читать стихи всерьез, и уже стихи совсем не этих поэтов.

Залы кончились. Наверно, меньше других пострадали Ахмадулина и Соснора – они ничем себя не запятнали.

Евтушенко – ладно, не так уж много было ему дано... А вот Вознесенского очень жалко. По-настоящему большой поэт, которого читать почти никто не хочет...

БЕЗУМНЫЙ МИР

(Андрей Вознесенский)

«В сейсмоопасное время наша кровь убивает нас» – это Ташкентское землетрясение...

*Но хуже, когда оно – в тебе: тогда –
Идет всемирная Хиросима!
Невыносимо!!!*

И мелькают кадры, впечатывающие в память жуткие картины: все сдвинуто, все сдвинуты... И бесконечно разнообразные ритмы тоже сдвинуты...

*Когда мои джазисты ржут
С опухшей розгой скомороча,
Вы думали – я шу? Я Суд!
Я – Страшный суд, мались, эпоха!
(«Монолог битника»)*

Вот играет на трубе негр-джазист, и –

*В ту трубу
Мчатся, как в воронку,
Лица, рублища, крики какаду,
Две мадонны а ля поддон –
В мясорубочную трубу!*

А может, это и есть труба из Апокалипсиса? Какой уж там рок-н-ролл!

*По проходим пляшут небоскребы
Башимаками
по му-ра-вьям!*



Из этих строк – вслушайтесь – рвется ритм и даже мелодия... хабанеры! Какой там рок-н-ролл! Цивилизация, как Кармен, издевается, выплясывая, над маленьким человечком. В этом мире, где «небоскребы сталактитами на брюхе глобуса висят» – носится по вертикальной стене мотоциклистка, и слезы ее к зрачкам прибиты. А вот лежит битник – «бухой и эпохальный», и хотя он «постигает Мичиган», только все эти стихи все время оборачиваются такой стороной, что все меньше и меньше верит читатель, будто тут и верно Америка описана!

Да хоть одна из этих адских картин, если приложить ее к СССР, разве не будет из жизни Советской страны?

Вот такую фигу в кармане и держит все время, не разжимая, Вознесенский... Зачастую, впрочем, эта «всемирная хиросима» и вправду всемирна. И бывает, что похожи невыносимости СССР и США.

И все-таки, к сожалению, периодически в стихах об Америке Вознесенский отпускает совершенно непристойные реверансы в адрес советской власти.

*По алюминиевым аллеям
за мной ходили стукачи.
12 лбов из ФБР. Бррр!*

Естественно, подробного рода строчки немедленно ставят под сомнение эмоциональную честность Вознесенского. Так для меня и остается загадкой – притворялся он, или накручивал себя и вправду верил, – верить было морально выгодно, в конце концов.

Герой Вознесенского «сосед Букашкин, бухгалтер, цвета промокашки» ведет свой род от Акакия Акакиевича Башмачкина – Букашкина найти несложно, ведь существует он в миллионных тиражах...

И мчится, свистит над ним Время, «загадочное, как сирин с дюралевыми шасси». И хотя рифма тут – Тенесси, но Сирин из русского фольклора. Это птица забвения, всезабвения, это потеря памяти и корней. А «Мотоциклисты в белых шлемах, как дьяволы в ночных горшках» тоже не только по Парижу носятся...

Всюду у Вознесенского встряхивает читателей совмещение несовместимого. Каждый образ взрывается сотнями фейерверковых звездочек. Но... чаще всего мгновенно гаснущих...

Да, ярко. Да, неожиданно. Да, каждый образ – взрыв... но нередко, как и от фейерверка, не остается ничего... Разве что «струйка дыма».

И все таки.

...Неразделимо смешаны люди и механизмы. Ни думать, ни дышать, ни любить в этом мире нельзя... Рефрен «Невыносимо!» – это из «Монолог Мерлин Монро». Только ли? Нет, это по Вознесенскому – лейтмотив всего XX века! И еще второй его крик: «Тишины!» Но почему именно криком тишины требуют?!

А эти два выкрика, по мнению Вознесенского, – два главных возгласа века...

*Душа моя, мой звереныш!
Меж городских кулис
Щенком с обрывком веревки
Ты бегаешь и скулишь...*

Что же это за поэзия?

Почему писали советские критики, что Вознесенский «развивает традиции Маяковского»?

Это и так, и не так: Маяковский – не только великий трагический лирик. Он еще и славил, что требовалось, и для этого «наступал на горло собственной песне», то есть той самой лирике, которой могло бы быть куда больше! И в этом Вознесенский ему подобен. И еще, как и Маяковский, Вознесенский кричит. Но взгляды на мир у Маяковского и Вознесенского очень разные.

Вознесенский чаще всего ужасается миру, вне зависимости от того, социалистический он или какой другой. Маяковский приветствовал мир машин, роботов и прочей бесспорно полезной ...нежити, но она была в его время еще фантастикой. А Вознесенский, видя ее уже реальной, с самого начала отказывается быть «трубадуром турбогенераторов». Маяковский заботился, как бы погромче. Вознесенский хоть и тоже – во всю глотку, но – «тишины!».

Теперь – о важнейшей стороне структуры его стиха: почти в каждом стихотворении Вознесенского слышна некая мелодия, давно нам знакомая, и она вносит дополнительный смысл, в ней есть то, о чем не сказано в словах. Например – стихотворение «Стриптиз». Почему он в ритмах Камаринской? Что это дает? Ассоциация с Мусоргским? Да. «Пляски смерти» тоже ведь на ритмах Камаринской основаны! И вот уже этим ритмом мы подсознательно определяем картину, нарисованную Вознесенским. Так музыка вносит дополнительное измерение. Вот ведь и хабанера небоскребов тоже для этого.

«Страшный мир, он для сердца тесен!» – но ведь это Блок? Да. Страшный мир, а не «Летающий пролетарий» Маяковского находит свое продолжение в поэзии Вознесенского. Мир роботов – и живых, и металлических – его ужасает.

*... в офисы, как в вагонетки –
Некогда, некогда, некогда!
Топтами автоматы
Топают к автоматам,
Сунут жетон оплатить,
Вытянут сок томатный.
.....
Быть человеком некогда!*

И он, этот робот-букашкин «нынче вопит: зайчатины! Завтра взвост о человечине!».

А вне государств, политических систем, границ –

*Лишь одно на земле постоянно,
Словно свет звезды, что ушла,
Продолжающееся сиянье –
Называли его – душа.*

И опять переключка с Блоком:

*Пускай, грядущего не видя,
Дням настоящим молвить: «нет!»*

Но – главное, ключ, эпитафия ко всей поэзии Вознесенского, конечно, в строках его, видимо, лучшей поэмы «Оза»:

*Мы – не хлам для аукциона,
Я – Андрей, а не имярек!
Все прогрессы – реакционны,
Если рушится человек.*

Прямая переключка с Николаем Бердяевым: «Новое средневековье».

*Раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы.
Ты летишь в автомашине,
а машина без руля!*

Символом добра-тепла, всего человеческого, становятся две туфельки. Вдруг. Крупным планом, будто на экране воображения –

*В мире не топлено, в мире – ни зги.
Вы еще теплые, только с ноги.
Как перед танком присели голубки...*

Танк – против нежности... Металл против души.

*О, хищные вещи века!
На душу наложено вето! –*

Эти строки подсказали Аркадию и Борису Стругацким название одного из романов: «*Хищные вещи века*».

В мире букашкиных неминуемо: «*Хам эпохальный глядет по холмам, потрохам – хам!*»
И в другом месте:

Неужели Шекспира заставят каяться в незнании «измов», неужели Стравинского поволокут с мусорным ведром на седой голове по воющим улицам?

Это Китай тех времен, но опять же – далеко не только Китай: «*Чую Кучума!*» И если не опомнимся, то ведь никого не спасет уход «*в горы и в бороды*».

*Будь же проклята ты, громада
Программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
Слыл поэтом твоих распадов...*

И пусть «*нас мало, нас очень мало*», но «*победит чело, а не число*». Так уверены все мы были в этом в те самые наши «*бурные шестидесятые*»... И порой не видели, что сама эта «*бурность*», это задыханье времени убивает и любовь, и человечность...

*Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.*

Это романс из поэмы «Авось». В ней враг любви – огромные расстояния. А в стихах о наших днях что? Некоммуникабельность. Не береста, посланная из Новгорода в Киев – а телефонный звонок. Связь несравненно совершеннее. И все же.

*А может, ангел в кабеле,
Пришедший за душой?
Мы – некоммуникабельны!
Отбой!*

И вечная классическая тема – прославление любви, но неодолимо противоречие между вот этой самой некоммуникабельностью и стремлением прорвать ее стену. Лирический вопль рефрена – банальнейшей фразы – становится вдруг трагическим эхом:

*Ты музыка счастья, я – нота разлада
Ну что тебе надо еще от меня?*

Прорыв сквозь некоммуникабельность – да, возможен, но трагичность в том, что только на миг, и миг этот несберегаемый:

*На ветру мировых клоунад
Заслоняем своими плечами
Возникающее между нами,
Как ладонями пламя хранят.*

Опять – словно туфельки перед танком...

Интерьер на площади – это не только так описан храм Василия Блаженного, откуда «*действия, как бы с крыльца, адресовались непосредственно небесам, толпам, России*». Интерьер на площади – это и душа нараспашку, без которой от поэзии остались бы одни побрякушки.

*Это – росло у Бориса и Глеба
В хохоте нэпа и чебурек,
Во поле хлеба – чуточку неба!
Небам единым жив человек!*
(«Марку Шагалу»)

Вознесенский как-то мне говорил, что в России, с ее крайностями, при русском экстремизме, а точнее максимализме, все может стать.

Не случайно в России и подвижничество бывало высокое, а с другой стороны – «*Пошли дурака богу молиться, так он и лоб разобьет*».

*Докладчик порой на лектории
В искусстве силен, как стряпуха,
Раскроет на аудитории
Свою порнографию духа.*

Стряпуха – та самая, видимо, которая по Ленину и должна управлять государством! «*Порнографией духа*» выглядит поэма Вознесенского «*Лонжюмо*», и еще несколько его столь же конъюнктурно-бессовестных стихотворений, вроде просьбы убрать Ленина с денег.

И тут бесследно исчезает поэт...

Как некогда Николай Алексеевич Некрасов, написавший оду Муравьеву-вешателю, потом каялся:

*Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука.*

Некрасовское покаяние хочется слегка переделать – остановить на слове «*бывало*» – и применить к Вознесенскому, хотя зная его, можно предположить, что верноподданические стихи писались честно – в истерической накрутке, но от этого, конечно, не легче.

А все-таки и «*Оза*», и «*Мастера*», и «*Осень в Сигулде*», и «*Рок-н-ролл*», и «*Авось*» останутся в русской поэзии не только нашего времени:

*Вместо флейты подыдем флягу,
Чтобы смелей жилось.
Под российским, андреевским флагом
II с девизом «Авось»!
Нас мало, нас страшно мало,
Но самое главное, что все мы врозь,
Но из всех притонов, из всех подвалов
Мы возвращаемся на «Авось».*

Это «*Авось*» ведь не только имя корабля из одноименной рок-оперы, это и то русское свойство, от которого еще Крылов и Пушкин читателей не раз предостерегали...

БУНТ С ДОЗВОЛЕНИЯ ЦЕНЗУРЫ

(Евгений Евтушенко)



Что о нем можно сказать?

Евтушенко – явление скорее социальное, чем поэтическое.

Можно процитировать Галича, представившего Евтушенко в виде деревянной лошадки с карусели:

*Ни печали не зная, ни гнева,
По-собачьи виляя хвостом,
Он кружит все налево, налево
И направо, направо потом.*

Можно Ахматову, которая, прочитав одну из первых публикаций Евтушенко в «Знамени», пожала плечами: «Да это же очень плохой Маяковский».

Евтушенко в 70-е годы стал уже персонажем скорее анекдотическим, со стихами из рук вон плохими и карикатурными в своем идиотизме:

*Интеллигенция поет блатные песни,
Поет она не песни Красной Пресни.*

Заканчивается этот стих вот как:

*С тех пор,
когда я был еще молоденький,
я не любил всегда
фольклор ворья, и революционная мелодия –
мелодия ведущая моя.
И я хочу
без всякого расчета,
чтобы всегда
алело высоко
от революционной песни что-то
в стихе
простом и крепком,
как дrevко.*

Почему же в 60-е был Евтушенко так невероятно популярен – и не только в России, но и на Западе?

Наверно, ответ прост – Евтушенко в высшей степени соответствовал самоощущению молодого советского человека, только что узнавшего, что в его идеальной стране были невинно осужденные, были лагеря.

Сомневаться в исходных идеях, сомневаться в Ленине, в революции, в партии было для выросшего в СССР человека невероятно трудно. Для этого надо было поставить под сомнение всю основу личности, все представления, идущие еще из детского сада. Советский коммунизм был религией, а уйти из религии среднему человеку, в ней воспитанному, достаточно трудно.

Уже и разоблачения Хрущева потрясли основы. И Евтушенко в своих политических стихах шел непосредственно за Никитой Сергеевичем. Самых знаменитых политических стихотворения – два: «Наследники Сталина» и «Бабий Яр».

В первом молодой Евтушенко просит партию удвоить караул у плиты, под которой лежит генералиссимус, чтоб тот не мог подняться. Во втором вслух говорит о гибели евреев.

Оба эти стихотворения, конечно, могли быть напечатаны только в коротенькую хрущевскую оттепель.

Евтушенко был не умней и не искушенней своих читателей. Он выражал тогдашнее сознание молодых, слегка образованных людей.

И как часто бывает с выразителями, абсолютно понятными своим читателям, плоть от плоти их, он был ими страстно любим.

Кроме политических стихов, Евтушенко писал еще и любовную лирику. И опять после абсолютной бесполости советского человека, после сталинских времен пуританского запрета на секс, вдруг появилось что-то, вроде как человеческое.

А если и глупое, так ведь неискушенный читатель не был умней:

*Кровать была растелена,
А ты была растеряна,
И спрашивала шепотом:
«А что потом? А что потом?»*

И еще одно интересное свойство было у любовной лирики Евтушенко. Это были стихи о нелюбви. Лирический герой со стыдом признавался, что любит недостаточно, что он позволяет себя любить:

*А ты у Эрмитажа
Стоишь, ко мне звоня,
И знаешь, снова скажут,
Что дома нет меня.*

Лирический герой был растерян и не готов строить советскую образцовую семью.

Стихотворение, которое начинается с обращения к женщине «Ты большая в любви, ты смелая», заканчивается строками:

– Ну, так что же ты, ну? Неси меня!
А куда я ее понесу?

Не по стиху, но по смыслу подобная лирика в конце 50-х – начале 60-х была совершенно революционна и смыкалась с пришедшими тогда в СССР переводными западными романами.

На волне оттепели Евтушенко начал выступать в огромных залах, ездить за границу, представлять там советскую молодежь, отличавшуюся от людей сталинской закалки.

Есть такое очень советское прилагательное – ершистый, вот его употребляли по отношению к Евтушенко. Наш советский – ершистый – не бюрократ какой-нибудь, а честный хороший паренек.

Он никогда не шел дальше, чем было можно. Когда можно стало меньше, и он стал позволять себе меньше. Довольно быстро читатели его выросли, поумнели и ушли от него к настоящим стихам, те, кто и взрослыми не бросил читать. Особый интерес к нему пропал, оттепель закончилась, но он продолжал ездить, печататься, бунтарское прошлое в советских рамках прилипло к представлению о нем западных людей.

Что еще можно о нем сказать? Были у него все-таки стихи. Не то чтоб по-настоящему хорошие, но все же. «Профессор смотрит в белые деревья» – написанные еще в Литинституте.

*Меняю славу на бесславье,
ну, а в президиуме стул
на место теплое в канаве,
где хорошенько бы заснул.
Уж я бы выложил всю душу,
всю мою смертную тоску
вам, лопухи, в седые уши,
пока бы ерзал на боку.
II я проснулся бы, небритый,
среди вас, букашки-мураши,
ах, до чего ж незначительный –
ну хоть «Цыганочку» пляши.
Вдали бы кто-то рвался к власти,
держался кто-нибудь за власть,
а мне-то что до той напасти, –
мне из канавы не упасть.
II там в обнимку с псом лишайным
в такой приятельской пыли
я все лежал бы и лежал бы
на высшем уровне – земли.
II рядом пляли бы негрешно
босые девичьи ступни,
возы роняли бы небрежно
травинки бледные свои.
...III вырнет курильщик со скамейки
в канаву смятый коробок,
и мне углами губ с наклейки
печально улыбнется Блок.*

Кто знает, вспоминал ли он это стихотворение, когда с удобством рассаживался на стуле в очередном президиуме.

ТАЙНА ВЕЩЕЙ, ВЫХОДЯЩИХ ИЗ СЕБЯ

(Белла Ахмадулина)



В стихах Беллы Ахмадулиной два героя – любовь и вещи. Вещи, которые начинают существовать, только если мы их замечаем:

*Необъятна земля, но в ней нет ничего,
Если вы ничего не заметите.*

Смысл поэзии, как понимает его Ахмадулина, и состоит в процессе познания этих вещей, в процессе перевода их из категории «вещь в себе» в категорию «вещь для нас», в категорию реальности. И кажется, что весь мир – только прообраз мира, а миром он станет только после того, как его разглядят, стихом упорядочат и зарифмуют...

Поэтому у нее так много стихов, в центре которых предметы: в стихотворении об автомате с газированной водой ничего, кроме этого автомата, и нет. Важна автору тут не ассоциация или мысль, а просто – увидеть этот железный ящик, взять рукой стакан с его радугой семи граней, важна просто вода:

*И автомата темная душа
Взирает с добротой старомодной,
Словно крестьянка, что рукой холодной
Даст путнику напиток из ковша.*

Ахмадулина противоположна Вознесенскому – тот отрицает мир вещей, видя в нем врага (хищные вещи века!), Ахмадулина же мир вещей видит добрым и приветствует его наступление. Предметы у нее – не наступающие «вещи» с оттенком «футурологическим», а самые обычные предметы, про которые рассказано ради них самих. Беспредметной такую поэзию назвать было бы сложно... А ведь находились умники!

Вот одни названия стихов: «Светофор», «Свеча», «Мотороллер», «Магнитофон»...

Все вещи в ее стихах – реалии так называемого городского быта. Того самого века техники, проклятием которому звучит вся поэзия Вознесенского. Ахмадулина не конфликтует с веком. Это – ее мир. Стихотворение «Маленькие самолеты» показательное: ведь не стрекозы, не птицы снятся ей, а самолеты, которые для нее живые существа, – это и есть увиденная ее взглядом суть века.

*Им все равно, как снится мне:
То как теницы с моей ладони
Они зерно берут, то в даме
Живут, словно сверчки в стене.*

И вот наряду с этим, очень предметным миром, поверхностным, но поэтически овеществленным, живет другой герой – любовь.

Странно, что никакой связи между двумя этими героями в поэзии Ахмадулиной нет. Стихи о любви не похожи на стихи о вещах, словно разные поэты их писали. В любовных стихах нет и следов многословия, нет излишней детализации, но зато есть интонация – самый точный, самый зыбкий и неуловимый выразитель чувства. Исчезает нагромождение предметов, остается точно высказанное, а потому кровоточащее чувство.

*О, мой застенчивый герой,
Ты ловко избежал позора,
Как долго я играла роль,
Не опираясь на партнера!*

Чего тут больше? Любви? Досады? Иронии? Горечи? И все заключено в одной сложнейшей, многогранной интонации. Ее нельзя ни точно назвать, ни подделать! Нельзя выдумать! Все стихотворение, построенное на одной единственной развернутой метафоре: «любовь – театр», приводит нас к настроению почти саркастическому и вместе с тем болезненному.

*Но оформетчивой толпе
Герой действительно не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам!*

В этом стихотворении – все то, что и в других лирических стихах Ахмадулиной: ощущение преодоленного страдания и масштабности чувства. А контрастом этому – слабый и мелкий человек, названный тут партнером.

...это я

*Волною нежной и брезгливой
На берег отнесла тебя.*

...
*Мы растаемся, и одновременно
Овладевает миром перемен,
И страсть к измене так в нем велика,
Что берегами бреззует река,
Охладевают к небу облака...*

Даже белый свет, по сути, сам распадается, и остаются лишь «семь его цветных сифот». Все это проявляется в точных и сильных строках, где главный психологический контраст – столкновение двух несовместимых личностей. Эти стихи непримиримо противоположны кокетливо-жалким словам Евтушенко:

*... Ну, неси меня!
а куда я ее понесу?*

В 60-х годах «лирика бессилия» была очень модной. Многим казалось, что именно в нарочитом безгеройстве проявляется искренность нараспашку, столь ценимая в те годы, после советских казенных «*лирических норм*» в духе Степана Щипачева.

А стихи Ахмадулиной безо всякой нарочитости противостояли казенной лирике.

Первая книга Ахмадулиной «Струна» вышла лишь в 1962 году, хотя ее стихи были широко известны задолго до того. Второй же книги ей пришлось ждать еще дольше. В лирике, в чистой лирике, журнально-газетные критики видели по инерции крамолу. Это были следы ригоризма 40-х годов.

Против лирики воюет и тот безымянный тип, которого в поэме «*Моя родословная*» Ахмадулина именует Игреком, да и все очень правильные, жлобо-мещанские персонажи ее лучшей, возможно, поэмы – «*Сказка о дожде*».

Дождь, как известно, стихия. Стихийно у Ахмадулиной и все истинно человеческое. В поэме сталкиваются две силы: стихия – поэт и союзник поэзии, дождь, и размеренная приспособливающаяся обыденность – вездесущее мещанство. То самое, которое изничтожил Маяковский. Стопроцентно советский средне-сановный хозяин дома, благополучная, внешне безобидная хозяйка. У них в поэме даже нет собственных имен. Мать семейства – обыкновенная женщина, любящая своих детей.

Эта мамаша с молоком вливала в них яд прагматизма и необходимого приспособленчества, воспитывая таких людей, на каких и держалось советское государство... Вот вставная песня детей из этой поэмы:

*Мы – маленькие дети,
Но мы растем во сне,
Как маленькие деньги,
Окрепшие в казне.*

И вдруг весь казенно-домашний уют оказывается под угрозой: в нем непрошено появилась поэзия, а с ней по ее приглашению – дождь. Стихийные бедствия – два сразу!

*И хлынул дождь. Его ловили в таз,
В него вбивались веники и щетки.
Его ловили тряпкой половой...*

Его били каблуками так, как могут только озверевшие обыватели, вежливый мирок которых растревожен стихией.

И тут же возникает авторский афоризм:

*О, пошлость, ты – не подлость,
Ты лишь уют ума.*

И знаменателен финал поэмы – слова поэта, обращенные к населению этого дома:

Вы безобразны! Дайте мне пройти!

Но, распрощавшись с миром вещей и их мелких хозяев, после этой поэмы Ахмадулина почему-то вдруг, словно найдя золотую жилу, начинает делать стихи из каждого случайного хождения в гости. Это становится, к сожалению, на какое-то время главной пружиной ее стихов...

*... Потом – беру тетрадку,
И выбравши любой предлог,
Описываю по порядку
Все, что мне в голову придет.*

Вот и ответ на загадку, почему, с тех пор как Ахмадулина стала много и широко издаваться, она начала повторять и повторять в новых книгах старые заслуженные стихи. Эта манера «описывать по порядку» опасна, новые стихи могут быть так похожи на старые, что лучше уж старые переиздать, чем публиковать их более слабых близнецов.

Может, и не в этом дело, но в 70-х годах у Ахмадулиной будто иссякла свежесть. И появилось презиравшееся ею раньше кокетство:

*Пришла и говорю: как нынешнему снегу
Легко лететь с небес в угоду февралю,
Так мне в угоду вам легко взойти на сцену –
Не верьте мне, когда я это говорю.*

Сама важная многозначительность этого «пришла и говорю» уже вызывает сомнения в искренности, а уж после «не верьте мне» – не остается ничего, кроме ощущения, что кокетство вытеснило отсюда поэзию.

Но, когда, пресытившись собственной чепухой, Ахмадулина отбрасывает и кокетство, и хождения в гости, и прочие поводы поглядывать в зеркальце при посторонних, тогда снова возникает у нее поэзия:

*Я – лишь простак, что извне приглашен
Для сотворенья стороннего действия,
Я не хочу. Но меж звездами где-то
Грозную палочку взял дирижер.*

И так всегда – когда она – лирик, она перестает описывать... А уход от причины, от толчка, послужившего зерном стихотворению, должен быть далеким... И когда мелкие реальные факты не лезут в стихи, когда материала не видно, тогда и остается место отблескам этих фактов. Ибо не сами факты, а только их отблеск – поэзия. Иначе получаются не стихи, а инсталляция, и штаны, помещенные в раму, или унитаз с бантиком под потолком – они все равно не картина, они, вопреки мнению «художника», так и остаются штанами и унитазом...

...В искусстве место не самому предмету, а всегда только его отсвету... Поэтому забыть о себе – выиграть в поэзии. На этом стоит описанный Андреем Синявским пастернаковский принцип, в котором не поэт описывает природу, а природа говорит о себе и о поэте. Это и есть самоотдача.

У Ахмадулиной тоже иногда так бывает:

*Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу –
невоспетую быть, нависать
над землей, принимающей воду!*

Но лучшая книга Ахмадулиной, безусловно, – «Тайна» (1983 г.). Она вся – на одном дыхании. Это не сборник, это единый цикл, может, даже своеобразная лирическая поэма, в которой каждое следующее стихотворение вытекает из предыдущего.

Вот «Черемуха»:

*Вчера немного тьмы. И вот уже сегодня
Слабеют узелки стесненных лепестков,
И маленького рта желает знать зевота,
Где свежее-влажный корм, который им иском.*

За этой довольно длинной элегией следует «Черемуха трехдневная». В ней даже проскальзывает намек на сюжет – она связана с туманным ощущением – вот тут, в этих местах над Окой проходило детство сестер Цветаевых...

*Иль это созерцают полнолуны
Двух девочек зеленые глаза.*

А потом – «Черемуха последняя»:

*Дай что-нибудь, дай обещанье,
Дай не принять мой час ночной
За репетицию прощанья
Со всем, что так любимо мной...*

О чем бы ни были эти элегии – а все стихи в этой книге – элегии в том самом понимании, какое было у этого слова в пушкинские времена, – но все элегии тут – живая связь поэтики нынешней и тогдашней.

Ключевое слово – цветенье. Может, подсознательно, но само созвучье ведет к Цветаевой? Даже в зимнем пейзаже и то все время что-то цветет, ну, хоть снежные лепестки... Вот самые первые строки книги:

*Есть тайна у меня от чудного цветенья,
здесь было б: чудн.АГО – уместней написать.
Не зная новостей, на старь лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».*

И старинность эта не просто декларируется, она просачивается сквозь все стихи книги... Медлительные строки элегий, неторопливые ямбы, перекликающиеся с ритмами почти александрийского стиха. Но метафорический строй стиха противоречит его лексике и ритмам: они слегка архаичны, а метафоры тут послепастернаковские! Они дробят восприятие на детали, снова срастающиеся только в читательском сознании, да и то не сразу, некоторое время спустя после прочтения! Каждый видит образы стихов, лишь оглянувшись на них, и оттого чуть по-своему, по-разному. Вот пример такого контраста лексики и метафоры:

*И снова путник одержимый
Вступает в низкую зарю,
И вчуже долго я смотрю
На бег его непостижимый.*

Путник обычен, допустим, – а вот «вступать в зарю» – из нашего времени, ну а «бег его непостижимый» – это, наоборот, – почти державинское. И ритмы тоже.

Кажется, что наше поколение, после своего бурного дебюта в конце 50-х, раскололось позднее на архаистов и новаторов, как заметил это Тынянов, говоря о старших современниках Пушкина...

Да, книжка «Тайна» – произведение явного «неоархаиста».

*Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
Стекающий с горы лавиной многоцветья!
Начнемте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья!*

И далее, почти как в романсе Окуджавы «Зачем мы перешли на ты» – та же старинность, которая влечет его в первую половину позапрошлого века... Словно Ахмадулина откликается на лос поручика Амилахвари и принимает те же правила игры...

*Идите, стол в саду накрыт для чаепитья.
А это что за гость? – Да это юный внук
Арсеньевой. Какой? Столыпиной. – Ну что же,
Храни его Господь, ау, любезный друг!*

Вот так, играя, Ахмадулина усаживает Лермонтова за свой чайный стол. И вправду он кажется юношей, к которому она относится, как старшая, как подруга его бабушки... Игра, раз приняты ее правила, идет на протяжении всей книжки. Все элегии, как мы уже видели, сливаются в одну метаэлегию. И нас не смущает, что это – игра: она так естественна, ибо в роли женщины XIX века, женщины умудренной и чуть сентиментальной, с медлительным задумчивым характером, не знающим возраста, Белла Ахмадулина чувствует себя легко и свободно.

Так все естественно, что и сам читатель, вовлеченный в игру, оказывается за тем же чайным столом на берегу Оки, где на краешке стула сидит подросток Лермонтов, а в зарослях играют девочки Цветаевы... И если все – в игре, то понятным становится такое с виду ироничное, но совершенно серьезное высказывание:

*Сообщник и прихвостень лунного света,
Смотрю, как живет на бумаге строка,
Сама по себе. И бездействие это –
Сильнее поступка и слаще стиха.*

Так вот какая тайна содержится в названии книги: это попросту тайна творчества, когда все времена сходятся за один чайный стол...

ВСАДНИК ВЕСЕННЕЙ ЗЕМЛИ

(Виктор Соснора)



В 1958 году среди молодых питерских поэтов пропелестело новое имя.

Когда некто Сергей Давыдов, плохонький, раболепный и малограмотный стихотворец, но довольно восторженный человек, сказал мне, что появился «новый поэт, оригинальный, и главное – рабочий!», то я, понятно, отмахнулся. И вкусу давыдовскому я никогда не доверял, и оттолкнуло это самое пошлое в применении к поэту определение – «рабочий». Уж слишком нам поперек горла стояли все эти безграмотные гении «от сохи и станка», вроде самого Давыдова. Но формула эта в СССР служила, к сожалению, пропуском в литературу еще с пролеткультовских времен.

Естественно, ни строчки нового поэта Давыдов не мог понять. А поэт действительно поразил воображение. Не тем, что с завода, конечно... Кстати, выяснилось быстро и то, что никаким рабочим этот поэт тоже не был, а просто посещал литобъединение «Трудовые резервы», предназначенное, по идее, для людей из ремесленных училищ или из ПТУ. Руководителем же этого ЛИТО был Давид Яковлевич Дар.

Так или иначе, с неба свалился поэт, очень своеобразный и вполне зрелый.

*И дождь прошел, и ты прошла.
Прошел, как ты прошла,
По озеру волна, как шланг,
И листьев – как шаланд.*

Или такие строки:

*Первый снег –
Пересмех
Перевертышей-смешинок
Над лепными урнами,
И снижение снежинок
До земного уровня.*

Совмещение несовместимого – если в этом, и верно, одна из главных пружин поэзии – (сближение далековатых понятий – по Пушкину!) – вызвало у меня сначала удивление, потом – узнавание, и, наконец – ответ, часто несогласие...

В ранних стихах лицо Сосноры все время меняло выражения, но при этом оставалось все тем же лицом.

*Не воздвигаю мавзолеей
Прошедшим временам,
Я – за вязанье вензелей
Дождинок между рам!*

Эти вензеля, эта красочная, очень подробная и звучащая жизнь стиха, противостояла серой и монотонной жизни и была вызывающе независима от нее.

В 60-е годы советский официоз встречал новых поэтов, как разрушителей уютного мирка казенных стиходелов. В Москве, где литературная жизнь была громче и скандальнее, и в некотором смысле безопаснее, легче было пробиться к слушателю, что было тогда важнее, чем к читателю! А в Питере по традиции душили молча. И это вызывало у некоторых поэтов ощущение чуть ли не смертничества. Но – радостный, едва заметный эпатаж звучал в таких «несовременных» стихах Сосноры:

*Я всадник, я – воин. Я в поле один.
Последний – династии вольной орды.
Я всадник. Я воин. Встречаю восход
С повернутым к солнцу веселым вискам.
Я всадник. Я воин во все времена.
На левом ремне моем – фляга вина.
На левом плече моем дремлет сова,
И древнее стремя звенит.
Но я – не военный потомок славян,
Я – всадник весенней земли.*

Во второй книге «Гриптих» Соснора проявился в полной мере. Он сочетает в своем творчестве праздничную, балладную линию Алексея Константиновича Толстого с дробленным образом мира – признаком второй половины XX века... Из всего нашего поколения один Соснора, видимо, ничем не обязан был Серебряному веку.

То чувство русской культуры, которое внесли в наше сознание Аксаков, Леонтьев, Хомяков, то открытие корней, что для А. К. Толстого было воистину ненадуманым, зазвучало в стихах Сосноры и соединилось с диссонансной музыкой XX века. Диссонансной, как Скрябин, как Равель, как, наконец, ранний Маяковский.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в предисловии к третьей книжке Сосноры («Всадники») так писал о о его стихах: «Современность его поэзии – это по преимуществу истолкование фактов, современный взгляд на них» – и далее: «его стихи рождаются из преодоления обыденной речи, из находок в самих недрах русского языка. Идеи рождаются у самых корней слов».

Вот яркий пример идей, происходящих из корнесловия:

*... И я обращаюсь к самодержцу:
– Ты в самом деле
Сам держишься и сам все держишь?
– Все держит стража...
И сам немножечко держусь. Народ, навроче,
Меня поддерживает сам... как скажет стража...*

Из одного только слова – самодержец – поэт вытаскивает разные смыслы в нем заложенные, и перед нами – картина, имеющая к временам татарского нашествия такое же отношение, как и к нашим. Так поиски корней словесных приводят к поискам корней исторических, еще раз подтверждая, что «*в начале было Слово*».

И когда в Граде Китеже, где некогда, до самодержца, до его стражи, «*верность почиталась вровень с богами хлеба*», почти все в той или иной мере становятся предателями, то герою поэмы остается положить на площади 12 головок лука... Луковки церковей? Память о верности? Или слово лук – оружие – напоминает о боевом сопротивлении? Или лук заставляет всех плакать, тем самым производя нечто вроде мятежа, там, где слезы под запретом? Все сразу!

*Ведь лук – последнее явление живой природы,
И в эту эру исторгающее слезы!*

Тот же лук – символ совести:

*Возьму двенадцать головок лука.
Чтоб с головой моей – тринадцать
Головок было...*

А когда люди вдруг и верно заплакали – они снова почувствовали себя людьми! И это – самое опасное для всяческих самодержцев...

*... но не забыли
Меня казнить, и не забыли
Зарыть двенадцать головок лука
В ближайший омут.*

Но они ведь взойдут! Живая зелень прорвется, то есть историческая память помешает людям терпеть зло:

*И голова моя взойдет предупрежденьем:
Я не последний из казненных, не последний...*

В более ранних стихах Соснора почти автологично говорит о судьбе поколения:

*Когда от грохота над морем
Бледнеют пальцы и лицо –
Греби, товарищи! В мире молний
Необходимо быть гребцом!*

Напоминает Языкова? «Смело, братья, ветром полный...»

Но сама лексика, подчеркнута нынешняя, делает стихи Сосноры не повторением, а обнажает связь времен. Восстановление этой связи – обреченное, вроде бы, дело, но всходы дает, как те луковицы... Вот почему Соснора часто говорил: «Я пытаюсь заново переписать все важнейшее для меня в мировой литературе».

В начале 80-х годов XX века власть не глушила память о досоветских временах обухом, историю попросту лакировали и фальсифицировали.

Необходимость восстанавливать связь времен никак не исчезла, но куда трудней стало пробиваться к истинной истории...

Виктор Соснора упорно связывал времена и писал о своем – неважно, о Гомере ли, или о русских скоморохах:

*И зреть не надо,
Даже в самый крайний,
Даже на канатах
Играйте, играйте!*

Так на пепелищах – «*люди плачут, поэты юродствуют*». А юродивые на Руси нередко за пророков почитались.

И вот – обращение к Геростратам, надевшим маски поэтов:

*Расторгните храмы,
Алтари разграбьте,
На хоругвях храбро
Играйте, играйте...*

Это стихи из цикла «Песни Бояна». Цикл этот, по сути, попытка создать новый эпос на основе одного имени древнего русского поэта, упомянутого вообще-то всего однажды в истории – в начале «Слова о полку Игореве».

Для Сосноры Боян и вся тут же выдуманная судьба этого русского «скальда» 12 столетия – образ и судьба поэта вообще. Вечная коллизия – власть и поэт – вполне в пушкинской традиции. «Волхвы не боятся могучих владык».

А казнь Бояна – обычный гонорар поэту...

Рассказывающий о казни Поток-богатырь кается перед пьяными в корчме в том, что он – убийца.

Он, новгородец, вольный человек, и вот:

*В песчаном Чернигове рынок – что сточная яма,
В помоях и рытвинах – лоб расколоть ничем!
На рынке под вечер в сочельник казнили Бояна,
Бояна казнили, назначив меня палачом!*

И зрители, более всего занятые гаданием, вправо или влево упадет боянова голова, так опротивели Поток, что он взбунтовался... но уже совершив казнь! Как и булгаковский Пилат!

И ясно, что ничем не лучше его и те, кто

*... разбредались, мурлыча бояновы строки,
Лелеять иконы в своих утепленных углах,
Марина, которой Бояном написано столько,
В ту ночь, как обычно, с боярином Ставром легла.
Я выкрал у стражи бояновы гусли и перстень
И – к черту Чернигов...*

Но чего стоят теперь покаянные слова Потока: «Замолкните, пьянь – на Руси обезглавлена песня!» – если сам он эту песню и обезглавил! Кончается эта поэма (именно поэма, несмотря на не-большой размер!) грустно и иронично:

*В ночь казни смутились шестнадцать полков Ярослава,
Они посмущались, но смуты не произошло.*

И тут опять поиск смыслов и оттенков их у корней слов!

И Боян, и Соснора упрекают людей в том, что они – «после драки кулаками». В этом Соснора и видит причину того, что Русь терпит над собой всякое отребье. Да только ли Русь? И – сродни одиночеству Бояна – одиночество Гомера:

*Спи, родина, и спи страна,
Все эти битвы бытия
Ты сочинила, а не я!*

*Что на коне, что на осле,
Мне все едино – миг и миф,
И что я слеп, или не слеп,
И что я миф, или не миф...*

Так же неожиданно звучит – со всей сегодняшней болью – заново переписанная «Баллада Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда:

*А в вашем вежливом бою
С державной ерундой
Один сдается, говорю,
Не бык, так матадор...*

Этот «вежливый бой» – язвительный и прозрачный упрек фрондерам моего поколения, которые так отлично изучили искусство бунтовать с дозволения цензоров! Соснора не входил никогда в их число. Как Боян, как скоморохи, Гомер или Илья Муромец, сказавший Соловью-Разбойнику:

*Что ссориться, лучше вытьем,
Слезай, Соловей, – ты, да я – мы двое в России пасынки!*

Пасынки – это поэт и опальный воин. «Не по замыслению боянюю, а по былям нового времени», того самого, символ которого – жуткая фантазмагория:

*Раз-два, раз-два, – по тротуарам шагает Сова,
В прямоугольном картонном плаще,
Медный трезубец звенит на плече,
Мимо домов – деревянных пещер –
Ходит Сова и хохочет...*

Незачем искать уточнения символов: Сова тут – обобщенное Зло:

*Ты строила концлагерей
Концерны, Ты не оттирайся,
Лакировала лекарей
Для опытов и операций...*

Как в древнегреческой мистерии – друг против друга Поэт и Сова... Несмотря на Сову, или там боярина Ставра, короче, несмотря на все предательства и проклятия, Боян остается собой.

«Стихи да кулак булатный – все достоянье Бояна!»

Многие, начавшие в 56 году так лихо, так фрондерски, довольно рано слиняли, продались, «остепенились» – но не Боян!

*Надеюсь верую: во веки не придет
ко мне позорное благоразумие.*

Это Маяковский...

А кругом – уже почти пустыня: чуть не половина поэтов, взлетевших на гребне волны 56-го, перестала к началу 80-х быть собой...

В такой обстановке – только тот, для кого верность себе не игра, а единственный способ существования, может продолжать...

И продолжал, пока силы его не покинули...

*Меч мой чист. II призванье дано мне:
В одиночку – с разгульной ордой...
Я – один. Над одним надо мною
Дождь идет, дождь идет, дождь идет...*

В поэме «Живое зеркало», написанной в 80-х годах и опубликованной впервые, естественно, не в Питере, а на Западе, Соснора еще как-то держался, видимо, из последних сил. Это была попытка написать сегодняшний апокалипсис, заключенный внутри одной комнаты. Вот каков сегодняшний Армагеддон... Четыре стены, да семь свечей, похожих на балеринок, и семь львов. И все, что есть в этой комнате, не спасет душу твою...

когда

*в сумерках только молнии освещают комнату мельканием,
Тогда вульгарно и страшно звучит государственный гром.*

И в комнату рунатся змеи.

Шпаги, так долго служившие поэту, превращаются в сосульки, и капля за каплей стекают...
Вот тут и появляется Зеркало – символ самопознания. Сохранение своего лица «в мире молний»:

*Оно, когда появилось, перестало что бы то ни было отражать.
И все змеи опустились,
И загниотизированные собственным взглядом,
Они вползали в пасть собственных отражений,
Пожирая сами себя...*

Таков романтический катарсис апокалиптической ситуации.

У Сосноры, поэта романтического гротеска, поэта сопротивления обезличке, все, кажущееся вечным, рунится, а эфемерное – выживает. Граниты с памятника падают, а Слово не боится землетрясений. Неприкаяемость века приносит в стих мотивы знаменитейшего из псалмов, в котором говорится, что «у птицы – гнездо, у лисицы – нора, и лишь у тебя, народ мой, остались только могилы».

Но и XX век имеет свою оборотную сторону. Как у Гераклита: лук может быть и оружием, и лирой:

*Сними с гвоздя свой колыбельный лук,
На тетиве струну свою начни...*

Р. С. 2010 г. «Живое зеркало», по-моему, было последней настоящей книгой Сосноры. В конце 90-х годов он стал, как мне кажется, писать нечто невнятное... То ли долгая и тяжелая болезнь тому виной, то ли, как иногда случается, некогда мощный поэт постепенно выдохся, но лучший Соснора остался в 60-х – 70-х – 80-х...

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

Перед тем как приступить к четвертой части книги – поэтам «тайной свободы», – помещу что-то вроде интерлюдии – мою рецензию на «Римские элегии» Бродского, написанную в 1983 году.

Статьи о Бродском в моей книге нет, как нет статей и о других классиках – Мандельштаме, Пастернаке, Ахматовой, Цветаевой...

Это просто рецензия на одну его тоненькую книжку.

.....
*Крикни сейчас «замри» – я бы тотчас замер,
Как этот город сделал от счастья в детстве.
(«Римские элегии», 1)*

Двенадцать стихотворений составляют эту книгу.

Книгу завершенную, как двенадцать цифр на циферблате. Замкнутость суток, наполненных жарой, неподвижным воздухом, и рассмотренных подробно, до невозможности подробно, деталями – ведь в замершем, неподвижном мире легко не спеша разглядеть все, что попадает, все, что перед глазами... И не только разглядеть, а медлительно – почти лениво – вести мысль по незримым лучам ассоциаций, которые исходят от любого попавшего в поле зрения предмета:

Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно прожекторам ПВО в поисках серафима...

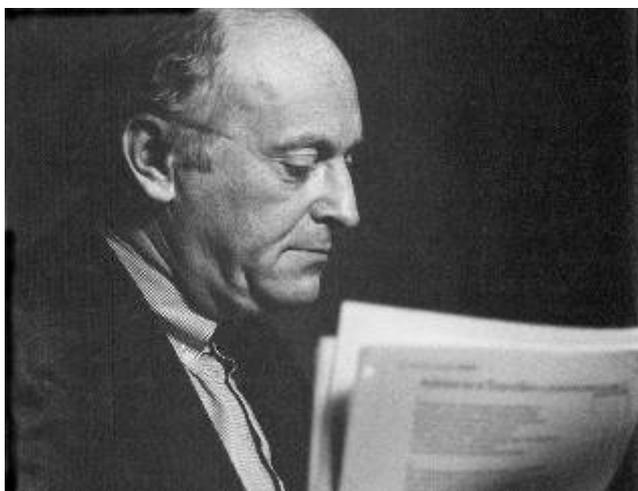
Тут уже неважно становится, действительно ли цифры (римские, безусловно!) скрещиваются, или стрелки, важна не деталь, а идущая от нее ассоциация – совмещение на первый взгляд несовместимого, а если вникнуть – страшный гротескный образ, за которым возникает целая тема: не просто прожектора, а прожектора ПВО шарят по небу, не самолет, несущий смерть, ищут они, а вестника небес – серафима! Космическая вражда, вернее враждебность, зазнавшегося земного, материального всему духовному, всему неподвластному...

Я так подробно остановился на этом образе (хотя дан он походя, в запятых, вводным предложением) лишь потому, что он как в капле отражает всю манеру, в которой написаны «Римские элегии».

Возьмем сначала «внешний план» – на уровне описательном. Жаркий август в Вечном городе. Все замирает. Все неподвижно. И можно скользить глазом по руинам и комнатам, по древности и по сегодняшнему, по куполам соборов и язычку свечи, по строчкам в старинных книгах и булыжникам мостовых... И тут вступает второй план – план ассоциативный, причем Бродский ведет нас вследа за своей мыслью порой очень далеко от предмета, эту мысль вызвавшего:

*Ястреб над головой, как квадратный корень
Из бездонного, как до молитвы, неба...*

Так или иначе, незапамятные времена и сегодня живут – или лениво спят в августовской неподвижности. Движения нет даже у времени. Так из всей мозаики деталей и посторонних мыслей кристаллизуется портрет вечности. А в ней – нет случайного. Все значит. И купола, что «*смотрят вверх, как сосцы волчицы, накормившей Рема и Ромула и уснувшей*», и «*свечной язычок над пустой страницей*» – все в этой мозаике имеет свое место. И без любой детали – самой незначительной – мир стал бы беднее, а значит – перестал бы быть собой. Эта детализация, это ленивое перечисление всего, что попадает в поле зрения, эти нематериальные лучи мысли от вполне материальных предметов, все это – остановленное время. Остановленное мгновение. Как фотография (только она-то почти не дает ассоциаций, в «*элегиях*» же они – главное).



Эти стихи – попытка (удавшаяся вполне) схватить мимолетное и заставить его быть неподвижным, как вечные камни Рима, это все и есть, по сути дела, завершенность мгновенного – основной принцип импрессионизма, который в стихах, на мой взгляд, еще никогда не воплощался с такой определенностью.

Импрессионистический подход – это, по сути, и есть психологический реализм, если он уводит вас по путям ассоциаций. И где-то он выходит за пределы поэзии, стремясь к прозе или даже к живописи. И поэт чувствует это. Музыкально-ритмическая сторона стиха, его мелодические выразительные средства, тут сведены к минимуму, тут они не нужны, они мешали бы – и вот чуть ли не единственная строка во всей книге, которая передает нечто чисто музыкальными средствами: «*воздух пропитан лавандой и цикламеном*».

Тут и на уровне ритмическом (от двухсложного слова, через два трехсложных к четырехсложному – замедление ритма, утяжеление его), и на уровне фонетическом (пропитАН ЛАВАН-дой и цикЛАМЕНОМ) – это медлительный бой часов, все замедляющихся и останавливающихся в конце строки и в замкнутом пространстве комнаты. Все говорит о неподвижности вечности, хотя внешне – пейзажно, что ли – неподвижность эта – лишь следствие августовской жары...

Август – «*месяц замерших маятников*», и в этой томительной неподвижности жизнь может вглядеться сама в себя, как «*орел всматривается в реику*».

Все отступления, ограниченные лишь случайностью – куда упадет взгляд или куда прихотливо повернет мысль, то есть практически ничем не ограниченные, потому они и богаты так обертонами смыслов: как бы ни уходила мысль в сторону, она все время возвращается к главному образу вневременного, вечного, олицетворенного Римом.

К тишине, сначала солнечной, постепенно подмешивается и ночная темнота. Она тоже в двух планах – пейзажном сначала и мистическом потом. Первая – символ второй.

К покою жары – покой ночи. Ночи обычной и ночи вечной. И вот – двенадцатая элегия – «благодарность за все». Тут уже сформулировано то, что обойдено – тщательно обойдено – во всех элегиях, кроме этой, последней:

*Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала.*

И план глубинный, прежде лишь мерцавший из разных, вроде бы случайных, ассоциаций, тут обретает физически осязаемый смысл, ибо сформулирован. Но сформулированное – это всегда последняя дверь. И благодарность уместна перед уходом. И вся эта – двенадцатая, как двенадцатый час, элегия, становится благодарностью и прощанием, перед путем через Лету. А строки, вроде бы о солнце:

*На сетчатке моей золотой пятка,
Хватит на всю длину потемок.*

Это не только солнце, которое уносишь с собой из Вечного города, из Рима в мир, но одновременно и тот обол, который платят Харону за переправу...

Первые книги Бродского, в которых все было и музыкально, и динамично, очень мало похожи на эту маленькую по объему книжку. Гораздо больше общего с ней у книги «Часть речи» и у некоторых из стихов «Конца прекрасной эпохи», в которых динамика стиха уступает место медитативной статике рассуждений, дающей возможность разглядывать крупным планом попадающиеся взгляду предметы. Но сама внутренняя хаотичность, порой случайность этих деталей в упомянутых книгах показывает, что не в них, а именно в «Римских элегиях» Бродский вплотную приблизился к тому, чего он искал, чего он хотел от своих стихов.

Необязательность и блуждание взгляда и речи, нечто вроде лирического отступления, очищенного от сюжета поэмы (ненаписанной), постепенно уступают место хаотичности не хаотической, а организованной по авторской воле.

Точнее, психологический натурализм (т. е. случайное – как принцип) двух предыдущих книг уступил место психологическому импрессионизму «Римских элегий», где все закономерно сцеплено и едино при всей кажущейся разбросанности образов, где все ассоциации вытекают из калейдоскопа картин, рисуя причудливую, но подлинную линию хода поэтической мысли. Ничего подобного не было в «Сонетах к Марии Стюарт», хотя поэтическая задача была вполне сравнима с той, которая просматривается в элегиях.

Возможно, это объясняется тем, что стремление к метафизической поэтике сначала натолкнулось у Бродского на поэтов английского барокко, которые все же оказались не столь близки ему...

И статичность, и медитативность стихов из «Части речи» не была необходима органически, внешний прием и суть там порой не слиты.

В последнее же время, когда Бродский приблизился к новым метафизикам современной американской поэзии (типа Сильвии Плат, например), – то их влияние оказалось благотворнее.

Возьмем крайние по времени точки – «Пилигримы» и «Шествие», с их музыкальностью, экспрессивностью стиха и мысли, с их многоголосием, с их романтизмом (свойственным в принципе русской поэзии вообще за редкими исключениями), и – «Римские элегии» (написанные сравнительно недавно) с их метафизической статичностью, мыслью ветвящейся и кружащейся столь же неторопливо, как медлительный ритм – один для всех элегий, – ритм столь же недвижимый, как изображенный в элегиях вечный Рим.

И мы сразу увидим, что здесь, в элегиях, так непохожих на ранние стихи Бродского, есть та же органичность. Манера, воплощавшаяся не всегда четко в «Конце прекрасной эпохи» и «Части речи», наконец тут, в элегиях, полностью оправдана.

Так, утратив романтизм и музыкальность русской поэтической традиции, Бродский прививает русской поэзии новую ветвь, которой у нее не было. Приживется ли она – покажет будущее.

Часть четвертая

ТАЙНАЯ СВОБОДА

Эта часть книги, наверно, самая субъективная. И я еще раз повторяю, что книга писалась в 1986 году. И эта главка тоже. За 25 лет кто-то изменился до неузнаваемости, кто-то умер, кто-то остался прежним. И я изменился, и в стихах, и в оценках... Кого-то разлюбил, кого-то полюбил. Уже и в третьей части мало проверки временным расстоянием, а уж в этой такой проверки нет совсем...

После Медного века, поэты которого созрели в самом мрачном подполье истории России, уже после поисков корней Рубцовым, Соснорой, Рытовым; после слова звучащего, когда книга расценивалась лишь как партитура – возникли новые поэты с усложненной метафоричностью, поэты, на сей раз обращенные не к залу, а к узкому кругу читателей (не слушателей!). Не с державинским, а с тютчевским духом...

За Медным веком стояли Блок, Волошин, Гумилев, Цветаева... За поколением «Тайной свободы» – Мандельштам по метафоричности, Ахматова по интимности интонаций.

Мост к истокам, создаваемый этим поколением, менее конструктивен, но более сложен по силуэту. Импрессионистичность изображения и подпольность существования поневоле. Ведь, в отличие от Медного века, поэтам этим, разбуженным «пражским подмораживанием», так в советское время и не удалось за малым исключением выйти к читателю...

*Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вслед тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!*

Так писал Александр Блок в своих последних стихах. Под этот эпитаф и сходится поколение поэтов, рожденных после войны.

Особое место в этом поколении занимают питерские поэты, соединенные – нет, не в группу, не в течение – скорее, в некий отдельный и своеобразный литературный процесс.

Так исторически вышло – у французских художников XIX века был Барбизон. У русских поэтов двух веков –

*Нам целый мир чужбина,
Отечество нам – Царское Село.*

Во многом это дань традиции (Пушкин, Анненский, Ахматова, Гумилев), но еще это «царскосельское» явление связано и с именем Татьяны Григорьевны Гнедич, не только воспитавшей плеяду поэтов-переводчиков, но и объединившей вокруг себя часть новейших тогда поэтов, о которых и пойдет речь в этой последней части книги.

Итак, поколение, о котором идет речь, рождено в самиздате.

ЛЕТОПИСЬ СКУЧНЫХ ВРЕМЕН

(Лев Лосев)

Лев Лосев, много лет до эмиграции проработавший в редакции детского журнала «Костер», в Питере стихов публиковать и не пытался. Стихи его впервые вышли в «Континенте», потом стали появляться в других эмигрантских журналах. В СССР ни строчки из лосевских стихов напечатать было бы невозможно.

Неважно, какова их тема, – от всех его стихов тянет тяжелым туманом советской жизни. В этом смысле Лосев – в прямом смысле более, чем кто либо другой, «поэт советской действительности», – тогдашняя атмосфера отражена у него во всех реалиях, интонациях, особенностях языка.

Быт и жизнь, настроения человека в СССР эти стихи выражают с точностью социолога и психолога.

Естественно, что любой критик – член СП – с партийно-холуйских позиций назвал бы все до единого стихи Лосева «клеветой на советскую действительность».

По Лосеву суть советской жизни – это даже не столько ужасы партократической диктатуры, тирания цензуры и тому подобные «мелочи», а нечто более жуткое и безнадежное – скука. Всепоглощающая, развешивающая. То безразличие, когда «всем все до лампочки» – вот главный признак советского образа жизни. Вот она – «нелетная погода»...

*Пилот уже с утра залил глаза
и дрыжнет, завернувшись в плащ-палатку.
Сегодня нам не улететь. Коза
Общипывает взлетную площадку.
Спроси пилота, ну зачем он пьет,
Он ничего ответить не сумеет,
Ну, дождик. Отменяется полет.
Ну, дождик сеет. Ну, коза не блеет.*

Сами интонации, сами короткие, без намека на эмоцию фразы, перечисление самых вроде бы случайных деталей, складывающихся в картину равнодушной, серой, смертельной скуки, монотонность ритма, как монотонность дождя, звучащего за строкой, – все это только скука. В стихотворении довольно длинном все детали жестко реалистические и выстроены не в случайном порядке, а усиливая скуку, и вот последняя строчка: «Есть "Беломор". Но спички отсырели» – уже настолько бесстрастно звучит, что ясно – хуже не бывает.

Единственное, что вдруг проблесками прорывает эту вселенскую скуку, – это цитируемые поэтом строчки из чужих и вроде бы не относящихся к его теме произведений. Чужие строки вмонтированы в стих так, что создают жуткий контраст, придавая стихам Лосева жесткую пародийность. Жесткую, но никак не смешную. Это пародия ужасов.



«Над невской башиной тишина» – так строкой известного «городского» романа начинается стихотворение «Последний романс».

Не часовой со штыком – женщина. В трамвае, видимо. «Она опять подзалетела»... А дальше – уже не цитаты, пародийность создается еле заметными намеками на цитаты...

*Все отражает лунный лик,
Воспетый сонмищем поэтов,
Не только часового штык,
Но много колющих предметов.*

«И на штыке у часового/ горит полночная луна» – пели в конце XIX века. Красиво пели. А поэт с горькой иронией перефразирует... И мрачные 80-е годы девятнадцатого столетия сталкиваются со светлыми 80-ми столетия двадцатого... В числе «колющих предметов» есть и кое-что похуже штыка.

*Блеснет Адмиралтейства шприц,
И местная анестезия
Вмиг проморозит до грани
То место, где была Россия.*

(Какое место?) Это вам не леонтьевское высказывание, что мол, Россию «надо подморозить»! Это помасштабнее! Да еще и психушки приходят на ум... Но женщина едет на аборт... Так вот оно, «то место, где была Россия» все эти семьдесят лет советской власти! Все мертво:

*Окоченение к лицу
Не только в чреве недоноску,
Но и его недоотцу,
С утра утвившемуся в доску.*

Все – недо... недо... Все заморожено, умертволено до уровня недвижимой серой скуки. Вот она – первая половина 80-х...

А написанное дантовскими терцинами стихотворение, описывающее обычную советскую больницу, начинается, естественно, первой же строкой из «Ада» «Земную жизнь пройдя до середины» – и начало это, и терцины – все говорит: «вот он каков, наш ад». Это вам не фантазии великого флорентийца: куда безнадежнее – длинный коридор и жуткие пустые разговоры больных.

*Стучали кости, испускались газы,
И в воздухе подвешенный топор
Уфрюмо обрубал слова и фразы.*

Это и есть поэзия реализма. Не социалистического, но о социалистической действительности. Просто реализма. Без эпитетов! Без вранья и без классицизма. Реализм не социалистический, потому что автор не выдает желаемое за действительное. А пародийность, возникающая от столкновения цитат с реальностью, сама по себе жутка оттого, что сравнение, к которому зовет цитата, всегда – не в пользу описанной реальности. Возникает гротеск. Так пародия становится не смешной, не просто преувеличивающей что-либо. Она напоминает четко отретушированную фотографию, ну, и на ней тоже «то место, где была Россия», увиденное грустным и наблюдательным взглядом.

Картина полного одичания, вымирания, распада... Материал – не лакированная советская действительность. Вот потому поэт Лосев – не пародист, а реалист.

ВИНО АРХАИЗМОВ

(Виктор Кривулин)

Конец оттепели. Август 68 года. В истории русской жизни это была условная грань, после которой уснался государственный зажим и оживилась слезка. И в то же время в литературу (но не в публикации!) вошло поколение «Гайной свободы».

Термин этот в применении к поэтам, о которых идет речь, стал уже привычным. Авторство его принадлежит одному из лидеров этого поколения, Виктору Кривулину. Его ранние, да и среднего периода стихи выражают, если можно так сказать, философию, свойственную в той или иной мере почти всем его ровесникам.

*Дух культуры подпольной –
Как раннеапостольский свет,
Брезжит в окнах, из черных струится подвалов.
Пью вино архаизмов, торчу на пирах запоздалых...*

Слово гасят. Жестоко. Туно. Та реакция, что пришла в Россию после того, как советские танки вошли в Прагу, стала проявлять себя все определеннее –

*До сих пор на губах моих красная пена заката,
Всюду отблески зарева – языки сожигаемых книг.
Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато,
Отлетая в объятия Логоса-брата,
Из какого огонь изгоняемой жизни возник!*

В этих строках – ощущение лирического возрождения, сменившего громкую и острую полемику со своим временем. В поэзию это новое, сугубо лирическое начало пришло именно с поэтами «Тайной свободы».

Связь с классическим наследием чрезвычайно актуальна для Кривулина:

*Но келья – не ответ. И улица – не отклик,
И ничему душа при свете не равна,
Помимо суеты нестройных этих строк ли,
Отчетливых следов на мертвой луже сна.*

Это – стремление заполнить провал, искусственно созданный идеологией, провал между классиками и собой, провал, делающий советскую культуру чем-то маргинальным в потоке мировых культур, это стремление новых поэтов возродить отнятые ценности.

У Кривулина в стихах возникает человек-призрак, которому суждено множество разных попыток восстановить связь времен.

*Из брошенных кто-то из бывших,
Не избран, и даже не зван,
Живет втихомолку на крыше
С любовью к высоким словам.*

Без обретения вновь корней, обрубленных «пышно расползающейся империей», гибнет память нации. Как пишет Кривулин:

Гибнет держава, камни держатся чудом.

Но это – не тупик для него. Поэт уверен, что сохраненная и возрожденная людьми подполья душа молодой, но уже громко заявившей о себе более двухсот лет назад культуры, обретет все же право на открытую, не подпольную жизнь.

Однако его тревожит вопрос: а что придет на смену идеологической мертвечине, не выпускающей культуру из подполья?

*Когда придет пора менять названия
Центральных площадей,
И воздуха единственное знамя
Живыми складками пойдет,
Какие люди явятся тогда,
Какой народ?*

В стихотворении «Крыса» Кривулин пишет:

*Но то, что совестью зовем,
Не крыса ль с красными глазами?*

Она – грызет все, она – пожирательница снов –

*И пасть усеяна зубами,
Пред ним, как небо со звездами.
Так совесть явится на зов.*

Нарочитые словоупотребления в духе XVIII века – подчеркиваю, – жанр – философская ода. Мысль перебрасывается к ломоносовским одам, но это лишь словесная ткань, а весь метафорический строй этих стихов пропущен через Достоевского и ведет в сегодня:

*Когда поэту на Руси
Судьба – пицать под половицей,
Воспеть народец остролицый*

*С багровым отблеском! – Спаси
Нас праведник! С багровым бликом
В подполье сидя безязыком,
Как бы совсем на небеси.*

При всей сложности образной системы, метафор-матрешек, одна в другую заключенных, Кривулин часто выходит к прямым формулам однозначной речи:

*Как теряющий разум старик,
Ты построена, родина сна и господства,
И развитие твое по законам сиротства
От страданья к насилию – миг.*



Кривулин – типично петербургский поэт. Аккумулированная мировая культура находит в его поэзии причудливый, мандельштамовски неожиданный поворот. Изысканная метафоричность и северная сдержанность темперамента уживаются в его стихах. Мгновенный образ, видение – «мелькнет, не вернете» – вот его образная система. Я назвал ее матрешкой, потому что одна метафора как бы заключена в другой. Вот пламя свечи. Ассоциации от этого образа все уже загодя в нем содержатся, их только надо вызвать на свет. Тут и бренность существования, и свет духа, и несовместимость духа с механистичностью любой группы людей, идущих строем...

*Восковой человек на углу горит,
Палковой оркестр уходит под мост.
.....
Друзья, друзья обращаются в пыль.
Церковь – луковка – плач...*

Если пламя свечи похоже на луковку, то цепочка из этих трех слов ведет к возврату образа: пламя свечи – жизнь человека (воскового человека!). Форма пламени над свечой – луковка, как церковная луковка, и как луковица, вызывающая плач... и все это мысль об уходящих в неведомое...

Человек разрываем двумя противоположными натяжениями: сохранить свободу воли, вопреки «категорическому императиву», и сохранить хоть частично контактность. (когда свободу воли приходится утаивать!)

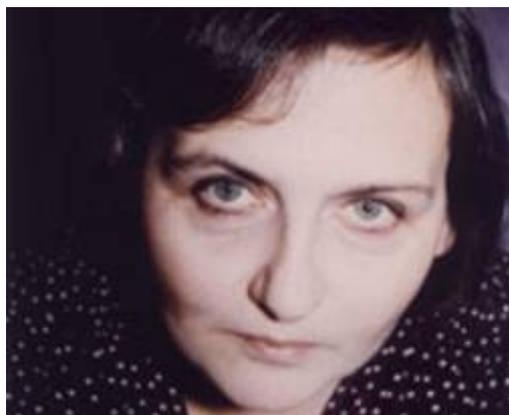
Некоммуникабельность «в ячеистых стенах существования» дает каждому право видеть мир по-своему. Вот эти два натяжения и разрывают человека. И тут уже дело в «сопротивлении материала», живущего вопреки противоречию, которое далеко не так легко примиримо, как это выглядит у наивно-оптимистических диалектиков.

Но к середине 80-х годов манера Кривулина довольно резко и быстро меняется, что отлично видно по его двухтомнику (издательство «Беседа», Париж) в сравнении с первой книгой (издательство «Ритм», Париж). Кроме того, составитель-издатель этого двухтомника (Татьяна Горичева) некритично подошла к работе поэта и поместила в свое издание все без исключений им написанное к тому времени.

Это совсем новый Кривулин: вместо богатых метафор – сухой автологический стиль, прозаизированное, лишённое ассоциативности изложение далеко не всегда оригинальных мыслей. «Высокий слог» его ранних и «средних» стихов уступает место набитому цитатами, перегруженному словами сочинению, порой напоминающему центоны. Но самое главное, что это многозначительное многословие показывает неожиданное обеднение поэзии Кривулина. Поэзия почти что исчезает. Остаются сделанные стихи, остается мастерство – короче, Кривулин, по-прежнему, умеет сказать, но не имеет что сказать...

ПОЭЗИЯ ПРИЧАСТНОСТИ

(Елена Игнатова)



Одна из основных тем Игнатовой, тема в русской поэзии не оригинальная, – отношения поэта и Петербурга. Игнатова ведет с городом диалог. Станный диалог, в котором поэт выплескивается, а город – молчит. Он страшен и прекрасен. Реальный гранитный, и чуждый реалистически-мелочному изображению. Не случайно символичность поэтического восприятия мира связана в русской литературе с этим городом.

Божественное и сатанинское неразличимы в литературном облике Петербурга простым глазом. Кажется, поэты только тем и занимаются, что пытаются одно от другого отделить в его призрачном и гранитном мире, и тем самым разделить эти два начала в душе.

В этом смысле поэтика Игнатовой – петербургская, независимо от темы. Ощущение родного и чуждого одновременно – вот динамика ее стихов:

*По вечеру в каверзных санках,
Снежком в раскаленную пасть,
Влететь в Петербург иностранкой,
Письмом на ладони утасть,
Диковинный, варварски-чуждый,
Литой православный кулич,
Все это свинцовое чудо
Единым дыханьем постичь,
Заплакать, смутиться... А впрочем...*

Слово «Русь» не могло бы звучать в стихах Игнатовой, в них страна – «Россия». Именно потому, что поэзия ее всегда петербургская. И тогда, когда гранит и золото куполов исчезают в тумане, а вокруг нет ничего, кроме холмистых степей Тавриды. И тогда, когда поет северная российская деревня голосами женщин, криками зверей и шорохом трав... Даже Петербург Манделштама не так страшен и таинственен, как жуткий, по-гоголевски или по-достоевски, и вместе с тем прекрасный по-блоковски Петербург Игнатовой:

*Начинается утро корявых небес,
Облака поражают припадок боязни,
Здравствуй, здравствуй, зверинец постылых чудес,
Чужуна тирания и каменный лес!
Мы готовы для праздничной казни.*

Как существовать, когда гранитом сдавлено дыхание? И как выжить без этого гранита?

*...мы тоже живем,
И в Неве не полощем смертельной рубахи.*

Город-призрак. И город – камень. Имперский. «Брошенная столица». Янус? Нет, он не двулик – многолик. Он воплощение России, не Руси: «Ужасен он в окрестной мгле!».

Пушкин это о Петре сказал, о фальконетовом истукане.

А для Игнатовой это образ всего города... И не уйти от этого наваждения, и не уйти от этой привязанности, ибо судьба Города – это судьба страны вот уже без малого три сотни лет... И все равно

*Мне в этом городе не выпасть из плеяды
орлов екатерининской эпохи.
Так и поныне...*

Для сравнения – у Зои Афанасьевой –

*Я выпала сегодня из гнезда,
Нелепого пристанища петрова...*

Тут сниженнее, проничнее. А у Игнатовой – у нее мистично, потому и не до иронии ей!

Единственный из русских городов, Петербург продолжает жить в петровской России – не подавшись до глубины «прогрессу» и прочим сомнительным благам последнего полувека. Он один и оставался в России, а все прочие – «от Москвы до самых до окраин» – прозябали в СССР.

Кто он, вонзивший острие Петропавловки между крыл ангела? Почему сдавлен берегами в его воде образ – жуткий образ сегодняшней России?

*Восходит тонкий пар, дышанья волокно,
Колелет волосы подводное движенье.
Лежит российская Горгона.
Ей темно. И тонкой сетью льда лицо оплетено,
И ужаса на нем застыло выраженье.*

Или берега, некогда живые, окаменели пред ликом Горгоны? Но ведь это сама Горгона от ужаса окаменела! И вот эта фантазмагория города накладывает тяжкий отпечаток на русскую поэзию.

*Многолик Город. То парк осенью
дырявый, ветхий, – барственная кость –
мерцающий на мокром черноземе.*

То предстает он в облике Содома, из которого и бежать надо, и не оглянуться невозможно... И вот – оглядываемся, и вот – каменеем. И глядят из невской глубины раскосые зрачки Горгоны.

Ощущение трансцендентного у Игнатовой столь реальное, так слито с деталями узнаваемой повседневности, что вспоминается, как о Данте говорили, будто щеки его опалены адским огнем... У Игнатовой – иное: темные начала у нее таинственно-аморфны, тенеподобное всегда предстает во плоти.

А в ее стихах «деревенской тематики» удивительным образом является этот дух старинного и светлого быта. Три ангела, возможно рублевская троица, просто живут в северной деревне. Рублевская это троица – ибо проста, ласкова, тиха и так близка человеку! В отличие от грозной и такой отдаленной феофановой живописи! И никого не удивляет, что ангелы живут среди людей,

вместе с ними даже хозяйством занимаются! Так ведь оно повелось от веку в глуши!! Да и живут они совсем, как люди, разве что «*очи голубые ночью в небесах горят*». Только в таких стихах оставляет поэта судорога сведенных пред ликом Горгоны мышц. Умиротворенная и тихая печаль звучит в ритмах... Здесь поэзия Игнатовой – спокойная и просветленная. Здесь, где все на своем месте:

*Хозяин – в доме, Бог – на небесах,
И хлебный ангел всей деревне снится.*

Из стихов Игнатовой видно ее безусловное убеждение в том, что деревня ближе к небесам... И на природе не исчезает благодать, а в гранитном мире – царит только закон. И во всех стихах – чувство причастности тайнам бытия.

ПРЕДЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

(Анри Волохонский)



О поэте Анри Волохонском в СССР не знал никто, кроме его друзей.

Стихи его казались непонятными. И дело тут было в непривычном типе мышления, исключительно рационалистическом и при этом ассоциативном.

Кто-то свяжет между собой две его метафоры одним образом, а кто-то совсем иначе. Одинаковость понимания тут исключена почти полностью. Каждый читатель в значительной степени сам творит и некоторые образы, и даже саму мысль стихотворения.

*Вселенная – передняя в трактор.
Оставьте мысли место за вином,
Она придет, красивая бедром,
Она как мышь из нор идет на пир,
Сама – ядро и канонир,
Снаряд и порох и прислуга...*

Мысль самоцельна? Значит, и самодостаточна... Каждая картинка сама по себе зрима. Но осмыслить их сочетания каждый должен сам для себя. Или другой пример – когда тип связей между образами взят один-единственный: в данном примере только звуковой:

*О, если бы око мне!
О, ко мне.
Ком неги нежданной
Тебе дней на дне
Дано мало, а надо много.*

Само противоречие между смыслами строк при звуковом тождестве удивляет непримиримостью хотя бы слов «дано» и «надо», состоящих из одних и тех же звуков. А мысль – так еще с

гомеровых времен эта мысль в поэзии бытует: «Рок никогда не дает времени нам, до которого в радостях жадны». Это из Одиссеи. Только выражено иначе. Но ведь порой новизна поэта в том и есть, что старые мысли он по-новому передает... А сам прием ограничения своих приемов доводится Волохонским до крайности: он практически всегда пользуется в одном стихотворении одним приемом из множества возможных.

Отсюда – закономерность иронических интонаций: «Я пишу о мире... Я ничего о нем не знаю. Поэтому иронизирую над попыткой написать о мире, о котором не знаю. Пользуюсь одним единственным приемом. Значит, моя ирония над приблизительностью моего отражения мира должна быть острее, чем ирония тех, кто использует десяток приемов разом...»

С этой точки зрения, реализм, стоящий на противоположной стороне поэтической «улицы», – крайняя противоположность абстракционизму. Ведь реализм пользуется всеми возможными приемами. Реализм претендует на полноту отражения мира. Пытается объять необъятное.

Итак – на одной стороне абстракционизм с его единственным за один раз приемом, а на другой – реализм с его многословием – в пределе отсутствие отбора вообще.

В предельной ситуации, в карикатуре – абстракционизм стремится к белому квадрату на белом фоне, а реализм – к бесконечности мельчайших деталей. Ближе к одному концу – Волохонский, Хлебников... К другому – Коржавин, Твардовский... В предельных случаях искусство исчезает совсем...

Иногда Волохонский перемещается от своего «края» ближе к центру «центру», оставаясь собой в сюрреалистических почти сюжетных стихах.

Глядело солнце в черный запад. Русь,
Где правил голод угольные крылья,
И где молитвы плакали, как ртуть,
И где для казни сами ямы рыли...

Это строки из стихотворения о протопопе Аввакуме. Тут уже иные законы изображения, а, значит, и восприятия: Связи между образами одинаково понимаются большей частью читателей:

И воздух взвыл, и взвился как костер,
И Аввакум сверкал, согнувшись вдвое,
И небосвод опять над ним простер
Лицо свое и тело неживое.

Тут множество перенесений, тут природа обретает черты человека, а человек остается вроде бы вне описания. Возникает чисто сюрреалистический ход: не человека, а природу, страну сжигают на костре.

И в заключение помещаю полностью одно из моих любимых стихотворений Волохонского.

ДЕВЯТЫЙ РЕНЕССАНС

Отец любви земле Эллада
Без меры тварей подарил
За каждым деревом Дриада
Под каждым дубом Гамадрил

А дни и ночи там иные
Чем в нашей нынешней нужде:
Там луны – Рыбы неземные
Среди созвездий и дождей

И вторя им Дельфин Эгейский
По морю гонит синий сонм
Там по лесам Павлин Индейский
Гуляет ярким колесом

В потоках древние Драконы
Чеша о кремень чешую
Твердят Ликурговы законы
И комментарию жуят

И мать Моржа с лицом Сирены
Нагую грудь в волне держа
Смеясь виднеется из пены
Златые бедра обнажа

Все в этом крае с Рыбой схоже:
Страна глядит из-под глубин
Как Рыбы мрамор белой кожей
Из-под разбитых коломбин

ДВЕ С ЛИШНИМ ВЕЧНОСТИ НАЗАД

(Бахыт Кенжеев взглядом из 80-х годов)



У поэтов, молодость которых пришлась на 70-е годы, зачастую первой книгой оказывалась книга избранных стихов. У них не выходили те тонкие сборники, которые, появляясь достаточно часто, стимулируют новые повороты, новую поэтику – ведь каждая книжка – это иная грань творчества...

Бахыту Кенжееву больше повезло, чем другим его ровесникам, – изредка его все же печатали то «Юность», то «Простор»... И вот в 81 году вышла книга избранной лирики. Нет, не в Москве, а в США!

Когда стихи собраны вместе, поэт виднее...
Кенжеев – поэт одиночества.

Одиночество на фоне городского пейзажа... А чаще – не на фоне, а в диалоге с этим пейзажем:

*ах город мой город прогнали твои купола
коробятся площади потом пропахли вокзалы
довольно довольно навозного злого тепла
я тоже старею и чувствую времени мало*

Интонации стихов Кенжеева уводят иногда в те пропущенные времена, которые несправедливо зовутся «безвременьем», в конец XIX века, в эпоху, от которой остались романсы и вальсы, именующиеся почему-то старинными, хотя есть и романсы постарше, а так не зовутся...

Это не значит, что стихи Кенжеева похожи на Апухтина или Случевского, но женщина, открывающая садовую калитку в белом платье, и мягкие, подобные прерафаэлитским, живописные ретроспективы Борисова-Мусатова тихо зовут в 80-е годы того столетия...

...И если по совету Мандельштама искать корни поэта, искать предков его, чтобы понять, откуда он, то увидим тень Блока и четкий образ нашего старшего современника, одного из самых пронзительных поэтов, пришедших к читателям в 60-е, – Арсения Александровича Тарковского. Только с ним, с его подлинной старинностью, перекликаются такие стихи Кенжеева, как «Пролог», которым открывается эта красивая книга. Не бойтесь, пожалуйста, этого слова! Верните ему его первородный смысл!

*Я вспоминаю давний сад,
две с лишним вечности назад,
играла музыка чужая,
и у раскрытого окна
Седая женщина одна,
Стихи с улыбкою листая.*

Но так непохоже на этот мир, так вроде бы несовместимо с ним другое начало в поэзии Кенжеева. Назовем его условно неоромантическим. Оно воплощено в трубном звуке, в энергичных ритмах Киплинга. Трудно перечислить русских поэтов, подхвативших эту новую тогда музыку, да так, что и выглядят, да и, верно, стали эти ритмы совсем русскими. И вот что важно: у каждого поэта они все же свои, особые. Вот и у Кенжеева то же одиночество звучит в этой мелодике совсем иначе. И сентиментальное изящество старинного вальса сменилось ветровым голосом:

*А ночь свистит над моим виском,
Не встретится нам нигде,
Лежит колечко на дне морском,
В соленой морской воде.*

Чаще всего у Кенжеева женщины в стихах отсутствуют. Одиночество становится совершеннее, полнее. А женщина проскальзывает всегда почти тенью, воспоминанием... Она не выходит на сцену стихотворения.

И прощанье-воспоминанье звучит тягуче и колокольню:

*Город, город, отдай мою руку,
Я еще недостаточно стар,
Нас с любимой кидает друг к другу,
Так, что кости ломает удар,
Нас проносит по самой стремнине...*

Вообще «жанр» мемуаров – это типичный композиционный прием Кенжеева. Порой это воспоминание звучит как голос дальних предков, это воспоминание «генетическое»: голос кочевых монголов звучит в стихах русского поэта:

*Унесли на запад смелые люди мои,
Унесли сыновья, узкоглазые, молодые,
К просторам славянским, землям венгерским,
Оставили степи сухие, к озерам голубооким,
Унесли к женщинам с бледною, белою кожей,
Русскому золоту, шведскому серебру...*

Тревогой дальних путей, неведомых и неверных, духом авантюризма и все той же интонацией романтического потока, никогда не иссякающей в русской поэзии, наполнены стихи Бахыта Кенжеева. Странно читать эти строки, в которых мир видится глазами монгола двенадцатого столетия... Это авантюристическое нетерпение – одна из важнейших тем в творчестве Кенжеева. И мотив одиночества сливается с мотивом странствий в один образ – бродяги, рискованного героя романтической баллады. Хотя баллад как таковых у Кенжеева и нет.

Его герой вечно куда-то уходит, с кем-то или с чем-то прощается... Жадность к познанию себя, через себя же – всего мира – вот тот двигатель, который несет такую мечущуюся личность, – гумилевских ли капитанов, или нынешнего молодого человека. Об этом сказал Кенжеев в одном из лучших своих стихотворений:

*Собираясь в гости к жизни,
Надо светлые глаза,
свитер молодости фрешной
и гитару на плечо.*

Но жизнь не всегда отвечает оптимизмом на оптимизм. Город – тот, что у Кенжеева единственный собеседник, – этот Город вовсе не покладистый приятель, с которым можно о чем поплавать. Нет: он требует своей темы... Он опять напоминает об одиночестве, потому что ушла...

Кто? Женщина? Или сама жизнь? Эта блоковская двойственность проходит сквозь все любовные стихи книги. В них не любовь главное, а одиночество:

*На газоне золотые пятна,
а в кармане — ни гроша,
Тем-то и зовет, что невозвратна,
тем и хороша...*

И сразу же, в следующей строфе, жизнь приобретает конкретные черты женщины:

*Плакала и пела, уходила
лепетала ни о чем...*

И снова жизнь:

*спящего и мертвого будила
солнечным лучом.*

Только в конце стихотворения эта неназванная *она* обретает зримые черты, но тогда, когда уже совсем исчезла:

*...ушла, тая обиду,
сквозь шеренгу фонарей,
медным колокольчиком для виду
звякнув у дверей...*

Но и тут — не столько она, сколько город, реагирующий на ее действия, а ее снова нет — снова она в прошлом...

Р. С. Бахыт Кенжеев — один из моих любимых современных поэтов. Мне очень нравится то, что он пишет сейчас, но статью о нем в книге 80-х я оставил, как была, потому что сейчас надо было бы писать другую статью, в значительной степени о других стихах и в другую книгу...

РОДОМ ИЗ МАРБУРГА

(Алексей Цветков взглядом из 80-х годов)

«Сборник пьес для жизни соло» — так назвал свою первую книгу Алексей Цветков. До выхода этой книги печатался он немного, да и то только в эмигрантских изданиях. В «Континенте», в «Глаголе», в «Стрельце» и в альманахе «Аполлон».

В того времени стихах Цветкова присутствует Пастернак — марбургского периода.

Уверенность, что парадоксы точнее отражают суть личности, чем однозначные формулировки, диктует особый способ сочетания метафор — отдельные строки и образы между собой чаще всего не связаны, но все сходятся в одном фокусе, в стержневой мысли стихотворения. Так мысль о том, что мы не в силах предвидеть результаты своих поступков, сформулирована вот как:

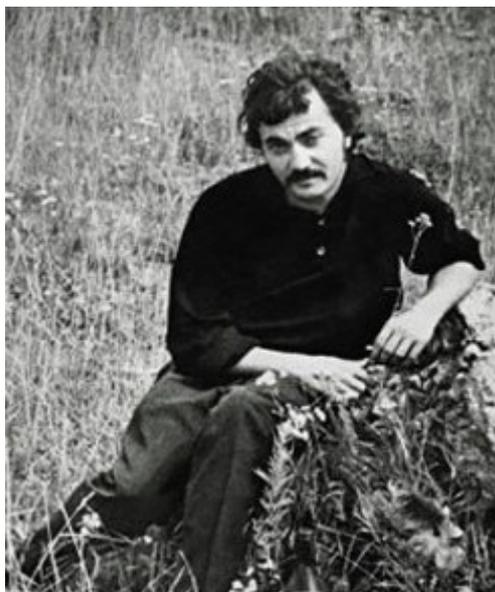
*Мы сами себе оппоненты,
Таланты себе поперек.*

Остальные строфы стихотворения сходятся к этим строчкам с разных сторон. Вот одна из них:

*Припомните случай Калумба,
Прообраз земного труда,
Он в Индию плавал, голуба,
А вышел совсем не туда.*

Или другая строфа, не связанная с этой, — новый заход на ту же тему:

*Но мы из другого металла,
Такое загнем иногда,
Как если бы кошка летала,
И резала камни вода.*



Для Цветкова характерно даже в описаниях ничего не описывать, а, отметив место действия, тут же переключаться на нечто внутреннее. Внешний мир – только фон.

Но и оттенки переживания Цветков не называет, тем более не пересказывает, а создает аналоговую модель из метафор и интонаций. Размеренность ритмов контрастирует с тревожностью мысли. Но тревога эта не прорывается во внешний мир, и потому он просто неважен: его детали – только знаки внутреннего состояния.

*Во двор в новорожденный понедельник
Я вышел, наболевший тишиной,
Где три звезды в забавах рукодельных
Веретено крутили надо мной.*

Тут тишина – аналог боли, звезды – три Парки, сушащие нить индивидуальной судьбы. А в конце стихотворения те же звезды уже значат совсем другое: мирок провинциального вокзала и судьба героя связаны, и потому грохот обычного поезда – гром апокалиптической трубы, он меняет восприятие картины, хотя картина сама и не изменилась:

*Он прокатился с триумфальным воем,
Над зыбким, неприкаянным покоем,
Где правил сон бездумно и темно,
Над сетью рек и перелесков дачных,
И там, вверху, где три звезды коньячных
Крутили надо мной веретено.*

Парки уже не совсем Парки – они уже коньячная судьба, а веретено все равно они крутят... В стихах Цветкова доминирует ощущение духоты. Не оставляет оно поэту места ни для любви, ни для песни...

*Того, кто к шепоту привык
Для нужд кухонного простора,
Не приведи сорваться в крик
От боли голоса простого.*

Страх перед непривычной широтой мира и свободой, словно человек, выйдя на свет из каземата, прищурился и продолжает щуриться долго и болезненно...

Ирония у Цветкова жестокая. Люди у него почти роботы, а тот, кто способен на творчество, так тот явно ненормален! Ибо масса роботов нацелена на уравниловку, на этот идеал «безвестных отцов», управляющих обществом. И только отклонение от этой новой шигалевщины содержит в себе надежду на перемены в человеке и обществе...

Стараясь, пусть поначалу неосознанно, следовать за Пастернаком, Цветков остается все равно собой, опасность стать подражателем ему не грозит. Собственное видение все равно уведет его от истока... Но зато поэт знает свои корни, а это не всегда бывает!

*Сплетаются стебли, возвращенные порошью,
Срастаются души в едином труде,
Я родом из Марбурга – поздняя поросль,
Нас двое оттуда в наемной орде.*

Так пишет Цветков в «Генеалогической балладе», обращаясь к Юнне Мориц. Ну, скажем, не двое – куда больше, да и далеко не все, кто не был учеником Пастернака так уж сразу и «наемная орда». Заявление это и легковесно, и безответственно. Но, в конце концов, сделано оно было молодым поэтом.

Вот начало одного стихотворения Цветкова, по которому сразу видно, что именно «из Марбурга», а что и вовсе с другого конца света.

*Вокзал. Дождевая дремота.
Проход поездами зажат.
На тонких крючках перемета
Озябшие души дрожат.
Им счет и порядок потерян,
Желанья сковал светофор,
И новые рвутся, потя,
На мокрое тело платформ.*

Если «мокрое тело платформ» и вся подчеркнутая статичность картины (даром что «рвутся») явно идут от Пастернака, то обнаженность эмоции («озябшие души дрожат»), такая распахнутость Цветкова вовсе не пастернаковской природы.

Нередкие у Цветкова античные реминисценции приводят к одному результату – столкновение древности и сегодняшнего мига высекает искры иронии.

*Серый коршун планировал к лесу,
Моросило хлебам не во зло.
Не везло в этот раз Ахиллесе,
Совершенно ему не везло.
И копьё, как помешанный дятел,
Избегало искомым пустот,
То ли силу былую утратил?
То ли Гектор попался не тот?*

А кто такой современный Гектор – а если он и есть олицетворение нынешнего безвременья, с которым никаким копьём не сладить...

И вот ироническая злая поэма, использующая кусочек сюжета из Одиссеи. Времена смешались, и какой-то стукач составляет протокол розыска во дворце Одиссея на Итаке. В протоколе сказано, что «*означенное лицо идентично с упомянутым Одиссеем*». Зачем это он без визы шляется по десяткам загранич? А? Кстати, этот протокол – единственная реалья нашего времени в полностью античном сюжете. Не реальями, а стилем, языком не дает Цветков забыть о нашем времени.

Телемак ищет лук Одиссея в зале, где валяются трупы женихов:

*Но, праведные боги, где же лук?
Где инструмент для беспощадных рук,
серп Немезиды, сжавший ниву,
где поставщик айдова двора?
Слона не сыщешь, чертова дыра, –
ворочалось в мозгу у Телемака.
А Одиссей-то, в сущности, ломака:
сыграл спектакль и рад, как сто ослов!
На грош забавы, на червонец слов!*

Это не пародия. Это – сатиричный по стилю пересказ, сделанный так, что сюжет ненарушенным уходит в дни Гомера, а сатиричность его оказывается сегодняшней...

Адрес сатиры? То-то и прекрасно, что адреса нет! И адресата нет. Все наше время проверяется на вшивость...

Маразм крепчал. Двусмысленность росла.

А она в том, что Одиссей забыл, перебив всех женихов, прострелить двенадцать колец: он поспешил наверх к Пенелопе.

Кольца же пробивает Телемак. Поэтому в отчете тов. Ментора он и фигурирует вместо Одиссея. В этой путанице содержится старая полицейская истина: «был бы человек, а статья найдется!».

Совсем иной принцип во второй части поэмы. Тут Телемак перемещен автором в наши дни. И вот как это выглядит:

По берегам Москвы и Потомака, сбиваясь с ног, ловили Телемака, суровый ТАСС орал, как эпилептик, пузырилось Ассошиэйтед пресс, донской сиделец смазывал обрыз, и даже молчаливые трусски молчали исключительно по-русски, врубая «телефункены» и «соны», крепчайший чай лакая из кратер, Тиберий Гракх и Птоломей Сотер направили петицию в ЮНЕСКО, где в целом отозвались очень резко, но допустили массу плеоназмов, трюизмов, арготизмов, матюгов, удвоили продажу утюгов, конторских книг, селедки, габардина...

Вот этот – к концу поэмы уже полный хаос всех народов, времен, персонажей кажется юмором ради юмора, но ведь на самом деле тут все гораздо серьезнее – сама хаотичность века нам подается этой лоскутностью перечислений. За хохотом, как у Рабле, встают вещи далеко не смешные... Доказательство тому – высказывание самого поэта о своих принципах: «*Искусство для искусства я принимаю не больше, чем соцреализм*».

Р. С. Сегодняшние стихи Цветкова я плохо знаю. То, что я читал, мне не показалось близким, но читал я его недостаточно, и, наверно, надо почитать еще.

СИРОТЫ ВЛАСТИ ПЕТРОВОЙ

(Юрий Кублановский взглядом из 80-х годов)

На весах истории качаются чаши. Ни одна не перетягивает. Так сложна и неоднозначна историософия Юрия Кублановского.

Пробный камень – Петр Великий. Как некогда отношение к нему разделило российскую мысль на западников и славянофилов, так и поныне отношение к нему – рубеж. А.К. Толстой (не первый, впрочем!) заметил, что сами термины эти – неточны и случайны, что точнее будет говорить о радикалах и консерваторах, ибо Россию любили оба лагеря «друзей-врагов», но одни смотрели на нее сквозь призму социалистических утопий и спешили «черт знает куда и зачем», а другие – понимавшие Европу не хуже прочих европейцев, – очень старались не выпячивать свое европейское происхождение, «как столбовой дворянин не твердит же без конца о своем дворянстве».

И Юрий Кублановский в этом смысле, вслед за А. К. Толстым, «*двух станов не боец, а только гость*» *случайный*.

В стихотворении «Петербургские строфы» образ «*фродителя и палача*» предстает в апокалиптическом освещении. Ему суждено было ввести страну на тот путь искушений, который она проходит от имперских гробниц прошлого до имперских границ нынешних. Есть в империи

*II симбирский шакал,
II уральский подвал,
II свинцовая легкая пуля...*

Вот как видит сегодняшний итог петровского пути Юрий Кублановский:

*Зачумлен водопровод,
Баловство – кратюшка,
Комаринный пулемет
Разжирел, как пушка.*

Перемешались времена, и реалистически выглядит тут Акакий Акакиевич Башмачкин, подающий в застенке морс палачам. Из этого падения выход уж только в медленный подъем или в гибель...

*Чужим не понята, оболгана своими
В чреде глухих годин.*



Одичание человека – частый мотив в стихах Кублановского. А самый частый образ – снег. И странно нестрашным выглядит снег и в суздальской Руси, и в осьмнадцатом веке тоже... А вот сегодня это «гнезда морозных терний», ледяное безмолвие...

Если искать корни поэзии Кублановского, то они найдутся и у А. К. Толстого, ну и, очень частично, у Н. Клюева.

Пушкин же – один из главных участников в драме этой поэзии. То в стихах о А. П. Керн он протагонист, ведь стихи эти написаны как монолог Пушкина, то незримо присутствует в стихах о Петербурге, то в названиях стихов («*Вакхические мотивы*»), а то и в виде цитат, переслоенных с собственными строками. Такая вот мозаика.

Многие стихи Кублановского выглядят архаично, но это не рационально выдуманная архаизация, это органика его манеры:

*У меня же – отцовская длинная шпага,
Целый ворох рубах дамотканых льняных,
И о древности рода с печатью бумага,
И горячее тело кровей голубых.*

При гармонически уравновешенной интонации резкость метафор выглядит у Кублановского страшноватой:

*И потому бегу по лестнице в галоп,
Беру рукой трамвай за жестяные жабры.*

Эта метафорическая разгульность позволяет разгуливать и по временам – от нынешнего жуткого пейзажа до спокойного летописного рассказа. От истории Василия Темного до Крыма 1922 года, когда корабли увозят с собой трагедию эмиграции и оставляют на берегу трагедию остальной России.

*Как говорится, кончен бал:
В застенки побросали фрейлин,
Уже с отвесных финских скал
На броневик спустился Ленин.*

Кроме снега, в пейзаже Кублановского очень часто встречается – брусника. То на фоне снега, то на фоне зелени. Цветовой символ? Наверное. «*Капельки крови... цвет времени?*»

А вот стихи об иных временах праздничнее, светлее, чем современные. О суздальском княжестве, или там о любовниках Екатерины Второй...

*Уж лучше это свинство,
Да водка, да балык,
Чем кровь и якобинство
Парижских прощельг.*

Хотя не выглядят идеализацией ни петровские, ни павловские времена, да и митрополит Филипп (Колычев) – жертва Ивана Грозного – тоже не идеализирован. И тем не менее для Кублановского хоть никоновские смуты, хоть потемкинские распутства – все упрек нашим дням.

В Останкине, или в Изборске, в Москве, Пскове, в Царском Селе – всюду природа снегом и кровинками брусники напоминает о том, что за страшными временами не пустыня...

Почти все стихи Кублановского о России. И мраку в противовес утверждает он поблоковски, – какая бы ни была, но это – моя страна.

*И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне.
Но и такой, моя Россия,
Ты всех других дороже мне...*

(Александр Блок)

И еще одно свойство стихов Кублановского: зачастую поэты говорят о старине в ритмах современного стиха, а за ритмами следует часто и современная лексика... У Кублановского же как раз наоборот: убийственной становится картинка нынешнего уличного быта, если она подана в нарочито архаичной лексике и мелодике стиха чуть ли не допушкинских времен:

*Ни воску теплого, ни камушка, ни смол
Законопатить уши нету,
Когда звучит в саду старинный рок-н-ролл,
И дева, не чинясь, попросит сигарету...*

Р. С. Я очень давно не читал стихов Кублановского, так что о нем сегодняшнем ничего сказать не могу.

«ПОСЛЕДНЯЯ ТУЧА РАССЕЯННОЙ БУРИ»

(Елена Шварц)



Самая младшая из питерских поэтов «Тайной свободы», Елена Шварц завершает собой оба поколения: как Медный век, его Sturm und Drang по определению Гете, относившемуся к временам его молодости, так и тихий эстетизм «Тайной свободы».

Первые стихи ее прозвучали на одной из конференций молодых поэтов Северо-Запада, когда Елене Шварц едва исполнилось 14 лет.

В ранних стихах, ненадолго отдав дань увлечению верлибром и даже слегка зацепив чудище абсурдизма, она вернулась к ритмичному и рифмованному стиху. Сложность метафоры и свободная ассоциативность при четкой прозрачности речи, то есть все то лучшее, что принесли поэты Тайной свободы, остались в ее стихах. Их отличает еще особая длина строки, словно медленная речь льется и никак не перельется через порог рифмы:

*Как эта улица зовется, ты на табличке прочитай,
А для меня ее название – мой рай, потерянный мой рай.
Как этот город весь зовется, – ты у прохожего узнай,
А для меня его название – мой рай, потерянный мой рай...*

Елена Шварц – замыкающая своего поколения. И в ее стихах почти всегда все – в прошлом.

Само по себе Настоящее исчезло из ее строк: глагольная форма как настоящего, так и будущего времени нечасто гостит в них. Прошлое доминирует (прошедшее время). Настоящее – всегда краткий миг. Это поэзия сожаления о том, что минуло. Прошлого не догнать.

*и по финскому морю печали и жалобы
в тихо тонущих плыть кораблях.*

«Зачем гнаться по следу того, что ушло?» – но и не гнаться нельзя... Меж небом и землей остается колеблемое всеми ветрами существование:

*На колокольне так легко,
На колокольне далеко
И виден остров весь,
И мы с тобой не на земле,
Не в небе, нет, а здесь.
Там, где и должно бы свой век
Поэту и провесть,
Где слышно пение калек
И ангельскую весть.*

Если попробовать все эти мимолетные взгляды, все оттенки настроений соединить в одно целое, то получится, что Елена Шварц пишет о «потерянном рае». А уж вложить свой смысл в этот символ – дело каждого читателя. В одном из лучших стихотворений Шварц, в «Памяти о псалме» мотив знаменитого «Плача на реках вавилонских» озаряет Неву:

*Вот сижу я при реках своих вавилонских,
Вот я плачу (ли плачу?) над Черною речкой,
Низко арфу повесив на иву, обнявшись
С жизнью – верткой пиявкой, ухабистой девкой.*

А прошлое уже почти не видно сквозь серый туманец. Полное безвременье досталось на долю... Мы, родившиеся раньше, в молодости иные застали времена, когда хоть что-то случалось, хоть что-то происходило...

В поэме «Неугомонный иступан» тыняновская восковая персона говорит:

*Вы по кусочкам этот город в Эдем снесете на спине,
Он поплывет в высоком море, Небесный Петербург теней,
Но он и так наполовину уже не здесь, уже он там...*

И снова чувствуя себя между небом и землей, Елена Шварц и весь город с собой помещает туда же... И потерянный рай переходит из одного стихотворения в другое по волнам тягучих интонаций...

Если не считать не самый удачный, очень уж стилизаторский цикл, написанный от имени средневековой монахини Лавинии, то стихи Шварц всегда удивляют.

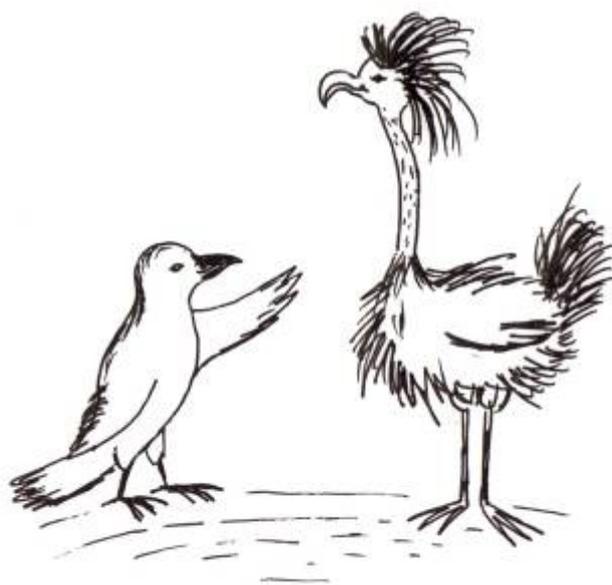
Вот какой мне видится эта последняя поэтесса поколения «Тайной свободы».

Р. S. Елена Шварц умерла в 2010 году. Она заняла свое место в русской поэзии, и о ней написано немало. Эти давние заметки – моя о ней память.

«Белому Ворону» 3 года!



РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ



Бабанская Алена родилась в подмосковном городе Кашира. Закончила МГПИ им Ленина, филологический факультет. Печаталась в «Арионе», «Крепчатике», «Детях Ра», «Волге», «Литературной учебе», «Кукумбере», «День и Ночь» и др. В настоящее время живет в Москве, работает в банковском журнале.

Бетаки Василий (1930 – 2013) – русский поэт, переводчик, литературный критик. Сын Павла Бетаки – художника-футуриста, работавшего в кино. С 1931 года жил в Ленинграде. Пережил блокаду Ленинграда, в которой погибли его мать и отец. Учился на Восточном факультете ЛГУ (иранистика), но в 1950 году вынужден был прервать учёбу, чтобы избежать ареста. В 1960 году окончил заочно Литературный институт. Ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич. Работал учителем, режиссёром самодеятельных театров, инструктором верховой езды, главным методистом Павловского Дворца-музея. Первая публикация в 1956 году. Первая книга стихов вышла в 1965 году в Ленинграде. С 1965 по 1972 был членом Союза писателей. Переводил поэзию с английского и немецкого, писал литературные передачи для радио, руководил литобъединением. В 1971 году стал победителем конкурса перевода трёх «главных» стихотворений Эдгара По («Ворон», «Колокола», «Улалюм»), которые были опубликованы в двухтомнике Эдгара По 1972 года («Художественная литература»). Это последняя публикация Бетаки до эмиграции. С 1973 года жил в парижском пригороде Мёдон. Двадцать лет проработал на радио «Свобода» и восемнадцать (в то же время) – в журнале «Континент». Был одним из организаторов переправки в СССР запрещённых русских книг, изданных на Западе. Во Франции выпустил восемнадцать книг стихотворений, книгу статей о современных русских поэтах и восемь книг переводов. С 1989 года снова публиковался в России. Был постоянным автором журнала «Звезда», франкфуртских журналов «Мост» и «Литературный европеец».

Винокурова Анастасия родилась и выросла в Беларуси. В 2007 году эмигрировала в Германию. Пианистка, искусствовед, преподаватель творческих дисциплин. Призёр и лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей, среди которых – «Ветер странствий» (Италия), «Эмигранская лира» (Бельгия), «Арфа Давида» (Израиль), «Пушкин в Британии» и «Поверх барьеров» (Великобритания).

Гендернис Ирма родилась в 1970 году в Латвии. Училась в Санкт-Петербургском институте Культуры. Публиковалась в журналах «Даугава», «Звезда», в антологии «Освобожденный Улисс». Живет в Латвии.

Жердев Георгий – поэт. Родился в 1961 г. в Казахстане, рос в Азербайджане, большую часть жизни провел в Восточной Сибири, в Чите, а в последние годы живу в Петербурге. По образованию врач. По профессии программист. Последние 15 лет занимаюсь в свободное время литературным порталом «Сетевая Словесность». Собственные стихи изредка публиковал на нескольких литературных сайтах, среди которых «Топос», «Вечерний Гондольер», «45-я параллель».

Ермолаев Григорий родился в 1985, живет в Екатеринбурге. Учился в УрАГС. Пишет рассказы и эссе. Интересуется социологией, психологией, литературой. Публиковался в журналах «Мост» и «Наше поколение».

Исаянц Валерий родился в 1945 в Воронеже. Закончил суворовское училище, затем – филологический факультет ВГУ. В 1971 году Валерий Исаянц знакомится с Анастасией Цветаевой, путешествует с ней по Крыму, затем приезжает в Москву. Писательница принимает деятельное участие в его судьбе, знакомит с Павлом Антокольским, Арсением Тарковским, Мариэттой Шагинян. Весной 1972 года выходит подборка стихов Исаянца в журнале «Литературная Армения». Уехав в Армению Исаянц продолжает писать стихи, занимается живописью, переводит Рильке, Гельдерлина, Верлена. После смерти матери, в Воронеже, оказывается без определенного места жительства, скитается. Большая часть архива стихов и рисунков 1970-1980 была утрачена. Об Исаянце вновь заговорили в 2006 году после издания книги «История одного путешествия». В 2013 году в издательстве «Водолей» вышла единственная книга поэта «Пейзажи инобытия».

Каган Виктор. Доктор мед. наук (медицинская психология, психиатрия). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Книги стихов: «Долгий миг» (СПб: Гармония, 1993), «Молитвы безбожника» (Рязань: Поверенный, 2006, 2007), «Превращение слова» (Москва: Водолей, 2009), «Петли времени» (Москва: Водолей, 2012). Стихи публиковались в журналах «Нева», «Новый Журнал», «Новый Берег», «Крепчатик», «Слово/Word», «Семь искусств», «Белый ворон», «Bibliophilos» (USA) и др., альманахах «Побережье» (США) и «Еврейская старина» (Германия), сборниках «В пятницу после семи» (Л., 1969), «Асклеший и музы» (СПб, 2000, 2005), «Общая тетрадь: из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, Э.-РА, 2007), «45 параллель: антология» (Москва: Вестконсалтинг, 2010), сетевых журналах и альманахах. Проза, психологическая эссеистика, публицистика – в разных российских и зарубежных бумажных и сетевых изданиях. Дипломы Международного литературного Волошинского конкурса (2005, 2008). Премия «Серебряный век» (2009).

Касиляускайте Алиса родилась в 1986 году. Закончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Живет и работает в Москве. Печаталась в журналах: «Белый ворон», «Лит-э-лит», «Нева». В 2008 году вышла первая книга «Несказанное», в 2012 вторая – «Обратная перемотка».

Катков Иван родился в 1986 г. в Казахстане, в городе Актюбинске. Учился в Нижегородском гос. университете им. Лобачевского (филфак). Публиковался в журналах «Пролог», «Слово», «Русский переплет», «Великороссь», «Сетевая словесность», «Начинающий писатель», «Гостиняя» и других. В настоящее время живет в Дзержинске Нижегородской области.

Ковсан Михаил родился в Киеве. Автор публикаций по теории литературы и истории русской литературы. Многие работы посвящены творчеству Достоевского, опубликованы в сборнике «Достоевский. Материалы и исследования», в других сборниках и журналах. Автор книг по иудаизму, среди которых «Имя в ТАНАХе», «Иерушалаим в еврейской традиции», «Смерть и рождение рабби Акивы». Переводчик и комментатор книг ТАНАХа. Живет в Иерусалиме.

Кольцова Ольга – поэт и переводчик. Родилась в 1957 в Москве. Закончила журфак МГУ. Член Союза писателей Москвы. Переводит с немецкого, английского и других языков. Автор книги стихотворений «Несвобода» (2007). Лауреат литературной премии «Серебряный Век» (2008), присуждаемой ежегодно в декабре «за вклад, внесенный в сохранение традиций русского Серебряного Века в современную русскую литературу».

Краснова Татьяна – прозаик, журналист, редактор. Родилась в Тольятти, окончила Литературный институт и Финансовую академию. Работала в газетах, журналах, книжных издательствах. Член Союза журналистов России. Автор цикла романов и повестей, связанных сквозными персонажами (молодежь от 5 до 15 и старше, мамы и папы, бабушки и дедушки, и все герои – главные). Публикации в альманахе «Белый ворон», журнале «МБ», в семейной серии «Дорога домой» издательства «Амадеус» и др., на лит. портале «Сетевая словесность». В издательстве «Евдокия» вышли книги «Миражи счастья в маленьком городе» и «Белая Панамка (2011), «Взрослые дети» (2013), в издательстве «Центрополиграф» – «Девушка с букетом» и «Конкурс песочных фигур» (2013). Член редколлегии альманаха «Белый Ворон».

Крупина Наталья родилась в Риге. Латвия. В 1980 окончила МГИК, живет и работает в Челябинске. Тележурналист, диктор, детский автор. Член Союза писателей России, член Международной Гильдии писателей. Издано 6 книг в челябинских издательствах, более 40 литературных публикаций в России и за рубежом.

Крупинин Александр родился в 1958 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский Финансово-экономический институт в 1981 году. Работает редактором и ведущим информационных передач на радио Санкт-Петербургской митрополии РПЦ «Град Петров».

Морозов Евгений родился в 1976 в Нижнекамске, в республике Татарстан. Закончил Елабужский государственный педагогический институт. Живет в Нижнекамске. Публиковался в журналах «Дарьял», «Идель», «Новая литература» и на различных интернет-ресурсах.

Мракобред Руслан родился в 1987 в Бишкеке, Кыргызстан. С 15-ти лет живет в Швеции. Несколько раз становился финалистом конкурса «Пушкин в Британии», был призёром конкурса «Арфа Давида». Основатель литературных объединений «Орден приИ-Рафаэлитов» и «Литературное сообщество заднего сидения».

Некрасова Татьяна, живёт и работает в Кишинёве. Инженер-системотехник, аналитик информационных систем. Стихи пишет с детства. Финалист «Заблудившегося трамвая» 2013. Редактор сайта «Термитник поэзии».

Окунь Алексей родился 8 января 2006 года в Алене (Баден-Вюртемберг, Германия) в семье писателя Михаила Окуня. Рисовать красками (гуашь, масло, акрил) на бумаге и холсте начал в декабре 2009 г. Необычные для трехлетнего ребенка картины сразу обратили на себя внимание. В 2010 г. издательство «Edita Gelsen» (Гельзенкирхен, Германия) выпустило календарь на 2011 год, иллюстрированный двенадцатью работами юного художника. В том же году хельсинкский журнал «LiteraruS – Литературное слово» (№4, 2010) опубликовал несколько работ Алёши вместе с интервью о нем М.Окуня. Картина «Летний пейзаж» представлена на обложке альманаха «Белый ворон» (Лето 2011). В Алене работы Алексея выставлялись в два этапа в офисных помещениях фирмы M&S Zeitarbeit GmbH. С июля по декабрь 2011 г. был представлен 41 холст. В январе 2012 г. экспозиция полностью сменилась (также 41 холст), и выставка была продлена до конца июня. Сейчас в активе Алексея около 300 живописных работ. О юном художнике и его выставке неоднократно

писали местные газеты («Schwäbische Post», «Aalener Nachrichten»), вестник новостей культуры «XAVER». Вот одна из цитат: «Невероятно, что ребенок вкладывает столько чувства в живопись, живя при этом обычной детской жизнью».

Осинцева Татьяна родилась в Свердловске. Окончила школу, радиотехнический техникум, университет («история и теория искусств»). Работала в Театре юного зрителя, Уральском филиале института технической эстетики, Свердловской епархии РПЦ МП, в мэрии Екатеринбурга, в Корпорации «ЯВА», в газете «Восточный Экспресс» и др. Публиковалась в разных изданиях Екатеринбурга. Написала несколько либретто для театра кукол. «Каштанка» и «Руслан и Людмила» были поставлены в Нижневартовске. Стихи впервые опубликованы в альманахе «Белый ворон».

Перова Евгения окончила истфак МГУ, тридцать с лишним лет проработала в Государственном Историческом музее – реставратором, хранителем, ученым секретарем. Ненадолго покинув родной музей, вернулась туда опять в отдел реставрации. Кандидат искусствоведения, преподаватель. Автор книги «Ловушка для бабочек», издательство «Евдокия», 2012. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон».

Синева Полина – поэт. Родилась в 1968 году и живёт в Воронеже. Автор книг «Забывшее искусство быть любимым» (1995, Воронеж), «Девочка-речь» (1997, Москва), «Полтора путешествия» (2005, Воронеж). Основные публикации в периодике: «Литературная Россия», «Вавилон», «Октябрь» (Москва), «Волга-XXI век» (Саратов), «Ковчег» (Киев), «Русская мысль» (Париж), «Подъём» (Воронеж), есть также многочисленные публикации в Интернете.

Слепухин Сергей – екатеринбургский художник, поэт и эссеист, родился в 1961 г. в городе Асбесте Свердловской области. Автор семи сборников стихов и двух книг эссе, написанных совместно с Марией Огарковой. Главный редактор альманаха «Белый Ворон».

Слепухина Евдокия – художник. Родилась в 1991 году, живет в Екатеринбурге. Иллюстрировала стихи Даниила Андреева, Александра Левина, Владимира Гандельсмана, Алексея Цветкова, Сергея Комлева, Михаила Квадратова, Василия Бородин, Игоря Рымарука, Ива Мазагра, прозу Элисео Диего, Татьяны Красновой, Евгении Перовой, Татьяны Окоменок. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон».

Соболев Александр – московский библиограф, историк литературы. Автор публикации в журнале «Белый ворон»-Лето-2013.

Тарковский Владимир родился и живет в Челябинске. Публиковался в журналах «Транзит Урал», «Новая Реальность», «Другое Небо», «День и ночь», альманахах «11:33», «На глубине», «Город поэтов», в сборнике «На достаточных основаниях». Лауреат программы «Новые Имена», лауреат фестиваля «Новый Транзит», шорт-листер фестиваля «Глубина». Участник поэтического клуба «Подводная лодка», участник проекта «Молодые-молодым».

Чемоданов Андрей (настоящее имя Андрей Владимирович Сельверов) родился в 1969 в Москве. Закончил в 1997 Литературный Институт и аспирантуру. Считает себя создателем так называемого «строфического верлибра», состоящего из нескольких строф, каждая из которых по отдельности является верлибром и при этом повторяет предыдущую: «столько же строк в каждой следующей строке, то же количество слогов и то же соотношение ударений, что и в каждой следующей строке». Член редколлегии альманаха «Алконость». Лауреат премии «Звездный фаллос» (2009)

Юдин Борис, поэт и прозаик, родился в Латвии. Учился на филфаке Даугавпилсского пединститута. С 1995 года живёт в США. Стихи и проза публиковались в журналах и альманахах «Крещатику», «Зарубежные записки», «Стетоскоп», «Побережье», «Слово/Word», «Встречи», «LiteraruS», «Футурум арт», «Дети Ра», «Зинзивер», «Иные берега», «Barkov`s magazine», «Время и место» и др. Автор семи книг. Отмечен Премией журнала «Дети Ра».

Юхименко Анатолий родился в Каневе, окончил биофак Киевского университета, кандидат с.-х. наук, работает в Мироновском институте пшеницы. Стихи публиковались в поэтических альманахах, сборниках и антологиях, журналах «Ренессанс», «Радуга», «Соть». В 2007 году вышла книга стихотворений и поэм «Притчи и другое».